

АРТУР ФИЛДЖИС

# ЕГИПТОЛОГ



КНИГА-МАЛКА КНИГА-БЕСТСЕЛЕР

Артур Филлипс

## Египтолог

1922 год. Мир едва оправился от Великой войны. Египтология процветает. Говард Хартер находит гробницу Тутанхамона. По следу скандального британского исследователя Ральфа Трилипуша идет австралийский детектив, убежденный, что египтолог на исходе войны был повинен в двойном убийстве. Трилипуш, переводчик порнографических стихов апокрифического египетского царя Атум-хаду, ищет его усыпальницу в песках. Экспедиция упрямого одиночки по извилистым тропам исторических проекций стоит жизни и счастья многих людей. Но ни один из них так и не узнает правды. Ни один из них всей правды не расскажет. Никто не найдет трупов. Никто не разгадает грандиозной тайны. Но, возможно, кто-то обретет подлинное бессмертие.

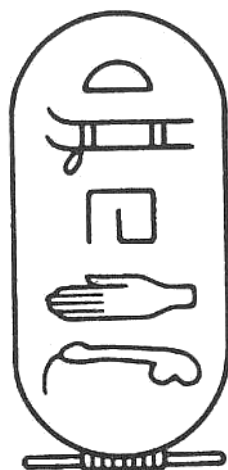
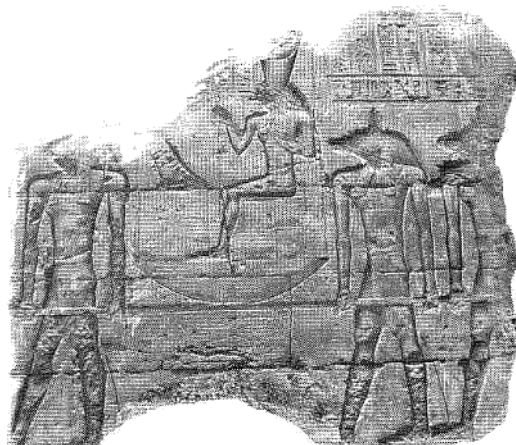
Невероятный роман Артура Филлипса — жемчужина современной американской прозы.

# Содержание

#1.....	.0005
#2.....	.0006
Документы, собранные Лоренсом Мэйси (1955 г.).....	.0007
Артур Филлипс премного благодарит за поддержку:.....	.0280
ТАЙНЫ СКЛЕПА.....	.0281

**Артур Филлипс  
Египтолог**

*Разумеется, Джен*



**Картуш правителя Атум-хаду («Атум-Кто-Возбудился»), последнего (?) царя (?) XIII династии Египта, 1660 (?) — 1630 (?) гг. до Р. Х.**



**ГОСТИНИЦА «СФИНКС»  
ТЕЛЕГРАФ: hotspinxcairo**



*Вторник, 10 октября 1922 года  
Гостиница "Сфинкс", Каир*

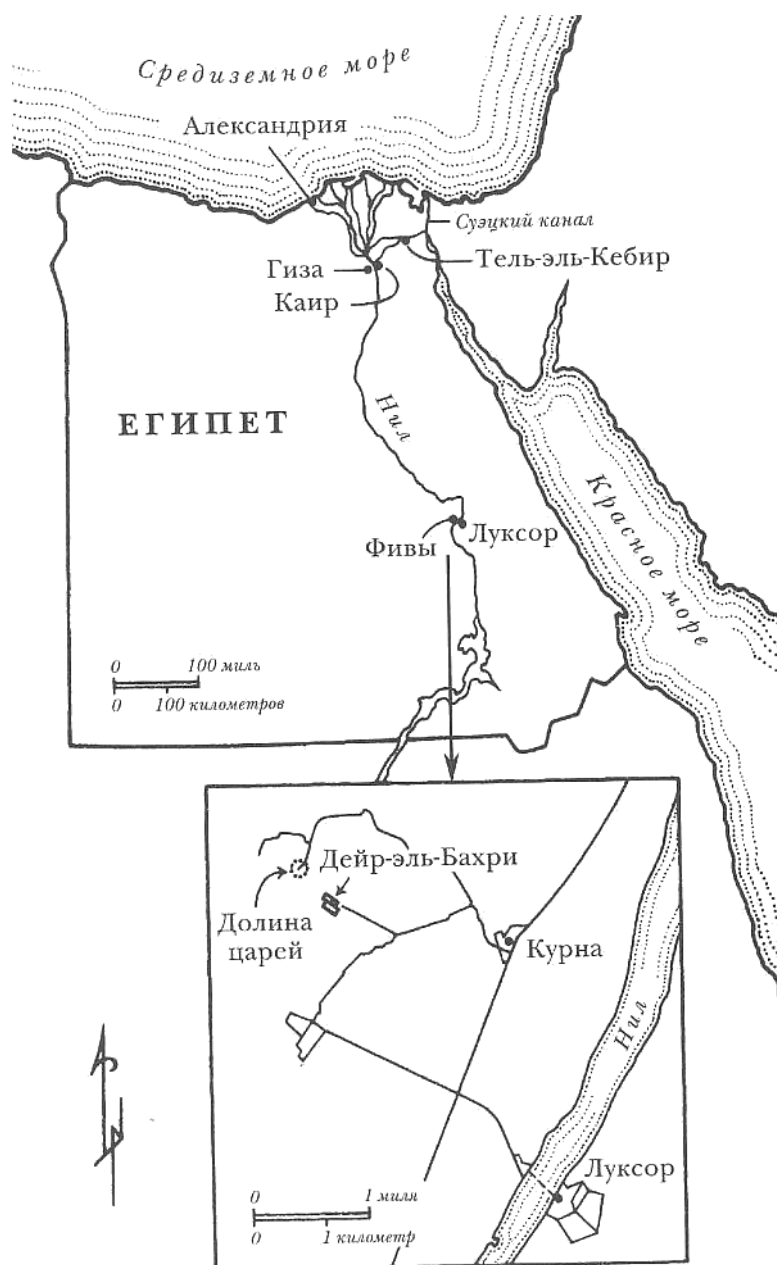
*Дневник: Прибыл в Каир по железной дороге из Александрии. Немедленно приступил к работе. Запланировал посвятить пять дней в Каире подготовительным к экспедиции и изложению истории вопроса, после чего отправлюсь на юг.*

*Кружониса: Книга Долорно напечатана с фронтисписа, переложенного полурозрачным панте-платоном.*

*Фронтиспис: "Царский картуш Атум-хату, последнего царя XIII династии Среднего царства Египта, 1660-1630 до Р. Х." Обращаются ли читатели к аудитории ухивили? Нет; потому что для простых читателей, это картуш - это царский герб, одно из пяти иероглифов (иероглиф Снека Ра), написанное иероглифами и заключенное в овал.*

*Эпиграф после фронтисписа: "Смелость и решительность, с которыми человек преодолевает физические трудности, есть для нас источник"*

**Первая страница дневника Ральфа Трилипуша  
Карта Египта**



## Документы, собранные Лоренсом Мэйси (1955 г.)

*Переписка Ральфа Трилипуша и Маргарет Финнеран (1922 г.)*

*Письма Гарольда Феррелла к Лоренсу Мэйси III (1954–1955 гг.)*

*Дневники Ральфа Трилипуша (1922 г.)*

*Переписка Ральфа Трилипуша и Честера Кроуфорда Финнерана (1922 г.)*

*Письмо Беверли Квинта к Ральфу Трилипушу (1922 г.)*

*Письма Хьюго Марлоу к Беверли Квинту (1918 г.)*

**31** декабря. Закат. У гробницы Агум-хаду. На «Виктроле-50» играет: «Сижу на качелях за старым сараем, не хочешь подсесть ко мне, дорогая?»

Дражайшая Маргарет, вечная моя царица, чья красота изумляет солнце!

Завтра мы с твоим отцом возвращаемся домой, к тебе: на роскошном корабле плывем на север, в Каир, там ночуем в гостинице «Сфинкс», потом по железной дороге до Александрии, откуда направимся в триумфальный круиз на итальянском пароходе «Кристофоро Колумбо», порты захода — Мальта,

Лондон, Нью-Йорк. Из Нью-Йорка мы первым же поездом отправляемся к тебе в Бостон. Обнять жениха и отца ты сможешь 20 января.

Когда я вернусь, делом первостепенной важности станет, разумеется, наше бракосочетание. После, запасшись всем необходимым, я возглавлю вторую экспедицию сюда, в Дейр-эль-Бахри, дабы провести фотографическое исследование настенных росписей и извлечь из гробницы артефакты и сокровища. Сегодня вечером мне нужно лишь запечатать вход в гробницу, дабы ничто не повредило моей находке. А потом — отослать тебе эту посылку. Гонец уже прибыл и ждет.

Ныне, дорогая, путь наш свободен. Мне сопутствовал успех, твой отец вновь благословил нас — все в точности так, как я обещал! Ты вздохнешь с облегчением, узнав, что мы с твоим отцом вновь на дружеской ноге. (Благодарю за «предупредительную» каблогранму, однако в моем обществе твой отец неминуемо сменил обуявший его в Бостоне гнев на милость.) Нет, он поздравляет меня с моей находкой («Нашей находкой, Трилипуш!» — поправляет он меня), сонно передает тебе привет и покорно молит выбросить из головы все глупости, что он про меня рассказывал. Окруженный завистью и заговорщиками, он пребывал в ужасном напряжении, оттого и поверил, пусть на мгновение, лживым наветам. Я простил его, и теперь он просто счастлив. Мы возвращаемся к тебе, а ты вернешься ко мне.

Разумеется, если ты читаешь это письмо, значит, по причинам, о которых я могу лишь догадываться, мне не удалось без помех вернуться в Бостон, в твои объятия. Я не пришел грядюю облаков бессмертной славы, не обвил твою белую шейку цепочкой белейшего золота из гробницы Атум-хаду. И я не отвел тебя тихо в сторону, к двухэтажному арочному окну в гостиной твоего отца, не вытер слезы радости, пролитые тобой оттого, что я вернулся невредимым, и между прочим не попросил тебя отдать мне сразу же по доставке послание (это послание) с изящным штемпелем почтовой службы далекого Египта, адресованное мне, с указанием оставить его тебе на хранение и вскрыть лишь в случае моего затяжного и необъяснимого отсутствия.

Но нет, все будет так, как я предсказал, и ты это письмо не увидишь. Я обгону его и нежно заберу до того, как ты успеешь вскрыть пакет, и слова мои останутся непрочтенным, излишним, неведомым никому, кроме меня, предостережением.

Но... Но, Маргарет. Но. Для тебя, как и для остальных, не секрет, сколь злокозненны люди, желающие нашего фиаско; никогда не знаешь, ждет ли тебя катастрофа со смертельным исходом или что похуже. Потому я беру на себя смелость послать тебе мои дневники. Боже, пусть они доберутся в целостности и сохранности.

Маргарет, если вражеские цепкие щупальца не пробрались еще в почтовое ведомство Египта, у тебя в руках сейчас три пакета; в них бумаги, сложенные в хронологическом порядке. Начало — 10 октября, я прибываю в Каир, в гостиницу «Сфинкс», голова моя еще кружится после обручальной вечеринки. Записи, предназначавшиеся к публикации, перемешаны с теми, что к ней не предназначены, и отрывками из завершеного научного труда. По большей части дневник есть письмо к тебе: письмо, которое я так и не удосужился отправить. Я намерен разобраться со всем этим в Бостоне. Исчерпав запас гостиничных бланков, я положился на великодушные коллег из Департамента древ-



ностей правительства Египта: второй пакет составляют разноформатные листки с реквизитами его генерального директора. Наконец, я почти полностью исписал очень красивую леттсовскую «Эскизную тетрадь для Индии и колоний № 46», с каковой предпочитают иметь дело британские исследователи, кои с риском для жизни, невзирая на зной и пыль, двигают науку вперед. Не пугайся — страницы в конце я выдрал, чтобы написать это письмо. Вместе три пакета образуют черновик моего шедеврального труда «Ральф М. Трилипуш и открытие гробницы Атум-хаду».

Я прилагаю к ним твои письма, в коих сплелись доброта и жестокость. Семь писем, две каблограммы, а также каблограмма, которую я послал тебе — и которую позавчера швырнули мне в лицо. И каблограммы твоего отца ко мне.

Только что заменил патефонную иглу; эта предпоследняя. Очаровательная песня.

Доставить послание на почту доверяю мальчику-гонцу.

Со временем, Маргарет, все подвергается эрозии. Пески мельчают, бульжники темнеют, крошатся папирусы, тускнеют краски. Иные из этих процессов, конечно, губительны. Однако случается эрозия очистительная, вытравляющая ложные аналогии, нетипичные ошибки, сбивающие с толку малосущественные подробности. Если по ходу своих заметок я где-то что-то искажил, не так понял или описал нечто виденное или якобы виденное... Когда пишешь, думаешь, мол, ничего страшного, вернусь домой — все отредактирую. Так я и поступлю. Если, разумеется, меня не забьют до смерти, не запихают в чемоданчик нескладного графа, не разрежут потом на кусочки и как бы невзначай не выбросят за борт на съедение голодным акулам — вот тогда станет очень жаль, что я не принялся за редактуру, когда имел такую возможность. Мне понадобится храбрец и гений редакторского дела, которому под силу смахнуть пыль досужих рассуждений и обнажить непреклонную, хладную, обсидиановую и алебастровую истину. Эту очистительную эрозию проведешь ты.

Мы подходим к ключевой задаче, которую я возлагаю на твои плечи, моя муза и будущая душеприказчица. Ты теперь богиня-хранительница всего мной достигнутого. В этих записях — история моего открытия, моих побед над скептиками и собственными сомнениями. Я вверяю тебе мое *бессмертие* — не больше и не меньше. Полагаюсь на тебя вопреки всему, ибо на кого еще мне полагаться? Если с моим телом что-то случится, ты — открыв посылку, прочтя письмо, — станешь порукой тому, что никогда не забудутся имена, мое и Атум-хаду. Меньшего, Маргарет, я от тебя и не жду.

Тебе предстоит курировать издание этой моей последней работы. Настаивай на ее издании большим тиражом в престижном университетском издательстве. Топай прелестными ножками, добивайся того, чтобы книга попала на полки всех крупных университетских библиотек, а также в египтологические музеи США, Британии, Франции, Германии, Италии, и в Каир тоже. А простые читатели! Береги свои ушки, Мэгги! Ибо когда новости просочатся, поднимется шумиха, какой еще не бывало. Но ты и близко никого не подпускай, пока не закончишь. Сделай все так, как я говорю, добейся, чтобы книгу напечатали как она есть — и не прикармливай стервятников.

Сейчас времени на правку у меня нет, события тут скачут как блохи. Завтра мы отправляемся в путь. Я благополучно прибуду домой и все отредакти-

рую сам; однако же позволь мне снабдить тебя руководством к действию на случай, если все повернется иначе.

К примеру, сейчас я вижу, что ранние наброски далеки от завершенности. В полумраке зрение шалит, особенно когда торопишься, но последние рисунки, вне всяких сомнений, точны, так что в первых нужды нет. Мое бессрочное письмо тебе, а равно личные или излишне откровенные записи опусти. Слова к тебе и слова к миру отличимы, и, если будешь внимательна, без труда отделишь одно от другого. В самом начале я вел дневник и писал тебе с чрезмерным воодушевлением. Воздержись от опубликования записей о нас с тобой, о вечеринках и о компаньонах. Я волновался, Маргарет, и не без причины, как подтвердит история. Ныне я замечаю, что временами упивался отвлеченными теориями, выпускал иногда академический пар, задним числом видно, что кое-где я споткнулся на ровном месте. Читай внимательно, прошу тебя, внимательно — и при закрытых дверях; редактируй тщательно; потом обратись к наборщику (именем Верной Коллинз); иллюстрируй книгу последними зарисовками из тетради, сделанными, когда парадоксы Атум-хаду прояснились и я осознал наконец, что же увидел.

Если тебе суждено овдоветь, М., — так овей мой труд и осторожно выветри все несущественное. Я уже вычеркнул кое-что, но мне не хватает времени, к тому же я мог выплеснуть с водой ребенка. Попробую как могу облегчить твою работу; порядок значимых материалов таков: Кент; Оксфорд; мы с моим другом находим отрывок «С»; трагическая кончина друга; наша с тобой любовь; денежное вложение твоего отца; гробница Атум-хаду во всем ее великолепии; пронизательное решение Парадокса Гробницы; я запечатаваю найденное, чтобы вернуться позже; мы с твоим отцом отправляемся домой; к несчастью, нас убивают. Или не убивают. Яснее сказать нельзя. Все прочие ученые заметки на полях черновиков сожги.

Нигде мне не доводилось видеть такой закат. Цвет солнца, истаивающего в изменчивых скалах пустыни, — таких оттенков нет ни в Бостоне, ни в Кенте. На этих скалах и этих холмах навеки выгравирована история моей жизни.

Последняя игла. Как же я люблю эту песню.

Если, Маргарет, ты читаешь письмо, рыдая и ужасаясь двойной потере, но готовя ум свой и перо к делам важнейшего свойства, знай: до того, как свершилось ужасное преступление, я не колеблясь обвиняю в нем сумасшедшего Говарда Картера,[1] чье имя, возможно, ты не так давно слышала, полупомешанного удачливого вертопраха, что споткнулся о ступеньку и попал в подозрительно хорошо сохранившуюся гробницу Футынуты, юного царька XVIII династии; будучи снедаем завистью, он как в трезвом виде, так и охмелев от местных наркотиков, не единожды за последние месяцы угрожал мне расправой. Если я в профессиональных дневниках учтиво обходил стороной его всегдашнюю враждебность и неприкрытую ненависть, то лишь потому, что отдавал должное некогда великому исследователю и, более того, выказывал своеобычное бесстрашие, коим ты всегда восторгалась. Потому я пропускал мимо ушей его нескончаемые угрозы сделать так, чтобы мы с моим «благородным патроном, мистером Честером Кроуфордом Финнераном, бесследно исчезли». Так вот, если мы с твоим отцом не сойдем с трапа «Кристофоро Коломбо» в нью-йоркском порту, будь уверена: тут замешан либо Картер, либо его голово-резы вроде «спонсора», долговязого английского графа, чьи приятные манеры

поизносились и едва скрывают порочную натуру, или их омерзительного оранжево-волосого сообщника, которого ты знаешь слишком уж хорошо.

Маргарет, чудо мое из чудес, в эти месяцы между нами было достаточно недоразумений. Твои письма были грубы, молчание, которым ты меня дарила, — еще грубее, но я знаю, что чувство твое ко мне, как и мое к тебе, не угасает, и нет для меня в этой жизни ничего ценнее твоих объятий. Патефонный диск вновь отыграл свое и в изнеможении хрипит.

Это последняя игла из сотен мною привезенных. При мысли о том, что я видел тебя в последний раз, что никогда уже мне тебя не обнять, трепеща на ветру, что врывается из парка в распахнутое окно и кружит по бальной зале, не восхититься бледностью твоей шеи и лилейностью твоих дланей, я так цепенею, что не могу писать. Самая мысль о том, что нам с тобой никогда не встретиться, невыносима. Невыносима! Ужасно думать, что я останусь в твоей памяти не самим собой, каким, я знаю, ты видела меня вначале, но образом, кой создал твой отец. Пожалуйста, вспоминай счастливейшие наши моменты: ты мною гордилась, ты нашла своего героя, ты ни о ком больше не мечтала, мир, каким мы его знали, лежал у наших ног. Молю тебя, дорогая моя, запомни меня таким. Я люблю тебя много сильнее, чем ты думаешь, так, как ты не можешь даже вообразить.

Мы скоро увидимся, любовь моя!

Твой Ральф

*Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 3 декабря 1954 года*

Дорогой мистер Мэйси!

Подтверждаю получение вашего письма от 13 ноября, рад свести с вами знакомство, пусть и по почте. Известие о кончине вашей тетушки, милейшей Маргарет, ужасно меня огорчило. Очень, очень надеюсь, что она иногда поминала меня добрым словом. Мы повстречались в критических, в высшей степени драматических обстоятельствах. Такое, скажу вам, и захочешь — не забудешь. В 22-м году, когда я спас вашу тетю, она была красавица, вся светилась изнутри. После того как я передал в руки правосудия человека, обрекшего ее на страдания, мы не виделись.

Меня, конечно, заинтриговала ваша «скромная просьба подключиться к вашей (моей) несомненно превосходной памяти». Да, сэр, что-то, а память у меня все еще дай бог каждому, и я потружусь, чтобы вам это доказать. В свое время говорили, что память у меня идеальная, да.

Должен, кроме того, добавить, что вы, мистер Мэйси, и сами отличная ищейка, ежели сумели отыскать меня в этой именуемой пансионном дыре, на свалке отбросов общества, спустя тридцать лет после событий. Ежели сфера расследований вас когда-нибудь заинтересует, знайте: вы — то что надо, и это высокая похвала, потому что хвалю вас я. Хотя, может статься, вы из тех, кому вовсе не надо работать?

Отвечая на первый ваш вопрос. Вы, верно, задали его из вежливости, что говорит о вашем хорошем воспитании. Письмо-то писалось незнакомцу. Впрочем, не важно. Так вот, мой ответ: скучно. Скука почти смертельная, спасибо. Подозреваю, так оно и задумано. Сначала вылакать наши сбережения до капли, а потом добить нас скукой. Бросить на узкую продавленную койку, всу-

чить вонючий горшок, один на несколько человек. Ты мочишься, а другой старикан уже жметя в очереди.

Слов нет, как я рад вашей просьбе рассказать про лучшее мое дело, чтобы заполнить пробелы в вашей «частной истории семьи Мэйси». И вам подфартило. Я, скажу вам, взял с собой в это богом забытое место всего ничего, никаких там элегантных костюмов, никакого добра, человек я простой и всегда готов переселиться, ежели обстоятельства велят. Но когда мне стало ясно, куда лежит дорога, я сказал себе: «Феррелл, у тебя теперь уйма времени, ты будешь глупец из глупцов, коли не разберешь архивы и не напишешь про каждое свое дело. Для уголовных типов — стоп-сигнал, для детективов — прекрасный учебник, для простых читателей — занимательная история». Вот почему ваше письмо так меня порадовало.

Вас интересуют воспоминания, на которые можно положиться? Так вот, я — ходячая историческая правда, факт. И мне нужен человек вроде вас, коли я собираюсь вырвать из моих историй чеку и запустить ими в толпу. Могу с уверенностью предположить, что вы водитесь с нью-йоркскими издателями. Не знаете никого в журналах с уголовной хроникой? Давайте-ка покумекаем. Я помню, вы написали, что вам нужна только «частная история семьи». Но я скоро покину этот мир, так что не время ходить вокруг да около. Я-то знаю, что нужно делать, чтобы успех был у нас в кармане. Смотрите: у меня сохранились все записи; как только выпадала возможность, я переносил на бумагу слово в слово все, что мне говорили. Мы не имели современных магнитофонов и поневоле обходились тем, что было. Молодые следователи со своими магнитозаписями не понимают даже того, что не знают, что они потеряли. А мы в свое время помнили все и умели писать быстро. Но ежели даже все и каждое слово у меня вот тут не записаны, что с того? Я отлично помню, что люди говорили или хотели сказать, и все такое. Я просто реконструирую их слова от и до. Текст нужно всего-то расцветить, украсить, расставить кавычки, перепечатать. От меня — крутая история, от вас — все остальное. Как вам?

Это лучшее мое дело, я так думаю, даже несмотря на то, что в нем остались белые пятна. Коли вы готовы стать моим доктором Ватсоном — приступим. А когда закончим, вспомните, что у меня для вас про запас имеется еще с дюжину историй.

И еще: вы пишете, что у вас есть документы, которые «могут пролить свет на безответные вопросы», коли они у меня остались. Аппетитнейшая наживка, на которую малый вроде меня не может не клюнуть! Я ничуть не изменился, тридцать лет спустя мне любопытно услышать все, что вы сочтете нужным рассказать. Вы упомянули, что после смерти Маргарет нашли ее личные бумаги. «Что это за бумаги?» — спросил я себя. И что она писала про меня? Маргарет могла ведь и исказить что-нибудь — с нее станется.

Когда я в 22-м году познакомился с вашей семьей, вас еще и в проекте не было. Когда тетя встретила вашего дядю? Знаете, ваша тетушка, она тогда немного мною увлеклась. Рассказывала она об этом? Наверняка нет, и я уверен, ваш дядя был парень что надо. Когда мы с ней познакомились, она была помолвлена с этим бесом, обабившимся франтом, «исследователем». Думаю, я для нее был идеальной парой. Человек чести. Всегда в погоне за истиной. Истина всегда на первом месте.

Как назвать-то это дело? Вы подумайте: начиналось как дело о наследстве,

причем, что называется, из ряда вон, стало делом о пропавшем без вести, которого искала дюжина клиентов, потом — делом о двойном убийстве, расследованием истории добрачных отношений, делом о взыскании долгов. И внезапно превратилось в дело о совсем другом двойном убийстве. Когда чертов араб загремел в тюрьму (странно, не помню, как его звали), хоть с последним преступлением все стало ясно, но вот кошку в темной комнате я и посейчас не вижу, как ни пытаюсь заглянуть в замочную скважину. Вам бы разыскать араба — он, верно, гниет все в той же аборигенской тюрьме. Может, уже дозрел рассказать, куда запрятал тела и сокровища.

Ладно, полный вперед: дело, согласно записи в досье, началось в Лондоне, в Мэйфере, в мае 1922 года. Тамошний богач Барнабас Дэвис, владелец «Пивоварен Дэвиса», узнал от докторов, что жить ему осталось считанные недели или месяцы. Печально, да. Этот Дэвис был малый не первой свежести, но у него имелась молодая красивая жена и двое маленьких детей. Прознав о том, что осталось ему недолго, Дэвис улаживает дела со своими поверенными. Бумажка к бумажке, распишитесь тут, вдова и детки непристойно богаты, пивоваренным шоу управляет младший компаньон. А неделю спустя Дэвис, еще живехонек, опять вызывает поверенных и говорит, мол, он решил сделать кое-что еще, что раньше ему в голову не приходило.

На дворе, значит, 7 июля. Поверенные в доме Дэвиса, пользуясь случаем, потягивают его бренди и конспектируют то, что им твердит старик: семья и бизнес — это хорошо, но ограничиваться ими не след. Он хочет, чтобы весь мир знал: Дэвис всегда и везде творит добро. Он хочет сделать именное пожертвование университету, поддержать профессоров, он хочет построить больницу, он желает видеть свою фамилию на музейном флигеле, набитом полотнами художников-стипендиатов «Дэвисовского фонда современного искусства», он собирается возвести монумент полку, в котором почти все бойцы погибли на войне, а еще Дэвис хочет построить дом в свежеразбитом Дэвисовском саду и переименовать в «Дэвис» футбольный клуб заштатного городишки, а кроме того, он назначил время архитектору, чтобы тот начал работать над планом зоопарка в виде буквы «Д»; архитектор придет перед тем, как Дэвис отойдет ко сну — может быть, в последний раз. Дэвис, Дэвис, всюду сплошной Дэвис.

А еще он велит своим поверенным заняться делом совсем уж диковинным. Мистер Дэвис на этом свете добился воистину очень многого. В молодости он служил в торговом флоте, а потом ему несколько раз подфартило, и он создал империю, топившую британцев в недурной, надо сказать, жидкости янтарного цвета. Вы, молодой человек, наверно, и не слышали про «Дэвисов эль»? Сдается мне, после Второй мировой компанию перекупили и поменяли все названия. На бутылке, помнится, изображался корабль — может, пиратский. В любом случае этот старик Дэвис, стоя одной ногой в могиле, дает поверенным список, такой, знаете, нехилый список имен *женщин*, рассеянных по всему свету. Женщины из Канады, США, Эквадора и Перу, из Австралии, даже из России, и даты: когда, как ему *кажется*, он там был в последний раз и с этими женщинами встречался. Началось это дело еще во время его флотской службы, это значит, лет сорок тому назад, самые поздние — пятнадцатилетней давности. Тут-то все и завертелось: мистер Дэвис говорит юристам, что некоторые, или даже не некоторые, или, может, все и каждая женщина из этого спис-

ка могли родить мистеру Дэвису ребенка.

Разыщите птичек, говорит он, и разузнайте все про моих отпрысков. Коли отпрыски имеются — ничего больше не говорите, поблагодарите мамаш и отправляйтесь на поиски детей. Побеседуйте с ними и передайте мое предложение: Дэвис оставит каждому деньжат — приличных деньжат, ежели учесть, что деткам всего-то и нужно было, что родиться вне брака, а это дело нехитрое, — коли они примут два его условия. Первое: они оставят в покое наследство английских Дэвисов. Законная семья, значит, превыше всего, даже для такого маньяка. И второе: они согласятся принять имя Дэвиса. Да-да, мистер Мэйси, сменить фамилию. Старшему будет лет сорок, верно? Нужны ублюдку деньги — пусть меняет фамилию. Сколько денег? Это обсуждаемо, сказал Дэвис поверенным и показал нарисованный график: в идеале дети получают по нижнему пределу, но поверенные могут увеличивать суммы в зависимости от национальности и от того, добились ли дети чего-то в жизни, смогут добиться или нет. В общем, мне рассказывали, там рядом с графиком были уравнения. Образованный француз равнялся трем с половиной аргентинским матросам, как-то так.

Неудивительно, что поверенных все это приводит в легкое замешательство. Они указывают на то, что в двери старика Дэвиса пока что никто не ломится, и поскольку он сам, говоря без обиняков, вот-вот постучится в райские врата, нет никакого смысла копать в том, что давно прошло и забыто. Кроме того, говорит один вменяемый поверенный, Дэвис рискует тем, что незаконнорожденные детки опорочат его репутацию.

— И вовсе нет, — говорит Дэвис, — вовсе нет. Вы, ребята, главного не смекнули! Эти дети — мои дети, и все, чего они добились, — тоже мое и должно носить мое имя, поскольку я своими детьми горжусь. Хочу, чтобы имя Дэвиса жило в них и в том, что они делают. Все мы — Дэвисы, — говорит старик, прямо-таки употевая, — моя династия!..

— Ну что ж, мы — всего лишь поверенные, — отвечают поверенные, — и выслеживать ваших заброшенных отпрысков по всему белу свету — не наше дело.

Вряд ли, правда, они выложили все это клиенту-богатею вот так вот прямо. Но он их все одно не слушал:

— Наймите детективов, мне все равно, что и как, только займитесь этим, уладьте все по закону, составьте бумаги, я все подпишу, только быстрее, время-то тикает, понимаете? Коли нужно, я подмахну пустые листы, потом впишете имена детей куда надо...

Так или примерно так говорил мистер Дэвис.

Я уже слышу ваш вопрос: «Сколько же было потенциальных матерей?» Дело в том, что первый Дэвисов список оказался весьма предварительным. Окончательный документ формировался несколько дней. Жирный пивовар вызывал поверенных всякий раз, когда припоминал очередную женщину или обнаруживал имя еще одной леди в древней любовной записке, подлежащей сожжению перед отбытием Дэвиса к завтраку со Всевышним. Когда головное управление связалось со мной и Сиднейским филиалом (21 июня 1922 года), в списке предполагаемого потомства было тридцать восемь позиций — и Дэвис продолжал вспоминать.

Теперь надо бы объяснить, что такое «лондонское головное управление» и

«Сиднейский филиал». У меня была собственная компания, «Сыск Феррелла» — существовала вплоть до марта 1922 года, за несколько месяцев до этих событий. «Дело о гулящем пивоваре и убийствах в пустыне» — каково, а? Забирает? «Сыск Феррелла» был не особо прибыльным предприятием, но я знал толк в маскировке и заставлял людей говорить правду — или уж доказывал, что они лгут. Я был храбрым ублюдком, факт. Сидней я знал вдоль и поперек и не рассусоливал с бандитами, которые мнили себя гениями, поскольку таких, мистер Мэйси, не бывает. В этом мире есть лишь три типа людей, я на этом собаку съел и знаю, про что говорю. Три, а то и меньше.

В марте 1922 года мне было предложено стать частью и филиалом «Международных расследований Тейлора», растущего лондонского концерна, который собирался сделать расследования и вправду международными. Возглавлял его Николас Тейлор, он на самом деле был венгром по имени Миклош Шабо, он освоился в Лондоне и сделался эдаким частным детективом для джентльменов — с легким континентальным акцентом и аурой всезнайки мирового класса. Меня это устраивало. Ради обмена дензнаками и споров с их представителем о том, кто, когда, кому и сколько будет платить, я снял вывеску «Сыск Феррелла» и заказал знакомому парню намалевать новую: «Международные расследования Тейлора, Сиднейский филиал».

Вскоре после того, как мы сговорились, я получил задание по делу Дэвиса. Мне и всем тейлоровским следователям пришли одинаковые письма с инструкциями от поверенных, заключивших сделку с агентством мистера Тейлора. Поскольку Сидней точно входил в число гаваней, гостеприимно принимавших мистера Дэвиса, я должен был найти женщину по имени Юлейли Колдуэлл, которая в 1890-м, или в 1891-м, или в 1892-м, или, может быть, в 1893 году (точнее Дэвис не припомнил) была хорошенькой одинокой девушкой, проживала на Кент-стрит (весьма хулиганский район Сиднея) и подрабатывала прачкой. Других сведений нет.

Мистер Мэйси, уважаемый, не каждый день детективу выпадает в поисках потерянного наследника раскрыть два дела о двойных убийствах, причем одно — четырехлетней давности. Но ровно это я и сделал! Верю, вы поймете, почему мне, человеку, попадавшему во всякие переделки, особенно сладок этот мой триумф.

В 90-е годы прошлого века Кент-стрит представляла собой безотрадные задворки. К 1922 году немного поменялось. Род моих занятий таков, что избежать знакомства с труппами невозможно ну никак. Именно поэтому я никак не мог разделить надежд мистера Дэвиса на то, что его очаровательная девушка проживала там временно, в ожидании лучшей доли. Коли она еще жива — обретается поблизости. Много времени дело не займет, беспокоиться нужно только о том, как затянуть сроки и выбить из лондонского головного управления по максимуму денег — платят в итоге все одно поверенные и мистер Дэвис.

Я навел справки в архивах, порасспросил кое-кого. По такой методе выследить добычу труда не составляет. Проходит два дня — и 24 июня я стою в обшарпанной квартирке не прямо на Кент-стрит, а через две улицы от нее. Ужас, как там жили несчастные людишки. Я, знаете, даже почувствовал себя немного святым: они нуждались в Дэвисовых деньгах, а я пришел, чтобы помочь одному из них, рассказать, как их заполучить. Знаете, что нужно таким

людям? Какая-нибудь комнатуха, где можно побыть одному, поспать спокойно и в чистоте. Чуток уединения. Вам в вашем большущем нью-йоркском особняке этого не понять. Видите, сострадание мне не чуждо.

И вот я в битком набитом помещении пытаюсь добиться хоть какой-то реакции от женщины, которая выглядит лет на шестьдесят пять, а то и семьдесят, зубов нет, бледна мертвецки, нос сгнившей кочерыжкой, с телом вообще черт-те что. Мистер Дэвис тридцать лет назад был еще какой одинокий матрос торгового флота, потому что ее, говорит она, зовут Юлейли Колдуэлл. (Сказала дату рождения — выходило, что ей сорок девять. Ох уж эти мне женщины.)

Помещение выглядит и воняет так, будто крысы приходят и уходят как им бог на душу положит. Семьи во дворе и наверху гремят — аж зубы начинают стучать. Коли у Дэвиса в этой толпе имеется потомок, ему должно быть лет тридцать, не больше, и несколько человек этой примете соответствуют, но точнее не сказать — людей что сельдей в бочке, все мельтешат, вопят, носятся с каким-то хламом. Дети не старше тринадцати. Злобные амбалы, у которых якобы перекур, а я всеми фибрами чую, что они какую-то гадость задумали. Парочка замарашек — зуб даю, что промышляют на панели. Определить, кто кем кому приходится и кто тут живет, а кто просто так зашел, нет никакой возможности. Запись о том дне я озаглавил «Грязные животные», имея в виду либо грызунов, либо кошек-собак, либо людей.

Я, значит, стою и делаю все, чтобы привлечь к себе внимание Юлейли. Ежели когда-то она и работала, те времена давно прошли, теперь женщина и шага сделать не в состоянии. Я уже понимаю, что она безнадежна и рассчитывать можно лишь на временное просветление. И тут в помещение входит тощий, нездорового вида брюнет-коротышка в простецкой одежде, вынимает из авоськи буханку черного хлеба, сдирает с нее корку и кладет хлеб женщине на колени. Она глядит на буханку и кивает, будто старому другу. Коротышка становится у нее за спиной и ест меня глазами. Он похож на искомого наследника. Я спрашиваю: «Вы — или вы — знаете мистера Барнабаса Дэвиса?»

Юлейли таращится на меня, потом начинает грызть хлеб и опускает взгляд. Парень открывает раунд переговоров фразой «А если да?» — на что я отвечаю стандартным: «Тогда у меня к вам еще один вопрос». Он для проформы брыкается: «А кто вы такой вообще?» — за чем неизменно следует: «Вы ответьте, а там поглядим». Наконец мы остаемся на: «Может, она и знала Дэвиса, да что-то поздновато он спохватился, не находите?»

— Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, сынок. Я работаю на очень больших людей. — Он размышляет над этими словами и идет на попятную: ну да, имя Дэвиса парню знакомо. А Юлейли берет у коротышки бутылку пива и упрямо молчит.

Парень начинает нехотя выкладывать фрагменты истории, которые я складываю в одно целое. Парня звать Томми, он — один из тех одиннадцати отпрысков Юлейли Колдуэлл, которые, появившись на свет божий, сумели пережить свой первый день рождения. Имя Барнабаса Дэвиса Томми знает только потому, что Юлейли, когда он был мальцом, «только о нем и балабонила». «Ах, Барнабас, она любила его больше жизни, взял бы он ее с собой в Лондон, она была бы счастлива, но этому не суждено было случиться... только об этом и пела». Вот и славно, думаю я себе, мальчик найден, сейчас обговорим смену



фамилии — и дело с концом. Ага, сейчас: отцом Томми был ее *следующий* хахаль. Тот, в отличие от Дэвиса, остался с ней жить и бросил Юлейли, когда Томми было несколько месяцев, он потом еще вернулся и заделал ребенка номер четыре. Все равно он был не такой «знатный», как Дэвис, который был и сплыл, пообещав девятнадцатилетней любимой, с (на) которой провел увольнительную, однажды вернуться. Так что, выходит, Томми — это ребенок номер два. У него есть родная сеструха (номер четыре) плюс целый выводок единокровных братьев и сестер. Он начинает излагать мне их унылые истории, ведь я вроде как спрашивал. Я слушаю вполуха, потому что к моему делу они отношения не имеют. Он длинно и заунывно бубнит про то, как рождались мертвые дети, как семья голодала, как всех их емелили лживые фраера. Одна против воли стала проституткой, зато денег у нее — дай бог каждому. Вторая вышла замуж и несчастна. Третьего убили при Галлиполи. Четвертый работает на станции на севере. А вот и младшенькая, ей тринадцать, прямо перед вами, видите? (Имя в записи отсутствует.)

Все это было, конечно, чертовски скучно — бедность всегда скучна. Когда Томми выдохся, мы вернулись к главному вопросу: где сейчас старший брат Томми, соструганный Дэвисом ребенок номер один. Юлейли смотрит на меня и вдруг начинает поскуливать, а затем плакать — то бишь из носа у нее течет, как из крана, губы дрожат, но слез не видно. «Ой, Пол...» — говорит она. Вы представить себе не можете, с какой злобой посмотрел Томми — не на меня, а на пьяную уродину, которая только сейчас удосужилась связать два слова. «Заткнись, поняла? Подними зад и займись чем-нибудь, старая сука!» И плачущая женщина, шаркая ногами, уходит из комнаты, а младшенькая бежит за ней и обзывает Томми нехорошими словами.

Задыхающийся от ярости коротышка рассказывает следующее: Пол Барнабас Колдуэлл был «на год или два» старше Томми, то бишь родился в 1892-м или 1893-м, что совпадает с приметам. Томми Пола ненавидел. То бишь он любил его, пока рос — все-таки старший брат, ты его любишь, жалеешь, когда ему надирает задницу мамочка, мужчина в доме (очевидно, переходящее звание) или Роллекс (Роллинг? Кажется, я правильно прочитал). Но Пол скоро повзрослел, начал гоношиться, давал Юлейли сдачи, а потом и вовсе сбежал из дома. А еще Пол — удивительное дело! — хорошо учился в школе, даже когда был совсем пацаном. Что и бесит Томми: у одного Пола был шанс получить образование, настоящий шанс. Юлейли тогда еще могла работать и кое-что зарабатывала, Пол имел возможность учиться «каждый день, а не от раза к разу». Другие ходили в школу когда могли, они помогали маме, прощались с учебниками, когда государство решало, что с них довольно. Что еще хуже, Юлейли всегда внушала Томми и другим детям, что Пол — особенный, потому что отец Пола — особенный, и папу Томми она тоже попрекала: «Ты не Барнабас Дэвис!» «А Пол оказался неблагоприятной скотиной», — сказал мне Томми спокойно и зло, будто до сих пор в это не верил. Пол обзывал Юлейли шлюхой и бесстыдницей, говорил, что она ему не мать, что она непристойная женщина, что ноги его здесь не будут, и уходил к своим друзьям, «и никогда не брал меня с собой, — говорит Томми, — ни разу не позвал с собой, и не показывал мне свои книжки и картинки, смотрел на меня так, будто я грязь под ногтями, потому что мой папаша был не этим вашим мистером Дэвисом, а старым бедным Томом, ошивавшимся в пивнухе... Но однажды я его проучил, — лыбится

он, демонстрируя редкие зубы, — да так, что мало не показалось. Стащил одну его библиотечную книгу, самую отвратную, и показал Роулингу (Роллексу?). В тот же день из Пола выбили всю дурь. Это надо было видеть!»

Можете оценить, мистер Мэйси, как утомителен был этот спектакль. Мстительная ложь, из жалости к себе переиначенные воспоминания. Но я все мог понять и со всем смириться — такова моя работа. Выслушав уйму всякого, я дождался, пока молодой Том успокоится, и спросил: а где Пол Дэвис *сейчас*? Моя ошибка вызвала новую бурю эмоций:

— Не Пол Дэвис, а Пол *Колдуэлл*, ясно вам? Обойдется и этой фамилией, пусть спасибо скажет, что он Колдуэлл!

— Хорошо, пусть будет Пол Колдуэлл. Том, где он живет?

Оказывается, Пол сбежал, когда Томми было тринадцать или четырнадцать. Хлопнул дверью — и ни слуху ни духу.

— Юлейли это добило, — говорит Томми. — Он был ей нужен. Он должен был стать мужчиной в доме. Я чертовски устал выслушивать от нее, что я, мол, не сын Барнабаса Дэвиса...

— А потом — после, скажем, тысяча девятьсот седьмого года?

— А, ну да. Коммуняка или кто она там, сумасшедшая баба из библиотеки, она приходила один раз, в восемнадцатом или девятнадцатом году, вся из себя такая фря, всё нос морщила. Принесла письмо из армии, в нем было написано, что Пол пропал без вести, он капралом служил. «Других сведений нет». А мы даже не знали, что он на войну ушел. Пол пропал, Мика убило на турецких берегах, черт-те что, Юлейли проплакала тогда с месяц, не меньше... Господь небесный, да чего вы от нас *хотите*?

У меня записано: «Два с половиной часа среди животных. Лондону выставлен счет за десять часов». Тут нет ничего дурного, мистер Мэйси: Лондон, в свою очередь, предъявил поверенным счет на двадцать часов работы, а те раскошелили Дэвиса на оплату сорока часов — и поделом ублюдку, который так обращался с женщинами. Представляете, Мэйси? Детективы по всему миру бредили незажившие раны брошенных женщин и несчастных семейств. В тот самый момент, когда я говорил с Томми, толпы людей по всей планете стенали и орали — а все потому, что мистер Дэвис был кобель в молодости и хотел, чтобы его любили за это в старости.

Еще у меня записано: «Нанят Томми Колдуэллом с целью разыскать сведения о том, где проживает или захоронен Пол Колдуэлл. Оплата по обстоятельствам». Так в деле Пола Дэвиса, он же Пол Колдуэлл, появился второй клиент, хоть я и сомневался, что он мне когда-нибудь заплатит.

Мистер Мэйси, я сегодня спал как младенец. Ни разу с боку на бок не перевернулся, и кошмаров не было. За одно это я должен сказать вам спасибо. Вы и я вместе работаем над этим мемуаром, изучаем древнее дело, все раскладываем по полочкам, рассказываем миру о моих достижениях... Да я словно заново родился! Утром съел весь завтрак, заглотил эту отраву до последней крошки, даже вкусно было. Накануне вечером, перед тем как отрубиться, вынул из-под железной кровати ящички с записями и перечел парочку лучших дел. Мерзавец с соседней койки все бубнил, что лампа, мол, мешает ему спать, даже вызвал санитаров, чтобы принудить меня погасить свет. А мне все равно. Когда управимся с этим делом, надо бы взяться за «Дело красивой мертвой де-

вочки» — читателям оно явно понравится. («Не пропустите! Новый детектив от Феррелла и Мэйси! Выходит в следующем месяце!»)

Дело Барнабаса Дэвиса, значит, закрыто. У нас есть имя его сиднейского дяди: Пол Колдуэлл, родился в 1893 году. У нас есть его психологический портрет в возрасте до четырнадцати лет. Интеллектуальный уровень, возможно, выше среднего. Раздражен тем, что отец его бросил и оставил прозябать в бедности. Больше про сына, сотворив которого, мистер Дэвис застегнул пуговицы ширинки, поднялся на борт корабля и был таков, мы не знаем ничего. Нам известно, что мальчик отправился на войну и домой не вернулся. *Пропал без вести*, мистер Мэйси, означает, что не удалось рассортировать месиво из человеческих тел в грязи Франции, на побережье Турции или Суэцкого канала. Только Мельбурн объявляет солдата пропавшим не сразу, а спустя какое-то время. Кажется, в 1919 или 1920 году власти решили *никого* не считать пропавшим без вести — то бишь зачеркнули слова *пропал без вести* и вместо них написали *убит*. Так что по официальным документам Пол был мертвехонек, хотя Юлейли и Томми в известность о том почему-то не поставлены. В любом случае я подумал, что дело закрыто.

Но потом, мистер Мэйси, я все-таки передумал. Позже читатели поймут, что момент был ключевой и драматический. А *зачем* закрывать дело? Что мешает мне выставить гордому папаше счет за часы и дни, потраченные на расследование подробностей жизни и военной службы Пола Колдуэлла? Да, наследство получить вроде как некому, но «пропавший без вести» еще не совсем «погиб» — так почему бы не заняться поисками? Коли он погиб, может, он стал на войне героем, и его можно будет посмертно переименовать в Пола Дэвиса, доблестного мученика, солдата, геройски павшего в битве за Арденны. Жирный пивовар на пороге смерти купит себе замечательного сына, павшего смертью храбрых. Интересно, во сколько по его уравнениям обойдется *эта* покупка? И кто получит причитающиеся по закону денежки? Я соображал быстро, тем более что в эту игру мы уже играли. Можно приятно провести денек-другой, по всем счетам заплатит Лондон.

Теперь мне требовалось задействовать связи и хоть краем глаза взглянуть на военное досье Колдуэлла. Оно хранилось в Мельбурне за семью печатями, читать его не позволялось даже семьям. И не допускается до сих пор. И лондонский Дэвис на правах ближайшего родственника получил бы разве что письмо с констатацией смерти и указанием последнего чина покойного. Но коли вы занимаетесь расследованиями, мистер Мэйси, вам нужны полезные люди. И вот — вуаля! Парень, который у меня в долгу, знает парня, который в Мельбурне снимает девочек. Одна из этих девочек работает на человека, знакомого с парнем, работающим в историческом отделе Министерства обороны. Этот парень в долгу у первого парня, потому что первый парень может намекнуть в министерстве, что второй парень интимно отдыхает с девушкой, не шибко для этого подходящей (не сказать прямо — с аборигеночкой). Небольшая сумма денег (по счетам платит, само собой, Барнабас Дэвис) движется (и тает по мере продвижения) по длинной цепочке безымянных, но полезных людей. Обрато движутся документы — и вот седьмого июля я аккуратно переписываю, добавляя от себя возникающие по ходу дела вопросы, следующее:

*Пол Колдуэлл. Род. в 1890 г. (Томми сказал — в 1893-м). Записался добровольцем в пехоту (зачем?) в октябре 1916 г. с определением (кто*

определил?) на службу исключительно в Египте на срок присутствия там Австралийской имперской армии ввиду специальных знаний и обстоятельств (каких?). Поступил на службу рядовым (раз специальные знания, почему рядовым?). Командирован как пехотинец в Тель-эль-Кебир, Египет. Дважды повышен в звании и дважды отмечен за беспорочную службу подшитыми к делу рекомендательными письмами брит-го кап-на Х. С. Марлоу. (Британский капитан снизошел до австралийского землекопа?) Пропал без вести во время увольнительной 12 ноября 1918 года. Туземцы, живущие к югу от Дейр-эль-Бахри (500 миль от лагеря), обнаружили сначала винтовку Колдуэлла, потом личные знаки Колдуэлла и вышеупомянутого Марлоу. (Офицер-англичанин и землекоп отдыхают вместе?) Последнее звание: капрал. Статус «пропавший без вести» изменен на «погиб» при закрытии дела 29 июня 1919 г.

Капитан Марлоу был британским офицером, потому его дело как нельзя кстати хранится в Лондоне, но пока, мой дорогой Ватсон, довольствуемся тем, что у нас есть. Дальше: у проницательного следователя по прочтении документа должно возникнуть куда больше вопросов, чем появилось в моих записях в тот день. Можете сами попробовать сосчитать загадки, скрытые за шестью словами текста, увидите — они размножаются что твои кролики. Коли вы не в ладах с историей, вот вам подсказка: Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года, за день до того, как исчез Пол.

Еще одна бумага из военного досье парнишки: «Ближайший родственник: миссис Эмма Хойт, раб. в „Летающие Братья Хойт Энтертейнмент, Лимитед“, Сидней». Так-то он отплатил Юлейли Колдуэлл и братцу Томми! Ничего удивительного, что новости они узнали из третьих рук: при вербовке Пол про мать и не вспомнил. Родственнички у нашего парнишки — больное место. Хотел бы я спросить юристов, может ли новый «ближайший родственник» получить наследство Дэвиса, коли мертвого Пола Колдуэлла задним числом перекрестят все же в Пола Дэвиса?

Доброе утро, мистер Мэйси! Продолжим? Отлично. Само собой, о «Цирке Летающих Братьев Хойт» я знал. Уже слышу ваш нетерпеливый бубнеж: «А что общего у этой захватывающей истории с моей несчастной многострадальной тетушкой и исчезнувшим двоюродным дедушкой?» Все, мистер Мэйси, все общее. Терпение. Доверьтесь рассказчику, и все будет.

Так вот, само собой, о «Цирке Летающих Братьев Хойт» я знал — и удивился, узнав, что он все еще на плаву. 8 июля 1922 года я навел справки об Эмме Хойт в цирковой кассе.

— Сейчас она будет выступать, — говорит мне продавец билетов, лысый усатый мужчина с голым торсом. — С поклонниками она встречается после представления, но мой вам совет: если глянете на ее номер, она поболтает с вами куда охотнее.

— Сейчас? — спросил я, обозревая поле, провисающий желтый брезент шатра и трех или четырех людей, что слонялись вокруг фургонов.

— Начало через пять минут. Вам подфартило!

Я заплатил за место в первом ряду, лысый не мешкая надорвал билет, который сам мне продал, и, закрыв вход брезентом, проводил до места. Я посчитал зрителей: восемь, включая меня. Между тем в зале имелись скамейки, трибу-

ны и широкие диваны со столиками, рассчитанные сотни на три человек. Усадив меня, билетер миновал пустой проход, перешагнул через красный деревянный барьер, на котором давно облупилась краска, открыл дверцу в высокой железной ограде вокруг песчаной арены, закрыл ее за собой и взял мегафон. На заду его алых бархатных штанов красовалась белая заплата. «Дамы и господа!» — закричал он пронзительно и начал ходить кругами. Его взгляд был устремлен наверх, к давным-давно сгинувшей толпе.

Покончив со вступлением, он размотал свой хлыст и поднял заслонку клетки. На манеж крадучись вышли три исполинских тигра. Лысый без особого энтузиазма заставил их прыгать друг через дружку, переворачиваться на спину, сигать через железный обруч. Тигры хоть и реагировали вяло, но позволяли себе иногда порывивать в знак протеста. Лысый неспешно щелкал хлыстом в ответ. В конце концов он велел тиграм лежать смирно — те поворчали, но команду выполнили. Затем лысый снова поднял заслонку, и показался драматически освещенный со спины странный силуэт. Шагая вразвалку, из клетки выбрался пингвин. Птица обежала сникших тигров кругом, продефилировала по их спинам и прошла по тигриным животам, а хищники ворочались под ее лапами, как бревна. Напоследок, сойдя на песок, пингвин сделал по манежу круг почета, собрал аплодисменты, приблизился к тиграм и каждого поцеловал в нос (ясно, что к носам предварительно прикладывали селедку). Дети ахали и смеялись. Думаю, это был бы не номер, а загляденье — коли все шло бы как по нотам.

Однако в тот день у одного из зверей лопнуло кошачье терпение. Когда в дергающуюся усатую морду ткнулся воняющий рыбой клюв, тигр на мгновение выпростал черно-рыжую лапу. И вот уже пингвин дивится трем алым полосам на своей белой груди — прямо как богач, заливший кларетом вечернюю сорочку. Он в изумлении поднимает клювастую голову. Переводит взгляд на ленивого укротителя, который его выдрессировал и уговорил дважды в день смело идти в бой. Тот от тигриного нарушения дисциплины сам впал в ступор, поднимает хлыст, запоздало орет на зверя. Новый удар лапой — и пингвин, внезапно лишившись головы, раскачивается на месте. Но не опрокидывается, потому что другой лапой зверь пригвоздил лапки циркача к песку. Насладиться аппетитным содержимым раскуроченной птицы тигр не успевает — спину ему обжигает удар хлыста. Он с ревом оборачивается к человеку, который бьет и кормит его с самого тигриного младенчества. «Ну-кось, порочи у меня!» — кричит билетер, в ярости взмахивая хлыстом. Только тут два ребенка в зрительном зале понимают, что с пингвином, чьим прыжкам и ужимкам они только что радовались, случилось страшное: птичья голова лежит на красном барьере в паре рядов от них, в глазах-бусинах читается недоумение.

Позже миссис Хойт объяснила мне: ради безопасности укротителя, чтобы звери почували, кто тут хозяин, им в таких случаях полагается проделать все трюки наново и без ошибок — только тогда их выпустят с манежа и вознаградят мясным обедом. Пока дети рыдали в три ручья, а их родители приговаривали: «Спокойно, это все понарошку», тигры, раздраженно ворча, повторяли задания и огрызались на дрессировщика. Опять прыжки, перевороты, железные обручи. Вот тигры снова ложатся мордами вперед. Как и в прошлый раз, поднимается заслонка. Вновь виден силуэт пухленькой птицы с клювом как банан. Дрессированный пингвин опять ковыляет по манежу, надеясь на апло-

дисменты и свежую рыбку. Вот уж не знаю, о чем думал этот второй пингвин, шагая мимо грязной обезглавленной тушки своего коллеги. «Улетай отсюда! Скорее улетай!» — закричал маленький мальчик слева от меня.

Я описываю эту сцену, мистер Мэйси, лишь затем, чтобы рассказать про цирк, каким он был в 1922 году. За тиграми последовали китайские люди-змеи средних лет, к смущению аудитории сплетавшие тела самым замысловатым образом. Потом быстро выступил гимнаст на воздушной трапеции, одетый в трико с блестками: покачался чуток, упал на веревочную сетку, спрыгнул на песок и, на ходу разоблачаясь, побрел прочь. Все это время человек лет шестидесяти с равнодушным лицом играл на расстроенном пианино. Время от времени он страдальчески бормотал испуганным детям: «Ах, цирк! Волшебный цирк! Волшебный цирк...»

— Он закончил консерваторию. Дирижировал нашим оркестриком из десяти человек в те времена, когда с нами был Пол, — сказала мне назначенная «ближайшим родственником» Пола Колдуэлла Эмма Хойт, и лицо ее перекошилось. Она понимала, что скоро с цирком будет покончено. Может, еще с неделю она бы и выдержала, но «Цирк Летающих Братьев Хойт» переживал предсмертную агонию, чему я и стал свидетелем. Почти каждое предложение Эмма Хойт начинала со слов «вот в лучшие времена», или «когда мой муж Бойд был жив», или, самое интересное, «как хорошо, что Пол этого не видит».

Эта женщина лет сорока пяти была одета во что-то вроде цветастого военного мундира и по-своему привлекательна. Блондинка, волосы уложены под красным цилиндром. Зажигала одну сигарету за другой, но не курила. Ее фургончик пах духами, дрессированными собаками и навозом диких зверей.

Про Пола Колдуэлла она могла говорить бесконечно. Я сказал, что она вполне может унаследовать причитающиеся ему деньги, но миссис Хойт меня осадила: «Это невозможно. Он всего лишь пропал без вести». Я все конспектировал, так что теперь легко более-менее точно установить, кто что сказал. (Как вы считаете, что лучше: опубликовать отредактированные рассказы с длинными диалогами или отрывки моих записей? Последнее, конечно, достовернее, но читатель-то хочет на самом деле почувствовать себя на моем месте, а, мистер Мэйси?)

— Ваш визит вызвал к жизни столько тяжелых воспоминаний, мистер Феррелл. Пол был самой яркой звездочкой на небосклоне нашего цирка. Ему так нравилось все, что мы делали. Я каждый день про него думала — как он там, на фронте, сражается за нас, за наш волшебный цирк. Не поймите меня неправильно, в Германии тоже были хорошие цирки, но кайзер не слишком-то их жаловал. Нам, людям свободы, нравится то, с чем он и ему подобные никогда не смирятся... Когда Бойд ушел в лучший мир, я написала Полу, пообещала сделать все, чтобы цирк его дождался. После войны Пол мог бы стать владельцем, если бы пожелал. Он мог бы все изменить. Он был так предан цирку... Вы, конечно, хотите услышать историю с самого начала. Пол прибил к нам, когда ему было лет девятнадцать или двадцать. Его нашел Бойд, сказал, что обнаружил «невероятно талантливого» мальчишку. Он следил за Полом на рынке, тайком пошел за ним следом, смотрел, как тот работает. Бойд сделал вид, что просто гуляет и ни о чем не догадывается. Притворился, будто у него развязался ботинок, нагнулся, а потом схватил Пола за руку и забрал свой кошелек. Поначалу Бойд изображал из себя полицейского — ну, чтобы нагнать

на Пола страху. После отвел его в сторонку, указывал людей и смотрел, как Пол управляет. На следующий день жутко довольный Бойд привел его в наш лагерь. Пол был красавчик и умница, умнее всех, кого я знаю. Вы наверняка в курсе, что он работал в библиотеке... Стоило Бойду привести его к нам — и все изменилось! Знаете, мистер Феррелл, временами и посреди этого мрака видишь горящие глаза. Иных людей переполняет какое-то... возбуждение, что ли? Пол был похож на маленького мальчика. Ему хотелось погладить всех зверушек, даже тигров. Все были от него без ума. Он знал очень много об очень немногом, умен был не по годам, а самых простых вещей не соображал. Раз бродил вокруг лагеря. Зашел в шатер, я пошла следом. Он уставился на сложенные трапеции, на трибуны. «Вам случалось бывать в цирке, Пол Колдуэлл? Хотите с нами работать?» Он так обрадовался! Так засиял! «В цирке?» Он спросил меня, слышала ли я об одном итальянском силаче, чье имя он знал. «В цирке...» — все приговаривал он. Будто на Луну прилетел. Как я его понимала!

— Когда он стал вашим любовником, миссис Хойт?

— Я была замужем за Бойдом, мистер Феррелл.

— У меня сложилось впечатление, что мистер Хойт был значительно старше вас.

— Бойд был клоуном. То бишь, я имею в виду, по профессии. Смешил людей. Мог, скажем, изобразить, что ему стыдно, когда его застигали врасплох за кражей галстука. Он тогда щурился и пожимал плечами, делал вид, будто он — плохой, очень плохой, гадкий клоун. Зрителям это нравилось, Бойда любили. А за кулисами он становился каким-то неприветливым... Бойд поручил Полу чистить клетки, продавать билеты и рассаживать людей. Ну, чтобы людей с кошельками в карманах брюк усадить повыше — так Пол мог добраться до их кошельков во время представления. Он несколько раз участвовал в вечерних представлениях, показывал удивительный и страшный номер — Бойд считал, нам нужно что-то замысловатое. После антракта на манеж выходил Пол в костюме исследователя джунглей и исполнял пантомиму: он отбивается от пятерых верзил, загримированных под негров. Они сбивают его с ног, связывают, потом один приносит змею, нашего питона, совсем не опасного. Они скачут вокруг Пола, пританцовывают, потом склоняются над ним. Зрителям ничего не видно, каждый сам воображает, что там происходит. Чернокожие злыдни убегают, один прячет змею в одежде, зрители этого не замечают, они смотрят на связанного Пола, как он корчится от боли, извивается, высвобождает руку, рвет рубашку на груди, расцарапывает кожу — и тут его грудь разрывает изнутри змеиная голова! Такой ужас. Женщины падали в обморок. Потом манеж погружался во тьму. Когда огни загорались снова, Пол выходил на поклон. Иначе было нельзя, зрители должны понять, что на самом деле с ним все в порядке. На этот номер валили толпы, и когда бы не глупость Бойда... А еще Пол приносил деньги, много денег. И почти никто не жаловался, Пол опустошал кошельки наполовину и возвращал их на место... Бойд думал то же, что и вы. Убедил себя, что мы с Полом стали любовниками. Дни напролет торчал у тигров, с кислой рожей швырял им в клетки мясо. И что он себе думал? Что полиция по его доносу заберет у меня Пола, а про то, что в цирке летающих Хойтов под креслами шмыгают воры, никто и слова не скажет?.. Его арестовали во время представления, все было тихо-мирно, я так вообще ничего

не знала. Хотя можно было и догадаться: туземцы с питоном потанцевали на манеже и унесли змею за кулисы, а Пола все не было. Зрители начали уже поглядывать на часы, тут вышли Ван и Сон-чук с шестом и начали крутиться один поверх другого. «Как ты думаешь, где Пол?» — спросила я Бойда после представления. А он все курил и странно так на меня глядел. И я все поняла. «Что ты с ним сделал?» Я боялась, что он скормил Пола тиграм. «Старый подлюга! Что с ним?» Бойд не сказал ни слова. Через несколько дней я узнала, что произошло. Полицейские дали мне от ворот поворот. Я не отступалась, неделями пыталась достучаться до скотины инспектора, но меня так никуда и не пропустили. Прошло несколько недель — и мне сказали, что Пола тут уже нет, он ушел на фронт, чтобы избежать тюрьмы.

— Когда ваш муж умер, вы написали Полу письмо?

— Да, в тысяча девятьсот семнадцатом году. Он должен был знать, что я его не предавала, что не я его подставила. Я так боялась, что он винит во всем меня. Я не знала точного адреса и просто послала письмо в Министерство обороны. О Поле ни слуху ни духу, пока не пришло письмо, что он пропал без вести. Оказывается, он им сказал, что я — его ближайшая родственница. Вот тогда-то я поняла, что он не держал на меня зла и любил по-прежнему. Тогда же я узнала, что лишилась его навсегда... Я подумала — мне бы найти его семью. Пошла к той кошмарной библиотечарше, Пол мне все про нее рассказал. Да, они... как бы вам сказать... *сблизились*, да, но не она была его первой любовью. Скорее эта старуха использовала несчастного мальчика, попавшего в беду. Но она по крайней мере знала, где живет его семья. Потом мне пришло еще одно письмо из министерства — они перестали считать его пропавшим без вести, решили, что он погиб. Но тела ведь не нашли, просто в деле так записано. Я очень хочу, чтобы цирк дождался Пола таким, каким Пол его оставил... Бедный пингвин...

Мистер Мэйси, закончим сегодня на циркачке, оплакивающей погибшего любовника, погибший цирк и погибшего пингвина. Я подождал немного, пока она возьмет себя в руки, но спустя несколько минут стало ясно, что это надолго, так что я попрощался и пошел своей дорогой. Пару дней спустя я получил письмо:

*«Мистер Феррелл, ваш вчерашний визит ободрил уставшую от жизни женщину. Вы успокоите меня, добыв любые сведения о том, как сложилась судьба Пола. Если требуется вас нанять — считайте, что я это сделала. Если вы разыщете его и выясните, что он, считаясь Безвестно Пропавшим, предпочитает не возвращаться к нам по одному ему известным причинам, убедите его, что я не совершала Предательства. Я никогда бы его не предала. Скажите ему, что я его люблю. Если Пола больше нет с нами, пожалуйста, дайте мне знать, что с ним произошло. Меня тут ничто не держит. Я пойду за ним хоть на край света — прошу вас, скажите ему об этом. Мне нечего продать, кроме тигров, а что будет, когда тигры кончатся, я не знаю».*

Таким образом, мистер Мэйси, в деле образовался третий клиент!

Но что я мог сообщить про Пола Колдуэлла в Лондон? К сожалению, только то, что он преступник. Дэвис, скорее всего, не обрадуется, а то и надумает исключить Пола из списка наследников. И добровольцем на фронт, как теперь



выясняется, Пол пошел, скорее всего, потому, что так сложились обстоятельства: Австралийская имперская армия куда привлекательнее каторги.

Зато у меня появились две новые зацепки: инспектор Далквист, арестовавший Пола Колдуэлла и пославший на смерть в Египет вместо того, чтобы сгноить в тюрьме, и мисс Кэтрин Барри, библиотекаряша, дважды всплывавшая в нашем рассказе, первая женщина Пола. Чем дальше в лес, тем прибыльнее я тратил время на дело Дэвиса.

Кстати. Я отошлю вам то, что успел написать, чтобы вы могли начать переговоры с издателями. Буду ждать вашего ответа авиапочтой, а пока продолжу расшифровывать мои записи и письма.

*С глубоким почтением,  
Гарольд Феррелл, частный детектив (в отставке)*

*Вторник, 10 октября 1922 года. Гостиница «Сфинкс», Каир*

*Дневник:* Прибыл в Каир по железной дороге из Александрии. Немедленно приступаю к работе. Запланировал посвятить пять дней в Каире приготовлениям к экспедиции и изложению истории вопроса, после чего отправлюсь на юг.

*К рукописи:* Книге должно начинаться с фронтисписа, переложенного полупрозрачным папье-плюром. *Фронтиспис:* «Царский картуш Атум-хаду, последнего царя XIII династии Среднего царства Египта, 1660–1630 до Р. Х.» Ограничить ли читательскую аудиторию учеными? Нет; потому пояснить для простых читателей, что картуш — это царский герб, одно из пяти имен царя (имя Сына Ра), написанное иероглифами и заключенное в овал.

*Эпиграф после фронтисписа:* «Смекалка и решительность, с которыми человек преодолевает физические трудности, есть для нас источник наслаждения и повод для восхваления». Джон Рёскин, «Камни Венеции».

Или: «Пусть гробница Атум-хаду еще не обнаружена, но ясно как день, что мы весьма близки к цели». Ральф М. Трилипуш, «Коварство и любовь в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.; в 1923 г. ожидается переиздание в «Университетском издательстве Гарварда»).

Или: «Ральфу Трилипушу никогда не убедить ни одного разумного человека в том, что царь Атум-хаду когда-либо существовал, а тем более — написал так называемые „Назидания“. Проф. Ларс-Филип Тюрм, „Египтологический журнал“, 1921 г.». Эпиграф позабавит читателя, если рядом поместить фотографию: я на фоне гробницы Атум-хаду с неповрежденным папирусом «Назиданий» в руках.

Или: возможно, подойдет цитата из «Назиданий», порождения выдающегося ума и шаловливой тростниковой кисти самого царя Атум-хаду? Скажем, строка первая катрена 30 (есть только в отрывках «В» и «С»), «Атум-хаду безмерно брату рад». Правда, эта строка, будучи вырванной из контекста, может ввести в заблуждение, поскольку катрен 30 рассказывает о том, как Атум-хаду разоблачил самозванца, претендующего на родство с царем:

*Атум-хаду безмерно брату рад,  
Из чрева одного ведь вышли он и брат!  
Но ложь царю глаза не застит,  
Казнят обманщика огонь и аспид.*

*(Из книги Ральфа М. Трилипуша «Коварство и любовь в Древнем*

*Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г., в 1923 г. ожидается переиздание в «Университетском издательстве Гарварда»)*

Нет, лучше начать рассказ о приключении как положено, пусть книга открывается дразнящим намеком на грядущее открытие, и эпитафия опишет волнительный эпизод, коему суждено случиться в недалеком будущем; эпитафией станет цитата из самой книги. Выделим миг торжества и перенесем его в самое начало, где он превратится в ослепляющий драгоценный камень в короне, в пикантную закуску, что щекочет читателю язык, в прелюдию к скорому обильному пиру, готовящую чрево к перевариванию яств, кои читателю непривычны в силу бедности его каждодневного рациона. По самым опасливым оценкам я смогу сделать подарок себе на день рождения — значит, берем ориентировочно 24 ноября. Итак, шесть с половиной недель спустя, без особых восторгов и без занудства, примерно так: «стр. ii: 24 ноября 1922 года. На участке в Дейр-эль-Бахри. Вынув расшатанные камни, я опустился на колени и, игнорируя неистовое биенье сердца, медленно, со всей возможной тщательностью начал расширять дыру в тысячелетнем нагромождении песчаника. Фонарь дрогнул в руке пораженного безотчетным страхом Абдуллы. „Эй, все в порядке. Поддай-ка мне фонарь, — прошептал я, заглянув в узкое отверстие. — Наконец-то...“ — „Что видит его светлость? Пожалуйста, скажите!“ — „Бессмертие, Абдулла. Я вижу бессмертие“».

*Обложка:* фотография Р. М. Т. рядом с золотым (иным он быть не может) саркофагом Атум-хаду. Неподалеку столпились туземцы в одеждах рабочих. «Ральф М. Трилипуш и открытие гробницы Атум-хаду». Автор — Ральф М. Трилипуш. Подзаголовок: «Включая личный дневник археолога, его заметки и рисунки». «Университетское издательство Гарварда», 1923.

*Благодарности:* Столь значительное открытие не могло состояться без неустанной поддержки и вдохновляющего примера многочисленных помощников. Выражаю искреннейшую благодарность моей команде — почти полутысяче рабочих, чье усердие соразмерно лишь их преданности мне и нашему общему делу: отринув терзавшие их сомнения, они оперлись взамен на простую веру в то, что извлеченные мною из-под земли предметы ценны не одним лишь блеском своим. Отдельный сердечный «салаам» — моему старшему рабочему Абдулле, который точно знал, когда вознаграждать своих людей кнутом, а когда *бакшишем*; во дни трудов и забот меня равно трогали и удивляли его беззаветная верность и трогательные попытки обороть затейливость английского языка. Мистер Честер Кроуфорд Финнеран из компании «Фешенебельные Фасоны Финнерана» — джентльмен необычайных глубин и способностей, разборчивый коллекционер древностей, человек воли и вместе с тем редкого такта, совсем не такой, каким представляешь себе американца, да еще и достопамятный «торговый магнат». Наш Ч. К. Ф. доказал, что достоин благородного древнеегипетского титула Владыки Щедрости, коий носил в тяжелые времена великодушный и доверительный распорядитель мудростью и богатством. Этим титулом сам Атум-хаду именовал в стихотворных «Назиданиях» собственного доверенного главного министра. Гробница Атум-хаду открылась нам благодаря Ч. К. Ф., моему Владыке Щедрости, и другим моим компа-

ньонам по «Изысканиям Руки Атума, Лтд». Никаких слов не хватит, дабы выразить мою любовь, восхищение и признательность моей невесте, Маргарет Финнеран. Братьям-исследователям, что трудятся среди жарких песков нашей возлюбленной приемной матери, я говорю спасибо за совокупный пример, за непрестанную и зачастую недооцененную самоотверженность. В частности, я хотел бы упомянуть брильянт египтологических изысканий, моего дорогого друга мистера Говарда Картера, погруженного в момент сочинения этих строк в шестой сезон длящиеся и очевидно бесплодные поиски химерической гробницы рядового царька XVIII династии по имени Тут-анх-Амон. Заявляю открыто: пожнет он успех или неудачу, почти бессмысленная (шесть лет!) самоотверженность мистера Картера есть пример для всех нас — за это я восхищался Картером еще до того, как встретился с ним и назвал другом. Салютую старшему товарищу по песчаной пыли, моему наставнику и самому видному из египтологов уходящего поколения, кое скрепя сердце передает факел нам. Наконец, эту книгу определенно следует посвятить великому царю Атум-хаду и его божественному покровителю, Первотворцу Атуму. Многие до последнего сомневались в том, что гробница Атум-хаду да и он сам когда-либо существовали, но я, не допуская и тени сомнения, превозношу гений Атум-хаду, его правление, его поэзию — и через 3500 лет приветствую великого царя! О Величество, мир пристально взирает на тебя, на твою золотую гробницу, на иссушенные пелены твоей возлежащей среди необозримых сокровищ смуглой мумии. Мир дивится твоей жизни, твоим речам, твоему великолепию. Мир с благоговейным трепетом взирает на твои благородные внутренности в сосудах-канопах. Таково бессмертие, кое ты искал и стяжал, и вечный триумф, и вечная слава.

*Об авторе:* Профессор Ральф М. Трилипуш родился 24 ноября 1892 года. Единственное и обожаемое (если не решительно избалованное) дитя прославленного воителя и исследователя Экгберта Трилипуша, он вырос в зеленой идиллии и неге Трилипуш-холла, графство Кент, Англия. Занимаясь с домашними учителями, он проявил не по летам поразительную способность к языкам и с головой погрузился в историю Древнего Египта. К десятилетнему возрасту он овладел тремя древнеегипетскими формами письменности и занялся переводом древних текстов на английский. В возрасте двенадцати лет он пересмотрел хронологию правления египетских царей и династий и с точностью, не достигнутой никем из признанных авторитетов, указал на пробелы в современной египтологии. Восторгая сверстников и обращая на себя внимание взрослых, он рано поступил в оксфордский Баллиол-колледж, где многие полагали его и его близкого друга Хьюго Сент-Джона Марлоу «величайшей надеждой египтологии». В Оксфорде оба студента трудились под водительством покойного профессора Клемента Векслера, пытаясь вместе с ним убедительно доказать либо опровергнуть существование царя XIII династии и мастера эротической лирики Атум-хаду, в те времена считавшегося апокрифическим. Трилипуш защитил магистерскую работу, однако его докторантуру прервала мировая война, во время которой его и Марлоу отправили в Египет офицерами контрразведки. Там под огнем противника двое исследователей, раскопав тропу на склоне холма близ Дейр-эль-Бахри, сумели извлечь из-под земли отрывок «С» «Назиданий» Атум-хаду, совершив гигантский шаг к тому, чтобы

доказать: великий царь существовал, и именно ему принадлежит авторство переведенных ранее отрывков «А» и «В». Вскоре после этого открытия Трилипуш был назначен советником австралийской армии при взятии Галлиполи, был ранен в бою, пропал без вести и некоторое время считался погибшим. В одиночку Трилипуш добрался до Египта, прибыл туда после заключения перемирия — и узнал, что его лучшего друга Марлоу убили, когда тот отправился в экспедицию в небезопасный район египетской пустыни. После демобилизации Трилипуш, оберегая отрывок «С», привез его в Соединенные Штаты Америки, где сделал блестящую академическую карьеру. Он осуществил окончательный, пусть и неоднозначный перевод и разбор всех трех отрывков Атум-хаду и опубликовал их под названием «Коварство и любовь в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.). Сногшибательные продажи этого емкого шедевра подтвердили репутацию Трилипуша — непогрешимого ученого и популяризатора науки о Египте.

Получение профессорского звания и скорое назначение на должность главы кафедры египтологии Гарвардского университета последовали за совершенным 24 ноября 1922 года, в тридцатый день рождения Трилипуша, открытием гробницы самого Атум-хаду и опубликованием захватывающего, однако же академически безупречного труда, который вы держите сейчас во вспотевших руках. Открытие гробницы Атум-хаду было мгновенно признано беспрецедентным и успешнейшим как с финансовой, так и с научной точек зрения открытием за всю историю египетских раскопок.

В 1923 году профессор Трилипуш был возведен в рыцари и восчествован правительствами и университетами всего цивилизованного мира.

Он женат на урожденной Маргарет Финнеран из Бостона, штат Массачусетс, США, фантастически богатой наследнице владельца универмага.

*Среда, 11 октября 1922 года*

*Дневник:* Встал поздно. Второй завтрак в городе. Освежаю теплые воспоминания о сказочном Каире. Изучил рынки. Приобрел карты Каира, Луксора, Фиванской долины. Приобрел лишний набор домино. Потрясен фруктовыми лавками: круглые фрукты уложены совершенными разноцветными рядами, точно великанские счеты. Свежие желтые финики. Почти черные сливы, кожица — будто ночные небеса: рассеянные облака, мерцающие звезды. Обнаружил лавку, торгующую патефонными иглами, которые, уверил меня славный лавочник, подойдут к моей переносной «Виктроле-50». В итоге по возвращении в гостиницу я испортил первые секунды песни «Ты — дивный сон, проснись — и плачу». Вернулся к своим заметкам; продолжаю подготовку бумаг и планов, редактирую написанное вчера.

*Обращение к читателю:* Книга, которую ты держишь в руках, не похожа ни на один египтологический труд, ибо для того, чтобы позволить тебе уразуметь совершенное нашей командой открытие, этот том предложит тебе введение в историю правления царя Атум-хаду, а также сей дневник, который я вел во время экспедиции ежедневно, а то и ежечасно, со времени прибытия в Каир и до момента, покуда не было очищено, омыто и занесено в каталог каждое завораживающее сокровище Атум-хаду.

Мой читатель, сейчас, когда приключения наши увенчались ударным фи-

налом и мы с дорогим другом и коллегой, исследователем Говардом Картером, сидим в гостеприимном доме нашего дорогого друга Пьера Лако, неподражаемого генерального директора египетского Департамента древностей, всего в трех милях от гостиницы «Сфинкс», откуда в октябре, три месяца назад, пустился я в свой путь, я устремляю взгляд к вечернему Нилу и приглашаю тебя вместе со мной пережить изумительное приключение всей жизни, которое готовилось 3500 лет.

*Профессор Ральф М. Трилипуш 18 января 1923 года*

*Резиденция генерального директора Департамента древностей Каир, Египет*

[До набора уточнить даты 24 ноября и 18 января — Р. М. Т.]

*Дневник:* 11 октября, я только закончил составление некоторых необходимых для понимания целого частей моего труда, которые позже займут в нем сообразные места. Теперь я могу приступить к дневнику с начала и пригласить моего читателя в Египет.

Я добрался до Каира вчера, а в последний раз лицезрел сей чудесный город в 1918 году. Я приехал на поезде из Александрии, где сошел с борта «Кристофоро Колумбо», который перевез меня (после железнодорожного путешествия из Бостона) из Нью-Йорка через Лондон и Мальту, где, готовя себя к предстоящей работе, я неделю основательно расслаблялся. Свою временную штаб-квартиру я разместил в розово-золотом Фараонском номере мраморно-прожилистой каирской гостиницы «Сфинкс». Роскошь меня не влечет, однако где-то же нужно развернуться, чтобы переделать множество насущных дел и мириады дел грядущих, да и бостонскому консорциуму ученых и богатейших светил египтологии и коллекционеров, снабжающих мою экспедицию деньгами, вряд ли понравится, если их лидера еще до того даже, как он отправится на юг, на участок, изнуряют апартаменты без элементарных удобств.

Ибо на взгляд непосвященного обилие стоящих перед археологом задач удивительно. Приведу пример: оказавшись на участке, я стану директором огромного предприятия, который распоряжается армией рабочих и отвечает за их поведение, самочувствие, добросовестность, эффективность и жалование. Мне предстоит обмерять, зарисовывать, включать в описи и зачастую спешно консервировать сотни различных предметов, различающихся по величине от брильянтовой сережки до украшенных изысканными изображениями и резьбой стен огромной погребальной камеры. Я буду вести переговоры с чиновниками египетского правительства, за которыми по сей день для их же блага надзирают мудрые и неподкупные правительства Франции и Англии. Одновременно я займусь сочинением научного труда, уточнением событий, имевших место три с половиной тысячелетия назад, и, весьма вероятно, переводом новооткрытых эротических, политических и блещущих едким остроумием текстов, написанных гением на языке, уже две тысячи лет как вышедшем из обихода. Кроме того, мне придется готовить детальные отчеты для мудрых компаньонов, оплачивающих весь этот бешеный бедлам. Следовательно, если моей отправной точкой не чужд некоторый стиль, того требует научная необходимость.

Кстати сказать, несмотря на всю свою хваленую роскошь, гостиница «Сфинкс» являет следы нынешнего египетского упадка. Гостиница предназначена туристам (в стране, которая неизменно была для меня рубежом науки либо армейским форпостом) и выражает характерную, очевидно неистребимую тягу современного египтянина выменять свое благородное отечество на шиллинг. Имеющийся на всякой доступной поверхности гостиничный герб щеголяет нелепой триадой в составе грифа, сфинкса и кобры, увенчанной иероглифической выжимкой девиза, предостерегающего (а кого — ума не приложу, ибо кто из постояльцев способен разобрать иероглифы?): «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ».

Гор, воплощавшийся в каждом египетском царе сокологлавый бог неба, эту гостиницу явно бы не одобрил, но и сюда, в средоточие псевдофараонских вычурных древностей, сквозь открытые окна патио доносится с Нила запах и дух истинного Египта — *моего* Египта, — и под паром дыхания исконного царства, что обжигает меня сквозь тысячелетия, весь современный *luxe*[2] номера съезживается и истлевает. Зов властителя и триумфатора Атум-хаду настигает меня даже здесь, в то время как я на балконе из хрустального бокала глоток за глотком цежу (без страха перед псами американского сухого закона, о которых я думал даже в приватном баре Финнерана) лимонад с джином и наблюдаю мой Нил, а на установленной у балконной двери «Виктроле XVII», великолепной исполинской кабинетной модели, совершает семьдесят восемь оборотов в минуту песня «Он идет своим путем, и кто ему судья?».

Отдыхая от трудов, я с беспримесным наслаждением лелею воспоминания о недавних бостонских проводах, состоявшихся, кажется, годы назад, и о вечеринке, на которой гости, включая поддержавших экспедицию заимодавцев со своими половинами, провозглашали тосты за нашу скорую удачу в Египте и отмечали мою помолвку с хозяйской дочерью. На стекло памяти наслаиваются образы: накрахмаленные вечерние туалеты и современные легкие платья, пылающие бумажные фонари, негритянский джаз-банд, размещенный во внутреннем садовом дворике; музыка дрейфует сквозь открытые двери и окна особняка Честера Кроуфорда Финнерана, что на авеню Содружества, по неуместному раннесентябрьскому зною:

*Собаки — друзья  
Человека от века.  
Ах ты мой песик!*

Дом Финнерана, и так изнемогающий от египетского декора, по случаю вечеринки обогатился двумя золотыми тронами, которые Ч. К. Ф. установил на квазикарпичном помосте в самом конце бальной залы. Вечер достиг кульминации, когда он по трем ступенькам возвел на помост нас с Маргарет, водрузил нам на головы эпатажные (и конструкционно неточные) фараонские короны, волком посмотрел на главу джаз-банда, сказал «эй, в джунглях, уймитесь!» и, подняв свой кубок, выдал из гостей одну-две алкогольных слезинки: «Бог с ними, с песками пустыни! Во всем мире нет такого сокровища, которое сравнилось бы для меня с девочкой, сидящей на троне — и там ей самое место!» По зале прокатился шквал «о-о-о!», «у-у-у!» и «наш Ч. К. милый-милый!»; ухмыльнувшийся старый увалень захлопал в ладоши, и гомон отступил. «Но это не значит, Пыжик, что ты вернешься с пустыми руками!» Всеоб-

щее веселье. «Не, парни, а парни, я серьезно: на что только отец не пойдет, чтобы заполучить такого зятя, а? Английский джентльмен, отменное образование, исследователь. Честно, тут мы с Маргарет заодно — мы самая счастливая девчонка на свете! В общем, топай за золотишком, Пыжик, мальчик мой, и если вернешься в золоте с ног до головы, со слитками, драгоценностями и коронами, то... — хитрый взгляд сквозь извилистые кольца сигарного дыма, — у Маргарет будет отличное приданое!» Его блистательная речь справедливо нашла отклик в сердцах гостей. Мы с моей невестой махали им руками так, что куполы наши ходили ходуном, и я сжимал ее кисть, чтобы она не уснула, поскольку от волнения хрупкий ее организм, конечно, обессилел. Веки Маргарет отяжелели, она улыбнулась и прошептала: «Здорово, правда, любовь моя? Вся эта фиеста. Мне бы сейчас сиесту...» Даже в томлении она была упоительна и благодарна отцу и мне. Толпа одобрительно заголосила, приветствуя наше обручение и успех моей операции — возможно, не совсем в таком порядке, ибо многих гостей Ч. К. Ф. подбил на партнерство в «Изыскания Руки Атума»; он в сей компании президент, я — технический консультант и акционер. Джаз-банд заиграл изощренный фокстрот и запел старую как мир и не лишённую египетских аллюзий песню о каверзах животного мира:

*Коль не по сердцу тебе на одном трястись горбе,  
Обходи ты с видом гордым дромадеров одногорбых.  
Если ж хочешь ты болтаться, колебаться и мотаться  
Между шишек между двух...*

«Не так быстро, парни, — прервал их Ч. К. Ф., и инструменты замолкли один за другим, причем непонятливее всех оказались цыкающие цимбалы, — у нас тут небольшой сюрприз!» И Ч. К. Ф. вызвал из зала Кендалла и Хилли Митчелл, веселую парочку из Бикон-Хилл, с которой я уже встречался на собрании инвесторов. С Кендаллом, кроме того, я поглощал весьма благонравные коктейли в его более чем благонравном клубе, там он расспрашивал меня о прошлом и о Египте в обстановке повышенной прилипчивости и секретности. Я понял, к чему был этот допрос, лишь когда Хилли, смешливо толкнув черного пианиста едва прикрытым бедром, согнала его с места, а Кендалл, ослабив галстук, принял стойку звезды кафешантана. Пока Маргарет пыталась удержать тяжелеющие веки, я слушал музыкальный номер, сотворенный двумя завсегдатаями вечеринок, чью психику расстроили деньги и унаследованная недвижимость, двумя героями-добровольцами песенного фронта, совершавшими подвиги на полях развлечений Бикон-Хилла и Бэк-Бэя. Стихи я воспроизвожу по записи на отмеченной кружком от выпивки салфетке, которой меня одарили после выступления («Посвящается Ральфи! Откопай „мумулю“ для своего нового „папули“! Много-много счастья желают тебе твои янки, Х. и К. Митчеллы»), Хилли молотила по клавиатуре неуклюжими кулачками, а Кендалл заливался соловьем:

*Отпущен из Оксфорда раньше срока,  
В солдатских галифе, за спиной ранец,  
Шагал молодой Р. М. Трилипуш,  
Зная, что век болеет этой ране.*

*Послали в далекий Египет его —  
Сражаться с кайзером, что б ни случилось;*

*Несколько лет он провел на войне,  
Но на кайзере это не отразилось.*

*В это время он потом исходил,  
На карачках на Востоке пребывая.  
(Не подумайте дурного — я о том,  
Что копался он в песке в пустынном крае!)*

*Перелопатил с другом он немало земли,  
Когда винтовки бошей их нашли,  
Но тут раздался крик: «Черт подери!» —  
Не так уж и долго копались они.*

[В этом месте, как сейчас помню, Ч. К. Ф. закричал: «Не то что некоторые!» Его слова относились, я полагаю, к официантам, которые медлили с очередной порцией выпивки. «Папочка, ну что ты!» — мягко пожурела его моя Маргарет, упершись подбородком в коленки.]

*О том, что они раскопали в тот день,  
Все знают прекрасно и там, и тут,  
Наши жены из-за этой штуки не спят,  
От нее наши (гм!) мечты растут.*

*Они нашли веселую иероглифику,  
Ее сочинил какой-то фараон.  
Пыжик без купюр издал ее на английском —  
И читатель вздрогнул, как испуганный слон.*

[В том клубе я то и дело поправлял Митчелла, с растущим раздражением объясняя, что находят иероглифы, а не «иероглифику», и что термин «фараон», употребленный в отношении египетского царя из династии до XVIII или XIX, есть вопиющий анахронизм, который, честно сказать, оскорбляет мои уши. Атум-хаду из XIII династии следует именовать «царем», а не ивритизированной метонимией «пер-аа». Я повторил эти слова раз десять, пока на нашем столе один за другим сменялись серебряные шейкеры, в которых плескался (как официант всякий раз зычно провозглашал с неясной для меня целью) «ваш чай со льдом, мистер Митчелл!». Все же следует нехотя признать, что, быть может, «иероглифике» отдали предпочтение в угоду рифме.]

*Так старик Р. М. Трилипуш сделал и имя, и состояние,  
Так он воздвиг себе монумент, снискав у всей планеты признание.  
Гарвард доверил ему молодежь, ну а потом он девчонку встретил —  
И все мы теперь в курсе того, что он — лучший друг Ч. К. Ф. на свете!  
Прихватив сердечко Маргарет, Пыжик вновь спешит на Нил,  
При нем — деньжата Честера...*

[музыка прерывается, и Кендалл кричит]

*...и мои! И мои!  
И мои! И мои!*

[и показывает на гостей, которые, как и он, вложились в «Руку Атума»]



*Он молил нас, он заклинал нас,  
Битый час скукотищей терзал нас —  
Но, клянемся Изидой, Гором и Ра,  
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!*

[Я бы заметил, что слово «молил», пусть оно и облегчило Митчеллам задачу ритмизации строк, достойно особого разбирательства. Если не сказать жестче. Я еще вернусь к тому, кто и кого молил.]

*Клянемся Изидой, Гором и Ра —  
Нам Пыжик заплатит, когда наступит пора!*

Затвердив этот куплет, толпа распевала его несколько головокружительных минут. В это время, к моему бесконечному удовольствию, Маргарет сверкала и сияла под полной луной, извергавшейся со стеклянного потолка бальной залы, и серебряный свет лизал синие искрящиеся веки (тем вечером они с Инге добивались «эффекта Клеопатры»). Задремала она или просто наслаждалась представлением, сомкнув очи, красота ее в тот миг, как и в любой другой, ошеломляла. На секунду мне показалось, что я достиг всего, о чем когда-либо мечтал. Парадоксально, ведь экспедиция не успела еще начаться. Я баюкал своею рукой ее изящную, мягкую кисть; всякий тонкий и длинный палец ее сочленен, словно грациозный нарцисс, склоняющийся к воде. В своей дремотной истоме она, как и всегда, представала воплощением многочисленных древних образов, украшавших залы дворцов и стены гробниц, и походила то ли на праздных дев, вырезанных в извести и светлом алебастре, то ли на длиннопалых прислужниц и богинь — манивших, пробуждавших и провожавших мучимого ностальгией мертвеца на пути в следующий мир.

Я перенес мою обессилевшую красавицу наверх, поцеловал ее на ночь и укрыл одеялом до подбородка, будто вырезанного из слоновой кости, после чего вновь низошел и отдался танцам с Инге и компаньонскими женами, часть которых близкий контакт со всамделишным египетским исследователем толкал на несовместимые со своеобразной бостонской скромностью поползновения, так что мне более чем однажды хотелось твердо, но ласково напоминать леди о сообразном положении рук в ряде популярных танцев.

Миновала полночь, из бальной залы Финнерана вечеринка выплеснулась на Арлингтон-стрит. (Сцена, которую я буду хранить в памяти вечно: мой будущий тесть, аттестующий себя «кроток аки агнец», похрюкивая от напряжения, с мальчишеским задором пинает распростертого на земле человека, попытавшегося, когда мы переместились в Общественный парк, на бегу выхватить тестевы карманные часы. Кающийся грабитель зовет на помощь полицейских. «Не волнуйся, сынок! Мы тут!» — спешно отзываются четверо служащих бостонской полиции, которых Финнеран пригласил на вечер, дабы ему не досаждали «спиртные» инспекторы. «Благодарю вас, офицеры», — спокойно произносит Финнеран и отступает, позволяя копам избить карманника более профессионально и вмешавшись лишь раз — дабы выгрести из кармана скулящего преступника деньги на «чистку ботинок, которые ты, бандит эдакий, избрызгал кровью».)

Ч. К. Ф. велел установить в Общественном парке палатки и вертелы для жарки; зримое благоухание жареных молочных поросят поднималось к длинным серо-голубым облакам. Одни гости, увиваясь за официантками в эконом-

ных нарядах египетских девочек-прислужниц, тянули руки к их подносам либо ягодицам — в зависимости от того, чего им в тот момент хотелось. Другие кутилы, упившиеся не столь сильно, брели к утиному пруду и там производили реквизицию общественных водных велосипедов в форме исполинских лебедей либо, разоблачившись до рубашек и прозрачных сорочек, погружались в хладную воду, цепляясь друг за друга скользкими руками в мурашках.

Я стоял в стороне, довольствуясь обычной ролью исследователя-очевидца, ненадолго освобожденного от обязанностей почетного гостя. Я просто светился от счастья, и тут слева, оттуда, где гигантской зеленой медузой колыхалась низко склонившаяся ива, некто угрюмо вымолвил мое имя. Столь плотен был свод ивовых ветвей, что мы под ним были словно цирковые карлики, ждущие сигнала, дабы вылезти из-под беспросветного заплесневелого кринолина бородатой женщины. Меня влек во тьму идеально круглый, пульсирующий оранжевым огонек Финнерановой сигары, что освещал редкие струйки синего дыма (и, по всей видимости, мое лицо) — и ничего более. «Хотел пожелать тебе удачи, — сказал мой невидимый патрон, и оранжевый кружок истаял до тускло тлеющей серой окружности. — Мы тебя оценили. Не подведи нас». Оранжевый кружок разбухает и тает, разбухает и тает. «Никогда, Ч. К.» — «Я сделаю все, чтобы Маргарет была счастлива, ты же знаешь, я для нее и отец, и мать». — «Разумеется, Ч. К., разумеется», — «Я рад, что мы с тобой — одна семья», — «Премного благодарен», — «Она тебя выбрала, я тебя одобрил. Я тебя выбрал, она тебя одобрила. Не важно, кто и что, понимаешь?» — «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок ярко вспыхивает и блекнет. «Не знаю, как там у английских аристократов, а в нашей стране семья — это серьезно», — «Разумеется, Ч. К.» Оранжевый кружок. Пауза. «Помни об этом, и все дела». — «Разумеется, Ч. К.» — «Люди на тебя рассчитывают, Ральф. Много людей. От тебя многое зависит. Тебе многие доверились». Все эти слова были только робкой прелюдией к тому, чтобы вручить мне большую деревянную сигарную коробку с инкрустированным орнаментом в виде черных завитков, полную сигар, лично отобранных лучшим табачником Бостона и снабженных ярлычками с серебряной монограммой «Ч. К. Ф.». И оранжевый кружок его сигары таял и рос, таял и рос...

...прямо как сегодня утром, на восходе 12 октября, оранжевая заря появляется на восточном берегу Нила. Я провел эту ночь за работой, подкрепляясь лимонадом с джином и подслащенным мятным чаем из высоких золоченых бокалов. Мой палец движется по черным как смоль резным завиткам сигарной коробки, в недрах которой ныне помещается набор отличных кистей и чернил — дабы перерисовывать настенные росписи, которые я надеюсь отыскать в гробнице Атум-хаду. (Я не курю сигар, но из них получится отменный *бакшиш*, да и сама коробка чрезвычайно красивая.) Сидя на еще теплом балконе, я наблюдаю рассвет и изучаю полурастворившийся в чае кусок сахара, весьма похожий на крошащийся краугольный камень храмовых развалин.

Полтора месяца спустя мне стукнет тридцать, а я с давних пор хотел отметить эту дату здесь, в стране моей мечты, одержав к сему рубежу беспримерную победу, коя оправдывает тридцать прожитых лет. Вспоминая бостонский прием в честь моего отбытия и царя, чей покой не тревожили 3500 лет, я почти желаю, чтобы здесь, на стремительно светлеющем балконе каирской гостиницы, мгновение остановилось.

Я вовсе не хочу ляпнуть, что, мол, не желаю стареть, предпочел бы избежать тучности среднего возраста и блуждания в смутных сумерках старости. Нет, я желаю сказать, что здесь и сейчас, в начале начал расцвета моей жизни, меж незамолкшим пока треньбреньканьем репетиции победы и громогласным триумфом, до которого остались считанные недели, может же хотеться *вечно* внимать сопрано конкретного москита, зудящего в самое ухо; *вечно* наблюдать именно и только за этими мошками, бесконечно вьющимися в нервической нерешительности, замороженными тем солнцем, что вскоре их спалит; ощущать колючее тепло вот этой вот чашки с мятным чаем, которая *вечно* греет каждую клеточку кожи на кончиках трех пальцев; *вечно* следить за этим сахаром, что медлит распадаться. И кровь закипает в жилах, когда подумаешь, что этот трепещущий, сияющий оранжевый миг со всеми его вероятностями и возможностями каким-то образом удастся схватить и удержать в едва сжатом кулаке. Что можно гладить и изучать словленный момент и ощущать ладонью его бархатистость, что в моих силах застыть и дрожать на краю, и не бросаться стремглав в будущее, пока я сполна не наслажусь настоящим. Представь себе, мой читатель, человека, взбирающегося на высокий, крутой холм. Идут годы, и вот впереди уже маячит вершина, и ты осознаешь, что выбор невелик: либо перейти вершину и спускаться все ниже и ниже, либо... продолжать двигаться *в том же* направлении, к которому приспособился, которое возлюбил, *продолжить* путь, которым шел, шагать неизбежно вверх, забыть о тенетах сомнительной земли и возвыситься, презрев всё и вся.

Ты в своем мягком удобном кресле сейчас привстаешь и удивляешься: как так? Почему Египет? С чего бы желать зарываться в песок? Я могу сказать лишь одно: египетские цари продолжали подъем. Они завладели изысканными мимолетными мгновениями и заточили их в удобные клетки. И спеленутые трупы, и разложенные по канопам органы, и картиночный алфавит, и боги со звериными головами убеждали лучших из египтян, что им задолжали вечность, что они жили и будут жить в ими же избранном настоящем, забыв о наваждениях прошлого и угрозах будущего, окруженные роскошью настоящего, которое продлится так долго, как они того пожелают, и когда отпустить миг блаженства на свободу — решать только им, и не будет над ними деспотии каких-то дней и ночей, луны и солнца.

Маргарет, позволь, я поделюсь с тобою темным воспоминанием из моей сияющей юности? Тебе оно не понравится, зато многое объяснит. Помню, когда я был мальчишкой, деревенский викарий метал громы и молнии (и предметы потяжелее) из-за того, что я был одержим Египтом. (Такое случалось, разумеется, лишь когда отец мой уезжал за границу, в экспедицию, и не мог защитить меня от гнусного священника. Бывало, я уходил из поместья, прочь от родного очага, и бродил по деревеньке, располагавшейся близ наших угодий; тамошний викарий не понимал, кто я и откуда.) Так или иначе, время от времени он внезапно представлял передо мной. Меня легко было застать врасплох, я с детских лет привык грызть гранит науки и пребывал в счастливом неведении относительно того, что происходит вокруг. Он выхватывал мои бумаги и комкал листы с умело нарисованными иероглифами. Он раздражался зычными угрозами и заводил в угаре свою обычную песню: «Мальчик, думаешь, это мудро — увлекаться культурой, почитающей смерть?» В десять лет я уже знал правильный ответ на вопросы его катастрофического катехизиса.

«Вы правы, отец. Куда лучше радоваться жизнеутверждающим картинам культа, возводящего в абсолют прибитый к доскам и истекающий кровью труп». Разумеется, отвечая так, я должен был приготовиться к порке или чему похуже.

Но вот что мне стало понятно уже тогда: египетская культура — обращаю внимание читателя, который этого пока не ведает, — невзирая на мумии, печенки в бутылках, людей-шакалов и цариц-кобр, не почитала смерть. Египтяне изобрели бессмертие — первые люди, осознавшие, что их удел — жить вечно.

Атум-хаду писал:

*Иду с богами я. Неспешно мы гуляем.  
А то и вовсе, утомившись разговором,  
На камень сядем и, расслабясь, наблюдаем  
Е\*ущихся козла с козю под забором.*

*(Катрен 13, есть только в отрывке «С», из книги Ральфа М. Трипуша «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.)*

Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 6 декабря 1954 года

Мистер Мэйси!

Изучив людей (а мне, сказать по чести, случилось повидать все, что только бывает на этом свете), я пришел к выводу, что за любым действием скрыт один из пяти мотивов. Мотивы эти, сами понимаете, не тайна за семью печатями: деньги, голод, похоть, власть, самосохранение. Вот и все. В зале суда и в кино по-разному объясняют, почему-де такой-то стал премьер-министром или кокнул соседей, да только это все маскировка. Прислушайтесь — и вы поймете, что они жонглируют все теми же пятью шарами, пытаюсь отвлечь вас болтовней не по делу. Никто и никогда ничегошеньки не сделал по иной причине, кроме этих пяти.

Все это имеет прямое отношение к рассказу про Пола Колдуэлла и Кэтрин Барри, большевичку, прежде работавшую в библиотеке. Это рассказ про властолюбивую изменницу, которая заправски играла на чувствах ранимого юноши и увлекла его в бездну разврата. История трагической гибели Пола в Египте начинается в тот момент, когда Кэтрин Барри, холодная, опасная, жгучая красавица, подтолкнула восьми-девятилетнего мальчика к его судьбе.

Передо мной сейчас лежат реконструкция беседы с мисс Барри (10 июля 1922 года), ее письмо с типичными оправданиями, запись разговора с ее братом (11 июля 1922 года) и краткое заключение, которое я написал для окончательного рапорта, отправленного в Лондон. Еще у меня есть письмо от Рональда Барри (брат), в котором он просит меня разыскать любые свидетельства того, что Пол жив, а коли жив — конфиденциально сообщить Рональду, где тот проживает. Рональд, зуб даю, хотел Колдуэлла прикончить. Само собой, до этого не дошло, и все же разумно будет вспомнить, что никто не нанимал меня Пола Колдуэлла защищать.

В итоге память моя освежена, ей не мешают даже вопли собратьев по престарелости, которые немощно тузят друг друга, пытаюсь завладеть неполной колодой драных карт. Я делал записи по ходу, расшифровывал их дома, потом

опять переписывал для рапорта в Лондон, теперь вот наново дополняю текст для вас. Согласитесь, нашим читателям откроется убедительная картина. Если вы посчитаете нужным что-то добавить — пожалуйста.

Ну так вот. Полу — восемь лет. Или девять. Или десять. Завоевание сердца миссис Хойт в девятнадцать, цирковой номер со змеями, карманничество на рынке — все это его еще ждет. Перед нами — маленький мальчик, посещающий государственную школу. Тихий, замкнутый (что неудивительно) пацан, он молча сносит свою порцию побоев от Юлейли и приваженных ею мужиков. И нет у него жалости к младшим жертвам, к собственным братьям-сестрам, а все оттого, что когда Юлейли Пола не колотит, она его приголубливает и говорит, мол, всем этим немытым детям до тебя как до небес, потому как ты есть сын знатного джентльмена Барнабаса Дэвиса, который кабы не сгинул в море и не потоп на обратном пути в Австралию, забрал бы Юлейли и Пола с собою в Лондон. «Мать Пола слепо благоговела перед богатеями и кормила мальчика рассказами про классовое превосходство, хотя сама жестоко страдала от нищеты и угнетения», — сказал один из Барри, кто именно — у меня не записано. Оба они были «красными» до мозга костей, Мэйси; не хочу вас пугать, но встречаются такие кадры и среди антиподов. Они пропитались нечистой, заразной философией большевизма насквозь, они лелеяли ее даже после того, как она их потопила.

По словам Рональда Барри, у которого Пол учился, в школе мальчик, за исключением одной детальки не представлял собой ничего особенного. Такой тихоня, грязный, конечно, как и почти все дети бедняков, но воспитанный, сидел смирно, делал что говорят. «По большей части мы старались присматривать за маленькими ублюдками, чтоб они не вляпывались в неприятности, — сказал Рональд. — Учить их чему бы то ни было на самом деле не разрешалось. То же угнетение, только другими средствами: надо было притвориться, что чему-то там их учишь, а на деле морочить им головы, чтоб они смирились с тем, что уготовил им господствующий класс».

Однажды на уроке детям немного рассказали про Египет. Египет расположен в пустыне, в Египте много древних непонятных построек, населявшие Древний Египет язычники были не в курсе насчет господ бога, поэтому умерших царей заворачивали в простыни и считали, что те живут вечно. «Наверно, я добавил еще, что пирамиды строились рабочими, которых заставляли трудиться на жестоких царей», — сказал коммуняка Рон. Дети посмотрели книжку с картинками и перешли к арифметике.

Ну вот, день подходит к концу, оборванцы поперлись к выходу, Рональд Барри приводит класс в порядок и нигде не находит книжки с картинками про Египет — что не есть хорошо, поскольку взял он ее у сестры в публичной библиотеке. Ясно, что книжку свистнул один из подонков. На следующее утро, когда Рональд размышляет, как бы провести расследование, заявляется пораньше Пол Колдуэлл. Парень выглядит хуже, чем обычно, и возвращает пропажу. Выясняется, что он вчера не пошел домой, ночь напролет листал книжку, аж спал на улице. Что его в книге зацепило — не говорит, «даже не оправдывается, воришка», — рассказывает мистер Нет-Частной-Собственности. Потом парень шепотом спрашивает: а еще такие книжки есть?

«Мистер Феррелл, я лишь несколько раз был горд тем, что работаю учителем. Отлично помню, что я чувствовал в тот момент. Ребенок хотел учиться. Я

мгновенно забыл о проступке; этого человечка мы, вероятно, могли спасти! Конечно, если бы я только знал, что будет потом — придушил бы змееныша на месте!»

После полудня Рональд Барри и его отличившийся ученик пришли в скромное отделение публичной библиотеки. Кто, вы думаете, сказал им «здравствуйте»? Конечно, Кэтрин Барри, прелестная сестра учителя.

— Сестренка, перед тобой — многообещающий молодой человек, желающий прочитать все книги о Древнем Египте на любую тему.

— Привет, Пол Колдуэлл, — говорит мисс Барри ласково и подмигивает, словно хочет сказать: «Не гляди так серьезно! Если захочешь, мы подружимся!» Фальшивая доброта, миловидное лицо, рыжие с красным отливом, под стать убеждениям, кудряшки. (Должен признать, даже в 22-м году, когда от бывшего очарования не осталось и следа, она все еще была милашкой. Внешность — она обманчива.) Мальчик не умеет себя вести, почти все время молчит, смотрит в пол, ему небось еще не доводилось бывать в таком респектабельном и чистеньком учреждении, как наша маленькая библиотека, с ним, может, никто не говорил так доброжелательно, он, может, никогда не видел таких красивых и явно дружелюбных людей, как мисс Барри. А все потому, что его увлекла та книжка с картинками.

— Вот, мистер Феррелл, мы и решили взять малыша под свое крыло, — сказала мне Кэтрин Барри с горделивым кокетством. «Ну-ка, посмотрим, как записать тебя в нашу библиотеку», — сказал мальчику агент «красных». В тот первый день мисс Барри провела Пола по всем помещениям и, хотя он почти все время молчал, с удовольствием наблюдала, как он таращится на книги, чистые столы, стулья и лампы. Я буквально слышу, как она говорит юному школяру: «Ты как гражданин имеешь право распоряжаться всем этим наравне с любым богачом!»

— У меня при виде его сердце разрывалось, — сообщила она мне, и я записал эти слова, подчеркнул их и приписал рядом: «Почему у нее самой нет детей?» — Этого мальчика предали все — государство, семья, церковь. Я так старалась, чтобы этот бедняжка перестал отмалчиваться. Но даже тогда он говорил только про Египет. В той книге, которую принес Ронни, Пола что-то расшевелило. Самым первым делом я нашла ему другую книжку, до сих пор обложку помню: «Путеводитель по Египту для мальчиков». Он тут же уселся на стул в уголке и не отрывался от книги до тех пор, пока я не пришла сказать, что библиотека закрывается, но он может снова прийти завтра после школы и продолжить читать, если захочет. «Неужели никто не ждет тебя дома?» — спросила я. Горемычный! В столь раннем возрасте слово «дом» уже было для него пустым звуком... Он не хотел идти домой, а почему не хотел — не говорил. Тогда я его спросила: «Будешь мясной пирог?» Бедный мальчик взвился чуть не до потолка... — Так и вижу эту сцену, Мэйси: она стоит позади мальчугана, мягко кладет руки ему на плечи, смотрит на книгу, приятно пахнет — одно большое лживое обещание. — Мистер Феррелл, замечательный мальчик пал жертвой преступления с классовыми мотивами, дьявольская церковь и коррумпированное государство обрекли его на голод. Я показала ему, как поставить книгу на место, а потом отвела к себе в кабинет. От пирога он не отказался, сообразил, что столько еды не увидит за неделю и не сворует за несколько дней. Да, да, не будьте идеалистом, он в столь юном возрасте уже

воровал. Богатеям нужны воры, мистер Феррелл, они заботятся о том, чтобы дети учились этому ремеслу. «В таких случаях полагается говорить спасибо», — сказала я ему. «Спасибо, мэм», — промямлил он с набитым ртом... На завтра мы с Ронни все обсудили и пришли к единому мнению: мы не чужды милосердия и потому сделаем все, чтобы помочь малышу, которого послал нам бог. Кроме того, мы не чужды политике, а значит, наш долг перед этим мальчиком и перед будущим — доказать, что у рабочего класса ничуть не меньше ценных мозгов, чем у толстосумов. Наконец, мы — работники образования, и тут все просто: он нуждался в обучении не меньше, чем в еде. Мы, Ронни и я, решили кормить его и делить расходы пополам.

(Рональд по этому поводу заметил:

— Кэсси сказала — как отрезала. Я бы сказал, что она шла по стопам Пигмалиона, да разве она меня спрашивала? Партия предупреждает — так поступать нельзя.)

Сдается мне, Мэйси, Пол Колдуэлл никак не мог избежать ее объятий. Когда они повстречались, ей было двадцать шесть, а он был маленьким мальчиком. Мы с ней встретились в 1922 году, ей было сорок пять или около того, но и тогда она оставалась знатной обольстительницей, сладко пахла, мило улыбалась. Я видел белый свет, знался с разными леди, и уловки такого типа женщин, добивающихся своих гнусных целей, для меня как открытая книга; и все равно, когда она сидела рядом, мне было не по себе, я чуть было не начал умолять ее обсудить все за ужином. Только я, само собой, мог противиться ее улыбке; а маленький мальчик? И не надейтесь! Это улыбка определенного сорта, улыбка человека, уверенного в том, что он куда умнее тебя и может читать твои мысли — и управлять ими. Такие люди играют тобой, заставляют кувыркаться себе на потеху. Это умеют женщины. Это умеют коммуняки. Женщины-коммуняки — ужаснее всех.

— «Тебе не нравится бывать дома? Поэтому ты сидишь тут и часами читаешь про пирамиды?» — спросила я его через несколько дней, когда он пришел снова, все такой же застенчивый. Подбежал ко мне и попросил ту же самую книгу, отведя взгляд, будто никогда меня раньше не видел. Я выдала ему книгу, потом, когда он начитался, снова накормила. Я предложила проводить его домой, было уже поздно, но он отказался и был таков... За три-четыре недели он приходил раз десять и прочитал все, что у нас было про Древний Египет, то есть всего ничего. Всякий раз он читал до самого закрытия, потом я его кормила, и всякий раз он не хотел, чтобы я его провожала до дома. Он оттаивал, но медленно. Видно, что-то с ним случилось, и он на время потерял веру в людей. Я попросила Рона узнать его адрес из школьных бумаг и сходила посмотреть на его дом. А, так вы там недавно были, мистер Феррелл? Вряд ли он сильно изменился. Я словно побывала на месте преступления — там, где капиталист насилует рабочего, ни больше, ни меньше. Именно так обращались с этими людьми, особенно с таким одаренным и подающим надежды мальчуганом. Подумаю про то, как он рос, — и почти готова его простить. Когда переживаешь такое, становишься либо очень хорошим человеком, либо очень плохим, а Пол морально разложился настолько, что спасти его было нельзя. Я верю, что себя можно перевоспитать, однако Пол, судя по тому, что я о нем слышала, так и остался сентиментальным эгоистом... Он поднял глаза и увидел меня в дверях своего отвратительного жилища. Я уверена, все мои чувства были на-

писаны у меня на лице. Кажется, тогда он впервые посмотрел мне прямо в глаза. И вот он вскочил, не обращая внимания на хаос и галдеж вокруг, и взял меня за руку. «Зачем вы сюда пришли?» — спросил он, выпроваживая меня за дверь и увлекая за собой по улице, как мог быстро, прочь, а его семейка вылупилась на нас. «Хотела убедиться, что с тобой все нормально, — ответила я. — Обычно я переживаю за тех, кого люблю». — «Я в порядке, — сказал он, — только вы больше сюда не ходите. Это не моя семья, не моя настоящая семья!» Он вдруг стал разговорчивым как никогда. «Мой папа погиб в море, а эта женщина, она мне на самом деле не мать». Я не знала, правда это или нет. Вряд ли правда... Один раз он спросил меня, почему Ронни не женат, а потом очень спокойно — я думала, мое сердце не выдержит — поинтересовался у меня «как у его сестры», не мечтал ли Ронни когда-либо о сыне...

На следующий день, Мэйси, я спросил Рональда Барри, припоминает ли он, чтобы Пол Колдуэлл желал стать его сыном.

— Было, да недолго. Когда ему стукнуло тринадцать, он стал воротить нос от всех и от всего, кроме Кэсси и Египта. Случилось так, что я его обидел. Я не сразу это понял, потому что всего лишь сказал ему, что когда-то хотел быть профессором в университете и что такие тепленькие места, конечно, только для «шишек». Я сказал, что ум — это ничто, важно только происхождение, и богачи держатся друг за друга. Пол оторвался от книги — само собой, про Египет, — и говорит: «Твои враги не дают тебе продвинуться по службе? Почему ты их не убьешь?» Я-то думал, он шутит, мистер Феррелл, но он не шутил, точно вам говорю. Вот каким рос любимец Кэсси. Нужно было придушить его сразу и избавить всех нас от дурных последствий. Он мне говорит: «Если ты не столь силен, чтобы победить своих врагов, чего ты стоишь?» Тринадцать лет, Феррелл. Тринадцать лет!

Теперь — мисс Барри:

— Когда он прочел все, что у нас было про Египет, я попыталась расширить его круг чтения, давала ему книги по археологии и истории, но не про Египет, хорошие сборники рассказов. Он их попробовал, как маленький мальчик пробует овощи — чтобы потом никогда к ним не прикасаться. Но видели бы вы его лицо в тот момент, когда он понял, что я могу *заказывать* ему книги, причем какие угодно! Он давал мне названия, которые вычитал в библиографических списках или сносках в других «египетских» книжках... Он был забавный. Такой маленький исследователь — в одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет. Запыхавшись врывался в библиотеку, и я знала, что он бежал от самой школы. Я часто его дразнила: «И что же, мистер Колдуэлл, привело вас сегодня в наше почтенное заведение? Что именно вы хотели бы почитать? Может быть, рыцарские романы? У меня для вас есть чудный „Айвенго“. Нет? Может, рассказы о бравых австралийских поселенцах, насильниках и чудовищах? Что скажете о книге про овец и их разведение?» Я тараторила без умолку, наблюдая за тем, как искажается его лицо и он пытается припомнить, как я учила его вежливости. Наконец он не выдерживал: «Мисс Барри... пожалуйста... она пришла? Она пришла?» — «О чем это вы, мистер Колдуэлл? Следите за своими манерами, в этом мире вам нужно вести себя как джентльмену». — «Ну пожалуйста, мисс Барри... извините, что перебиваю... я надеюсь, что книга профессора Кнутсона и профессора Андерсона „Культ Ра“ пришла...» Или что-то в этом роде, например, работа Шампольона про перевод текста на Ро-



зеттском камне. Какие у него были запросы! Какие я для него делала заказы! Сколько времени я угробила на то, чтоб доказать директору библиотеки: местное население истосковалось по Египту и жить не может без этих невразумительных томов! — Она попросила меня подождать, пошла к комоду у кровати и вернулась с листком бумаги. — Я записывала все названия. Вот, полюбуйте: работа Пашинта про судебные протоколы на площадях некрополей. Подвиги бывшего циркача Бельцони и британского консула Генри Солта. Мэттисон — о роли музыки в погребальных обрядах. Брошюра Оскара Деннингера «Химический и процедурный анализ мумифицирования кошачьих в гробнице Бастет». И про каждую очередную книжку со странным заглавием он спрашивал: «Она пришла, мисс Барри? Она пришла?» — «Я так сразу сказать, конечно, не могу, — отвечала я, кусая губы. — Мне нужно запросить коллектор, разобрать посылки с почты, это займет какое-то время. Я ужасно занята, ты же знаешь». — «Пожалуйста, мисс Барри», — он чуть не плакал. «Сядь-ка в уголок вон за тот стол, а я пойду посмотрю, как и что». — «Спасибо, мэм!» И, подойдя к столу, он обнаруживал, что книга, которую он ждал с таким нетерпением, лежит в круге света от лампы, рядом карандаш и бумага, а на выдвинутом кресле — пара подушек, чтоб сесть повыше, ну и — тарелка с едой. Я любила этого мальчика.

— В самом деле?

— Как тетя, мистер Феррелл. Или как товарищ. Надеюсь, это ясно?

— Как вы думаете, мисс Барри, почему именно Египет?

— Я часто спрашивала об этом и себя, и его. Он не хотел или не мог сказать. Раз он поведал мне про то, что в Древнем Египте простые люди порой могли стать фараонами, так что, может, тот мир привлекал его сильнее, чем этот, в котором монарх — далеко в Лондоне, и у маленького Пола шансов кем-то поуправлять не больше, чем у нас с вами. Я бы добавила, что Египет — полная противоположность его убогой жизни. Когда Полу было восемь или девять лет, незадолго до знакомства с нами, он привел домой бродячего пса. Прыгая от восторга, он показал собаку матери, с которой чуть припадок не случился: откуда мы возьмем деньги, на еду для детей не хватает, а тут еще кабыздох, ну и так далее. Тут вмешался мужчина, который тогда у них жил. Молодец, говорит, соображаешь. Он вытащил собаку в сад, убил ее и заставил мать приготовить обед своему голодающему выводку. В Австралии. В двадцатом веке. И вы еще удивляетесь, отчего Пол нечасто бывал дома, отрекался от отца и матери и хотел попасть в Древний Египет? Он рассказал мне эту историю спустя годы после происшествия, он сидел в моем кабинете и рыдал как ребенок, будто все случилось вчера. Тогда же он попытался меня поцеловать. Но я, кажется, забегаю вперед...

Ему было четырнадцать лет, когда он с моей помощью честно поступил на работу. В первый раз в жизни — и, подозреваю, в последний. За скромное жалованье он наводил порядок, расставлял книги, делал заказы. Я все еще пыталась заинтересовать его чем-то помимо Египта, но безрезультатно. Тогда я решила сделать упор на политические убеждения и оставить Египет в покое. Его внутренний мир должен был лежать хотя бы на двух китах: Египет и классовое сознание. Его сосредоточенность была выше всяких похвал. Участь по книгам и заказывая через меня новые, только что вышедшие из печати, он выучился иероглифике. Понимаете, мистер Феррелл? Вы поняли все, что я сказа-

ла? Пятнадцатилетний мальчик умел писать иероглификой! Увы, сколько я ни рассказывала Полу о диалектическом материализме, сколько ни пыталась связать эту науку с его жизненными обстоятельствами, для марксизма Пол был потерян. Я сказала ему: посмотри, как ты живешь. Люди, которые сделали с тобой такое, должны понести наказание! Пустые глаза. Капиталисты и монархисты! Ни-че-го. Институт церкви! Он попросил еще бумаги и снова принялся за свои глупые значки.

Рональд Барри вспоминает, каким Пол был в школе:

— Тогда ему было... ну, лет тринадцать. Видимо, он все-таки усвоил от Кэсси, что такое наступательная политическая тактика, потому что написал директору школы анонимное письмо, в котором разоблачал одного из учителей как преступного невежду, позор австралийского пролетариата, социального паразита, капиталиста и растлителя малолетних. Хотя «анонимное» — это громко сказано, Пол перечислял в нем шесть допущенных учителем ошибок: во всех случаях тот перепутал египетские Среднее и Новое Царства. Его заповороли почти до смерти.

Кэтрин:

— Священник его прихода... один бог в курсе, чего он желал своим прихожанам. Если коротко: ничего. Но вот Пола он буквально запугал. Этот отец Раули каким-то образом прознал о мальчике, библиотеке и Египте. Тут в нем наконец-то проснулся интерес к семье Пола. Вы думаете, тот факт, что прилежный мальчуган не пополнил ряды спившейся и погрязшей во грехе паствы, его воодушевил? Как бы не так: он сообщил матери Пола, что тот в библиотеке изучает книги про сатану и язычество и нужно запретить ему там появляться. Очень сомневаюсь, что мать вообще поняла, про что он, думаю, ей и сопливых больных сыновей трудно было различать. Но перед священником она, как полагается, велела Полу держаться подальше от книг и библиотеки. Ему тогда, кажется, было четырнадцать. В тот же день он пришел ко мне, в руке котомка с пожитками, рассказал про священника и собаку, плакал как младенец. Я его утешила. Я сжалилась над мальчиком. А потом он попытался меня обнять — как мужчина обнимает женщину... Мне было трудно, мистер Феррелл, поймите меня правильно. Я, конечно, была шокирована. В сердце в высшей степени растерянного и одинокого мальчика все перепуталось. Он говорил про любовь и преданность, как было принято у влюбленных древних египтян. Представьте себе молодого человека, который пытается завоевать женщину на дюжину лет старше его, сравнивая ее шею с гусиной. Он сказал мне, что его чресла лопнут, что я — его рогатое солнце, его бирюзовая телица, что цвета моей плоти украдены у Гора, что разрисовал эту плоть я уже не вспомню кто... Смешно, я знаю. Давайте, мистер Феррелл, смейтесь, это *и в самом деле* смешно, я понимаю, честное слово. Но *тогда*... тогда все было иначе, и я горжусь, что не рассмеялась ему в лицо. То есть я бы рассмеялась, но минуту назад, если помните, он оплакивал несчастного пса. Я поступила правильно, до сих пор в этом уверена.

(Рональд:

— В тот миг она угробила нас обоих. Доведись мне там оказаться, я бы на этом Ромео живого места не оставил, а потом погнал бы его домой, к священнику.)

— Я сказала ему, что, если он любит меня, любит по-настоящему, он дол-

жен служить мне и тому делу, которому я себя посвятила. Я сказала ему, пусть он продолжает работать в библиотеке, за ним сохранятся все привилегии: книги, бумага для рисования, блокноты. Никто у него их не отберет. Я сказала ему, что наши друзья будут пускать его на ночлег, пока у него не появится крыша над головой, а мы сделаем все, чтобы он продолжал ходить в школу. Взамен Пол будет служить общему делу. Изучать книги, которые я ему дала, посещать собрания, слушаться старших товарищей. Тогда природные таланты, которыми он так щедро одарен, разовьются, он станет вождем, опорой тех, кто нуждается в опоре, здесь, в Австралии. А что до «любви», о которой он твердит, признаться, я сказала только: вот будет тебе двадцать один год — тогда поглядим. Понимаете, временное влечение мальчика к женщине, заменившей ему мать, несомненно, прошло бы с расширением кругозора. Я использовала ситуацию для его же блага.

Мэйси, я как могу стараюсь рассказать о преступлениях этой женщины ее собственными, пусть и мной реконструированными словами. Она открыто призналась, что использовала свою необыкновенную красоту и естественное влечение мальчика для того, чтобы принудить его работать на большевиков, и скрыла от семьи его местопребывание. Она еще и гордилась тем, что сделала, уверив себя в том, что постигшая ее судьба — это «преступление с классовыми мотивами», а не заслуженная кара за то, что она по поручению советских тиранов-кровососов склоняла мальчика к измене свободной Австралии. И все равно в свои сорок пять, опозоренная, она смела воротить нос от простого приглашения отужинать!

Я слышу ваш вопрос, вполне резонный: почему она мне все это рассказывала? Мисс Барри, конечно, была настоящая язва, но не только в этом дело: к моему удивлению, она, ежели закрыть глаза на убеждения, напоминала филантропически настроенную даму из высшего общества. В ней жила настоящая *леди*, спасающая бедняков не от них самих, но от страшных капиталистов, кем бы они ни были. Такая очаровательная аристократка-заступница: восторгайся сколько влезет, но руками не тронь. Не сомневаюсь, что она не чуждалась романтики, воображала себя целомудренной королевой, которая приютила несчастного сироту, позволила ему работать на кухне, и он благодаря путеводному свету ее добродетели превратился в Ланселота. Уверен, она хотела, чтобы я ее хоть чуточку оправдал, она бы любому рассказала то же самое, теми же словами, бросая застенчивые взгляды и изображая самую невинность — мол, всех тех непристойностей, про которые писала желтая пресса, и не было никогда. Только, Мэйси, я сам удивлен сверх меры, но вот сижу, переписываю все набело, добавляю, что помню, и вижу теперь, что Полом она гордилась как *мать*. Когда рассказывала про него, держалась как учительница, а вот Юлейли Колдуэлл, которую мельком видела два раза в жизни, ничуть не пожалела. Кроме того, наша мисс Барри вела дневник, некоторые истории она мне оттуда и зачитывала. А еще, помните, она хранила и берегла список книг, которые ее малыш заказывал в первые месяцы знакомства. Даже странно, что у нее не было портрета ее дорогого Пола, над которым можно было бы оплакать его (погиб где-то в пустыне) и свою (живет в крохотной квартирке, перебиваясь случайными заработками) судьбу. Вы можете возразить: Пол Колдуэлл разрушил ее жизнь (вернее, помог ей разрушить свою жизнь) — Рональд смотрел на это именно так, — и все равно она гордилась своим мальчиком, своим тво-

рением.

Так вот, несколько лет Пол живет в пустой комнатке для гостей у «красного» агитатора, спит на раскладушке. Семья его не ищет, им всем, похоже, наплевать, что он сбежал из дому и записался в большевистскую библиотеку. Пол ходит на собрания коммунистиче-ского порту, расставляет складные кресла, разда-ет агитки, охраняет вещи боссов, пока те промывают мозги докерам и фабрич-ному люду. Полу уже шестнадцать, семнадцать лет, он боготворит Кэтрин Бар-ри, к чему она, по ее словам, совсем не дает повода. Он много читает про Еги-пет, шлет письма египтологам по всему миру, просит взять его на раскопки. Ни ответа, ни привета; Кэтрин говорит ему («я открыла Полу глаза, хоть у ме-ня от жалости сердце разрывалось»), что этот спорт — для богатых: аристокра-тов, капиталистов, «замаскированных колонизаторов», а он — парень из рабо-чего класса, и капиталисты не будут играть с ним в свои элитарные игры. По-ла это все не убедило, он продолжал читать, ходил осматривать несколько египетских экспонатов в музей в Сиднее, добрался даже до Мельбурна, чтобы полюбоваться на тамошнюю скромную коллекцию. К тому моменту мисс Бар-ри была сыта Египтом по горло — как был бы сыт любой здравомыслящий че-ловек. Она уже не спрашивала, что Пол нашел в этом Египте, и он об этом по-чти не заговаривал. Тихоня в восемь лет, почти закадычный друг в одинна-дцать, похотливый юноша в четырнадцать, в семнадцать трудолюбивый Пол опять ушел в себя. Она почти все время держала его под колпаком — или в библиотеке, где он работал и учился, или на «красных» сборищах.

Настал день, когда наш цветущий молодой человек решил: он вдоволь по-трудился для того, чтобы завоевать сердце своей прекрасной дамы. Это опыт-ным людям, вроде нас с вами, ясно, что она водила его за нос. Посмотрите на это с его точки зрения: ему стукнуло семнадцать лет, восемнадцать, он уже взрослый мужчина. Она — незамужняя женщина, она его знает, добра к нему, просила его служить ей. Вспомним себя в его возрасте, а, Мэйси? Я сам был та-кой, честное слово: вобьешь себе что-то в башку — и прешь напролом. Так что я мальчика не виню.

Он попер напролом и (само собой, с ней не могло быть иначе) напоролся на ледяную стену:

— Он вел себя глуповато. Скопил денег, чтобы отвести меня в ресторан. Я бы никуда не пошла, но он сказал, что хочет поговорить про социализм и только я могу ответить на его вопросы... — Пол заказал музыку и цветы. — Он играл на публику, на нас глазели люди, все было страшно нелепо. Я разозли-лась и чуть не сорвалась. Я-то была уверена, что все давно прошло, что влече-ние ко мне превратилось во влечение к партии. «Я думала, ты хочешь обсу-дить что-то важное». — «Для меня в мире ничего нет важнее вас, Кэсси!» Кажется, впервые он назвал меня не «мисс Барри» и не «товарищем». — Она охладила его пыл, сказав, что у него есть ответственность и обязательства не только перед собой. — Я сказала это, чтобы спасти его достоинство. Но он на-стаивал: «Партия интересна мне только потому, что она интересна вам!» — «Пол, ты должен бороться за справедливость ради нее самой, а не ради ме-ня. У тебя замечательное, чуткое сердце. Только так ты обретешь себя!» — «Я — мужчина, Кэсси, а вы — женщина». Бог ты мой. «Мы оба — люди, Пол. Мы должны платить по счетам. Ты понимаешь, что обязан нашему общему делу *всем, что имеешь?* Мы — Рональд и я — помогали тебе потому, что у нас

есть убеждения». Уверяю вас, именно так все обстояло на самом деле. Но он... Есть люди, которые ведут себя неразумно, даже если ясно, что это не в их интересах. «Вы помогаете мне только из-за общего дела?» — спросил он. Он был точь-в-точь как мальчик, который когда-то выпрашивал книги и плакал о собаке. «Вы меня совсем-совсем не любите?» Мистер Феррелл, ну вот что я должна была ответить? По-моему, я тогда сделала ему настоящий подарок. Я ведь могла начать нести всякую чушь. Этот печальный юноша, истосковавшийся по романтике, имел честь работать на самое романтическое движение в истории человечества. Я хотела только, чтобы он продолжал бороться за справедливость, и я могла этого добиться, когда бы ему солгала. Но я не стала лгать, мистер Феррелл, отметьте это у себя и запишите то, что я скажу, слово в слово — я подожду. Истина восторжествует, и вы сыграете в этом свою роль, пусть и прошло уже двенадцать лет. Я сказала: «Пол, ты — должник нашего общего дела. У тебя нет выбора. Как человек чести, как существо, страдающее ближнему, ты обязан продолжить борьбу на благо этого мира до тех пор, пока в нем не воцарятся демократия и равенство. Я не собираюсь потворствовать другим твоим желанием. Ты — мой товарищ. Я пойду с тобой плечом к плечу, но не рука об руку». Тут он вскочил и убежал, оставив меня наедине с улыбочивой обезьяной, пиликавшей на скрипке. — Она была уверена, что они еще увидятся, что пройдет время — скажем, неделя, — и он обретет самообладание. — Я пришла к выводу, что он сделал трудный, но жизненно важный шаг в своем развитии — перенес любовь ко мне на партию. Ошиблась ли я? Очевидно. Я должна была сказать ему, что всегда есть надежда, или что я люблю его, или, может быть, мне следовало любить его, как он это понимал, хоть чуть-чуть, пока он не повзрослеет и не станет хорошим человеком и хорошим коммунистом — а он мог бы стать и тем и другим, мистер Феррелл, и как раз таких людей и таких коммунистов нам очень не хватает... После того случая я видела его лишь однажды. Как-то через несколько лет Ронни узнал, что Пол работает в цирке. Мы купили билеты, сели подальше, чтобы он нас не заметил, и посмотрели дурацкое инфантильное представление. В 1916 году он сделал то, что сделал, и в результате погубил жизни десятков преданных нашему делу героев. В 1917-м, когда Пол мог быть по эту сторону баррикад и праздновать величайшее в истории событие, он вместо этого пошел на бойню, устроенную немецкими аристократами и английскими банкирами, и в 1918-м погиб, ничего не сделав, чтобы вырвать мир из лап капитала. Отвратительная история, мистер Феррелл. Расскажите ее тем, кто не заткнул уши. Наша никудышная демократия не оставила мне возможности поведать эту историю кому бы то ни было, а полиция и газеты предпочли байки собственного сочинения.

Поверьте, Мэйси, этим дело не ограничивается. Про события 1916 года мне рассказал Рональд — само собой, в выгодном для себя свете, правдивее они описаны в прилагаемых газетных вырезках. Коммуняка Рон считал, что газеты врут.

— Ночью произошли аресты, — сказал он, затушив окурок. — Ситуация в мире напряженная, война, в России неспокойно. Мы оказались в центре событий, у властей, скажем так, сдали нервы. Один из митингов был сорван, нас слегка поколотили и бросили в тюрьму. Я беспокоился за Кэсс, потому что с самого начала потерял ее в толпе и в тюрьму ее везли другим путем. За разго-

воры о коммунизме никого не сажали, Австралия все-таки не США, но составлять заговор с целью свержения правительства — ну, это совсем другое дело. Мы, конечно, ни о чем таком и не думали. Но полиция сообщила, что нашла взрывчатку и адреса политиков и полицейских, которых мы якобы намеревались убить, и что мы *развращаем* молодежь, и еще — что мы с Кэсс состоим в отношениях, не подходящих для брата и сестры. — Рональд этого почти не отрицал: — Феррелл, вы же не думаете, что мы свихнулись? Мы следовали своим курсом — устраивали забастовки, призывали к неповиновению, осуждали запланированную мобилизацию, изобличали прогнившее государство. А этот полицейский инспектор Далквист сказал журналистам, что разоблачил коммунистический сговор убийц и похитителей детей. Напечатали наши фотографии с именами, и еще — фотографии *очень* старой взрывчатки, которую инспектор обнаружил, раскурочив пол под раскладушкой в комнате, где несколько лет жил сами знаете кто. Лишь тогда я понял, что это он, хотя и не видел его много лет, хотя Кэсси говорила мне, что я не прав и иду на поводу эмоций. Ничего похожего: подонок настучал в полицию, и, по-моему, это была любовная записка для Кэсс, так он ей сообщал, что она для него — по-прежнему лучшая девушка в мире. Через шесть лет после того, как она разбила его так называемое сердце! — С десяток «красных» провели месяц в заключении, один из них — тот, который достал и припрятал взрывчатку, — находится там до сих пор. — Какого дьявола она нам сдалась? — причитал Рон. — Никто никогда эти чертовы боеприпасы не использовал, так они шесть лет и пролежали под полом. Вы же в курсе, Феррелл, мы с Кэсс в партии ничем не заправляли. Мы были всего лишь идеалистами. Кэсс по сей день такая. А с меня довольно. — Вот что рассказал мне школьный учитель, ставший барменом, когда мы стояли на задах пивной, где он работал в 22-м году. Кроме работы в пивной, рассчитывать ему было почти не на что.

Поймать бомбиста полиции было мало, они заодно повязали людей вроде Барри, которые апеллировали к закону, утверждая, что могут думать и говорить что им нравится. Толкать речь перед присяжными оказалось почти не о чем, выдвигать в суде обвинения в похищении детей было рискованно, никому не улыбалось увидеть на месте главной звезды обвинения Юлейли Колдуэлл, в то время как опасная Кэтрин Барри с ее хорошо подвешенным языком защищала бы себя, толкуя о христианском милосердии. Так или иначе, обществу подфартило увидеть изгнание брата и сестры Барри с постов, к которым люди питали доверие. Настоящий пролетарский труд для таких, как они, — самое то. В 1922 году мисс Барри в скромном жилище все вещала, что дела товарища Ленина будут жить в веках. И что, Мэйси, можем мы с вами сказать, что она поставила не на фаворита, даже если есть в нем что-то от черта?

Попрощаемся с Барри 10 и 11 июля 1922 года. Рональд отправился протирать стойку бара. Кэтрин чопорно пожала мне руку, будто опасаясь заразиться, и пошла обрезать стебли выставленных на продажу роз. Пенять обоим нужно было не на Пола Колдуэлла и инспектора Далквиста, а на собственное высокомерие. (Я об этом, само собой, не заикался, потому что Рональд нанял меня найти Пола, коли тот еще жив. Должен сказать, зарабатывать на хлеб насущный поисками адреса мертвого человека не слишком-то хлопотно.)

Инспектор С. Джордж Далквист назначил мне аудиенцию на следующий день. Мне потребно было уяснить, как связаны арест Колдуэлла в цирке и

арест брата и сестры Барри, ведь Далквист приложил руку к обоим.

Мэйси, надо вам сказать, что прошлой ночью мне снились странные сны. Я трудился над рассказом с самого утра вчерашнего дня и допоздна. Когда не писал, перечитывал записи, по которым восстанавливал сказанное, мои старые заметки, вырезки из газет 1916 года, которые дал мне Рональд, среди них есть и чересчур резкие (например, «Наших детей упрятали в тюрьму „красные“ брат с сестрой», и еще — «В публичной библиотеке таились большевики с бомбами»). Меня странно трогает вырезка из «Геральда»: в ней директор библиотеки заявляет, что его учреждение абсолютно лояльно к Содружеству и очищено от изменнических элементов. Недавно уволенная Кэтрин Барри названа в статье зловредным вирусом, подтачивающим основания демократического общества в самых неожиданных местах. Конечно, это все правда. Помню, когда я читал про защиту незыблемых основ, меня охватило какое-то волнение. А сейчас перечитываю — и кажется, чего-то все же не хватает.

Ночью мне приснилась Кэтрин Барри. Во сне я чувствовал ее запах, пахла она куда лучше, чем пахнет по ночам эта палата, мистер Мэйси-в-большом-особняке-в-Нью-Йорке. Она не сказала ни слова, не злилась, не летала, не передавала весточки с того света. Она просто терпеливо сидела рядом со мной, разглаживала подол, улыбалась, откашливалась и смотрела на меня, и я знал, она все ждет, когда я что-то скажу, а что именно — будь я проклят, коли знаю. Я озадаченно молчал. Она поднимала брови, смеялась, пожимала плечами, откидывалась на спинку стула, скрещивала руки на коленях — и все смотрела прямо на меня с такой хитрой полуулыбкой, всем своим видом показывая, что готова ждать сколько угодно, пока я соображу, что должен сказать. Она сидела около меня вечно. *Вечно*, Мэйси, потому что во сне я знал, что это никогда не закончится.

Отправляю вам письмо и приступаю к работе над следующим — про Далквиста и мое путешествие в Англию.

Ваш Феррелл

*Четверг, 12 октября 1922 года*

*К Маргарет:* Светает. Ты — всегда рядом, тут, со мной. Какие дары я привезу тебе из экспедиции! Ты будешь купаться в древнем золоте, поделишь со мной мою славу, выйдешь за меня замуж, и твои завистливые подружки сразу после церемонии с воем выцарапают себе глаза. Но еще, полагаю, ты заслужила собственный дневник нашей долгой разлуки, дневник моей любви, вплетенный в дневник моей работы: они слишком тесно связаны, чтобы отделять одно от другого сейчас, в самый разгар экспедиции. Пройдут считанные месяцы, и получится длинное дневниковое письмо к тебе, а к нему добавятся письма, кои ты получаешь, увы, с задержкой в несколько недель; этот дневник можно сопоставлять с письмом для всех и каждого, озаглавленным «Ральф М. Трилипуш и Открытие гробницы Атум-хаду», автор — Ральф М. Трилипуш. Теперь мне ясно, что часть вчерашней записи судьбой предназначена тебе, и никому другому. Кроме того, мне ясно, что в печатной версии дневников образ твоего отца должно подретушировать, и можешь не сомневаться, я окажу ему такую услугу — ради тебя.

*Обсуждение финансирования современных египтологических экспедиций:* Что до слова «молил» из остроумных куплетов Кендалла Митчелла, я полагаю уместным и полезным для простых читателей описать, как финансируются археологические экспедиции. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что «мольбы» тут ни при чем. Наравне с тобой, мой читатель, я горю нетерпением заняться собственно исследованиями, однако мне представляется неразумным отправляться в путь, не разъяснив прежде все аспекты предприятия, которое мы предпримем в пустыне.

Посему — побудь со мной на первом из нескольких заседаний инвесторов в обществе бостонских знатоков искусства и акул делового мира в июне этого года в гостиной Честера Кроуфорда Финнерана, пригласившего меня в свой роскошный (и Ра-скошный) городской особняк, где уже собрались его друзья, жаждущие меня расспросить. Я бы пошел под венец с его дочерью и без этих денег, и средства для экспедиции мог найти где угодно, однако же он настойчиво предлагал мне помощь, и лишь из расположения к любимой я дал ему и его друзьям возможность финансово поддержать небывалую экспедицию.

Гостиная Ч. К. Ф. по нынешней американской моде утопает в египетском и псевдофараонском декоре, что дало Кендаллу Митчеллу повод заявить, что у него начинается «асфинксия». В обычных условиях шутка аукнулась бы раздражением, но Ч. К. Ф. мудро снабдил гостей таким количеством «чая со льдом», что все чувствовали себя весьма навеселе. Я понимаю Ч. К. Ф., Митчелла, Роджера Латорпа, Джулиуса Падрига О'Тула и Хайнца Ковакса. Латорп владеет некой чрезвычайно прибыльной строительной компанией. Последних двух гостей представили скупно — как партнеров Ч. К. Ф. в других сферах. Они почти все время молчали, причем Ковакс кашлял столь громкоподобно, что остальные разом умолкали. Но когда он говорил, голос его звучал так тихо, что каждый (даже сидевший справа от него О'Тул) к Коваксу словно бы тянулся. Глаза Ковакса вследствие какой-то инфекции беспрестанно слезились, за время заседания он иссморкал несколько шелковых, обшитых монограммами носовых платков и скормил их один за другим черному зеву урны в форме колосса Рамзеса. О'Тул, ирландец неопределенных занятий, большую часть времени шлифовал ногти и время от времени помечал что-то крохотным золотым карандашиком в кожаной записной книжке. Все гости до единого все равно что одеты и обуты в деньги. Их не назовешь учеными, а вот в их тяге к искусству сомневаться не приходится. У сотрудничества с учреждениями вроде ведущих музеев имеются свои минусы, оттого исследователь зачастую куда больше выгод получает от частных вложений.

«Джентльмены, — начинаю я, — давайте на секунду оставим финансовые вопросы и...»

«Ни за что!» — выпаливает Кендалл Митчелл к своей и Латорпа бурной радости. Ковакс кашляет.

«Мистер Митчелл, не стоит играть на понижение. На секунду забудем о деньгах и посмотрим, чем обернется экспедиция помимо денежной пользы. История Египта берет начало на заре письменной истории человечества, около 5000 лет назад...»

«Вон оно как. Прямо в Иисусовы времена!»

«Ваше замечание вводит нас в суть дела, мистер Латорп, и демонстрирует вашу склонность к историческим изысканиям, ибо в прошлое разумно углуб-



ляться, держась знакомой тропы. Учитывая, что Иисус родился 1922 года назад, Атум-хаду правил за 1640 лет до него, а великий Египет существовал за полторы тысячи лет до *этого*, вы можете получить представление о том, сколь велики обсуждаемые нами отрезки времени».

«Конечно, — соглашается Латорп. — Знакомая тропа».

«Слушай, Пыжик, — без спросу вступает в разговор Кендалл, почти мгновенно нарушив стройную схему моего выступления. — Я слышал, старый Египет обанкротился. Под песками ничего не осталось. Все ценное большие люди растащили до нас. Что ты на это скажешь?»

Я попросил их открыть проспекты на странице, озаглавленной «Шансы на успех»: «Думаю, вероятность такого поворота событий равна нулю. Нам известны имена сотен древних царей, а гробниц найдено всего лишь несколько десятков. Прямо сейчас, в эти самые минуты, экспедиции находят несметные сокровища, хотя египетское лето для раскопок — не сезон. В случае с Атум-хаду три отрывка из его сочинений были найдены недалеко друг от друга, между тем у торговцев древностями реликвии из захоронения Атум-хаду не объявлялись, а это означает, что гробница нетронута, полна драгоценностей и расположена в очерченном на карте районе Дейр-эль-Бахри». С моей помощью они нашли в проспектах карту, увеличенная копия которой помещалась на шатающемся пюпитре под большим портретом Маргарет с кроликом либо кроличьей муфтой на руках.

Мужчины уставились на карту, я же, в очередной раз ощутив себя проклятым, улучил момент и посетил фараонический ватерклозет Ч. К. Ф., где буквально не щадя живота своего сразился с несвоевременным приступом исследовательского несварения, осложнением дизентерии, что со времен войны паршивой маркитанткой привязалась ко мне в Египте.

Когда я вернулся, Ч. К. Ф. еще сверлил тяжелым взглядом карту, тщетно дешифруя ее легенду, остальные же успели разделить на два лагеря: Митчелл и Латорп в унисон хихикали над экземпляром (открытым, как и следовало ожидать, на катрене 42, «Атум-хаду привечает четырех сестриц-акробаток») «Коварства и любви в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.; в 1923 г. ожидается переиздание в «Университетском издательстве Гарварда»), а О'Тул и Ковакс сидели в сторонке и молчали.

«Жареный Иисусе, Пыжик, а почему тебе не дают денег в Гарварде? — спросил сам Ч. К. Ф.; я знал, что на самом деле ему все равно, просто он не хотел в глазах компаньонов выглядеть чересчур легковерным. — Ты там что, вставил жене декана?»

Я помог им открыть буклеты на разделе «Персональные коллекции», где помещались мои наброски. «И что, джентльмены, вы хотите, чтобы Гарвард заполучил то, что я нашел? Хотите, чтобы все это стало Гарвардской коллекцией из гробницы Атум-хаду? В то время как золотом египетских царей могут обогатиться коллекции Латорпа, О'Тула, Ковакса? Когда оно может оказаться у вас дома, а после вашей кончины попасть в частный флигель вами выбранного музея и прославлять ваши имена в вечности? Знайте же: любой музей в этой стране будет на коленях ползать, лишь бы его *вечно* украшала коллекция, названная *вашим именем* — как я позволил себе запечатлеть на этих набросках. И тут мы подходим к ключевому вопросу, джентльмены: долговечность имени. Наш друг Атум-хаду отлично понимал то, о чем я сейчас скажу.

Если ваше имя упоминают после того, как вы умерли, значит, вы *не* умерли. Поразмыслите над этим. Потратьте деньги на то, что уже приобрел Атум-хаду, на ценнейший из товаров, каким только мог обладать любой египетский правитель: *бессмертие*. Когда придет ваш срок, что вы оставите после себя? Универсальный магазин? Строительную компанию? Доверительный фонд? Пачку неубедительных судебных приговоров, которые подошьет к вашему делу съедомый завистью генеральный прокурор? Или же вы собираетесь сделать так, чтобы *имя* ваше жило *вечно*, и обрести ценнейший из тех даров, которыми располагает человечество?»

«Секундочку, перферсор, секундочку — Возможно, я действительно переборщил; все нагнулись, чтобы расслышать шепот Хайнца Ковакса. — Если позволите мне сказать... Я тут тоже поковырялся немного в этой, черт ее, архии... ологии. Хочется знать, что к чему, прежде чем подмахивать жирные чеки психованным английским исследователям и порнографам... — (Позже я объясню, куда уходят корни этого заблуждения.) — Мой парень едет в Гарвард, а тамошний перферсор говорит, что вашего фараона никогда и не было. Это как же так?»

Признаюсь, я испытал тогда укол зависти, моментальный тычок, не больше; ибо, стоя перед бостонскими нуворишами и отвечая на их невразумительные вопросы, я думал о Говарде Картере, который в Каире проверяет на досуге остаток банковского счета, после чего дает каблогранму в Англию, запрашивает у своего благонаправного благородного покровителя приличную сумму — и ждет, когда каирский счет вновь пополнится. Я думал об Оскаре Деннингере, отлично экипированном бравой Веймарской республикой, о Джанкарло Буонкане, что зарывал в суданские пески квартальную прибыль компании «Кассини Дистильятори», насос которой не перестанет качать деньги до той поры, пока из бесплодной почвы Судана не забьет гейзером дымящееся золото. А еще я думал о своих гарвардских «коллегах», которые, оторвавшись от интенсивных расписаний и недообученных студентов, путают мои планы и моих финансистов, дабы продолжать расходовать бессмертные гарвардские фонды на нелепую возню в гробницах ничтожных жрецов-недомерков.

«Мистер Ковакс, вы как проницательный, амбициозный и рискованный человек не можете не понимать, каково это — жить в окружении врагов-недоумков, которые ненавидят вас не потому, что вы ненавидите или же обидели их, но потому, что вы их не замечаете, ибо они слишком незначительны, чтобы представлять для вас интерес. Профессор тер Брюгген и профессор Флёриман для меня — как для вас Налоговое управление и генеральный прокурор. Я полагаю, именно эти люди преступно сбивают с толку вашего сына. Джентльмены, я читал курсы восточных языков и египтологии в Оксфордском университете. Я вот этими руками вытащил писания „воображаемого“, как его именует Клас тер Брюгген, царя из египетской земли. Подобно вам, джентльмены, я верю только в реальное. Если бы я расстелил перед вами ковер научного познания, отборные нити коего на протяжении десятилетий усердно сплетались мною в единое целое, если бы вам случилось размышлять над проблемами египтологического свойства столько же, сколько мне, уверен, вы бы пошли на поводу у здравого смысла и лишь посмеялись над пустячной болтовней, доносящейся из стерильных кабинетов по ту сторону реки, и сказали бы то же самое, что сказали, как недавно писала „Бостон Меркьюри“, о генеральном про-

куроре: „Почему этот скучный человечек лезет не в свое дело и не оставляет Хайнци Ковакса в покое?“ Прочитав эти слова, я подумал: браво!»

«Точно, браво, да, — провозгласил Ч. К. Ф. О'Тул увлекся ногтями. — Понимаешь, о чем я, Дж. П.? — обратился к нему Ч. К. Ф. — Каждому бы такие ответы! Пыжик, ну-ка расскажи, как выглядит гробница?»

Когда просишь денег у богачей, будь сдержанным. Они хотят знать, что получают вложения обратно с процентами, а еще хотят видеть, что ты понимаешь: нет никакой гарантии, что все будет так и не иначе. Даже если ты им такую гарантию даешь. Они хотят, чтобы ты был умнее их, но не во всем, и признал бы их превосходство в таких материях, как финансы и «здравый смысл». Они с удовольствием выскажут пару мыслей, до которых ты сам пока не додумался. Если таких мыслей окажется больше двух, тебя сочтут дураком; если меньше — выскочкой. Они не хотят, чтобы ты просил у них денег; они хотят, чтобы ты дал им шанс заработать и согласился бы принять меньше ими предложенного. Относись к их деньгам с опаской, напирай на риск и преуменьшай вознаграждение. Боюсь, эти уроки должен усвоить любой египтолог. Пример:

«Джентльмены! Гробница Атум-хаду, вероятно, представляет собой простое отверстие непосредственно в скале посреди пустыни. Под сводом аркады вы видите вокруг рисунки, изображающие события времен правления Атум-хаду, а также иероглифы, описания его радостей и печалей, обращения к богам. По мере того как вы продвигаетесь, изображения рассказывают вам историю, как если бы вы сидели в кинематографе: подключив фантазию, мы увидим слева царя, ведущего войско против завоевателей-гиксосов, самозванных царей-отступников восточной дельты или черных армий с юга Африки. Справа царь борется с дворцовыми заговорщиками, нетерпеливыми аристократами, посягающими на его трон, невозмутимо приближает к себе доверенных советников (таких, какими вы, джентльмены, стали для меня) и царицу по имени Ее Красота Изумляет Солнце. Все это мы с вами видим, шагая по аванкамере. Теперь нам нужно проползти через узкую щель — и вот мы чувствуем странный, ни на что не похожий запах. Не скажу, что пахнет сладко или приятно, но то, что запах незнакомый — нет, он более чем *незнакомый* (ибо „познакомиться“ с ним нельзя), он просто уникален. Никогда вы не чуяли ничего подобного и никогда не учуете: дуновение воздуха, потревоженного впервые за 3500 лет. Не знаю, улыбнетесь ли вы (как улыбаюсь сейчас я), или вас стошнит, или вы возбудитесь. Мы едва можем разлепить веки, глаза жжет, их разъедает жара... их слепит блеск. Да, джентльмены, блеск: колеблющийся свет электрических фонарей отражается, превращаясь в ослепительно яркие лучи, от золота, стекла, слоновой кости, бисера, лазурита, и опять от золота, золота, золота. Войдемте?»

«Я ваш!» — говорит Финнеран.

«Только так, сэр, и никак иначе! Мы многое знаем о хозяине гробницы, Атум-хаду. Из его писаний мы знаем, под каким давлением сформировалась его личность, каким он был на протяжении своего царствования. Мы осведомлены о чудовищных аппетитах, которые он мог унять лишь на короткое время, приложив к тому громадные усилия. Мы осведомлены о семье, что предала его, о царицах и наложницах, что его поддержали, о доверенном Владыке Щедрости, что был его величайшим советником, — и вот все это перед нами.

На стене у золотого саркофага нашего царя мы видим наиболее изощренные, утонченные эротические изображения, запечатлевшие амурные похождения Атум-хаду, а также статуэтки — когда гробница запечатывалась, они оживали, дабы согреть царя на его пути в подземный мир. На возвышающемся между исполинскими статуями богов Атума и Анубиса вычурном столе покоится полное собрание „Назиданий Атум-хаду“, царского сочинения, авторство которого наконец будет доказано. На стенах — еще более полное описание жизни царя, о которой, стоит признаться, — хоть это признание и унесет нас прочь из гробницы, промчит мимо расплывающихся иероглифов и вернет сюда, в гостиную Ч. К. Ф., — мы знаем очень мало. Изголодавшиеся критики получают заслуженные жалкие отбросы, ведь иные из них утверждали, что Атум-хаду и его гробница не просто неизвестны, но вовсе непознаваемы, ибо царь якобы не существовал физически, то есть буквально. Это, разумеется, неправда, но неправды этой достанет, чтобы напугать неуравновешенных инвесторов и исследователей. Вот почему сегодня здесь нет ни первых, ни вторых».

Засим мы занялись постраничным изучением рекламных буклетов: «Шансы на успех», «Кем был Атум-хаду?», «Парадокс Гробницы: общие сведения», «Парадокс Гробницы: случай Атум-хаду», «Роль эротической поэзии при дворе Атум-хаду», «Свидетельства о местоположении и содержимом гробницы», «Расчетная рыночная стоимость избранных будущих находок», «Карты Египта и Дейр-эль-Бахри», «Персональные коллекции». Не все компаньоны бодрствовали от начала обсуждения и до конца (золотая ручка Дж. П. О'Тула, клевавшего носом, обретя самостоятельность, изобразила на страницах записной книжки серию минималистских водопадов), но по меньшей мере один из них прислушивался к каждому слову.

«Ч. К., давайте позже поговорим без посторонних, вы, я и Хайнци», — с резким акцентом сказал О'Тул, поднимаясь с места и потягиваясь. Ковакс с трудом встал на ноги, а Латорп и Митчелл одновременно достигли оттоманки, на которой покоился экземпляр «Коварства и любви в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.).

«Не стоит за нее драться, парни. — Я взял свой портфель. — У меня найдется экземпляр для каждого».

*Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 8 декабря 1954 года*

Мистер Мэйси!

Я работаю не покладая рук. Никогда не знаешь, что будет завтра, коли завтра хоть что-то будет. Урок номер один нашего заведения. Сегодня утром из моей палаты забрали парня, аккуратно запакованного в саван. Его скупающий племяш потратил несколько минут своей драгоценной жизни, расписываясь за труп.

Июль 1922 года. Инспектор С. Джордж Далквист, амбициозный чиновник, был более чем счастлив поделиться заветными воспоминаниями и рассказать про «красных» бомбистов и воров-циркачей. Он смог ответить на некоторые (не все) вопросы об австралийской жизни Пола Колдуэлла: что было после того, как мальчик, чье сердце разбила на кусочки холодная «красная» леди, покинул ресторан, и до того, когда Бойд Хойт на рыночной площади обнаружил в нем талант карманника, я не знал, то бишь на два или три года Пол выпадал

из моего поля зрения. И вот в 1916 году Пол на цыпочках крадется по опилкам, тянется во мраке к соблазнительным бумажникам, и тут из тени выскакивает инспектор Далквист и хватает парня за руку, чуть ее при этом не сломав.

Полу Колдуэллу по меньшей мере двадцать три года, он тонет в слоновьем дерьме, опилках и объятиях Эммы Хойт, и тут его арестовывают за то, что он в темноте тырит негусто набитые кошельки зрителей, которые, кое-как уместив жирные зады на деревянных скамьях, одобрительно — или наоборот — хлопают очередному пингвину. Я, скажу вам, знаю предостаточно о том, как полиция обделывает такие дела. Зуб даю, Пола приковали к стулу, чуток побили, дали хорошенько напиться, подождали, пока высохнет кровь, после чего, когда он по-страшному захотел в туалет, заявляется инспектор Далквист и говорит, что, мол, никто за Пола и словечка не замолвит, Бойд Хойт сказал полиции, что ему на Пола плевать и, будь его, Хойта, воля, подвесили бы Пола за нежную шейку — и все дела.

— Этот ваш мистер Колдуэлл был хоть и тощий что палка, а держался молодцом, — рассказывал мне Далквист. — Конечно, в конце концов они все ломаются, кроме настоящих маньяков-убийц, но этот шпингалет все крепился, ни слова из него не выдавишь. Сначала я хотел услышать от него про то, что он воровал бумажники по приказу Хойта, потому как с финансами у того были нелады. Пригрозил, что засажу его в тюрьму всерьез и надолго — жалоб о кражах ожидалось выше крыши. Однако ваш мистер Колдуэлл словно воды в рот набрал. Я спросил: Хойт велел тебе воровать? Тишина. Я описал ему жизнь в тюрьме. Тишина. Я говорю, судья может послать его служить в армию, и отправится он воевать с кайзером в далекую Францию, и снесут ему там его дурную башку. Как ему такая перспектива? Тишина. «Ты крутил шашни с женой Хойта, верно? Мистер Хойт на тебя уж очень зол. Прямо тебя ненавидит. Говорит, что ты не только вор, ты еще и его жену изнасиловал». Но наш Пол молчит в тряпочку, даже не хнычет, а потом очень медленно поворачивается ко мне и говорит: «Вы можете послать меня в армию, если я помогу вам?» Я, признаться, не понял, про что это он, хотя он явно чего-то хотел. Тут начались серьезные переговоры, мистер Феррелл. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы начали обсуждать весьма гипотетические ситуации. Что бы я смог сделать для него, если бы он поделился со мной чем-нибудь убийственно интересным? Что бы он мог поведать мне, когда бы оказалось, что я знаком с человеком, который в состоянии повернуть его дело? «Давайте-ка посмотрим на наш расклад, мой юный мистер Колдуэлл, и пойдем с туза», — сказал я. Первое: Пол подтверждает, что Хойт научил и заставил его воровать, что Полу с награбленного доставался скромный процент, а остальное шло на содержание цирка, на кормежку тиграм. «Хойт велел мне красть, Хойт забирал все деньги, Хойт научил меня вытаскивать бумажники, Хойт то, Хойт се...» Интересно, говорю, но чтобы от тюрьмы откосить — маловато. Он говорит, мол, понял. С минуту молча размышляет. А помню ли я Шустрых Живковичей? Ну, двух заезжих акробатов, которые в прошлом году окочурились в цирке Хойта во время представления? А если Пол сможет доказать, что они были *убиты* Хойтом, чтоб билеты получше продавались? Когда есть шанс поглазеть на чью-то смерть, люди начинают ходить в цирк табунами. Куда интереснее, признался я, но все еще недостаточно, чтобы оплатить весь заказ. Он сидел и долго смотрел себе под ноги. Склонил этак голову — я еще подумал, что он

или уснул, или окончательно приуныл, или придумывает, чего бы такого со- врать. Все равно я ждал и наблюдал. Пять минут, десять минут. С каждой ми- нутой я уверялся в том, что меня ждет небывалое признание или явные небы- лицы. Я видел, как шевелятся его губы, как он что-то обдумывает. Потом он поднимает голову, смотрит мне в глаза и спокойно так спрашивает: «А если я расскажу про тайный заговор бесчеловечных коммунистов в самом сердце Сиднея?» Вот тут, мистер Феррелл, я уже был весь внимание... Пообещать ему, что все будет так, как он хочет, я сразу не мог. Ставки высоки, но если он гово- рил правду, игра стоила свеч. Я сказал ему: я — человек слова, но чтобы все утрясти, понадобится время. А он, помню, ответил: «К чему спешить? Мировая революция и уничтожение полиции того не стоят, это само собой». И рассме- ялся мне в лицо.

В их соглашении, Мэйси, не было ничего сложного, хотя претворить его в жизнь было несколько затруднительно. Пол желал, чтобы его отправили в Ав- стралийскую имперскую армию в Египет, а еще он хотел *оставаться* в Египте до тех пор, пока оттуда не уйдет АИА. Никаких Галлиполи и Люксембургов, большое спасибо. Он хотел мотать срок в Египте, и нигде больше. Он сказал Далквисту, что может читать по-египетски и знает тамошнюю географию не хуже австралийской, и еще — что в заведении Хойта научился держаться в седле. В обмен он сдает брата и сестру Барри с друзьями. Конечно, имена он назвал не сразу. Пол рассказал в общих чертах про то, что Далквисту предсто- яло отыскать, тот поверил, сговорился, упирая на государственные интересы, с военными и добился того, чего желал его бесценный осведомитель. Пол между тем коротал время в сиднейской тюрьме и ни с кем не виделся. Полу- чив письменные гарантии, он начал выкладывать детали. Бомбы под полови- цами. Список жертв террористов. Имена заговорщиков. Похитители детей. Со- стоящие в кровосмесительной связи библиотекари, развращающие молодежь.

— Не все на поверку оказалось правдой, но я не жалуясь, — сказал мне ин- спектор. — Колдуэлл слово сдержал, я тоже. Через неделю после арестов он уже был на борту десантного корабля. Это значит — летом, то бишь в декабре тысяча девятьсот шестнадцатого.

Иные газеты называли Далквиста героем в 16-м году и идиотом в 17-м, а он продолжал делать свое дело. Он остановил бомбиста-анархиста, и его особо не волновало, что пришлось заплатить шквалом отречений, невнятных прави- тельственных оправданий и отмененных судов.

Вы служили в армии, Мэйси? Воевали в Корее или еще где? Я был староват, чтобы хвататься за оружие и идти добровольцем на эту нашу Великую войну. Почти все наши парни тогда поехали в гости к туркам-придуркам, чтобы от имени австралийцев задать им перцу при Галлиполи. И дурацкий турецкий берег окрасился их кровью — за-ради Сербии, коли я правильно себе уяснил. Не за-ради меня, спасибо, не за-ради даже Пола Колдуэлла, как нам теперь яс- но. Коли ты не повидал Суэц, Иерусалим и Галлиполи, Египет образца 1917 го- да покажется безопасным местечком. Он, конечно, ехал не войны ради, но любви. Ему удалось воплотить в жизнь то, что пареньку из сиднейских тру- щоб и присниться не могло: он плыл в страну своей мечты. Что он там думал найти — так сразу и не скажу, но умирать за это, по-моему, не стоило. Задним числом я бы посоветовал ему выбрать тюрьму, тогда он хотя бы остался в жи- вых.

К июлю 22-го года я искал следы потерявшегося много лет назад сиднейского наследника Барнабаса Дэвиса уже несколько недель. Я особо не надеялся, что дело как-то раскрутится. За легкую, неопасную работенку меня в один прекрасный платежный день должны были вознаградить. Я телеграфировал в Лондон длинный рапорт про то, что хорошего и плохого было в Поле Колдуэлле. Мой последний собеседник, ежели вы не вникли, утверждал, что Пол от имени короны боролся с наступающим на Содружество коммунизмом. Я отметил (честно сказать, недоговаривая), что Пол, скорее всего, мертв. Однако, писал я, имеется возможность разузнать про то, как Пол воевал, опросив его однополчан и офицеров, ежели это интересует Барнабаса Дэвиса. И коли окажется, что Пол герой, поверенные Дэвиса могут поменять имя Колдуэлла посмертно, а то и наградить его медалью или объявить благодарность на новую фамилию — ежели Дэвис пожелает кого надо подмазать. Не знаю зачем, скорее шутя, чем всерьез, я упомянул, что теперь самая пора взяться за английскую часть расследования, было бы здорово поговорить с семьей и коллегами капитана Марлоу, пропавшего вместе с нашим пареньком и двигавшего его по службе.

Я полагал, что лондонское головное управление скажет «спасибо», заплатит деньги — и все. Я думал, может, они мне заплатят, ежели я составлю что-то наподобие инструкции для другого тейлоровского детектива, которому в Англии поручат встретиться с людьми, про которых я напишу. Но четыре дня спустя я получил по кабелю обескураживающий ответ:

*«УПОЛНОМОЧИВАЕМ НЕМЕДЛЕННО ЕХАТЬ АНГЛИЮ РАСХОДЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДЕЛУ ДЭВИСА».*

Все это, скажу я вам, было очень странно. Новости меня, безусловно, порадовали: и мир посмотрю, и деньгу зашибу, и работа будет — не бей лежачего, но интересная. Но зачем это все нужно? Ищеек в Англии у «Международных исследований Тейлора» хватало. Спрашивается, на кой платить мне и тащить меня на край света? Расходы будут явно выше той суммы, с которой Барнабас Дэвис готов расстаться, дабы убедить Пола Колдуэлла стать Полом Дэвисом.

Я раздумывал над этим две недели, пока ждал корабль, я размышлял, пока болел, потом до ужаса скучал, потом снова болел на пути из Сиднея в Мельбурн, оттуда в Аделаиду, Фримантл, Аден, Александрию, на Мальту и в Ливерпуль. Все путешествие я промаялся от болезни и растерянности (нужно отдать старому Дэвису должное: до самого финала путешествовал я, ежели то было возможно, с комфортом). Я ничего не понимал до прибытия в Англию, то бишь 12 декабря 1922 года, и мне уже было все равно. Выяснилось, что дело проще некуда: Барнабас Дэвис желал встретиться со всеми своими детективами, с каждым, кто виделся с его детьми или его женщинами. Я поехал в Англию и получил деньги от компании «Дэвисов эль» лишь потому, что старикан желал знать, здорова ли Юлейли, хороша ли собой, хотел посмотреть на меня, когда я буду рассказывать про Пола. К тому времени, когда я прибыл в Лондон, Дэвис, ясное дело, уже лежал в гробу в белых тапках. Меня встретил старый Миклош Тейлор с улыбкой до ушей. Законники только что сообщили ему, что наследники Барнабаса Дэвиса намерены тратиться на расследования до победного конца. До той минуты, когда я перешагнул порог конторы Мик-

лоша Тейлора, мы не встречались, однако Тейлор заключил меня в объятия, ущипнул за щеку, назвал «братом». Вы, верно, знаете, после дела Дэвиса он ушел в отставку и до конца дней своих жил на широкую ногу, и все из-за раздутых счетов, оплаченных из сундуков мертвеца.

Само собой, его детективы ни в чем не знали отказа. *Дэвис* превыше всего; чего бы мы ни попросили — нам давали вдвое больше. Потенциальные рогоносцы, растратчики и неверные супруги терпеливо ждали своей очереди — Тейлор хотел убедиться, что все концы этого дела обнаружены, собраны воедино, переплетены и позолочены. Представленный поверенным и переправленный душеприказчикам окончательный рапорт, за который Тейлор выставил отдельный счет, содержал в себе 2500 страниц с фотографиями, жизнеописаниями ублюдков всех национальностей, записями их разговоров с детективами, картами, на которых отмечалось их местоположение, извещениями о принятии условий договора, свидетельствами о смене имени и все такое прочее. Можете представить себе часть рапорта про покойного Колдуэлла.

Подробности будут в свое время. Сначала — следующая наша беседа. Какое? Что скажете? *Наше* интервью, как бы ваше и мое, а, Мэйси? Вы могли бы досочинить историю, выступить *участником* нашего предприятия. Могли бы стать моим *Ватсоном*, *собратом по действию*, не только по перу. Не по каждому действию, это будет нереалистично. И не станем забывать, ради кого читатель купит книгу. Без обид? И все же — помощник, тот, кто задает мне вопросы, кому я смогу объяснить мой ход мысли, мой дедуктивный метод, чтобы читающий поспевал за нами на самых крутых поворотах. Да, в этом что-то есть. Посмотрим, как пойдет.

Лондон добыл про капитана Марлоу новые сведения и организовал мне визит к его родителям. Для начала мы с вами изучим полученную информацию, резюме из доступных документов военного ведомства и фактов, о которых сообщила пара местных тейлоровских ищеек, нанятых для экономии моего времени:

*Капитан Хьюго Сент-Джон Марлоу на четыре дня покинул военный лагерь в Каире 12 ноября 1918 года. 16 ноября он не вернулся. Предпринятые 18 ноября поиски результатов не дали. Опрошенные офицеры и солдаты ничего существенного не сообщили. В марте 1919 года местные жители попросили награду за найденные ими личные знаки кап. Марлоу и капрала П. Б. Колдуэлла (АИА), а также винтовку «ли-энфилд» калибра.303 (АИА). Туземцы сообщили, что нашли все это возле Дейр-эль-Бахри. Новый опрос не выявил какой-либо связи между капитаном Марлоу и капралом Колдуэллом, хотя из бумаг АИА следует, что кап. Марлоу проявил исключительную инициативу, дважды рекомендовал кап. Т. Дж. Лихи (АИА), командиру роты Колдуэлла, повысить последнего в звании.*

— Что бы вы сказали по сему поводу? — спросил я. Мы сидели в обитых плюшем комнатах «Международных исследований Тейлора». (Добро пожаловать в повествование, Мэйси!)

— Ничего не могу сказать. Неясно, за что ухватиться, мистер Феррелл, — сказал мой молодой американский помощник. — В высшей степени загадочное дело.

— Таковым оно и останется, покуда нам не явится вся правда в своей кри-



стальной чистоте — и не исчезнет подлый обман!

Что нам точно известно: у нашего Колдуэлла были какие-то отношения с британским капитаном, а тот совал нос в австралийские дела и дважды способствовал повышению Колдуэлла в звании. В отпуск они убыли вместе. И исчезли вместе. И умерли тоже, видимо, вместе.

Я отправился в Кент, в мрачную обитель беспокойных, затрапезного вида родителей капитана Марлоу. На станции меня встретили, привезли к входу для слуг их загородного дома и провели по черной лестнице в маленькую библиотеку, где в молчании сидела чета Марлоу. Пышноусый, необычайно маленького роста отец все время молчал. Вяло пожав мне руку без всякого приветствия, он уселся перед письменным столом и сложил руки на коленях. Смотрел он в основном в пол, и лишь когда я объяснял, что провожу частное расследование с целью выяснить в том числе обстоятельства исчезновения его сына, поднимал глаза, будто наконец готов встретиться со мной взглядом, но смотрел сквозь меня — и переводил взгляд на потолок. Когда я задавал вопрос, жена сначала смотрела на мужа, потом, когда становилось ясно, что он будет молчать, переключалась на меня и отвечала как могла быстро, обращаясь при этом к моим голеням. Я быстро понял, что есть англичане, которые ведут себя с австралийцами только так и не иначе.

Марлоу, конечно, получили официальное извещение из Британской армии. Ни тела, чтобы похоронить, ни объяснений, как именно погиб их сын. Они пытались что-то выяснить — в армии служил еще один их отпрыск, а дочка вышла замуж за военного. В итоге они знали то же, что и я. Писал ли им капитан Марлоу из Египта? Да. Упоминал ли о дружбе с австралийским солдатом, капралом Колдуэллом? Мать смутилась, а отец перед тем, как посмотреть на потолок, даже коротко хохотнул, точно гавкнул, явно намекая на мой акцент и на то, что рядовой и сержантский состав австралийских войск навряд ли социально привлекателен. Знали они, что оружие и личный знак капрала Колдуэлла были обнаружены вместе с оружием и знаком капитана Марлоу? Они ошарашенно молчали, качая головами. Говорит ли им о чем-то название «Дейр-эль-Бахри»? Ни о чем. Зачем бы капитану Марлоу после перемирия брать четыре дня увольнительной и отправляться к черту на кулички? Это-то ясно: археология.

Интригующий ответ, не так ли, Мэйси? Капитан Марлоу, сказали мне, изучал в Оксфорде археологию и египтологию. Будучи студентом, он весьма преуспел в науках и надеялся после войны вернуться к ученым занятиям. Назначение в Египет весьма его обрадовало. Есть ли у капитана Марлоу в Оксфорде друзья, с которыми я мог бы переговорить? Да, Беверли Квинт, они пару семестров делили комнату. «А еще этот странный тип...» Умолкнув на полуслове, мать взглянула на отца. Марлоу-старший передернул плечами, повернулся на стуле и из верхнего ящика письменного стола достал большой коричневый открытый конверт. С отвращением передал конверт мне. Письмо послали чете Марлоу из Гарвардского университета в Америке, внутри лежала тоненькая книжица: «Коварство и любовь в Древнем Египте». Экземпляр подписан, на форзаце я нашел строки, выведенные синими чернилами авторучки восточноамериканского происхождения (я изучал чернила и ручки всю свою жизнь, думаю, мои познания меня не подвели): «13 августа 1920 года. Приапу и Сапфо Марлоу, которые отлично знают, как важен был для меня Хьюго, мой драго-

ценный университетский и армейский друг, вдохновение жизни и смерти. С теплыми воспоминаниями о светлых временах, проведенных в вашем уютном гостеприимном доме, от вашего „второго сына“, Р. М. Трилипуша». (Мои поздравления и благодарность, Мэйси, за ваше терпение. Как и было обещано, мой развратный пивовар привел нас к первому жениху вашей тети.)

— Очень трогательно, по-моему, — сказал я без тени улыбки молчаливым Марлоу. — Вы говорили с вашим другом мистером Трилипушем после того, как исчез капитан Марлоу?

Отец посмотрел на свои руки, мать покачала головой. Я продолжал наступать вслепую:

— Возможно, он мог бы пролить свет на жизнь и кончину вашего сына...

— Мы его не знаем, — сказала мать.

— Вы хотели бы, чтобы я поговорил с ним вместо вас?

— Вы меня неправильно поняли, мистер Феррелл. Я хочу сказать, что мы никогда его не видели, хотя Хьюго из Оксфорда часто про него писал.

— Я в растерянности, мэм. Что он имел в виду под словами «второй сын»?

— Мы понятия не имеем, — сказала она.

— Хьюго никогда вам его не представлял?

— Никогда.

— И он не жил «в вашем уютном гостеприимном доме»?

— Точно не жил.

— А эта книга?..

После долгой паузы миссис Марлоу наконец еле слышно вымолвила:

— *Мерзость*. — Она сглотнула. — А в предисловии он пишет, что Хьюго ему помогал.

— Кроме того... — Звук был странный и удивительный — крошечный Приап Марлоу впервые заговорил. — Кроме того, *эти имена*... Нас зовут по-другому.

Жена молча кивнула в знак согласия.

— Я склоняюсь к мысли, что, возможно, могу быть чем-то вам полезен, — сказал я.

Отец принялся жевать свой заостренный ус.

Загадки громоздятся друг на дружку, Мэйси. Дело Дэвиса расплзлось по земному шару, и мы должны задать главный вопрос, вечно терзающий умного детектива, который пытается очертить и ограничить поле наблюдения: не заблудились ли мы в фактах, не имеющих к делу никакого отношения? Или мы просто держим ушки на макушке, надеясь, что услышим наконец всю правду о покойном Поле Колдуэлле? А еще мы должны найти ответы на вопросы новых клиентов, которые сейчас сбиты с панталыку, но в будущем могут принести наибольшую выгоду — скорбящих родителей Хьюго Марлоу, желающих понять, что случилось с их дорогим сыном. У нас много дел, Мэйси, а потому — хватит развлекаться в Лондоне, прочь коктейли, попрощайтесь с красотками и становитесь моим помощником; игра началась! (Сколько вам лет в этих записках, коли учесть, что вы тогда еще не родились? Я бы предпочел, чтобы вы были неопытным самонадеянным щенком лет двадцати. Вы восхищаетесь моей дедукцией и питаете слабость к дешевым эффектам и негритянскому джазу.)

В общем, я вас отрезвил, и вы отправились в Оксфорд выполнять мои пору-

чения, а я тем временем отыскал и расспросил нескольких лондонцев, служивших вместе с капитаном Марлоу. И что же сказали эти рубаха-парни, пока мы распивали «Дэвисов эль» в местных пабах? Что они слыхом не слыхивали про Трилипуша или Колдуэлла и что Марлоу был кабинетным служакой и допрашивал пленных.

Дождаясь, пока вы вернетесь из Оксфорда с добрыми вестями в клюве, я нанес визит Беверли Квинту. Да, невзирая на имя, это все-таки *мистер* Беверли Квинт. Интересно, что себе думали его родители?

Я обнаружил, что Беверли Квинт, оксфордский друг нашего капитана Марлоу, живет в Лондоне; зарабатывал он, без сомнения, более чем скромно, однако жизнь вел по большому счету необременительную. Вот вам, Мэйси, совет: когда будете переписывать, пожалуй, стоит добавить драматическую деталь — вы в Оксфорде делаете решающее открытие (занимая в литературной версии мое историческое место) ровно в тот момент, когда я нахожусь в извращенно восточной приемной в квартире Беверли Квинта в Олбани. Вы спрашиваете древнего архивариуса с ушами в шерсти: «Вы уверены?..» — ровно тогда, когда я спрашиваю надменного жеманника мистера Квинта: «Вы уверены, что знали его?»

— Совершенно уверен, сэ, хотя никак нельзя исключить, что бумаги затерялись либо уничтожены, — говорит архивариус, и над Оксфордом сгущаются грозовые тучи, и вы еле сдерживаете волнение. — Я не нашел записей о том, что Ральф Трилипуш учился в Баллиоле между тысяча девятьсот девятым и тысяча девятьсот шестнадцатым годами.

— Уверен? Уверен ли я? Разумеется, я уверен, мистер Феррелл, — говорит педиковатый мистер Квинт в это самое мгновение, томно поглядывая на меня сквозь освещенное ярким солнцем облако квартирной пыли и задумчиво изучая книгу четы Марлоу, которую я ему показал. — В Баллиоле Ральф Трилипуш, Хьюго Марлоу и я слыли неразлучной троицей, — предается воспоминаниям квелый Квинт. — Правда, эти двое ударились в Египет, а я учил греческий, но это неважно, голуба. Мы были невероятно близки, все делили на троих — как три мушкетера или три девицы, три подружки, это уж как вам будет угодно... — Трудно не понять, на что мистер Квинт намекал в этой комнате, которая не смела даже признаться, что она такое есть. — Я вас смущаю, мой очаровательный заморский гость? — спросил он, перелистывая Трилипушеву книжицу.

— Я видел достаточно, мистер Квинт, спасибо, ничто не в состоянии привести меня в смущение.

— Разумеется, голуба, вы же не человек, вы — человечище действия! У вас случаем не завалился адресок моего дорогого Ральфа, а, умница вы наша? Я потерял его следы после войны — а мне так много всего нужно ему рассказать! Вы его скоро повидаете? Передайте ему, что Бевви любит его как никогда!

На мою просьбу показать фотографии друзей Квинт извлек на свет божий рисунок Хьюго Марлоу: увеличенный поясной портрет весьма уродливого юноши, на которого кто-то тем не менее потратил и холст, и краски. Даже на мой неискушенный взгляд он походил на какую-то рептилию. Часть тела, которая у нормального человека называлась бы подбородком, сразу переходила в шею. Черные вьющиеся волосы росли как попало — то непроходимыми за-

рослями, то редкой травкой, едва прикрывавшей скальп. Уши как у слона, прозрачные, помещались почти на висках, соединяясь с головой под прямым углом. Под глазами у Марлоу наблюдались мешки и круги, кожа нездорового голубоватого оттенка, прямо как Квинтовы манеры.

— Дьявольски красив, — выдавил я.

— Истинно так, но распознать это могут лишь утонченнейшие из натур, — промурлыкал хозяин, явно гордясь своей собственностью.

Странно, Мэйси, что сам Квинт был настоящим красавцем, эдаким истинным британским джентльменом, его внешность желал бы занять каждый: квадратная челюсть, ясные глаза, орлиные брови, ухмылка, от которой женщины валятся в обморок. Коли Хьюго Марлоу был голубком Квинта, то был неравный союз красавца и чудовища.

А изображение Трилипуша у Квинта есть? «Не могу допустить мысли, что нет...» Но нашел он лишь фотографию оксфордских времен с какого-то студенческого спектакля: в самом центре — напудренный Квинт в парике в роли Марии-Антуанетты и непреклонный революционер Марлоу, вышедший четко и оттого куда уродливее. Позади них — ряд одинаковых пятен; Квинт наманикюренным пальчиком указывает на расплывчатого крестьянина, третьего слева.

— Смотрите, это наш Ральф! Обратите внимание, как он чопорен! — восклицает Квинт. — Кто еще мог бы сыграть столь невыносимо самодовольного французского революционного крестьянина? *Поэтично!* Таким Ральф и был — с головы до пят!

— А Трилипуш встречался с вашими родителями? С родителями Марлоу?

— Ну а как же, дорогуша! Старикам да не представить лучших друзей? Праздники, обеды, все как полагается. А как принято дружить у вас, в заднице мира?

В это время вы, Мэйси, проглядываете бумаги, которые дал вам старый оксфордский архивариус, и замечаете, что о Ральфе Трилипуше там нет ни слова, а вот о проделках Марлоу и Квинта можно много всякого узнать. Марлоу изучал Египет под надзором ныне покойного «дона», то есть преподавателя, по имени Клемент Векслер. Квинт долбил французскую литературу, то есть наверняка лгал насчет греческого, а значит, все его показания предстают перед нами в ином свете. В тот же день вы расспросили служителей библиотек Бодлея и Эшмола, где хранятся египетские штучки. Выяснилось, что Марлоу вечно там ошивался, а про Трилипуша служители ни сном ни духом. И вот вы в тихом храме необязательного образования беседуете с библиотекарем, все больше убеждаясь, что Трилипуш никогда не бывал в Оксфорде, и тут чрезвычайно деликатный молодой человек у вас за спиной говорит:

— Простите, что вмешиваюсь... я нечаянно расслышал... вы упомянули *Трилипуша?*.. Вы — друг Трилипуша?.. Никогда не думал, что...

— Вы его знаете? — спрашиваете вы слишком уж нетерпеливо, потому что, Мэйси, вы неопытны.

— А как же. А... вы? Сдается, что нет...

— Не имел чести. — Еще одна ошибка, Мэйси, надо было соврать, что вы с ним лучшие друзья. — Вы вместе учились?

— О да. Египет во всем его блеске и очаровании... Но что я вам буду рассказывать, ведь вы с ним незнакомы...

И молодой человек исчезает, не желая ничего добавить к сказанному, но во всяком случае подтвердив, что Трилипуш был в Оксфорде *неформально*, что, Мэйси, не так уж и плохо. Хотя странно: как этот студент в 1922 году, на вид лет восемнадцать или девятнадцать, мог ходить на оксфордские занятия вместе с Марлоу, Квинтом и Трилипушем восемь лет назад? Загадки громоздятся друг на дружку. И пока вы, озадаченный своими открытиями, бредете под оксфордским дождем, я еще сижу в лучезарной запыленной гостиной, отказываюсь от очередной тарелки рахат-лукума и потягиваю странный густой кофе мистера Квинта, а сам он курит длинную необычную сигарету, вставленную в мундштук, и всячески осложняет мне жизнь, хоть я и слышу куда больше, чем он желает мне поведать.

— Почему вы не служили в армии, мистер Квинт?

— Слаб здоровьем, — выдает здоровяк-собеседник.

— Вы получали повестку?

— М-м-м... я бы запомнил. Получить *повесточку* — очаровательно!

— Контактировали ли вы с капитаном Марлоу, когда он был на войне?

— Bien sur.[3] Я ужасно беспокоился, но за ним присматривал Трилипуш... Ральф и Хьюго жили около ужасно мрачных пирамид, оба пирамиды просто обожали. Они воевали с бошами или с черномазыми, в общем, с кем-то, кому пора было задать хорошую английскую трепку. Счастливчики... а потом бедный Ральф отправился воевать в Турцию. Мы думали, мы его потеряли, но такие, как он, выберутся из любого пекла.

Все ладно и складно, да, но вот, Мэйси, вы сидите в тейлоровской штаб-квартире и чешете репу, а перед вами — только что присланная официальная бумага, согласно которой в Министерстве обороны Ее Величества, *как и в старом Оксфорде*, нет ни единого документа про человека по имени Ральф Трилипуш.

— Мистер Квинт, что, по-вашему, случилось с капитаном Марлоу?

— *По-моему?*.. Вы, австралы, убийственно циничны. Я думаю то же, что и военные. Я не из тех, кто сомневается в официальных сообщениях. Он бежал со всех ног, дабы полюбоваться на истлевшие прелести какой-нибудь там царицы — и напоролся на смуглых бородатых бандитов. Или рассвирепевших усатых немцев, вероломно, хотя и мужественно отказавшихся признать перемирие. Они его порешили и сказали спасибо судьбе. А *по-вашему*, что случилось с ним, Феррелл-Зверрелл?

— А писем капитана Марлоу вы случайно не сохранили?

— Разумеется, сохранил и с превеликим удовольствием показал бы их вам не сходя с места, не погибни они несколько месяцев назад вследствие проблем с водопроводом.

— Марлоу упоминал в письмах Пола Колдуэлла?

— Не припомню такого имени... нет.

— Австралийца? Возможно, он занимался с капитаном Марлоу археологией. Или еще чем.

— Как человек, осведомленный о пристрастиях Хьюго, — говорит этот образчик английского мужества, — я бы очень удивился, узнав, что он занимался *еще чем* с австралийцем. Первопроходцы были не совсем в его вкусе.

Мэйси, я спешу на встречу с вами в тейлоровскую штаб-квартиру, чтобы поделиться информацией. «И что все это значит?» — спрашиваете вы, едва не

отчаиваясь. «Слишком рано делать выводы, Мэйси. Терпение, приятель, смотрите на вещи непредвзято!» И я отправляю вас за билетом в Соединенные Штаты Америки. Расходы оплачивают наши клиенты — Гектор и Регина Марлоу и Барнабас Дэвис. Да-да, именно так — Америка, где мы непременно должны поговорить с нашим мистером Трилипушем, профессором Гарвардского университета.

И что же все это значит? Трилипуш, который не учился в Оксфорде и не воевал, очевидно, все-таки учился в Оксфорде и воевал. Человек, который не был знаком с родителями Марлоу, притворился или убедил себя, что их знал, причем был в этом настолько уверен, что притворился *перед ними*. Или же он все-таки был с ними знаком, и это *они* мне врал, дабы утаить свои обидные прозвища и умолчать о скандальном поведении, которым они эти прозвища заработали. Далее, Квинт, кажется, намекал, что Марлоу и Трилипуш состояли в интимной связи постыдного свойства. В то же время Квинт и служившие под началом Марлоу люди никогда не слышали про Колдуэлла, а Министерство обороны и солдаты Марлоу никогда не слыхали про Трилипуша. Что может быть яснее?

На этой ноте, Мэйси, отсылаю вам очередную главу повести о наших приключениях.

Ваш Феррелл

*Четверг, 12 октября 1922 года (продолжение)*

*К рукописи:* Поместить между авторским введением и дневником раздел «Египет при Атум-хаду». Царь Атум-хаду, которому я обязан академической репутацией и сравнительно скромным достатком (ресурсы почти на нуле, финансовых вливаний ждать еще целых десять дней), правил в

*Дневник:* Посетил банк, дабы представиться управляющему. Убедился, что счет открыт и банк готов принять крупные суммы из-за границы. Сообщил о своем местонахождении, дабы меня тотчас поставили в известность о получении первого перевода от «Руки Атума, Лтд.» (ожидается 22 октября). Объяснил необходимость беспрепятственно пользоваться услугами луксорского отделения банка после того, как переберусь на юг. Современному исследователю, мой читатель, стоит загодя подстраховать себя с финансовой стороны.

Будучи хорошо принят в банке, я провел остаток 12 октября в борьбе не с массивными воротами гробницы, не с упрямством рабочих бригад, не с боязливыми иероглифами, что исчезают, едва их коснутся обесцвечивающие лучи солнца, но с франко-египетской бюрократией. До какого положения низвела она исследователя! А ведь раньше, в золотом веке, мужчины отправлялись в пустыню, не прося ни помощи, ни разрешения. Рекомендательными письмами им служили ум и любопытство, даже ученые степени тогда не имели значения: Бельцони был цирковым силачом из Италии, Говард Вайс специализировался на подрывных работах, и все равно страна завлекла обоих мужчин в свои объятия — и щедро вознаградила за любовь. Бельцони попросту перетаскивал саркофаги на своей мускулистой спине; Ферлини сносил вершушки девственных пирамид, словно медведь, что вскрывает пчелиные ульи, и извлекал спрятанные в них манящие сокровища. Профессиональный теннисист Ф. П. Майер, тщетно пытаюсь осмыслить принципы строительства пирамид, на-

нял бригаду местных рабочих и внимательно следил за тем, как они трудятся, устают и утомляются, как они разбирают небольшую пирамидку VI династии камень за камнем, перекатывают их по пустыне на примитивном рольганге, обтесывают идеальные блоки, придают им грубые, случайные, «естественные» формы — и хоронят в далекой каменоломне. Доказать ему почти ничего не удалось, зато посчастливилось найти в почти пустой центральной камере пирамиды крошечную позолоченную статуэтку Анубиса. Дети Майера, кажется, расплавили ее после того, как он сошел с ума, убедил себя в том, что имя царя V династии Шепсикра есть некая анаграмма, и умер. Как бы там ни было, Египет покорялся мужчинам. Они появлялись, рыли землю, рисковали, уезжали прочь со своими находками — и их имена попадали в пантеон. И хотя научная ценность их методов и достигнутых результатов для меня подчас сомнительна, эти люди по меньшей мере не ждали, пока сонные французы из каирских кабинетов вчитаются в заявление о получении «археологической концессии», по которой мумифицирующиеся в приемных исследователи обязаны отправлять пятьдесят процентов находок в ненасытную утробу государственных музеев Египта.

Если вкратце, визит мой к генеральному директору Департамента древностей правительства Египта обернулся сплошным разочарованием. Я, разумеется, рассчитывал на содействие; вместо этого мне было сказано, что отправленное мною несколько недель назад письмо с заявлением «блуждало... так можно сказать?».

«Нет, — просветил я секретаря, бледного француза, утверждавшего, что он никогда не слышал ни обо мне, ни о моем заявлении, — „мое заявление блуждало“ — так сказать нельзя». Несколько минут он провел за дверью своего начальника — очевидно, звукоизолирующей, — затем объявился с новостью: мое заявление вновь рассматривается, и не буду ли я столь любезен вернуться в учреждение через одиннадцать дней? *Одиннадцать дней!* Значит, я смогу отправиться на место самое раннее 24 октября! Я же рассчитывал отправиться в путь уже через два дня и заложил в смету соответствующие расходы. Да, безусловно, это моя ошибка — я переоценил дееспособность окружающих. Закосневший в инфантильности египетский режим не оставляет мне иного выбора, кроме как отложить начало путешествия. Я ставлю в известность туристическое агентство и бронирую билеты первого класса на следующую в Луксор «Царицу Луксора» на 24-е число, возвращаюсь в гостиницу и продлеваю срок пребывания в Фараонском номере, что приводит к непредвиденным расходам, не запланированным в ходе обсуждений с компаньонами. Перевод 22 октября, кажется, становится более срочным, нежели все мы полагали.

Мое заявление о получении концессии составлено просто и скромно. В отличие от тех, кто из каприза и мнительности перекапывает огромные площади, я запросил исключительную лицензию на исследование узкой полоски на склоне холма в удаленном уголке Дейр-эль-Бахри, что на западном берегу Нила. Пусть профессор Уинлок зарывает в землю средства нью-йоркского Метрополитен-музея, забрасывая просторы Дейр-эль-Бахри грязью и грунтом; за год с лишним он не нашел ничего достойного внимания и, как и следовало ожидать, не выказал интереса к тому участку за холмами, который я намереваюсь изучить. Если Уинлок или Департамент древностей будут медлить с решением выделить мне мой участок, я буду поражен до глубины души. В конце кон-

цов, правительство присваивает половину найденного!

Посетил почту, чтобы узнать, нет ли известий от компаньонов/Маргарет *poste restante*. [4] Проверил, верно ли почтовые работники пишут мое имя. Отправил Ч. К. Ф. каблограмму, дабы сообщить о задержке и проверить, дошла ли информация из моего банка в бостонский банк, где у «Руки Атума» есть счет.

Начал искать агентов по недвижимости с целью арендовать дом неподалеку от места раскопок на юге; просматриваю рисунки и фотографии изысканных и подходящих особняков. Агент сказал, что услугами таких, как он, пользуется сам Говард Картер. Рекомендация впечатляет: этот человек точно знает, что мне нужно. Посетил базар. Нашел легкий шарфик для Маргарет, поймал мальчика, покусившегося на мой карман. Чуть не разорвал его надвое, но тут явилась скверная актриса, изображавшая его мать; рыдая, она умоляла пощадить мерзавца.

Сижу в *ахве* [5] и успокаиваю нервы чашкой кофе. Описываю в дневнике огорчительные события дня. Возвращаюсь в гостиницу — принять ванну.

*Пятница, 13 октября 1922 года*

*Свидетельство о местонахождении гробницы Атум-хаду:* Пока чиновники из Департамента раскачиваются, позволю себе ответить на неявный вопрос: откуда мне знать, где искать гробницу? Чтобы ответить, я должен вернуться на несколько лет в прошлое, в те времена, когда мы с Хьюго Сент-Джоном Марлоу, энергичному примеру коего я следовал, делали первые шаги на стезе египтологии. Не попади Марлоу под нож безумной мясорубки Мировой войны, он был бы среди достойнейших членов нашего пустынного братства.

До того трагического дня мы, два юных капитана, во имя общего дела трудились бок о бок здесь, в Египте (пока я в пятнадцатом году не отправился воевать в Босфорской кампании). Мы с Хьюго Марлоу вместе учились в Оксфорде, оба хорошо говорили на современном арабском и отлично разбирались в древнеегипетском. Армия Ее Величества, вовремя отметив наши лингвистические способности, разумно распорядилась нами, отослав на ближневосточный театр военных действий. Нас поселили на окраине Каира, свой лингвистический и культурный багаж мы использовали на допросах узников (случайных подозрительных бедуинов с турецкими документами или оружием) и в контрразведывательных операциях (старались уговорить бедуинов турецкое оружие носить, но ни в коем случае им не пользоваться).

Я знаю, что немодно так говорить о Мировой войне, однако я чувствовал себя на ней превосходнейшим образом — пока меня не попросили стать советником при солдатах АНЗАК, [6] отправленных в веселенькое путешествие на разгром фескоглавых турков и подстреленных при Галлиполи. Все потому, что на протяжении нескольких месяцев до сего скорбного побоища мы с Марлоу, пользуясь пребыванием на земле возлюбленного Египта, прочесывали пески где только могли и при любой возможности представлялись светилам археологии, продолжавшим извлекать из-под земли прошлое, когда настоящее во круг проваливалось в тартарары.

Мы с моим дражайшим другом в свободные минуты (которых было больше, чем вы можете себе представить, — ибо в моем театре военных действий, сказать по чести, представления давались крайне редко) на мотоциклах ездил-



ли, находя формальные предлоги, к пирамидам, к Сфинксу, совершали даже многодневные экскурсии на юг, чтобы посмотреть Долину царей и храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, — и все, о чем я мечтал в детстве, о чем грезил в годы учебы, внезапно и волшебным образом обращалось в реальность. То, по чему я тосковал с детских лет, когда были заложены и схвачены цементом краевые камни фундамента моей личности; то, чего я жаждал всем сердцем просто потому, что не бывало и не могло быть ничего красивее в моей жизни; то, что я изучал, страстно желая пленить и подчинить; то, что я долгие годы преследовал, наконец открылось мне через чудесное вмешательство бессмысленной современной войны, и я протянул руку... и осознал, потрясенный и восхищенный, что знания, накопленные мною за годы страстного учения, не проникают далее поверхности, что сияющая материя, пред которой я благоговею, столь пространна, что можно потратить эту жизнь и все последующие, стараясь измерить ее глубину, слиться с ней воедино, поведать ей о своей любви, о своем существовании — и понимать при этом, что тебе никогда не удастся вкушать и малейшей части сокрытого ею; вот что я чувствовал в первые недели и месяцы служения королю и отечеству в моей земле обетованной.

Когда воинская служба запрещала нам с Марлоу покидать базу и бродить среди пирамид, колоссов, скальных гробниц и храмов, мы в тени кабинетов и палаток, как бывало то в Оксфорде, предавались беседам о белых пятнах египетской истории. В такие волнительные моменты бесполезны все знания и гипотезы мира; мы просто ввинчиваем взгляды в сумрак — и *не знаем, что там*. Мы вглядываемся в тени, рядом с которыми, преследуя каждую дату и каждое слово, мстительными кобрами свились в скобках вопросительные знаки, призванные мучить и ставить в тупик, сводя точность на нет, к примеру: «Атум-хаду (?) правил (?) около 1650 г. до Р. Х. (?) в конце XIII династии (?), был (?) ее последним царем (?)». И вот уже ученый делает попытку очертить силуэты царей и цариц, самое *существование* которых сомнительно. С трудом завоеванное бессмертие этих некогда славных мужчин и женщин ныне держится на тончайшем из волосков (половина имени на рассыпающемся папирусе, написанном спустя тысячу лет после гипотетической кончины правителя), а историки и археологи все свои силы кладут на то, чтобы через бездну времени перекинуть хрупкий мостик «обоснованных предположений» — и добраться по нему до полусгинувших героев.

В Оксфорде мы с Марлоу высмеивали безрассудных историков, которые, засеяв древними папирусами плодородную почву своего воображения, с любовью и заботой холили всходы собственной фантазии. Нас тем не менее привлекла аура неопределенности, окружавшая Атум-хаду, предположительно царя XIII династии, героя и поэта. Немало долгих ночей провели мы в студенческой комнате отдыха Баллиола, изнуряя себя просмотром выполненных от руки и фотографических копий первых двух «отрывков Атум-хаду». Мы вели споры о том, как их истолковывать, вычерчивали хронологические расклады, трактовали скрытые смыслы катренов и, разумеется, смеялись над двумя попытками их перевода: игривыми маневрами жеманного Гарримана и надушенными соблазнами Вассала.

Мой читатель, готов ли ты узнать меня и понять меня как человека и исследователя? Забудь о моем детстве, оно, если не считать влияния отца и праздности нашей семьи, не играет никакой роли. Хочешь осознать, что дви-

жет мной, понять, как я пришел к поиску гробницы Атум-хаду? Приглядись повнимательнее к Оксфорду; сейчас мне кажется, что именно жгучие семестры неистовой учебы закалили меня, если не сказать прямо — создали. Благодаря им я обретал исторические крылья и познавал третье, ключевое измерение: вот немощный оксфордский зимний рассвет крадется, незамеченный, сквозь свинцовое стекло окошка, а мы погружены в Лепсиуса, Мариэтта и прочую классику египтологии. Нам с Марлоу по девятнадцать, по двадцать, по двадцати одному году, мы ожесточенно спорим о загадках Древнего Египта, и в особенности занимает нас вопрос о существовании Атум-хаду. Мы выступаем адвокатами дьявола, мы пылки, но гибки, мы спорим так, словно бежим эстафету, с готовностью передаем друг другу факел сомнения, сбиваемся с ног, чтобы поскорее осветить скрытую тенью расщелину доказательства или закоулочек упущенной возможности. Если Атум-хаду вообще существовал, какую хронологическую лакуну он может собой заполнить? Ибо в (мучительно неполных) списках царей, открытых в прошлые десятилетия, имени его нет со *всей определенностью*.

И вот в эти-то дни и ночи мне доводилось быть очевидцем неочевидного: слышать некий голос, видеть сияние алого восхода призвания, не требующего усилий прозрения, — всего этого у Марлоу было не отнять. Кроме цепкой памяти, восприимчивости к языку и набитой на рисовании «глифов» руки Марлоу обладал еще и мастерством знатоков высочайшего класса, таящимся в сокровенных глубинах сознания и не поддающимся ни управлению, ни даже осознанию. Если указать таким людям на их дарование, они не верят, не понимают, о чем ты; они, видимо, просто не думают о таких вещах. У остальных, у *тудяг*, чего-то недостает — и неважно, какими сведениями и техническими навыками они запаслись. У них нет и никогда не будет, как бы они ни тужились, какого-то нюха на разгадку, бессознательного изящества, способности вжиться в роль без сомнений, раздумий и треволнений. Когда за дело берутся подлинники мастера, люди меньших талантов, сколь бы прославленными и бывальными путешественниками ни были, в восторженном расстройстве склоняют головы.

В Оксфорде мы с Марлоу (под влиянием Клемента Векслера по прозвищу «Сомневаюсь», знаменитого своим скепсисом) были в отношении Атум-хаду агностиками. Никак невозможно сомневаться в том, что два «отрывка Атум-хаду», отрывок «А», переведенный и опубликованный Ф. Райтом Гарриманом под названием «Нильские Афины», и отрывок «В», переведенный и опубликованный Жаном-Мишелем Вассалем под названием «Le Roi Amant», [7] пусть их и нашли порознь, отчасти совпадают по содержанию и являются копиями одного и того же исходного текста. Соблазнительно было согласиться с Гарриманом и Вассалем в том, что упомянутый в некоторых стихотворениях «царь», повествователь-поэт-протагонист «Атум-хаду», был на деле не литературным вымыслом, но исторической фигурой. Однако мы, Марлоу и я, не стали еще «атум-хадуанцами». Любая возможность казалась нам правдоподобной: и что Атум-хаду существовал на самом деле, и что он был мстительной фикцией, сотворенной обездоленными египтянами второй половины Среднего Царства; фольклорным героем ссыльных, либо рабов, либо инакомыслящих, либо людей, истосковавшихся по прошлому и вымечтавших себе если не завоевателя, то по меньшей мере человека, бившегося и погибшего за Утраченное Величие,

как сэр Томас Мэлори выдумал короля Артура. В Атум-хаду было опьяняющее очарование: кичливый, сексуально всеядный, обреченный, смелый, неистовый, любимый, почитаемый, более прочего гордый способностью создать мир по своему образу и управлять им, руководствуясь собственной же божественной волей. Нас с Марлоу, разумеется, пленили необычайное, диковинное имя (Атум-хаду!) и его мощный конец в виде иероглифа-детерминатива, необходимого для порождения подобного имени (см. фронтиспис), однако ни один из нас не был (по изреченной в процессе самовозбуждения сентенции вялого критика «Коварства и любви в Древнем Египте») «строителем воздушных замков с непристойными фантазиями, назойливым кошмаром ученых и растлителем дилетантов».

Ветхий, распадающийся обрывок папируса, известный ныне как отрывок «А» «Назиданий Атум-хаду», обнаруживается в 1856 году в лилейных руках Ф. Райта Гарримана. Портреты холостого шотландца с незаконченным богословским образованием, что странствовал по Египту вместе с матушкой, сплошь поясные, деликатно скрывают его карликовую статью и замечательных пропорций седалище, благодаря которым он заслужил у арабов столько нелестных прозвищ.

Гарриману, как и многим из жаждущих достичь бессмертия, потомки благодарны вовсе не за то, что он намеревался сделать. Он посвятил себя охоте за доказательствами бегства в Египет и пребывания там Марии, Иосифа и Иисуса. Вернувшись домой в Глазго, он самолично сочинил небольшое стихотворение, создав неотесанный самородок жестокой шотландской религии с прожилками скучной свинцовой иронии:

*Атеизм, полагаю я, является чем-то вроде  
Веры, адепты которой должны держаться достойно,  
Потому что по миру они привиденьями серыми бродят —  
И наконец исчезают в Аду совершенно спокойно!*

Однако обессмертила Гарримана бесцеремонная прозорливость: гоняясь за малюткой Иисусом, он со всего размаха налетел на позабытого садиста, оми-сексуалиста, жестокого воителя и царя Атум-хаду, ставшего символом потери и бессмертия.

На раскопках Гарриман требовал, чтобы все его туземные рабочие присутствовали на уроках Закона Божьего. Однажды утром, когда он изводил клевавших носом магометан рассказами о рыбе и хлебах, прибежал один из его людей, полагавший, очевидно, что лучше тратить время на раскопки. В нежных мозолистых руках он качал необычный объемный предмет. Гарриман прервал лекцию, забрал у обрадованного рабочего свиток и немедля уволил несчастного за то, что тот променял молитвы на копание в земле (тем самым расчетливо сэкономив незначительный *бакшиш* — плату тому, кто принес находку). К реликвии Гарриман не прикасался до чаепития. Он закончил свою часовую лекцию, во время которой бригада мусульманских подростков и стариков частью дремала, частью тайком поглядывала на восток и отвешивала поклоны. Наконец всех их отослали работать на участок; памятуя об изгнании своего коллеги, они и не думали усердствовать.

Будучи невеликим ученым и путая иероглифы, Гарриман, не смыкая глаз, всю ночь пытался перерисовать символы, обнаруженные в рассыпающемся

на глазах трофее, перетолковывая то, что не понял, и собственным невежеством уничтожая реликвию — ибо наука предохранения свитков от распада была Гарриману неведома. (А нужна ему была всего-то мокрая тряпка.)

Величественная сцена предстает передо мною: полуночное возвращение царя Атум-хаду в наш мир! Гарриман стыдливо признается в своем мемуаре «Семь лет глада», что сплошь и рядом встречавшиеся в тексте упоминания неких актов заставляли его прерываться на холодные ванны и молитвы, поскольку длань принуждена была снова и снова изображать мой любимейший из иероглифов. И когда разгорячившийся археомиссионер закончил, у него имелось двадцать шесть стихотворений или частей стихотворений, а также имя Атум-хаду в картуше (овал, обводящий любое царское имя, см. фронтиспис). Впрочем, при всем желании доселе неизвестного и странного царского имени было недостаточно для того, чтобы заключить: Атум-хаду — автор текста. Кроме того, египтология не знала ни одного документа, в коем это царское имя упоминалось. Но отдадим идиоту Гарриману должное: он перевел стихи (скверно) и опубликовал их совокупно с очерком, где опрометчиво, но верно идентифицировал автора и царя как одно лицо — Атум-хаду, и заявил, что Атум-хаду был реальной исторической фигурой; утверждение, основанное лишь на обрывке исписанного папируса и для 1858 года смелое. Недоказуемо верное, но — верное.

На сцене появляется Жан-Мишель Вассаль, француз-дилетант, проматывающий семейное состояние в песках и *касбах*. [8] В 1898 году он сложил осколки известняка в цельную плиту. Эта находка, отрывок «В», была обнаружена под землей неподалеку от того места, где нашли отрывок «А», и включала в себя четырнадцать уже известных и восемнадцать «новых» стихотворений, без точного указания на авторство Атум-хаду, без упоминаний об авторе вообще.

Наконец, ныне ставший легендой отрывок «С»: сорок восемь стихотворений, из них шестнадцати в предыдущих отрывках не было, десять появлялись в «А», но не в «В», двенадцать — в «В», но не в «А»; десять стихотворений есть во всех трех отрывках. (Отсюда косвенно можно вывести, что существовало по меньшей мере восемьдесят стихотворений.) В отрывке «С» яснее говорится о том, что стихотворения сочинены «царем Атум-хаду», но и тут затаилась историческая загадка: стихотворения утверждают, что этот царь правил в период хаотического крушения Среднего Царства, и в то же время *ни одна* шаблонная хроника не содержит каких-либо упоминаний об «Атум-хаду», хотя первые два знака его пятизначного иероглифического имени — символы, складывающиеся в имя бога *Атума* или первую половину имени царя *Атум-хаду*, — появляются в одном из списков царей непосредственно перед тем, как папирус обрывается, маня за собой в небытие, куда канули оставшиеся дюйм или фут свитка.

Для меня история открытия отрывка «С» — очень важная и очень личная.

В начале 1915 года мы с Марлоу запросили и получили разрешение на шестидневную отлучку, дабы совершить путешествие на юг страны. Истинная наша цель была — исследовать западный берег Фив, богатый на захоронения. Формальным поводом покинуть часть были секретные переговоры, которые мы надеялись провести с рядом кочевых племен. Отыскать их нам так и не удалось, так что командировка получилась — сущий рай: сплошная археология, будто и не было никакой войны.

На утро третьего дня я заглушил мотор мотоцикла. Марлоу на манер вольтижера выпрыгнул из коляски, чтобы достать кое-какое оборудование; помню, он еще жаловался на претензии одной из своих женщин. В то время, если мне не изменяет память, он балансировал между французской певичкой из Каира, русской графиней из Александрии и несметным количеством туземных меднокожих красоток, и вот одна такая позолоченная соблазнительница взялась требовать от Марлоу, чтобы он начал читать Коран, принял магометанство и стал ее мужем. Эта идея так рассмешила Марлоу, что он прокусил язык, выругался и стал промокать окровавленный рот носовым платком. Я, кажется, рассказывал ему о своих планах после войны восстановить Трилипуш-холл.

Вскоре мы приступили к работе, обследуя Дейр-эль-Бахри непосредственно (если я правильно сориентировался по карте) напротив внушительной скальной гряды легендарной Долины царей, всего за несколько холмов и ложбин от храма Хатшепсут, расположенного чуть дальше в сторону пустыни; территория эта совершенно не просматривалась ни с той, ни с другой стороны. По большей части мы вместо раскопок занимались осмотром поверхности скалы — не явит ли она следы человеческого вмешательства? Искали мы Атум-хаду? Конечно, ведь мы находились в том самом месте (а до того — безуспешно излазили вдоль и поперек легкодоступные пещеры и гроты) в надежде отыскать нечто, подкрепляющее правоту Гарримана и Вассалья; но в то же время мы бы *не признались*, что ищем Атум-хаду, ибо все еще не были убеждены в его существовании. Сошлись мы в одном: если бы наш царь существовал, было бы разумно считать, что гробница его скрыта и расположена возле столицы (?) Атум-хаду в Фивах (?). Поскольку государственный некрополь Долины царей стал таковым куда позже, при Тутмосе I, и поскольку отрывки Гарримана и Вассалья были найдены недалеко друг от друга, практически там, где мы стояли, Дейр-эль-Бахри вселял в нас невероятные надежды.

Первые несколько часов мы двигались вперед медленно, тщательно прокладывая маршрут. Затем я заметил слева от тропы как бы заплату гладкого песка — словно мельчайшие песчинки сплотили ряды среди своих грубоватых собратьев. Под обличьем «заплаты» скрывался гладкий камень; по мере того как мы с Марлоу его расчищали, он рос в размерах, будто располагался на макушке головы, что показалась из лона тужащейся нашей возлюбленной — земли. Мы работали щеткой до тех пор, пока не образовался идеальный каменный круг приблизительно двух футов в диаметре. Жара была невыносимая, подошла очередь Марлоу сидеть в тени и маленькими глотками пить воду; он прикрыл глаза рукой, чтобы внимательнее смотреть по сторонам — в такие моменты все люди замолкают и становятся подозрительнее. Я же начал зондировать почву вокруг камня — осторожно, с характерной для нашего ремесла медлительностью, скучной лишь для тех, кто не понимает, какой катастрофой рискует обернуться спешка. Немного есть в жизни занятий, дарующих эмоции столь же сильные, как те, что испытывает совершающий открытие, — и все благодаря этому гипнотическому ритму.

Чуть позже, когда мы сменили друг друга несколько раз и снова настал мой черед копать, я извлек на поверхность вазу цилиндрической формы, чье горлышко заметил за несколько часов до того. Я поставил вазу на землю между собой и Марлоу, мы уставились на находку; затем Марлоу решительно снял

крышку. Тут мы услышали перестук лошадиных копыт, а мгновением позже — грохот выстрела. Марлоу выронил крышку, разлетевшуюся на мелкие осколки, и схватился за свой револьвер «вэбли». Я засунул руку в вазу и вытащил папирус, проклиная обстоятельства за то, что нельзя принять никакие меры предосторожности; как можно бережнее (нас опять обстреливали) я засунул папирус под рубашку за ремень. «Сохрани его, мой дорогой друг, эта вещь будет поважнее наших шкур», — изрек Марлоу с элегантным хладнокровием и, прежде чем я смог его остановить, ринулся *прочь* от мотоцикла, вверх по тропе; паля наугад и то и дело привлекая к себе внимание, он, если говорить коротко, уводил четырех всадников (бандитов, немецких агентов — мы не знали) на запад, тем самым позволяя мне отступить на восток. «Беги! Я выберусь, приятель, за меня не беспокойся!..» Я побежал к мотоциклу. К моей талии плотно прижимался отрывок «С» «Назиданий Атум-хаду».

Вырулив мотоцикл на северо-запад, я заметил отделившуюся от скалы фигуру Марлоу и рванул к нему; над нами свистели пули; он упал в коляску головой вперед. Я стремительно развернулся, из-под колес брызнул песок — и мы умчались прочь, хохоча до слез, и в пути Марлоу принялся горланить песню баллиольских еще времен.

Мы остановились в Луксоре. Нам не терпелось осмотреть находку, но дисциплина все же пересилила. Мы завернули папирус во влажную тряпицу и, терзаясь, посвятили бессонную ночь разговорам. Решив, что папирусу ничто не грозит, мы осмотрели его первый лист и моментально, по первой же строке поняли, что оказалось у нас в руках: в Дейр-эль-Бахри нашелся уже третий отрывок из «Назиданий Атум-хаду»! Днем позже мы возвратились на базу раньше срока — и узнали, что я получил приказ покинуть Египет (и отправиться в Галлиполи, хотя тогда я этого еще не знал). Так, из необходимости, мы уговорились оставить сокровище у Марлоу, молчать — и ждать. Полагаю, в душе и он, и я считали, что мне суждено пасть в бою.

Отрывок «С» предстал моему взору лишь три года спустя, в декабре 1918-го, после моего неожиданного и счастливого возвращения из Турции. Путь до нашей съезжившейся базы, контингент которой к тому времени подсократился, я прошел в одиночку, практически пешком; после заключения перемирия миновал месяц. Я узнал, что мой великий друг исчез до моего возвращения и, скорее всего, погиб. Сердце мое было разбито; я поклялся посвятить жизнь нашей работе и общему открытию. Я побывал в палатке Марлоу, поместил отрывок «С» в безопасное место, а после случившейся вскорости демобилизации забрал папирус с собой.

Марлоу погиб, в то время как я пережил Галлиполи; однако хвалить за это мудрого ангела-хранителя не стоит. Такое положение дел меня категорически не устраивает, разве что, возможно, глупая Судьба напортачила, выбрав *меня*, дабы решить важнейшую задачу, которая, возможно, была бы не по силам даже Марлоу. Только этим остается утешаться, когда думаешь о его трагической кончине.

Вот так скорбь и честолюбие, слившись воедино, подвигли меня к решению перебраться на новое место, переменить все, не допускать даже мысли принять помощь, которую предлагала Англия. Будучи осведомлен о репутации Гарвардского университета, я поехал в Соединенные Штаты в надежде оставить болезненные военные воспоминания в прошлом, в земле чужой. За-

жить по-новому. Чтить память павшего друга. Продолжить наш совместный труд, полагаясь лишь на собственный талант.

*Суббота, 14 октября 1922 года*

*Введение к «Назиданиям Атум-хаду»:* Автор «Назиданий» мог быть царем, мог выдавать себя за царя, мог, наконец, лишь представлять себя царем. Герой, мошенник или художник? Ответ на сей вопрос, как я выяснил, диктуется предпочтениями человека, на него отвечающего.

Вот еще вопрос: как переводить стихотворения, написанные на древнеегипетском, который мертв уже более 2000 лет и произношение которого — полная для нас загадка, ибо, как в иврите и арабском, гласные его не записывались? Существовала ли в стихах рифма? Подчинялись ли они ритму? Подтвердить или опровергнуть любой ответ невозможно.

Вчитайтесь и сравните переводы катрена 73, одной и той же последовательности иероглифов, написанных вроде бы Атум-хаду (который был вроде бы царем Египта) и переведенных тремя западными учеными, двое из которых без всякого на то права вроде бы знают, что делают:

1. (Перевод Ф. Райта Гарримана, 1858 г.) «Любовные напасти»

*И радость, и грусть  
Красавицы взгляд и жест  
Поровну дарят.*

2. (Перевод на французский Жана-Мишеля Вассалья, 1899 г., перевод с французского на английский Мари-Клод Уилсон, 1903 г.)

«Ее двойкая природа»

*Когда моя царица обследует меня,  
Взгляд и прикосновенье ее равную власть имеют,  
Пробуждая то приятнейшую дрожь,  
То досаднейшие мученья.*

3. (Наконец, правильный перевод, опубликованный в книге «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.) «Наслаждение через боль»

*Возлюбленная Атум-хаду  
Сперва ласкает царский член глазами,  
Потом коготками вбивается, и  
Вот уже твердый скипетр окровавлен, и царь вздыхает.*

Заметьте: Гарриман выхолащивает текст, как то вполне ясно из предшествующего отрывка. Типический викторианский моралист, он полагал, что внимания достойны лишь материи, издающие лавандовый аромат духовного роста. Столкнувшись с явлением, которое точно не было ни дохристианским, ни протохристианским, ни даже антихристианским, а просто не-имело-ни-малейшего-касательства-и-не-проявляло-никакого-интереса-к-христианству, Гарриман вынужден был счесть Атум-хаду тем, кем Атум-хаду определено не был. Свидетельством тому — следующий пассаж из введения к «Нильским Афинам», 1858 г.:

*«Устремив разум к пониманию обитателей Древнего Египта и уясне-*

нию того замешательства, кое они проявляли пред лицом природы и космоса до христианского откровения, обнаруживаешь, что писания Атуум-Хадуу таят в себе чудесное открытие. Ибо в поэмах царя находишь ту всепоглощающую страсть к познанию, которая, сверх остального, превратила его и в достойного правителя своей эпохи, а ныне — в достойный объект изучения. С расстояния, „как бы сквозь тусклое стекло“, как писал Павел к коринфянам, наш взор распознает в сем древнем смуглокожем государе человека, со страстью сражавшегося за то, что мы в нашу эпоху называем христианским просвещением и божественной мудростью. И хотя сюжеты его зачатую способны нас шокировать (я бы посоветовал даже укрыть книгу от женских глаз), призовем тем не менее нашу смелость и поразмышляем над ними — поскольку они суть вопросы, кои ставит сама жизнь».

Жан-Мишель Вассаль, француз-первооткрыватель отрывка «В», придерживался невысокого мнения о Гарримане, и хотя он не готов был признавать собственные ошибки с той легкостью, с какой судил Гарримана, я позволю ему высказать собственное мнение об атуум-хадуанских трудах своего предшественника. Из предисловия к книге «Le Roi Amant» (1899 г., на английском издана Мари-Клод Уилсон в 1903 г. под названием «Царь-любовник»):

*«Что до доказательств существования Атумаду, предназначенных сомневающимся умам сомнительного размера, необходимо признать, что и по эту сторону баррикад находились вредители, чьи имена я опушу, немощные дилетанты, мучимые удушьем при виде обнаженной женщины и бледнеющие, словно школьницы, при одном упоминании о темных влечениях человеческой натуры, беззакониях жестокосердного божества, искушениях власти или неблагородных устремлениях человека обезьяноподобного; эти-то люди и представили миру беспомощного Атумаду, этакую радость старушки, размякшую комнатную собачонку, кастрированную, вылизанную, с расчесанной шерстью, в кою вплетены синие и красные ленточки, раскормленную миндальным марципаном и обездвиженную настойкой опия вкупе с нехваткой прогулок на открытом воздухе, в результате чего мне (и ученому сообществу Франции, коей Судьба уготовила паче прочих хранить и распространять мысли и сочинения великого фараона) выпало восстановить...»*

(Между прочим, в моем издании Вассалья это предложение тянется еще три с лишним страницы. Выносливость миссис Уилсон делает ей честь.)

Оставив в стороне бахвальство Вассалья собственной честностью и бесстрашием, отмечу, что и он, замерев на полпути к откровенному переложению стихотворений, предпочел безобидно пощекотать читателю нервы; катрены в его переводе хорошо нашептывать на ушко даме, уединившись в парижском будуаре и не опасаясь при этом преследований со стороны уязвленных французских властей.

Если Гарриман рассчитывал найти королеву Викторию в золотой тунике и короне с коброй или грифом, Вассаль жаждал увидеть в Атуум-хаду древнего Казанову, перешедшего к делу Макиавелли, предтечу Наполеона. И тот и другой сводили желаемое с действительностью путем искажения текста, переходя всякие границы истолкования фактов ради того, чтобы сделать требуемые выводы.



Весьма важно обуздывать свои желания и не подменять изучение сочинительством. Оба переводчика перепутали то, что нашли, с тем, что хотели найти (возможно, такую путаницу следует приписать вмешательству самого бога-творца Атума). Они сочиняли. Они оба самочинно оплодотворяли собственные открытия. «Оплодотворяли» здесь — ключевое слово; я позволю себе напомнить тем, кто из строптивости еще не прочел «Коварство и любовь в Древнем Египте», где эти темы исследованы наиболее подробно, что имя Атум-хаду переводится как «Атум-Кто-Возбуждился». Любой школьник, изучив египетский пантеон, охотно отмечает, запоминает и позже, будучи застигнут любопытным родителем в разгар акта уединенного созидания, говорит в свое оправдание следующее: Атум-Творец, первосущество (в силу этого — совсем, совсем одинокое), создал остальных богов и весь мир в придачу, задействовав свою божественную руку и извергнув божественное семя на плодородную почву.

Атум-Кто-Возбуждился: мы на грани Творения. Имя нашего царя — тот трепетный момент, что непосредственно предшествует сотворению вселенной. И вот, воздавая Атуму должное схожим актом оплодотворения, ограниченные и трепещущие людишки вроде Гарримана и Вассалья не могут обуздать себя и извергают компетентные и не очень мнения на бесплодную, растрескавшуюся почву фактов, порождая великие, чреватые выводами теории, производя на свет книги, столь напоминающие своих отцов. (Насладимся на миг точкой зрения Вассалья, с галльским бесстыдством обвиняющего Гарримана в том же притязании на отцовство, в котором равно повинен сам!)

В отрочестве, разыскав репродукцию одного древнего рисунка, я, изумленный, несколько часов (потом мне за плечо заглянул деревенский библиотекарь, со сдавленным криком узрел нарисованное и конфисковал книгу, упрятав ее в запечатанный склеп Специального Закрытого Хранилища для Постоянных Посетителей) предавался размышлениям о том, как одинокий, божественно пластичный, не устающий творить Атум оказывает сам себе услугу, которая большинству смертных недоступна в силу негибкости позвоночника, пусть даже все сознают, что трюк этот на удивление сподручен. (Правда, в свое время я видел двух братьев-китайцев, акробатов странствующего цирка, проезжавшего через Кент; совершенно голые, с бледно-желтой кожей, они с божественной ловкостью цеплялись за трапеции, позволяя себе расслабиться после представления, висая вниз головой бок о бок, словно две восьмых на нотном стане; каждую ночь после представления в темном шатре все повторялось, и пока снаружи мыли одурманенного слона, невидимый зритель, укрытый тенями трибун, тайно созерцал медитативное зрелище; он — возможно, единственный в Кенте — знал, что два азиата, симметрично поглощенных собою, сами того не понимая, воздают должное богу Атуму.)

*К Маргарет:* Дорогая моя царица, потратив вечер и утро на ученые заметки, я был столь опечален мыслями о гибели Марлоу и разлуке с тобой, что решил сегодня днем отложить работу и прогуляться по Каиру.

Мой Каир действует на меня по-прежнему странно. Сегодняшний день не стал исключением: то ли это остатки вбитых в голову религиозных предрассудков, то ли глупое суеверие, встроенное в наши вселенные; так или иначе, днем я ходил по Каиру, одаривал едой и раздавал деньги людям, которые казались совсем пропащими — определенно безногим, а также большеглазым

младенцам, которых не коснулось пьянство. Надеюсь, ты бы это одобрила, милая моя царица. Возможно, я сделал это за тебя.

Я наблюдал за женщинами, чья одежда-карамель скрывает сладкую начинку, за их черными глазами в обрамлении длинных ресниц. Иные носят чадру, являя миру лишь движение взгляда; смотрят они или вниз, или в сторону. Непокрытые лица других можно мельком узреть в искажающем мареве и наложении теней от пальмовых листьев. В тот момент, когда одна такая женщина пересекала границу тени и света, мои глаза сыграли со мной шутку: я подумал, что проходящая со лба до ключицы весьма мудрено татуирована либо разрисована хной; косившаяся на меня кобра словно бы мигала при каждом движении щеки. Но нет, те полмгновения обернулись игрой света: женщина вышла на солнце, и я разглядел великое и ужасное родимое пятно — никакой кобры, никакой тени, только багровое клеймо на лице, шрам своеобразного шарма и формы слишком мудреной, чтобы не означать ничего особенного. Женщина посмотрела на меня, явно кичась произведенным эффектом.

Я подался влево от нее — и увидел одного из детей, посланных Атумом, Яхве, Иисусом, Аллахом, Великим Декоратором, дабы сердце наше разбилось: огромные глаза на крохотном личике, нищета, что крадет у ребенка будущее... Я подозвал его и почти опустошил карманы, заполняя его протянутые руки деньгами, выкладывая на ладони банкноту за банкнотой и наблюдая за тем, как он наблюдает за мной. В этом возрасте дети еще верят, что кто-то непременно о них позаботится. Как мне хотелось доказать мальчику, что вера его не лжет, сделать так, чтобы он никогда не разуверился!

Я гулял по местам, где туристы — редкость: там затаиваются причудливейшие создания, там переходы от бедности к уродству и от уродства к лицедейству столь неуловимы, что одно не сразу отличишь от другого; разумеется, я подаю слепым матерям, качающим слепых же младенцев, пока рядом тарачат бельма и ходят под себя собаки; и детям-уродам с лапами вместо пальцев — тоже подаю; а как быть с человеком, покрытым татуировками в виде паутины, будто он сам — попавшаяся муха? А с человеком, состоящим из шишковатых суставов и членов гибких, как угри, чьи колени преспокойно помещаются на его же плечах?

И повсюду — взбешенная молодежь, яростно вззирающая на всех и вся; я уже сомневаюсь, верно ли читаю то, что написано у этих людей на лицах? Наверное, все-таки неверно, потому что невозможно же приходить в ярость, завидев облако, дерево, взбешенного друга, заключаемого в объятия?

На узких улочках, подобных каналам, что прорублены в высоких желтых строениях, я вжимаюсь в стены, дабы пропустить спешащих босоногих мальчишек-рассыльных с подносами на головах. Я плачу им втридорога и пробую хлеб, фрукты и куриные ножки, проплывающие мимо носа, пока я иду своей дорогой. Передо мной — фруктовый базар; я вижу старика-отца и его взрослого сына. Сухощавый бородатый отец осматривает товар на деревянном прилавке, беседуя с седым бакалейщиком, очевидно, старинным другом. За его спиной с сыном случается нечто вроде припадка: руки его трясутся и стремятся взмыть прочь от тела, а голова вертится туда-сюда, будто желает слететь со штыря. Тело качается метрономом в темпе «largo».[9] Пока отец выбирает фи- ги, сыну становится хуже, и я вынужден отступить на шаг, чтобы не попасть под его руки-цепы. Ноги юноши дрожат, то одна, то другая стопа отрывается

от земли на дюйм. Отец явно знает, что происходит у него за спиной, но ничуть не торопится; заплатив бакалейщику, он наконец оборачивается, мягко кладет ладонь юноше на предплечье. Это легкое прикосновение поглощает спазмы и содрогания, принуждая сына вновь замереть и взять себя в руки: терпеливый отец рядом, он поможет... Мальчик успокаивается, его лицо искажается улыбкой, он радуется солнцу и уминает жесткий желтый финик. Спустя пару мгновений родитель отнимает руку, морщит губы в ухмылке, разворачивается, чтобы сказать еще несколько слов необеспокоенному лавочнику, который, вне всякого сомнения, годами наблюдает эту сцену ежедневно. Когда они проходят мимо, я тайком опускаю в их сумку несколько монет.

Деньги сами по себе — не вопрос, вот-вот должен прийти первый телеграфный перевод от компаньонов. Я полагаю, фортуна благоволит к тому, кто обращается с бедняками достойно или по меньшей мере принимает в них участие, — будто за свой удел бедняки вознаграждены правом выбирать свое будущее, или будто они легче запоминаются богам, которые позже станут тебя судить либо облегчат однажды твой путь, кто бы эти боги ни были. Или, возможно, только оделив бедняка деньгами, ты можешь доказать себе, что сам ты — отнюдь не бедняк.

А теперь — в почтовое отделение, о моя Маргарет, где *ты* ждешь меня *poste restante!* Я обнюхал конверт прямо на каирской почте. Заветное благоухание еще чувствовалось, хотя каждая ревнивая, алчная миля пути отнимала по атому от твоего аромата! Я распечатал конверт, алкая тебя сильнее с каждым движением, и нашел твое письмо (?) от 19–21 сент.

Признаюсь, М., немало беспокойных часов провел я в раздумьях над этим эпистолярным отрывком; очевидно, ошибка произошла при вложении письма или при его пересылке. Ты приняла не те сонные капли? Или утерjala страницы? Твои письма неизменно заканчиваются слишком быстро, но в данном случае краткость твоя болезненна сверх всякой меры. Я очень медленно побрёл назад, к гостинице «Сфинкс», ненавидя Каир, город, где нет тебя, где я не могу позаботиться о тебе по примеру того отца, проявляющего заботу о сыне.

*19 сент. Вечером.*

*Дорогой Ральф!*

*Ну вот ты и уехал.*

*20 сент. Вечером.*

*Р., я соскучилась.*

*21 сент. Вечный бром.*

*Мой Ральфи!*

*Ты сейчас, наверное, на корабле. Ну или как эта штука называется. Коротче — плывешь.*

*Дом престарелых «Гавань на закате» Сидней, Австралия 16 декабря 1954 года*

*Мэйси!*

Приношу извинения за пропущенные дни. Я болел. Не хочу утомлять вас деталями, просто сегодня я впервые за неделю встал на ноги. По лицам сани-

таров заметно, что они разочарованы — я еще не помер. Однажды они окажутся на моем месте, и это здорово утешает.

От мысли, что надо писать про путешествие в Бостон, мне не по себе. Просто я, видимо, подустал от болезни. Сижу в отвратительной духоте в комнате для игр (два неполных комплекта шашек, один — шахмат, штабеля несущих околесицу стариков), вспоминаю, как, готовясь пересечь Атлантику, ступил на борт «Азорского Ангела» и поблагодарил небеса за то, что профессиональные способности австралийского малого навроде меня позволяют посмотреть на Америку, — и понимаю, что должен что-то в себе преодолеть и вернуться к работе. Уж слишком хорошо я помню ту цену, которую заплатил за то, что хорошо поработал и открыл свое сердце. Но передо мной лежит пачка бумаги... (Эмблема «Гавани на закате» кошмарная, правда ведь? Неужто они думали, будто крошечное изображение моря что-то изменит? Уберите его от меня, гавань из этого здания не увидишь, хоть с крыши прыгни. Есть такое искушение.)

Пока корабль неделю плыл через океан, я коротал время, делая заметки, раскладывая по полочкам нестыковки и подозрения. Трилипуш, Марлоу и Квинт — однокашники по университету, но университет никогда про Трилипуша не слышал, а вот случайные студенты — слышали, хотя прошло уже много лет. Трилипуш и Марлоу — друзья и боевые товарищи (и этим дело, вероятно, не ограничивается), Трилипуш пишет родителям Марлоу письмо, в котором поминает добрым словом времечко, проведенное у стариков, имен которых он не знает и которые его ни разу не видели, хотя их сын частенько упоминал соратника по Оксфорду. В котором Трилипуш никогда не числился. И британское правительство утверждает, что по бумагам такой человек не воевал, хотя ненадежный Квинт говорит, что Трилипуш до Галлиполи служил с Марлоу. И припомните-ка: ни у кого не теплится воспоминания о Колдуэлле, который никаким боком не соприкасался с Марлоу, британским офицером, и тем не менее именно Марлоу рекомендовал повисить Колдуэлла по службе, и они вместе пропали, выполняя непонятное задание уже после того, как война закончилась, а Трилипуш в это время был далеко в Турции, «выбирался из пекла». Знаков вопроса в моих рабочих схемах было больше, чем выводов.

Девочке из тейлоровской штаб-квартиры было поручено телеграммой удостовериться в том, что Трилипуш в Гарварде. При этом нужно было использовать вымышленное имя — я не хотел напугать его раньше срока и дать время замести следы. Нет, к тому моменту, как я вступлю с Трилипушем в бой, он должен перепугаться и задергаться. Увы, позже, когда я попросил телеграммой объяснений, оказалось, что лондонская девочка сдуру поинтересовалась, «преподают» ли Трилипуш в Гарварде — а нужно было спрашивать, там он или нет.

Итак, 13 октября 1922 года я прибыл в заросший плющом Гарвардский университет. Поскитавшись между зданиями и обнаружив кафедру египтологии, я узнал от секретаря, что увидеть мистера Трилипуша нельзя, поскольку тот меньше месяца назад отбыл в Египет в исследовательских целях и пробудет там до начала 1923 года. Решено: выясню тут все, что можно, а потом на шиллинги Дэвиса и четы Марлоу отправлюсь отдыхать в солнечный Египет. Я спросил, нельзя ли увидеть Трилипушева начальника. Меня отвели в кабинет маленького круглого голландца по имени Тербруган, главы гарвардских

«египтян». Когда я сказал ему, что ищу кой-какую информацию про его мистера Трилипуша, он, пуская слюну, ответил мне с немецким акцентом: «Торокой мой! Кем пы он там ни пыл, ф страдном сне нелься престависс сепе, сто он мой Чилипус».

Теплых (или хотя бы сухих) слов для своего работника у Тербругана не нашлось, и вскоре мы беседовали честно и откровенно, что пришлось мне куда больше по душе, нежели пугливый снобизм четы Марлоу или туманные недоговоренности Квинта.

— Строптивесс, нахал, прехун, — декламировал этот парень. — Строптивесс, нахал, прехун! Нахалы толсны по менссей мере снать, про сто они кофортят. Но его книсска — это се полная ахинея! Натееусс, его успели сосрать крокотилы...

На секунду его брань заставила меня задуматься, как профессор Тербруган с его жестокими фантазиями соотносится с тем, что нам уже известно. Я бы не удивился, узнав, что он служил в том же страшном полку в пустыне или связан с делом другими зловещими нитями, но нет, это впечатление оказалось ложным: как я понял, Мэйси, университетские типчики все выражаются примерно одинаково. Должен признаться, старательно записывая за Тербруганом жалобы на Трилипуша, я быстро терял к его словам интерес и теперь не совсем понимаю, что имелось в виду под такими, например, заметками: «Книга Р. Т. — про Аумаду, который был или не был царем и был или не был поэтом, похоронен или не похоронен там, куда отправился Р. Т., египетские стихи рифмуются или не рифмуются. Так вот чем эти люди занимаются целыми днями? Это что — работа?» Климат был тому виной, еда или разговор, но я чувствовал, что Америка меня измотала и я заболеваю. Слова Тербругана не задерживались в моей голове, пока я не спросил, куда именно в Египте подался Трилипуш.

— Ф Тер-эль-Пахри, — ответил Тербруган, и я попросил написать это слово правильно, а то мало ли.

(— Видите, Мэйси? — спросил я своего замечательного, но бестолкового помощника, вернувшись в отель и обложившись картами. Но он только потряс головой и закусил губу. Вы не возражаете, Мэйси, нет? Я вас тут вверну вроде как для разрядки.)

— Значит, поскольку профессор Трилипуш доставляет вам столько хлопот, — сказал я ученому с лицом как брюква, пока тот вытирал рот платком, — вы взяли и отправили его на раскопки? Недешевый способ избавиться от паразита, а?

Вовсе нет. Решение оставалось за Тербруганом, и он отказал Трилипушу в деньгах на путешествие, и причину указал: есть, мол, разные мнения о том, что Трилипуш знает и чего не знает. (Коли честно, Мэйси, эти люди лаялись хуже шакалов.)

— И мне слусилось уснась, сто ему откасали Мусей исясьных искуфф, Метрополитен-мусей и мусей Карнеки. — Так он, выходит, поехал за свой счет? — Не софсем. Его проклятое путесессие опласивают мессные телсы...

Мой дорогой Мэйси, некоторые слова, которые я не могу не написать, верно, придутся вам не по нраву. Я размышлял, стоит ли помягче писать про вещи, которые открылись мне тогда. Может, нужно подать вам все в благоприятном свете? Нет, этого я делать не буду. Возраст уже не тот, и вы просили ме-

ня изложить все как было, да и, честно сказать, по-иному я излагать не привык. В общем — мы ступаем на тонкий лед. Я — правдолюб, точно так — наверно, потому я сегодня утром и колебался: приступать к бостонской части истории или нет? Ну да ладно, я один раз приношу свои извинения, и покончим с этим: простите меня, мистер Лоренс Мэйси III, коли то, что вы прочтете в этой хронике, вас расстроит или заставит увидеть в печальном свете вашу семью, а то и несчастную покойную тетюшку Маргарет.

— Не софсем. Его проклятое путесессие опласивают местные телсы, неприятные типы с, посфолено мне путет топавит, турной репутасией.

Он упомянул вашего двоюродного дедушку Честера Финнерана, а также Хайнца Ковакса.

Коли Трилипуш — заноза в заднице, почему его просто не уволили? Тон парня изменился, и он сообщил, что «воопсе-то униферситет претпоситает этофо не телать» (что-то с чем-то, а?). Но «кокта Чилипус вернесса ис Екипта с пустыми руками, а так оно и слусисса, этого путет тостатосно, стопы фыстафит его на посмесисе», добавил он с доброй долей яда. Заметив, что звучит неподобающе, профессор из кожи вон лез, обеляя своего Трилипуша:

— Он хоросый препотафател, кероисески срассалса в Турсии, а опрасофание полусил в Оксфорте, сто насей кафетре только во плаго... и Атумаду непесынтересен, хось и не песспорен... и если насинаюсса проплемя, луссе фсефо отпрафит селофека тута, кте он смосет спокойно телат сфою рапоту... но он... мой пок... — Тут ресурсы его благорасположения истоцились. — Ф прослом коту, кокта Чилипус тут только пояфилса, он перето мной расве сто хфостом не филял. Но протолссалос это нетолко.

Точной формулировки в записях, ясное дело, нет, но, думаю, выразился я примерно так:

— Может быть, и университету, и вам будет полезен человек, способный вскрыть факты, которые помогут, как вы сказали, выставить Трилипуша на посмешище? Ежели, например, обнаружатся несообразности в оксфордских документах...

— Я фител его типлом, фсе пезяти, стампы и потписи на месте, никаких сомнений пыть не моссет...

— Документы, профессор Тербруган, есть лишь кусочки бумаги с претензией на правдивость. Но самой правды в них нет. Ручаюсь, что вам в своей области исследований доводилось видывать документы, которые вводили в заблуждение. В том числе — предумышленно.

Более счастливого голландского профессора, Мэйси, вы не видели. Так в деле Дэвиса — Колдуэлла — Барри — Хойт — Марлоу — Трилипуша появился новый клиент.

Тербруган провел меня в зал, украшенный статуями сфинксов и фотографиями, на которых голландец стоял в песчаных ямах. Я попросил отвести меня в кабинет Трилипуша. Этот кабинет располагался в комнатке без окон на цокольном этаже, внутри стояли книжные полки, на стенах висели рисунки — сплошь землекопы и реликвии. На столе Трилипуша обреталась только стопка писем, пришедших уже после его отбытия в Египет. И что, вы думаете, лежало сверху? Огромный конверт со знакомым адресом отправителя и штемпелем английской почтовой службы. Да-да, Мэйси, то было письмо от Беверли Квинта: он выпросил у меня Трилипушев адрес и, верно, бросился ему писать

в ту самую минуту, когда я вышел из квартиры, — предупредить или донести о нашем разговоре, что определенно доказывало существование сговора: убийства Марлоу и Колдуэлла были делом рук Трилипуша, а Квинт злодейски его покрывал. Конверт, должно быть, прибыл тем же кораблем, что и я. Мы с Квинтом, ни о чем не догадываясь, вместе переплыли Атлантику, один палубой выше другого, и по прибытии на место назначения нас разделяют какие-то дюймы. Я мог бы получить ответы на множество вопросов, но — проклятье! — мой новый клиент ходит вокруг, спрашивает, чем он может помочь, и в его взгляде, Мэйси, я вижу привычное для людей моей профессии высокомерное недоверие, отличающее тех, кто не видал жизни и не в состоянии отличить пакость уголовного от нечистой игры парня, который должен сразиться с преступником, чтоб защитить невиновного. Кабы я придушил профессора прямо там, когда он франтился и выталкивал меня за дверь, дело бы сразу продвинулось, может, нам удалось бы спасти еще две жизни и ваша любимая тетюшка Маргарет страдала бы не так сильно. Но нет, мы вышли из кабинета обратно в зал, дверь закрылась, и нетронутая Квинтова бандероль осталась лежать на столе, дожидаясь Трилипушева возвращения. Профессор Тербруган выразительно защелкнул замок и посмотрел на меня, а я через золотистое стекло в двери смотрел на бандероль. Вот оно как, Мэйси: британский педик берет и переправляет с другой стороны Земли секретную бандероль — и голландский ученый сноб, которого этот педик в глаза не видел, ему пособничает! Что бы там ни случилось с бедным Полом Колдуэллом (а меня терзали ужасные подозрения), распутывать дело было дьявольски сложно, потому что пока я его распутывал, все эти франты, британцы, извращенцы и профессора снова все запутывали — то ли оттого, что скрывали какие-то грехи, то ли хотели, чтобы все было чистенько да гладенько, — и не дай бог простому австралийскому работяге выполнить его работу! «Могу ли я фам помось сем-то ессе, мистер Феррелл?» — спросил Тербруган таким тоном, будто намекал: «Джентльмены чужую почту не читают». Ну разумеется, даже коли джентльмены — убийцы.

От Тербругана я узнал адрес Честера Финнерана. Припоминаю, как стоял за воротами Гарвардского университета и ловил такси. Должно быть, я сразу поехал к Финнерану домой за реку, потому что датированных тем же числом заметок о встречах в промежутке между Тербруганом и Финнераном нет. Но и поездки на такси я не помню. Мне сейчас так плохо, что не знаю, смогу ли продолжить. Пока отсылаю то, что есть.

Г. Ф.

*Воскресенье, 15 октября 1922 года*

*К Маргарет:* Уже за полночь, любовь моя. Я сижу на своем балконе, гоняю туда-обратно официантов и отдыхаю, глядя на твою фотографию на столике.

Дорогая, твое внезапно прервавшееся письмо меня обеспокоило — не оттого, что тебя явно не лечат должным образом, но потому, что я знаю: ты делала все, чтобы скрыть от меня симптомы болезни; когда ты осознала, что именно мне отравила, ты, я уверен, огорчилась и тем еще более расстроила свои и без того измотанные нервы. А поскольку это письмо — твое первое послание мне по отбытии в Египет, твое прискорбное эмоциональное состояние, скорее всего, нанесло урон исцеляемому телу.

Маргарет, ты восхитительна. В скверные дни ты неизменно крепила, думая, что я не замечу разницы между здоровьем и болезнью. Когда на следующий день после вечеринки ты наконец рассказала мне о своем недуге, боюсь, я удивился не так сильно, как следовало — ради тебя. Любовь моя, прости, если я был неубедителен — но однажды прошлым летом твой отец открыл мне все. Не таи на него зла. Ч. К. Ф. ныне — отец нам обоим. Когда я просил у него твоей руки, благородство не позволило ему утаить от твоего будущего мужа ровным счетом ничего. Он хотел поведать мне худшие из новостей — и увидеть, что моя любовь к тебе не поколеблена. Ч. К. Ф. говорил со мной открыто; до получения твоей скромной робкой записки я уже знал все о специалистах по нервным болезням, об истощении, коим грозит прием медикаментов, о том, сколь редко твое заболевание. Я знаю также о том, что прогноз весьма благоприятен, что ты неминуемо, непременно выздоровеешь. Клянусь тебе, Маргарет, с той поры я не тревожился ни секунды. Я знаю, что с каждым днем тебе лучше, а Инге — временная сиделка, приставленная следить, чтобы ты приняла последние лекарства, и ничуть не более. Будет ли она жить с нами сразу после свадьбы, или же здоровье твое к тому времени полностью восстановится — время покажет. А сейчас ты не должна волноваться, и уж конечно не сомневайся в том, что я люблю тебя сильнее жизни, мой ангел.

В твоём отце — великое множество слагаемых. Миру он кажется грозный лик, и это понятно, в среде предпринимателей иначе нельзя; но я видел, как он говорит о тебе. Я был свидетелем того, как он, сбросив маску сдержанности, являет всю глубину своей нежной заботы. Я видел, как туманятся его глаза, когда он говорит о мучениях, доставляемых твоей болезнью. Он сказал мне со всей уверенностью: «Ральф, она все поборет. Ты не переживай, получишь жену здоровехонькой, в целости и сохранности». Он — отец, Господь благослови его сердце.

Я каждый день оплакиваю смерть собственного отца. Заклинаю, будь с Ч. К. Ф. ласкова так, как ласков с ним я, ибо отцовская любовь есть драгоценнейший из даров.

Помню, как я — мальчишка в Трилипуш-холле — с нетерпением ждал, когда же отец вернется из экспедиции. Он отсутствовал неделями, а то и месяцами, и я предвкушал миг, когда сильные отцовские руки подхватят меня и посадят на колени прямо перед большим камином и отец начнет рассказывать о своих приключениях. Вдруг он вернется сегодня? И я мерил шагами просторные и гулкие покои Трилипуш-холла...

О, Трилипуш-холл! Дом, полный диковин! Стены, увешанные портретами усмехающихся предков в париках. Бесконечные рыцарские доспехи, леса копий, алебард и пик, стены разряженных арбалетов. Охота и балы Средневековья на гобеленах. Ящик стола, где отец небрежно свалил в кучу военные награды и медали — свои и своих предков. Реликвии, вывезенные отцом из Китая, Африки, Малакки. Яркий огонь в камине в десять футов высотой; вкруг полена в форме колена, серо-черного, полосатого, как зебра, вьются оранжевые пряди огня; перед ним, лежа на животе, я в одиночестве учился иероглифическому письму. Иногда в восточном окне главной залы хлестал дождь — и в это самое мгновение в западном окне солнечный свет пробивался сквозь облака, и я бегал туда-сюда от окна к окну, воображал, как бок о бок с отцом путешествую по разным странам, как отбиваюсь от бандитов, пока отец извле-



кает из-под земли потрясающие артефакты. Я выглядывал из окна (что заштриховано дождем либо искрится солнцем нового дня) и наблюдал за птицами на изумрудных полях; вездесущие фазаны и неприхотливые куропатки в отсутствие отца неимоверно размножились и нагтели, поскольку без него никто на них не охотился. О, как жаждал я услышать шум колес въезжающего во двор экипажа: вдруг он вернется сегодня? В огромной зале темнело, вот уже только тлеющие угольки освещают мое лицо и мебель темного дерева, на которой вырезаны сцены побед Трилипушей со времен норманнского завоевания; и я засыпаю прямо на полу, укутавшись в плед и не обращая внимания на зов слуг, которые бродят из залы в залу, вверх и вниз по дубовым ступенькам.

А потом настает *тот самый* день! О, как я мчался к огромной парадной двери и усыпанной гравием подъездной аллее, прыгал в экипаж, не дожидаясь, пока тот остановится, и дверь распахивалась, отец втаскивал меня внутрь и сажал на колени, его щекотные усы пахли табаком и дальними странами, и тут, к моему наслаждению, смеющиеся глаза его озарялись изумлением, и он восклицал: «Что?.. Что я вижу! Кто вы, молодой человек? Тут оставался мой маленький сын... где он? Что вы сделали с Ральфом, негодяй?..»

«Это я, папа, это я!»

«Что? Ральф? Это в самом деле ты? А я-то принял тебя за крестьянина!»

«Это я, папа, это я!»

*Понедельник, 16 октября 1922 года*

*Дневник:* Почта. Обед в городе. Почта. Департамент древностей — не вынесо ли скоропостижное решение по моему заявлению? Почта. Посетил фотографа-портретиста, дабы отослать невесте сувенир на память. Вторая половина дня не потрачена впустую: на выбор есть дюжина красивых портретов.

Вечером возвратился в гостиницу, дабы продолжить сочинение обрамляющих мой труд прикладных текстов, в прозрачной, сообразной по форме упаковке коих будут предъявлены миру во всей своей ясности вызволенные из гробницы сокровища.

*О бессмертии и Парадоксе Гробницы: Атум-хаду правил в*

*Вторник, 17 октября 1922 года*

*Дневник:* Вчерашние труды окончились раньше срока — меня беспощадно атаковало исследовательское несварение, жестокий, едкий недуг, доставшийся мне в наследство от дизентерии. Пока лечился, отсыпался, изводил десятки игл на переносной модели патефона «Эйч-эм-ви», что установлена в ватерклозете именно для облегчения страданий, потерял полдня. До того как взяться за начатую вчера работу, я выйду в город — позавтракать, а также зайти в Департамент древностей и на почту.

*22 сент.*

*Привет, дорогуша!*

*А ну-ка — кто тут твоя умница? Это я, мой принц. Я намерена писать тебе каждый день, пока ты работаешь «в пом», и свое торжественное обещание сдержу. Сегодня утром я послала тебе письмо, которое написала и запечата-*

ла ночью, хотя как я его писала — убей не помню, потому что Инге напищкала меня какими-то лекарствами, чтобы я спала, потому что, когда ты уехал, я была так расстроена, хотя я знала, ты скажешь, я вела себя просто абсурдно, но ты — мой самый-самый, мой Герой, а когда Герой покидает город, девочке все кругом обрыдло, правда же? Вот поэтому я и пишу тебе опять, утром мне стало нужно сказать тебе еще кое-что, но предыдущее письмо уже запечатано и готово к отправке, я только что отдала его Инге, пусть сбегает на Арлингтон-стрит, пока я пишу тебе новое, а когда она вернется, я отдам ей это письмо, и пусть быстро сбегает на Арлингтон-стрит обратно, она жирная, ей нужно больше гулять.

Ночью мне приснился очень-очень страшный сон. Понимаешь, Инге дала мне снотворное с болеутоляющим, а я позабыла ей сказать, что перед тем приняла стаканчик-другой. Дело в том, что прошлой ночью, понимаешь, я обдурила Инге, обвела ее вокруг пальца. Она уже столько дней все время за мной следит, из дома выйти невозможно, и мне стало ужасно скучно, хуже не бывает. Ну вот, и я тайком сбежала к Дж. П. О'Тулу. Когда я вернулась, она меня ждала, вся из себя злющая, она такая делается, когда я доказываю, что я ее по-любому умнее, потом были снотворное с болеутоляющим (после стаканчика-другого), а когда все это мешаешь, спишь как бревно. Вот мы с тобой останемся вместе, будем жить-поживать, добра наживать, и я буду так рада, когда Инге получит расчет. Ты представляешь, на днях у нее язык повернулся сказать, что ты меня полюбил за папины денежки. Я эту шведскую потаскуху чуть не стукнула, да только она куда сильнее меня.

Но даже когда я от нее отделаюсь, не удивляйся, если она останется «работать» у папочки. Я-то знаю, куда она шастает, когда я сплю. Я все-таки не полная дурочка. Ты же не хочешь жениться на полной дурочке, а, мой британецка?

Ты счастлив в экспедиции? Интересно, где ты сейчас? Наверное, в море, советуешься с капитаном корабля, показываешь ему свои карты и дурные стихи этого фараона. Тебя, наверное, окружают девушки, как в тот раз, когда я тебя встретила. Но ты же знаешь, Ральфи, они не для тебя. У тебя есть только Верная Царица Грядущего, а у нее есть только ты.

Папочка спросил меня, что мы с тобой думаем о том, где будем жить после экспедиции и после свадьбы, останемся мы в Бостоне или переедем в Трилипуш-холл. Он посмотрел на меня так нежно, как всегда смотрит, и сказал, что всегда хотел, чтоб я жила в большом английском поместье. Что ты про это думаешь? Хочешь вернуться в Англию? Или ты там весь измучаешься? Наберется ли денег, чтобы снова открыть Холл? Папочка часто идиот, но тут, я думаю, он прав: я думаю, я буду счастлива стать английской, леди.

Ну вот кстати — про этот сон прошлой ночью в лекарственном дурмане. Словно бы недалекое будущее. Ты и я поженились. Я сильная и здоровая. Мы очень счастливы, я не досаждаю тебе плохим настроением или чем-то таким. Твои раскопки сделали нас баснословно богатыми, ты — знаменитость, нас все и всюду очень-очень охотно приглашают в гости, ты везешь меня в Англию — познакомиться с королем и королевой. А потом мы возвращаемся домой, я готовлюсь родить первого ребеночка. Ральф Честер Кроуфорд Трилипуш — такой очаровашка, едва родился, сразу заговорил! Мы сначала так им гордились, а потом прислушались — а он ужасно ругается, просто без оста-

новки, ты и представить себе не можешь, как это было гадко, и доктора все качают головами, и сиделки все рыдают, и я не знаю, что и подумать, потому что мне дают лекарства все сильнее и сильнее, и я опять погружаюсь в особый сон, только перед тем, как расслабиться, я поднимаю голову, а ты, Ральф, только смеешься и приговариваешь: «Да уж, сыночек мой — молодчина».

Если честно, я должна тебе сказать, что писать письма очень выматывает. Тут безобразно жарко, и я вечно хожу сонная. Инге скоро вернется, и это хорошо, потому что я хочу послать тебе это письмо, а еще мне нужно принять что-то от боли, она сегодня ужасная. Ты даже не представляешь. Это как если зудит так сильно, что ты готов голову содрать, лишь бы перестало чесаться. Когда Инге дает мне лекарства, какое-то время ничего не чешется, а когда я сплю — зуд не такой сильный. Если не перестанет зудеть и я не перестану вечно ходить безобразно уставшая (прости, но я тебе прямо скажу), я поеду в город развлекаться с подружками или парнями. Да-да, Ральфи, ты лучше скорее возвращайся весь в лаврах, а то меня увезет отсюда кто-нибудь другой! Так и будет, англичанин, заруби себе на носу. Ладный американец, силач и крепьши, окрутит меня в один момент.

Но я так устала.

Целую тебя. Еще тебя целуют Антоний и Клеопатра. Прямо лижут. С тех пор как ты уехал, они уже не так виляют хвостами. Правда. Мне кажется, они скучают по тебе так же, как я.

Твоя Маргарет

Вторник, 17 октября 1922 года (продолжение)

К Маргарет: Моя дорогая. Твое второе письмо пришло сегодня по следам первой попытки — и сердце мое дышит благодарностью. Твой обворожительный атум-хадуанский сон великолепен, благодаря ему я вспомнил нашу первую встречу. Я никогда не говорил тебе, о чем думал в тот апрельский день; но как сладки здесь, в уединении, воспоминания!

Историческое общество Бостона сообщило, что тех, кто придет на публичные просветительские лекции с моим участием, ждет дискуссия о древнеегипетской культуре. Против обещания, данного мной организаторам, я намеревался прочесть вслух отрывки из «Коварства и любви». Исполнитель должен отдавать себе отчет в том, что число собравшихся зрителей тем больше, чем привлекательнее гвоздь программы на афишах с рекламой вечера. Я люблю свою работу, но не могу всерьез утверждать, что сотни бостонских леди собрались ради того, чтобы просто обсудить жизнь в Древнем Египте. Поскольку выступал не кто иной, как пресловутый дерзкий переводчик *того самого царя-безобразника*, я обманул бы наших последователей, не прочитав им катрен-другой и не ответив на вопросы (исторического, социологического, анатомического плана), естественно возникающие в ходе обсуждения нашего царя.

Знаешь ли ты, что в тот вечер я почти сразу обратил на тебя внимание, о моя царица? Я рассказывал о хронической склонности древних египтян к болезненной ностальгии, о черте, парадоксальным образом проявившейся в *ранний* период истории страны, о болезни, симптомы которой — постоянно, век за веком стоявший на политической повестке дня вопрос о возвращении к «поруганному» религиозным устоям; передававшиеся из поколения в поколе-

ние вздорные байки об оставленном Западе с его богатыми зелеными пастбищами и могучими буйволами; вновь и вновь возникавшее ощущение, что Египет разлагается и переживает последние времена. Обычно такие ощущения абсурдны — это ностальгия по порядку, которого никогда не было, попытка воссоздания того, что пребывает в отличном состоянии и так, навязчивая мысль о близком конце либо опасно пошатнувшихся основах. Между тем в периоды драматические и переходные, каким был конец правления Атум-хаду, подобные страхи внезапно превращались в обоснованные. «В конце жизни Атум-хаду, по всей видимости, верил, что Египет вот-вот сгинет навсегда», — сказал я и заметил в первом ряду тебя: ты клевала носом, моя драгоценность, а этого нельзя допускать, и я, запомнив, где ты сидишь, через несколько минут намеренно посмотрел тебе в глаза, цитируя катрен 35 (есть только в отрывке «С»):

*Ей быть моей, ей быть моей,  
Ей быть моей, ей быть моей,  
И козы ее, и мать, и девять сестриц вслед за ней  
Будут моими, пока они мне не осточертеют, ей-ей!*

На лекциях в такие моменты у меня всегда кружилась голова, и обычно я наугад выбирал молодую женщину, дабы дать ей прочувствовать овладевавшее Атум-хаду необузданное биенье страсти. В этом случае, моя любовь, я просто не понял, что именно выпустил на свободу.

Позже я узнал тебя — ты, как и многие другие, проталкивалась к кафедре, чтобы задать последний вопрос, который на виду у всех задавать боязно, а то и просто пожать английскому исследователю руку. Я отвечал на вопросы, подписывал экземпляры «Коварства и любви» и не обращал на тебя внимания, но ты — ты не трогалась с места, помнишь? Когда я обернулся, ты стояла все там же. Я видел это лицо прежде — лицо женщины, внимавшей песне древнего царя.

«Профессор Трилипуш? — прощebetала ты звонко и безмятежно. — Профессор Трилипуш, ваша лекция меня так заинтересовала...»

«Ну, если быть предельно корректным, — сказал я, спускаясь с помоста, — я не могу претендовать на *полное* профессорское звание. В Гарварде, как и в любом примитивном обществе, довлеет разделение по формальным признакам».

«Ну... — ответила ты, прищурившись и надув губки, — я не могу претендовать на то, что ваша лекция показалась мне *полностью* интересной. Некоторые формальные аспекты оставили меня равнодушной».

«Ох, мисс, хватит вам...» — проворчала тебе женщина нордической красоты, сложенная из сфер и полумесяцев.

«Заткни фонтан, Инге, — сказала моя нареченная. — Не пойти бы тебе в финскую баню?»

Ты храбро представилась, и я не смог не процитировать рекламное объявление, которое в Бостоне видишь на каждом углу: «Жизнь незаурядна, когда наряжаешься в неординарных „Фешенебельных Фасонах Финнерана“». Но должен тебе напомнить — и не верь словам этой норвежской паршивки Инге! — я не знал, что магазин принадлежит твоей семье. Припомни: ты засмеялась, но про магазин не сказала ни слова, из чего я заключил, что совпадение имен случайно. Атум-хаду уже дернул за веревочки, моя дорогая, а он никогда

не был корыстолюбив.

Когда толпа наконец просочилась в дверь, мы с тобой присели на помост и завели разговор, и я принял решение тебе довериться и испытать тебя. Я показал, какими иероглифами записывается имя Атум-хаду. Все это время твоя холодная дуэнья слонялась за дверью и беседовала с работниками Исторического общества (те были счастливы, что на лекцию заявила толпа народу и что полиция не вмешалась и не обвинила никого в нарушении приличий). Что я увидел в тебе тогда? Моя мисс Финнеран была жизнерадостной девушкой, слегка, но не безвозвратно избалованной — и явно одурманенной первым свиданием с Атум-хаду. Я не особенно удивился, когда она сказала, что почла бы за честь, если бы я отвел ее в Музей изящных искусств, где она смогла бы насладиться моими познаниями о выставленных реликвиях. Да-да, не позволяй мнительной Инге переписывать историю, дорогая! Это ты предложила встретиться вновь, моя прямолинейная кокетка. И с тех пор я — твое творение.

Разумеется, я не обманывался, думая, что ты увлеклась именно *мною*. Нет, я видел еще одну женщину двадцатого столетия, которую слова царя XIII династии пленили, словно душистый одеколон.

Дорогая, я застрял в Каире, жду, когда Департамент древностей выдаст мне лицензию. Интересно, чем ты занята в это самое мгновение. Тут — 17 октября, 11.36 пополудни. О, как желал бы я обладать приспособлением, что позволило бы взглянуть на тебя сейчас, каким-нибудь мощнейшим телескопом! Я бы смотрел на тебя бесконечно, любовь моя.

*Среда, 18 октября 1922 года*

*Дневник:* На почте — пусто. Через четыре дня мой Владыка Щедрости и его кредиторы пополнят мою казну по телеграфу, а сейчас я отправляюсь на закупку провианта на рынках и всего прочего в предназначенных для людей моего статуса магазинах. Я потрачу на это весь день, что должно усмирить уныние, родившееся из-за вынужденного простоя. Кисти, краски, карандаши, долота, резак, переносной фонарь, походная кровать: я медленно пополняю список, когда в тихом переулке замечаю лавку портного. Мне понадобятся несколько разных костюмов для работы и для выходов в общество, и еще — что-нибудь торжественное для официального открытия гробницы (на котором обычно присутствуют высокопоставленные англичане, французы и египтяне, возможно, будет генерал Алленби[10] и проч.).

Миновав бисерную занавесь, я попал в светлую комнатку и увидел высокого египтянина, которого годы, проведенные под низким потолком, ссудулили прежде времени. И вот уже я сижу в обитом кресле с плетеной вставкой и прихлебываю кофе с кардамоном в компании хозяина, а два мальчика прикатывают одну золоченую тележку материи за другой. Мы с портным оцениваем материю на ощупь, обсуждая достоинства некоторых сортов ткани, которые охраняют от жары и в то же время пленяют глаз. Десять образцов впечатлили меня настолько, что я сделал заказ на пошив из них костюмов (в Бостоне Ч. К. Ф. заплатил бы в десять раз больше!) и поднялся, чтобы с меня сняли мерку. Трехстворчатое зеркало предложило мне скорчить рожицу себе по правую руку и себе же по левую; я стоял в одних трусах, с нагими голеньями, пятки вместе, внизу коленопреклоненный слуга обмерял мои ноги и выкрикивал

цифры писцу, что по-турецки сидел на подушке; рукава его задрались, обнажив безволосые руки с проступающими венами, похожие на рельефные карты речной дельты; из-за занавеси перешептывались и приглушенно хихикали женщины.

Расплатиться и получить костюмы нужно через неделю, 25-го. Иду в туристическое агентство, чтобы перенести отъезд, бронирую билет на «Хеопс».

Потом я прогуливался, радуясь покупке и думая о моей суженой, и тут на углу улицы меня посетило озарение: я увидел деревянный мольберт и при нем — два складных табурета; здесь туристов изображали на якобы настоящих глиняных черепках в фараонском наряде и с ералашем иероглифов вокруг. Толстый египтянин рисовал профиль американского мальчика, чьи родители наблюдали за процессом, смеялись и обменивались замечаниями насчет художника.

Разумеется, я не стану позировать для туристской безделицы, но вот парадный портрет, начатый непосредственно перед открытием гробницы Атум-хаду и законченный после него, станет, несомненно, своевременным приобретением, вехой моей карьеры, он будет шикарно смотреться на стене в Бостоне, Лондоне или Каире. Неделя все равно пропадает, так что время есть. По возвращении в гостиницу я велел портье найти лучшего портретиста и проводить его в мой номер. Позировать начну с завтрашнего дня.

Вечер провел в синематографе. В темной зале туземцы и я жевали финики и фиги, будучи равно удивлены движущейся картинкой: англичанин борется со львом, затем идет в шатер, где его уже ждет красавица с миндалевидными глазами. Потом англичанин сражается с бандитами, потом входит в фараонскую гробницу, где купается в золоте и драгоценностях. Мумия встает как живая и атакует англичанина, но он умиряет упыря одним пистолетным выстрелом.

#### *Четверг, 19 октября 1922 года*

*Дневник:* Сегодня два часа провел в медитации; в это время художник карандашом набрасывал эскиз картины. А еще я нашел великолепного саквояжных дел мастера и испытал неподдельный экстаз, который, я знаю, пережил бы и мой брат Атум-хаду, приготавливаясь к путешествию, при виде гладкой крокодиловой кожи, переливчатой меди застежек и выжженной монограммы («А.», конечно, обошлась бы в три раза дешевле «Р. М. Т.», но таковы уж привилегии царей). В банке — никаких новостей. Конечно, официально перевод придет только через три дня.

Вечер дался мне тяжело — я провел его в шумном маленьком кабаре, где из дыма кальянов-чич рождается джинн, обвивающий и массирующий своих повелителей, раздувших щеки. Я наблюдаю за курильщиком у двери: вот его голова медленно облекается клубами дыма, он начинает походить на спеленутую мумию своего предка; но всякий раз, когда справа от него отворяется дверь, весь дым вылетает вон, в усеянное звездами сливовое небо. Дверь закрывается, курильщик вновь принимается за свое, с ног до головы окутываясь дымным саваном; дверь открывается — и невидимые злодеи опять распускают сотканное.

*О бессмертии и Парадоксе Гробницы:* Бессмертие, разумеется, есть тайна

тайн, скрываемая песками. Напомню непосвященным читателям о том, что все древние цари лелеяли здоровое желание вечно жить в загробном мире, оснащенном всем необходимым. Для достижения личной вековечности необходимы были две составляющие:

- сохранность физических останков, никем и никогда не тревожимых;
- сохранность имен, вечно поминаемых живущими.

*К Маргарет:* М., воспоминания словно облекают мою голову клубами дыма: вот деревенский викарий, тот, с которым я сталкивался, покидая отца и поместье. «Скажи мне, дитя, ты веришь в бессмертие души?» В детстве никто не мог утратить меня — кроме него; благодаря ему я и ныне могу ощутить детские страхи всех видов и градаций: я боялся его имени, его лица на той стороне улицы (терявшего осмысленное выражение всякий раз, как викарий видел меня), его голоса, тяжелой, пятнистой руки на моем плече, запаха его дыхания, переменчивости его настроений; но самый страшный страх леденил мне душу, когда он преподносил мне подарок.

«Да», — мямлил я, до удушья давясь предложенной конфетой.

«Что же требуется от души для обретения ею бессмертия в вечносущем раю?» Он нагибается, чтобы услышать мой ответ, его ухо оказывается перед моим ртом, он, должно быть, слышит чавканье и хруст леденца, и я заглядываю в глубь его щетинистой ушной раковины, покрасневшей и обветренной на морозе.

*Я и не пытался* поднять его на смех, Маргарет, возраст был не тот. Нет, я был счастлив, потому что знал ответ на его вопрос! Сей ответ мне случилось прочесть в тот же самый день; потеряв счет времени, я поглощал «Царей Нила» Бендикса (труд, который сейчас не стал бы рекомендовать студентам). Я был счастлив, так счастлив, и я успел ответить до того, как слабый заикающийся голос в моей голове велел мне остановиться: «Нужно, чтобы сохранились ваши останки и ваше имя. Ваше имя — в хрониках, ваше тело — в виде мумии, а сердце, кишки, легкие и печень — в сосудах-канопах. Статуэтки прислужниц пробудят вас к моменту воссоздания...» Мой голос затих, как только его кошмарное ухо сменилось гладко выбритым лицом (с красно-коричневым расщепом засохшей крови) и весьма голубыми глазами; чешуйки кожи в его бровях встопорщились и затрепетали.

И все-таки последовавшее битие, кажется, предназначалось вовсе не мне; я ощущаю (хотя бы по восточной музыке, что почти не изменилась за 3500 лет), что битие это передалось мальчику Атум-хаду, выходцу из народа, коему довелось жить во времена больших перемен; далеко не сразу он с восторгом осознал, что одарен уникальными в своем роде талантами и что само его восхождение на вершину мира (пусть мир и крошился по мере того, как Атум-хаду поднимался) стало неизбежным. Да, восходя, он оскорблял или был вынужден предавать окружавших его людей, злобных викариев его мира, и этого следовало ожидать, этому следовало радоваться, радоваться, *даже когда тебя бьют* («Ты над чем смеешься, паскудник?» — вопрошает мой священник маленького мальчика, изнывающего под градом ударов бывшего боксера, ставшего Божьим человеком; и все-таки мальчик сильнее).

Но бессмертие — это тайна тайн, она являет собой основу, как я его называю, Парадокса Гробницы. Сейчас я вижу, что этот заголовок подойдет книге

не хуже любого другого. «Парадокс Гробницы: Атум-хаду, Ральф Трилипуш и разгадка трехтысячелетней головоломки».

*О бессмертии и Парадоксе Гробницы:* Царям древности для успешного путешествия в пакибытие требовался основательный багаж, и поскольку средний обитатель нильских берегов знал, что львиную долю багажа составляют золото, ювелирные украшения и роскошная мебель, частная гробница временно мертвого царя, застрявшего в неловком положении между смертью и возрождением, само собой, привлекала непрошенных гостей. На мед царских аксессуаров муравьи сбегались в таком количестве, что угроза нависала не только над перспективой вечного пикника, но и над телом. (А потенциальных расхитителей гробниц было куда больше, чем потенциальных обитателей гробниц, ведь и в Древнем Египте бессмертие обещалось не каждому крестьянину или прачке.) По этой причине цари разрывались между гробницами внешне эффектными, но неприступными, и гробницами, надежно укрытыми от чужих глаз.

Проблема первых: ни одна гробница не в состоянии оставаться неприступной *вечно*. Даже если мысли архитекторов царской усыпальницы опережали мысли грабителей на 500 лет... эти 500 лет — капля в море. Проблема вторых: даже если царь проглотит унижение и согласится быть похороненным в непоименованной гробнице вдалеке от храмов, построенных для проведения ритуалов, благодаря которым он скорее попадет в подземный мир, даже если свыкнется с тем, что его запомнят как царя, плюнувшего на похороны и не построившего себе приличную усыпальницу, то есть сделавшего все, чтобы сохранить местоположение гробницы в тайне (и променявшего один сорт бессмертия на другой), перед царем все равно встанет нехороший вопрос: насколько тайная гробница — тайная?

Читатель, взвесь обстоятельства! Архитектор гробницы, разумеется, знает, где располагается ваше богато обставленное временное пристанище — и как в него попасть. На архитектора, в свою очередь, будут работать несколько сотен строителей и рабов (по меньшей мере!) — чтобы построить гробницу, обустроить ее и заполнить всем, чем полагается. Конечно, решить эту проблему для вас и для меня ничего не стоит: используем военнопленных, а потом, когда гробница будет готова к заселению, просто убьем всех, кто ее строил. Правда, нам нужно похоронить их где-нибудь подальше от гробницы; как доставить их туда живыми или мертвыми? И кто знает, не сказал ли кто из них своим родственникам, мол, ждите меня вечером с работы домой — с работы в Дейр-эль-Бахри? А люди, которые по вашему приказу убьют пленных, — вдруг они что-нибудь заподозрят? А если кто-то донесет шурину, которому как раз нужны деньги? За всем не уследишь. Что касается архитектора, человека, знающего все ваши секреты, то вознаградите его! Заткните ему рот, одарив камнями, наслаждениями и его собственным бессмертием! Дворцы, золото и замечательная гробница лично для него — чтобы у него не возникло желания опустошить вашу на следующий день после того, как вы в нее поселитесь. Вы уже вздохнули спокойно — и тут вспоминаете о разграбленных усыпальницах предков. А ведь все они полагали, что усыпили бдительность вечности! Их пустые ямы вы видите всякий раз, когда покидаете свою столицу, Фивы, и отправляетесь на загородную прогулку, дабы побродить по утесам и долинам при луне — как раз в тех местах, где обчищены гробницы. Власти в панике



свалили останки тел и остатки вещей в наспех сооруженные тайники, по несколько тел в один тайник; и вот некогда могущественные мужчины и женщины лежат одни на других, вперемешку, беспорядочными штабелями, и надеются, что, когда пора настанет, Осирис не спутает их личные кишки с посторонними.

Таким образом, выставлять все напоказ — нельзя. Работать секретно — тоже нельзя. Закономерно возникает мысль вложить средства в охраняемый государством некрополь, Долину царей, где нет ничего тайного: мумии этого густонаселенного и запретного города мертвых охраняют хорошо оплачиваемые живые. «Сплотимся! — говорят цари эпохи оптимизма. — Будем строить открыто, выставим наше богатство и нашу власть напоказ вечности. Ляжем мумифицированной щекой к сгнившей челюсти. Создадим учреждение, правительственную службу гробнице управления и гробнице охранения. Цари, что придут после нас, поймут, что сохранность безопасного некрополя — в их собственных будущих интересах; всякий царь доверится своему преемнику, поскольку будет знать, что преемник этот в свою очередь должен будет довериться уже своему преемнику, отвечая услугой за услугу». Золотое правило защиты всего подземного золота! «Тебе ведь тоже однажды понадобится ненадежное жилище, да-да, непременно понадобится; прояви заботу обо мне сегодня — и будущее защитит нас обоих». Все бы хорошо, но... Очень скоро выясняется, что настоящая потребность сегодняшнего дня стоит большего, нежели благочестивые притязания прошлого и гипотетические нужды будущего. Вот смотрите: когда правительству нужны средства на войну или на памятники, поблескивающее под песками застрахованное бессмертие оказывается довольно удачно расположенным казначейством; прошлому словно бы не терпится профинансировать настоящее, а что до проблемы будущего бессмертия, то ее нынешний царь-расточитель благополучно игнорирует.

И внезапно понимаешь, что бессмертие, ценнее которого для тебя нет ничего на всем белом свете, висит на волоске — ты с каждым днем стареешь, твои враги приближаются. Как взять все, что понадобится тебе в неопределенном будущем, без потерь и не привлекая к себе лишнего внимания? Такова дилемма каждого путешественника, будь то я, отправляющийся на юг, или царь, отправляющийся под землю: что сложить в чемодан?

Три дня до перевода.

Танцовщицы на крохотной сцене напомнили мне об одном стихотворении Атум-хаду:

*Атум-хаду полюбил двух сестер,  
к себе в покои он их привел,  
не знали они, что от царской любви  
образуются волдыри.*

*(Катрен 9, отрывки «А» и «С», из книги Рольфа М. Трилипуша «Коварство и любовь в Древнем Египте»)*

Как чудовищно корежило бедного Гарримана, когда он продирался сквозь этот сравнительно невинный пассаж! «Дошло до Атуум-Хадуу известье о блудном нраве двух сестер», и «Атуумова палата правосудия», и «высочайший гнев их опалил», и все в таком духе. Уязвленного ханжу утешает девица Юриспруденция.

19 окт.

*Каир, кабаре, поздно ночью*

Дорогая моя царица грядущего!

Только что перечитал твое послание от 22 сентября. Я перечитываю его снова и снова уже три дня и вижу твое лицо повсюду, даже на этом восточном представлении. Женщины на сцене сбрасывают шелковые шарфики под грохот тамбуринов и скрипичный вой, их покровы плывут вниз, словно ароматы. С первых шагов они казались практически обнаженными, но вот покрывало за покрывалом падает на сцену и мой столик, а танцовщицы не более обнажены, чем в самом начале, хотя из шарфиков, вуалей и покрывал сложилась уже горка с приличной бархан, укрывающий царскую гробницу.

Каир кишит напоминаниями о тебе. Пальмовые деревья в ночи — в точности тот огромный загубленный букет, который я держал в руках, когда прошлой весной два часа прождал тебя под дождем — помнишь, ты еще вышла из такси и холодно посмотрела на меня, явно не узнав? Мне только что вспомнился майский вечер, мы с тобой катались тогда на лодках-лебедях в Общественном парке, и я декламировал тебе стихи Атум-хаду, а ты все смеялась над нами:

*Атум-хаду впервые видит царицу грядущих времен.  
Распухают, воспаляются и сердце его, и тело.  
Он помешается и спятит, он преступит закон,  
если она, обнажена, не возьметса скорее за дело.*

Ты же, безмятежно усмехаясь, с улыбкой смотрела на меня снизу вверх. Сквозь потрясение от царских виршей и аппетитов ты видела *меня* — такого, какой я есть на самом деле. В тот миг я понял, сколь исключительна моя находка; будто мне удалось проникнуть в усыпальницу, набитую драгоценностями и блескучим золотом. Ты смотрела на *меня* — и видела то, что стоило любви, что было ее достойно. Той весной я нашел тебя, полюбил тебя, завоевал тебя — и что бы ни скрывали пески, с тобой их богатства не сравнятся. Маргарет, ты — изумительная девушка. Ты для меня идеальная жена.

Вскоре ничто не сможет помешать нашему бракосочетанию. Я молю тебя подождать, потерпеть, остаться сильной и здоровой — и ждать, ждать меня, ждать! Ты и оглянуться не успеешь, как я вернусь, зацелую тебя до смерти, утоплю в сокровищах, поселю в доме таком, что не приснится и во сне, ты будешь развлекаться и отдыхать все дни напролет, сколько захочешь. Ты спрашиваешь меня в своем послании, где мы будем жить. Я скажу тебе: мы с тобой, ты и я, будем жить во дворце у реки, под пальмами, и весь мир будет у нас в кармане.

Твой царь,

*P. M. T.*

P. S. Надеюсь, ты воспримешь сие проявление беспокойства в правильном свете: мне кажется, твой отец слишком уж полагается на Инге. Каков бы ни был диагноз, переутомление и приступы болезни следует лечить, обратившись к врачу-специалисту и принимая препараты, повышающие тонус организма; однако по отрывку письма, которое ты послала мне, будучи одурманенной лекарствами, получается, что она дает тебе снадобья, которые лишь

обостряют симптомы. Позволь заметить: никто не знает о тебе столько, сколько известно мне, никто чаще меня не видел тебя здоровой и жизнерадостной. Когда ты станешь моей женой, мы не пожалеем средств на лучших специалистов. Вручаю тебе всю мою любовь без остатка. Ты — моя царица.

*Дом престарелых «Гавань на закате»*

*Сидней, Австралия*

*24 декабря 1954 года*

Мэйси!

Это опять я. Верно, заставил вас поволноваться? Вот и еще одна неделька пролетела. Надвигается Рождество. Веселое, говорят, времечко.

Интересно, Мэйси, вы религиозны? Я вот ни на столечко нерелигиозен, по мне — это удел записных дураков. Но здесь живет старушка, она выжила из ума, как и многие другие, все время молчит да в телеэкран смотрит, и вот сегодня утром она мне сказала — в первый раз со мной заговорив, — она сказала мне, что в следующем мире людей будут судить все те животные, которые видели их в мире этом. Не только съеденные коровы или там пойманные рыбы. Она, кажется, не «вегетарианка». Нет, вообще любые животные, которые видели вас, когда вы занимались своими делами. Понимаете? Кошки, которые смотрели на вас, когда вы были якобы один. Собаки, которые нежились на солнце через дорогу. Птички за окном. Золотая рыбка в аквариуме. Они все расскажут, как вы себя вели, сказала старушка, доложат, как в парламенте, а потом решат, куда вас отправить — на облако или на сковородку. Что скажете? Я думаю про всех животных с печальными глазами, про зверей, с которыми я оставался наедине. Я думал, они дрыхнут, да коли даже и не дрыхнут — все одно ничего не понимают. Ее идеи меня удивили, даже расстроили. Такого быть не может. Вы слышали, чтобы еще кто-нибудь о таких вещах толковал?

Ваша тетушка Маргарет, о чем вы вряд ли в курсе, в 22-м году держала собачек. Хотя, может, вы видели на фотографиях. Тибетские спаниели, сказала она мне, когда я появился на пороге дома вашего двоюродного дедушки, то бишь — 13 октября 1922 года. Ваша тетушка открыла мне дверь, когда я вошел, собачки на меня затывкали. Я не успел и слова вымолвить, а она мне говорит:

— Тибетские спаниели, дорогушие и чрезвычайно р-р-р-редкие! — Она сказала «редкие», вроде как на меня заворчав, и презрительно скривила губки. Ага, и тебе здрасьте, подумал я. Тетушка ваша была очень даже ничего, такая современная девочка, вся искрилась прямо. Сомневаюсь, что она вам про меня вообще рассказывала, хотя, может, у вас есть что мне сообщить, но коли что и понарасказала, я на свой счет не обольщаюсь, навряд ли я произвел на нее впечатление, к тому же иногда она могла и приврать, вы, когда будете читать ее записки, это учтите.

Ваш двоюродный дедушка был не дурак и мне понравился: могучий что твой крокодил, огромный, волосы назад зализаны. Сразу предложил мне очень хорошую сигару. Он сидел в гигантском кабинете за большим блестящим столом, изучал рекламное объявление. Развернул его, показал мне:

— Это для сезона отпусков. Думаю вот, одобрить его или нет.

На рисунке женщина несет на большущем блюде гигантскую дичь, а рядом написано: «Вид у пицци непригляден, если стол твой ненаряден! В „Фешенебельных Фасонах Финнерана“ ты найдешь все, что нужно для отпуска! (Гаран-

тийный срок службы наших товаров — вечность!)». Женщиной на рисунке была ваша тетушка, она для него и позировала.

— Я столько времени на это потратила, — вздохнула она. — Хотя бы индейку не пришлось держать, художник ее позже пририсовал. Мне он показался чуток голубоватым...

— Попридержи язык, — проворчал Финнеран. — У нас гости. Так чем мы можем быть вам полезны сегодня, мистер Гарольд Феррелл из «Международных исследований Тейлора», прибывший аж из самой Австралии? — Он осмотрел мою визитную карточку и покатал во рту незажженную сигару. — Сдается мне, у меня в этой самой Австралии не было никаких дел.

Я сказал ему, что мое дело связано с наследством одного австралийского парня и что его деловой партнер профессор Трилипуш в состоянии помочь мне найти пропавшего наследника, с которым мог познакомиться во время войны.

— Ральфи? — вмешивается тут ваша тетушка. — Он не просто деловой партнер, Гарри! — Она сразу назвала меня «Гарри» и потом всегда так называла, мне это нравилось.

— У этого джентльмена дело ко мне, Мэгги, так что выкатывайся!

Она вскинула брови, саркастически сделала реверанс, взяла в охапку собак и захлопнула за собой дверь. Я подумал тогда, что с вашей тетушкой все ясно: разбалованная, очаровашка, ежели хочет такой казаться, в душе немного сноб — потому что еще молоденькая и настоящих снобов не видела. Без обид, Мэйси, но было ясно, что в этом доме живут нувориши. Никаких дворецких, просто живет себе семья — и все. Не поймите меня неправильно: мне они пришлись по душе. Мне понравилось, как говорил Финнеран, и дом его мне тоже сразу понравился. Он разбогател (думал я), но не разучился еще понимать простых людей, знал, что всего деньгами не купишь. Надеюсь, Мэйси, я сейчас описываю и вас в вашем нью-йоркском особняке.

— Резвая девица, — сказал отец, когда эхо от хлопнувшей двери смолкло. — Она просто хотела сказать, что они с профессором Трилипушем помолвлены. — Эта новость, Мэйси, меня заинтриговала. — Он славный мальй. — Тут тон Финнерана изменился. — Вы с ним знакомы? Нет? Он чертовски славный мальй. Из английских аристократов. Храбрец, воевал. Эксперт в своей области. Выдающаяся личность. Сейчас таких редко встретишь — даже в Англии, я думаю, а уж отловить эдакого парнишку в Бостоне, да чтобы он еще и влюбился в Маргарет... Мы тут все очень счастливы, мистер Феррелл.

Точных слов не припомню, но смысл был ровно этот. Как я уже тут написал, ваш двоюродный дедушка, в отличие от четы Марлоу, не был покрыт лаком так, что пробу ставить некуда, но, простите меня за эти слова, мне кажется, я знаю, почему он так гордился, что вот-вот заполучит Трилипуша в зятя. Ясно как божий день: после этой свадьбы положение Финнерана в бостонском обществе подскочит на ступеньку-другую, а то и выше.

Я начал издалека, просто разъяснил, что к чему в деле о Дэвисовом наследстве, и спросил, не знает ли мистер Финнеран, где я могу найти профессора Трилипуша.

— Знаю, конечно.

И пока он вынимал из ящика стола записную книжку, я спросил:

— Просто из любопытства... как вы повстречались с профессором Трилипу-

шем в Бостоне?

Он сказал, их познакомила Маргарет, она однажды привела Трилипуша в дом, счастливая, будто новую побрякушку себе купила. Она была на его публичной лекции, она с ним говорила, она с ним подружилась, а потом «запала на британечку». То бишь, когда она представила Трилипуша отцу, они уже ворковали как голубки?

— Вовсе нет, — говорит Финнеран. — Это она *мне* сделала одолжение, когда его привела. Хотела, чтобы он рассказал о запланированной экспедиции. Она в курсе, что я и мои компаньоны всегда ищем, куда бы вложить деньги. Вот Маргарет и подумала, что проект Ральфа — очень уж привлекательный. Умница, нюх не подвел! — Стало ясно, что «денежный клуб» Финнерана оценил проект и решил поддержать египетскую экспедицию. (Мэйси, прошу заметить: Финнеран поставил на Трилипуша свои деньги, деньги своих друзей, сердце своей дочери и свое положение в обществе.) — Между тем я сказал Маргарет: он славный малый и, если я не ошибаюсь, положил на тебя глаз. Она мне не верила. Она вообще очень застенчивая, мистер Феррелл, но меня-то не обманешь. Вскоре после того, как мы сказали ему, что вложимся в экспедицию, он попросил у меня руки Маргарет — очень по-джентльменски, как в старой доброй Англии... С финансовой точки зрения меня все устраивало. Нашему клубу нравятся как раз такие вещи: выигрыш налицо, не без риска, само собой, но мы при любом исходе застрахованы от потерь. Благодаря моей девочке мы получили возможность инвестировать деньги, опередив музеи, банки и иных-прочих. Любой банк ухватился бы за это дело руками и ногами, но пенка и сливки будут наши! Ну и, само собой, я видел, что Мэгги влюбилась, понимала она это или нет, а кто я такой, чтобы вставлять ей палки в колеса? Когда у вас такая дочка, и тут появляется такой паренек... вы ж понимаете, мистер Феррелл. Бракосочетание состоится сразу же после того, как Трилипуш вернется со своих раскопок.

Неужто Финнеран думал, что копание в египетской земле — это надежное вложение? Ага, сейчас. Другое дело, что имелись особые обстоятельства и возможности:

— Во время войны Трилипуш со своим другом чего-то там нашли, и теперь почти ясно, где гробница. Это все очень сложно. Не то чтобы я понимал в науке... Это не совсем карта, на которой указано, где зарыт клад, но есть наука о том, как читать исторические свидетельства. Я ни разу не ученый, но Трилипуш нам все объяснил и убедил в том, что, само собой, полных гарантий нам никто не даст, однако все говорит за то, что скоро мы сказочно обогатимся.

Все сказанное поставило меня в несколько неловкое положение, и вы, Мэйси, поймете почему, коли перестанете думать как его внучатый племянник и опять войдете в роль моего помощника. Я, сами понимаете, знал достаточно, чтобы прямо там и тогда разорвать помолвку: вранье насчет Оксфорда, сомнения в послужном списке, нелады с гарвардским начальством. Коли эта бомба разорвется — что произойдет? Так вот, Мэйси, запомните: в подобных ситуациях никогда не знаешь, кому придется расхлебывать кашу. Подумайте немного, теперь-то вы знаете, как делаются такие дела. Во-первых, мне нужны были ответы на мои вопросы, а от озлившегося, потерявшего голову бывшего будущего тестя ответов не получишь. Во-вторых, мы с вами занимаемся делом, где на счету каждая секунда. Мы не можем позволить себе продавать *ин-*

формацию; мы продаем время. Потому дальше по ходу разговора, предложив мистеру Финнерану стать нашим новым клиентом, мы убеждаем его, что ждать результатов расследования всей подноготной жениха его дочери нужно несколько недель. Кроме того, информация (и время, необходимое для того, чтобы ее собрать) имеет ценность, лишь когда за нее платят. Если бы я сразу начал объяснять Финнерану, что к чему, он бы разозлился и выставил меня за дверь. С первого дня мне стало ясно, что правду про своего Трилипуша Финнеран знать не хочет, и дальнейшие события подтвердили мою правоту. Я твердо знал, за что Финнеран заплатит: за *перестраховку*. Наблюдательный детектив дает своим клиентам то, что им нужно и за что они платят. Вот вам урок от Феррелла: довольные клиенты раскошеляются.

Наконец, Мэйси, скажу вам как мужчине, я просто не хочу причинять кому-то боль, вот и все. Было ясно, что мне, хочешь не хочешь, придется отправляться в Египет, чтобы докопаться до причин смерти Колдуэлла и Марлоу — и допросить по этому делу Трилипуша. Мне просто нужно было знать, где Трилипуш находится и как туда добраться, больше ничего. В тот день я мог бы начать распространяться о британских содомистах или там молодых австралийцах, которых убили в пустыне, в то время как английские капитаны, вравшиеся напропалую о своем образовании, возвращаются целыми и невредимыми в Бостон, где пленяют сердца молоденьких красоток и тратят деньги честных людей... но что бы мне это дало? Я бы мог за шесть дней добраться морем до Александрии, а после того, как я узнал все, что хотел, и за мзду ободрил вашего двоюродного дедушку, нарушать спокойствие семьи мне не было никакого резона. Финнеран дал мне Трилипушев адрес в Каире, одолжил на то время, пока я живу в «Паркер-Хаус», копию инвестиционного проспекта с описанием экспедиции, и мы пожали друг другу руки. Я сказал, что подготовлю предварительный отчет по Трилипушевой биографии дня за два-три.

Было бы лучше, Мэйси, коли в тот момент дело вашей семьи было закрыто? С одной стороны — да. Но вряд ли. Когда бы Финнеран не стал моим клиентом, когда бы я просто вышел за дверь, прочитал в отеле проспект, вернул его с посыльным, на завтра отправился бы в Нью-Йорк и через пять дней прибыл в Египет, что изменилось бы в финале? Очень трудно сказать наверняка, что бы там ни говорила память. Я был бы очень рад ознакомиться с бумагами, которые могли обнаружиться после смерти вашей тетушки, с письмами или дневниками, из которых мне стало бы ясно, что еще вы знаете про все про это. Но одно мне известно *точно*: когда бы ваша тетушка вышла замуж за Ральфа Трилипуша, в этой семейке жизнь строилась бы на лжи, а хуже этого ничего нет. Я горжусь тем, что благодаря мне все случилось иначе. Тот парень, которому подфартило жениться на тетушке Маргарет, должен быть мне очень благодарен. Я уверен, что, когда все улеглось, она безусловно была мне благодарна. Я спас ее и заплатил за это дорогую цену.

Я уже шел прочь из гостиной и хотел было надеть плащ, но тут в дверях возникает Маргарет. Собачки вьются у наших ног; Маргарет говорит, что хочет предложить мне лимонаду, со стороны папочки выпихивать меня прочь вот так вот сразу — невежливо, и сейчас она принесет лимонад, а потом меня проводит. Ее отец смеется, слова дочурке поперек не говорит, жмет мне руку, возвращается в кабинет — но оставляет дверь открытой.

Вообще говоря, настроений у вашей тети было три. За те два месяца, что я,

проводя расследование, жил в Бостоне, мне случилось узнать ее достаточно хорошо. Не знаю, что именно она вам наговорила спустя много лет... Сказать, что я произвел на нее неизгладимое впечатление, означало бы польстить себе, но в то время она ко мне была, я бы сказал, равнодушна.

Да, три настроения. Около полудня, как когда мы с ней встретились, она была остроумна. Шутила, очаровывала, вела себя так, будто собеседник ее сногсшибателен, кроме того, она была девушка с деньгами (так оно мне казалось; замазанных трещин в мире ее отца я пока не видел), а внимание девушки с деньгами всегда приятно, я знаю достаточно про психологию и могу утверждать, что это непреложный закон. В тот день и час она сидела у камина вместе со своими собачками — все три свернулись клубком подле меня на каком-то длинном диване. Она говорит: «Выпьемте лимонада! И расскажите мне про Австралию. Там ведь все едят кенгуру, да?» И этак вскользь на меня смотрит. Никто не устоит перед таким приглашением. Ее наигранное невежество всерьез не воспримешь, зато очень серьезно воспринимаешь ее женственность, пусть ей и чуток за двадцать. Много ли она могла узнать про мир в двадцать лет? Да вообще ничего, могли подумать вы. Но в чем тогда секрет ее шарма? Это все богачи, да, богачи, пусть и недавно вылупившиеся. У богатых свои секреты. Само собой, я тут не оригинален, да, Мэйси?

Поглядывая на меня с хитрецей, она осведомилась, что привело меня в США. Я немного ей рассказал, потом спросил, упоминал ли ее возлюбленный имя австралийского солдата Пола Колдуэлла. Нет, такого имени она никогда не слышала. Тогда я рассказал кое-что про бедного несчастного Пола, который так любил Египет, и про то, как живут люди, у которых, в отличие от нее и Трилипуша, с рождения не было ничего.

— Ах, мистер Феррелл, мне ужасно, ужасно стыдно! — сказала она, делая вид, будто пристыжена. — Но папочка, он приехал сюда почти с пустыми руками, так что все было не так, как вы говорите. Мы на самом деле очень простые люди. — Она улыбнулась — совсем не простой улыбкой; этой улыбке мне вовек не забыть. В вашей тете было нечто особенное — факт.

Я спросил ее, как они с Трилипушем встретились, как решили помолвиться — и не будет ли она возражать, коли я кое-что запишу?

— Это было бы здорово! Нет, правда, лучше бы все записывали, что я говорю! Ну так... вы знакомы с Ральфом? Он такой... просто как бог. Мальчики, с которыми я встречаюсь в Бостоне, сделаны из другого теста, честно-честно. На меня заглядываются работники папочкиной компании, несколько шишек из его магазина... и джаз-музыканты из разных клубов, куда я езжу, когда мне папочка с Инге разрешают... и папочкины компаньоны, Дж. П. О'Тул и всякие там... но Ральф — он словно как целый другой мир, такой, знаете, из книжек для маленьких девочек. Мои подружки все говорят, что я, наверно, хожу и жмурюсь. Он, знаете, исследователь, из семьи исследователей, практически английский дворянин, только не из богатых, и говорит с таким акцентом... у вас тоже милый акцент, Гарри, но другой. Он один-одинешенек, его родители умерли, а он был единственным ребенком в семье. А еще у него были замечательные друзья в университете в Англии, одного из них, его лучшего друга, убили на войне, и когда Ральф узнал, ему было так плохо, что он решил бросить все, даже загородный дом, на который уходит больше денег, чем у него есть, но туда все равно можно вернуться в любой момент, если захочется, мы

даже, может, проживем там немного, когда поженимся. А после войны он приехал сюда, чтобы закончить свою книгу, которая пользовалась таким успехом, хотя это, знаете, *историческая* книга, а потом он начал преподавать в Гарварде, это у нас тут колледж, лучший в Америке, так что теперь Ральф живет в Америке, и пишет, и преподает, а после этой экспедиции у него денег будет *завались*, поверьте мне, когда бы вы знали про Египет столько же, сколько знает Ральф, вы бы точно знали, где копать, там в пустыне зарыты *горшки* с золотом...

В этой маленькой речи, Мэйси, изумительно было вот что: она, я не сомневался, верила во все, о чем толковала, но говорила таким тоном и с такой еле заметной усмешкой, будто, покамест я рядом, все это *ну ничегошеньки* для нее не значит. Не то чтобы я был какой особенный — нет, таков уж был ее (послеполуденный) шарм: она давала тебе понять, что ее жених важен для нее никак не больше тебя, кем бы ты ни был, и все потому, что ты сидел с ней рядом. Может, конечно, дело было *именно* во мне, в тот момент мне, само собой, хотелось так думать. Ваша тетушка умела обаять, да.

Я повторил вопрос: как она встретилась с этим героем нашего времени? По ее версии, они условились о помолвке до того, как возник вопрос об отцовских деньгах, и до собрания инвесторов, но она знала, что отцу Трилипуш понравится, отец вообще поддержал помолвку, хотя у нее самой вначале были кой-какие сомнения... У нее были сомнения?

— Понимаете, я думала, что он как с другой планеты, и простой бостонской девушке...

Тут я подумал, что, при всей ее ложной скромности, говорит она почти правду. Я подозревал, что по некой *уважительной* причине ваша тетушка в чем-то сомневалась, чувствовала что-то, но выразить не могла. Не хочу себе льстить, говоря, что с моим появлением у нее появилась возможность сравнивать, но ясно же, что, когда она поговорила с парнем, совершенно не похожим на Трилипуша, ей стало немного понятнее, как обращаются с ней и вообще с женщинами порядочные мужчины. Она добавила:

— А еще я помогла папочке, привела Ральфа в клуб. Ну, показала им Ральфа до того, как ему дал деньги большой музей.

А кто был этот несчастный друг, погибший на войне?

— А, этот... тоже археолог... его лучший друг по Оксфорду. Вы, Гарри, только послушайте, как звучит: капитан Хьюго Сент-Джон Марлоу! Во время войны они часто брали увольнительные и уезжали на раскопки. Однажды они с Марлоу нашли штуку с очень загадочным названием, «отрывок цэ», и им стало ясно, где примерно искать гробницу, просто *набитую* золотом и всяческими ценностями. Они собрались поехать откапывать эту гробницу вместе, как только выпадет шанс, но тут Ральфа послали воевать в Турцию — *ужасно*, правда? — а Марлоу остался в Египте и стал ждать, потому что они ведь были оксфордские *закадычные* дружки, «братья по крови», но в Турции Ральф отбился от своих, и в Египет сообщили, что он *погиб*, а Ральф вынужден был добираться до дома практически *в одиночку*, и когда он наконец добрался в Египет, выяснилось, что за несколько дней до того несчастный *Марлоу* пропал без вести, а отрывок «цэ» остался у него в палатке, Ральф его забрал и сохранил, он же не знал, жив Марлоу или мертв, а когда ему пришлось поверить, что Марлоу не вернется, Ральф решил оставить тяготы войны, привез отрывок



«цэ» с собой в Бостон и из-за него приобрел академическую репутацию и получил место в Гарварде, и... ах, вы меня больше слушайте. Представляете, какой эффект производят такие истории на доверчивую бостонскую девушку, Гарри?

Я-то, само собой, представлял, только вот Маргарет не была доверчивой девушкой, и вообразить эффект, который эти истории производили на нее, мне было трудно. Понимала ли она, что повторяет сущую нелепицу? Ей не приходило в голову, что история эта нашпигована ложью и нестыковками — и что в потайных карманах таятся два трупа? Люди, вовремя исчезнувшие в Турции и в Египте? Один верный друг в ожидании другого, чтобы вместе раскопать и поделить горшки с золотом? Карта с кладом, ждущая, чтобы ее забрали из палатки пропавшего без вести? Неужто она думала, что я ей поверю? И все же Мэйси, хочу подчеркнуть: я и слова не сказал о своих подозрениях. К своим клиентам и к невинным душам я относился с уважением. Судите меня, но учтите: я мог сдать Трилипуша вашей тетушке тысячу раз — и не сдал.

Тем не менее напишу про то, что думал тогда — думал, прошу заметить, рассудительно: коли Марлоу и Трилипуш на самом деле нашли засунутое в дыру богатство, разве не ясно, что подделавший свои дипломы обедневший дворянчик Трилипуш кокнул из-за этого богатства Марлоу и дал деру в Америку, чтоб переждать, пока все не устаканится? Навешал лапши на уши местным простофилям, раскошелил их — и поехал обратно, выкапывать свое сокровище. По состоянию на 1922 год он и не собирается возвращаться в Бостон из второй экспедиции. А девочку использовали, вскружили ей голову английскими манерами, вытянули деньги из ее семейства — и теперь она Трилипушу не нужна. Да и что бы ему от нее *могло* понадобиться, кроме денег? Он же определенно извращенец навроде Марлоу и Квинта, я это знал еще до того, как его увидел. Меня озарило: верно, еще до Египта он был с Марлоу, этаким любовник из высшего общества; в оксфордские времена Трилипуш, видимо, стал тайной игрушкой капитана, никаким студентом не был, просто жил с Марлоу, тайно его ублажал и получал за это деньги. Что объясняет наличие свидетелей и отсутствие документальных записей. Затем Трилипуш, чтобы не лишиться заработка, отправился вместе с Марлоу на войну в Египет, где эти двое на английский манер шатались себе празднично под пальмами. Потом его послали в Турцию, но уже без богача-защитничка; какая жалость! Вот он возвращается (а то и драпает) с турецкого фронта — и видит кошмарную картину: в его отсутствие бедный, молодой и увлекающийся Египтом землекоп Пол Колдуэлл (*кроме прочего — австрал*, думает потерпевший крах высокомерный английский педик) превратился в невинный объект амурных влечений капитана Марлоу. Более того: может, Трилипуш вовсе не находил в компании с Марлоу никакой карты; может, это Марлоу с *Колдуэллом* нашли ее, пока Трилипуш был в Турции? Вернувшись из Галлиполи, Трилипуш ловит парочку с поличным. Приревновав свою Джульетту и возжелав найденные в пустыне сокровища, Трилипуш приканчивает обоих. Избавившись от тел, он едет в США. Само собой, чтобы все это доказать, мне следовало проделать некоторую работу, и я все еще не мог взять в толк, отчего засекречено его военное досье. Тем не менее, Мэйси, уже на ранней стадии я понял главное — и объяснил вам, когда мы встретились вечером в отеле «Паркер-Хаус» после моего возвращения от нового клиента.

Жертвой в этой трагедии — и это мне стало кристально ясно еще до того,

как я допил первый стакан лимонада, — была ваша очаровательная, завораживающая тетя. Домогаясь денег ее семьи, убийца-извращенец задурил милой невинной девушке голову. Перед господом богом клянусь, я хотел ей помочь, потому что отчетливо видел, что этот содомист ее одурачил — и она не догадывается, что уже им отвергнута. Скажи я ей об этом, она бы меня возненавидела. Позволь я всему идти своим чередом, она стала бы посмешищем для всего Бостона. Я пил первый стакан и понимал, что руки у меня связаны и что любой мой выбор до добра не доведет.

За последующие недели я понял, что второе настроение вашей тетушки Маргарет проявлялось исключительно рано вечером. Прошло несколько дней, я возвращался в отель после разговора с гарвардскими профессорами и Трилипушевыми студентами. Завидев в вестибюле Маргарет, я удивился и обрадовался. С тех пор как мы виделись, она не шла у меня из головы. Около семи вечера, Маргарет одна.

— Отложи свою записную книжку, Гарри, сегодня вечером мы поедем *развлекаться*.

Она была неотразима. Она все еще вела себя так, будто вы для нее — единственный и неповторимый, но без жеманства хозяйки богатого дома. Нет, она искренне и безудержно веселилась, ее глаза сияли, жадно вглядываясь в будущее — что еще оно преподнесет? Она шутила, она вас высмеивала, и вам это нравилось, уж поверьте. Она взяла меня под руку, и мы прогулялись по районам Бостона, куда мне до того забредать не приходилось.

— Ты не волнуйся, Гарри, я тут каждую щель знаю, с нами ничего не случится!

Она вела меня закоулками, и я пожалел, что у меня нет с собой оружия. Маргарет просто светила под тусклыми фонарями, улыбалась шнырявшим тут и там невнятным типам и явно гордилась, что шокирует своего друга-иностранца, а я всю дорогу старался улыбаться как можно шире.

— Знаешь, я *никогда* не приводила сюда Ральфи — и никогда не приведу. Он тут будет чужим. Не то что ты, Гарри. — Такое сравнение мне понравилось. — Пусть все это останется нашей маленькой тайной, а, Гарри? — Мне того и хотелось — я не желал, чтобы она говорила про меня Трилипушу.

Мы остановились у какой-то стенки на темной улице, и Маргарет нажала кнопку звонка. Я не понимал даже, где это мы. Поднялась маленькая заслонка на уровне переносицы, на нас уставилась пара черных глаз, заслонка опустилась, стена отворилась, пропуская нас на шумную вечеринку: бар, бильярдные столы, танцы под джаз, мужчины и женщины удобно устроились на кушетках, на подушках на полу, друг у друга на коленях.

— Добро пожаловать к Дж. П., Гарри, — сказала Маргарет, затаскивая меня внутрь.

С вашей тетушкой не соскучишься. В тот вечер она была само очарование, и я не мог отделаться от мысли, что она такая, потому что рядом я, она во мне нашла что-то особенное. Мне казалось, я наблюдаю, как распускается цветок чувства. Кто за это бросит в меня камень? Теперь, само собой, я скажу, что она была немного кокетлива. Да, вашей тете нравилось играть с огнем, и она не понимала, когда нужно поворачивать назад, слишком уж заигрывалась. Такие девушки вечно удивляются, когда оказывается, что люди — не куклы, когда люди не останавливаются по приказу или внезапному капризу.

Она принесла два коктейля, мы сели на красную вельветовую кушетку. Сейчас уже трудно сказать, действовал я в интересах дела или своих собственных, но я снова спросил ее про Трилипуша, сам не понимая, что хочу узнать.

— Ах, он — мечта, — пробормотала она, с отсутствующим видом глядя в потолок. — Английский дворянин, исследователь. Такой человек... — Нет, она уставилась не на потолок, а на темную галерею по периметру комнаты, а потом снова посмотрела на меня. — Что я сказала, Гарри?

Она потащила меня танцевать под негритянский джаз-оркестр. Мы пили. Точнее, я выпил рюмку или две, она — несколько больше. Хлопнула меня по руке и позволила зажечь ей сигарету.

— Ральф никогда бы сюда не пришел, — сказала она. — Знаешь, он такой книжный червь... А ты, Гарри, так танцуешь!

Не то чтобы это правда, но я не стал спорить. Боюсь, Мэйси, тут мои записи не слишком точны. В Бостоне я часто забывал пометить, что именно и когда было сказано. Я сижу сейчас, плююсь на зеленую кирпичную стену комнаты для игр, в голове — сплошь обрывки, все перепуталось: что было, чего не было, что бы случилось, будь на то моя воля. Но будьте уверены, я постараюсь все разложить по полочкам.

Мы с ней сидим на кушетке у Дж. П., в этом ее частном клубе, и она гладит меня по щеке. Это уже другой вечер. Ее клонит в сон, а я сижу и виновато на нее смотрю. Согласитесь, учитывая обстоятельства, это несколько неожиданно. Однако близко к сердцу поглаживание по щеке я не принимаю. Вот она покидает меня и поднимается по ступенькам на эту галерею, и огромный негр, охраняющий лестницу, спокойно ее пропускает, ухмыляется, а она на ходу щиплет его за щеку. Я вижу, как она без стука открывает дверь в дальнем углу и входит в комнату, а комната эта, сообщает негр, — кабинет Дж. П. О'Тула, владельца заведения. Я возвращаюсь на кушетку. Идут минуты. Она возвращается — не в себе, смеется слишком уж громко. Я смотрю ей в глаза и сразу понимаю, что с ней творится. Она просидела рядом со мной несколько часов, все время улыбалась, то и дело гладила мою щеку и ни словечка не сказала. Да, Мэйси, вы слышите старческий скулеж: мое сердце с каждым ударом разбивалось и вылечивалось вновь.

Другая ночь, та же красная кушетка, Маргарет, наоборот, нервничает, как-то нездорово распаляется, объясняет мне, что выходит замуж за Трилипуша только потому, что этого очень хочет ее отец, а ей наплевать на них всех, она хочет, чтобы ее «оставили в покое и дали хоть изредка поразвлечься. Папочка талдычит: приоритеты, доброе имя, выгодная партия... Ральф бывает чудовищно скучным, знаешь, он только и твердит про Египет, пока не уснешь, истинная правда. Никто не может его дослушать до конца, он как заведет свою шарманку — и все болтает, болтает... И про Египет, и про все остальное. Он скучный, Гарри. Мужчины со временем все становятся скучными. Ты тоже станешь скучный, а, Гарри?»

— Так ты не хочешь замуж за Трилипуша? — спросил я, подивившись такому повороту событий: мое подозрение вдруг подтвердилось, и я уже готов был выложить ей все, что мне известно про ее женишка, рискнуть и взорвать свою бомбу.

— Да не знаю я, — сказала она, не успев рот открыть. — Я же не сказала, что не хочу, правда? Давай об этом больше не говорить, а? Как ты на это смот-

ришь? Только не будь таким скучным, Гарри. Не огорчай меня, ладно? Ну пожалуйста, ты же можешь не быть невыносимо скучным, тебе же нетрудно, да? Разве трудно? На том и порешим, Гарри, о'кей? О'кей? О'кей?..

Раз начав говорить, она не останавливалась, болтала без умолку, что на уме, то и на языке, повторяла все по десять раз, пока не возникала новая тема или нужно было сделать что-нибудь, еще как-то потратить энергию, а когда выдыхалась, всегда тащила меня танцевать. Может, она все это говорила неделей или двумя позже. Не знаю, что и сказать вам, Мэйси. Думаю, я в нее влюбился, по крайней мере воспоминания у меня такие. А она? Сейчас-то я знаю, что она была бедной больной девочкой, которой слишком многое позволялось. Не то чтобы я для нее был кем-то особенным; кем-то был, а особенным — нет. Да и кем я мог для нее быть? Человек другого мира, другого класса, небогатый, не пижон, никакой. Вряд ли трагедия, да?

Но *тогда* — тогда мне все виделось в другом свете. Может даже — совсем в другом. Может, слова «большое видится на расстоянии» ничего не значат, потому что мы забываем куда больше. Может, наоборот, всему имелось свое объяснение, все было *логично*, и в моих действиях была логика *чувства*, с которой нужно считаться, даже коли я не могу воспроизвести ее на бумаге целую вечность спустя. В конце концов, я переписываю свои заметки и воспоминания, и кто знает, не выскользнуло ли из них чего? Может, я не был таким дураком, каким себя тутставляю. Может, я просто не в состоянии *вспомнить* то, что тогда *знал*. Были веские причины влюбиться в вашу тетю. Были незначительные поводы, которые она мне давала. Лучше просто принять на веру: она желала, чтобы я в нее влюбился, думала про нас с ней, хотела оставить Трилипуша ради меня — но дни шли, а я все никак не мог одолеть пропасть между нами.

Сейчас мне кажется, будто я смотрю кино. Помню, был прохладный денек, я все еще в Бостоне, откладывал путешествие до Александрии, но мысль о том, что совершается ужасное преступление и я один могу что-то сделать, сверлила мне мозги. Речь не о старых преступлениях, которые я пытался раскрыть. Нет, кое-что происходило в те самые дни и под самым моим носом: девушку принуждали выйти замуж ради отцовского положения в обществе и тем самым убивали ее душу. Отца и дочь ввел в заблуждение английский извращенец. Я сходил с ума, пытаюсь уяснить, что мне известно, что я подозреваю, что я должен рассказать и о чем должен молчать, как защитить ее, как завоевать ее — или сделать и то и другое сразу.

На улице — холодрыга, я хочу ее повидать, иду к ней домой. Дома — Финнеран, он мне открывает и думает, само собой, что я пришел к нему (он-то не в курсе, что я за ней увиваюсь). Я не знаю, как ему все объяснить, и мы идем в его кабинет, говорим про Трилипуша. Я рассказываю ему больше, чем хотел, — обстоятельства изменились, до того, как я открыл рот, Финнеран уже был настроен подозрительно.

Два дня назад, говорит Финнеран, он получил от Трилипуша весточку: тот застрял в Каире, путешествие к гробнице отложено, в последний момент помешали бюрократические проволочки. Трилипуш желает, чтобы компаньоны перевели деньги в Каир, а не в город поблизости от места раскопок. Лады, думает Финнеран, что в лоб, что по лбу, готов подчиниться. Но тут, в тот самый прохладный денек, к Финнерану заявляется гарвардский профессор Тербру-

ган, и не просто так, а (голландцы мстительны!) сообщить, мол, только что телеграфом получено подтверждение из Оксфорда — никакой Трилипуш там не учился, и коли Финнеран хочет знать его, Тербругана, мнение, то вот оно: экспедиция обречена, Трилипуш найдет обещанное своим покровителям «с нулевой вероятностью».

— Он так и сказал, Гарри. Об-ре-че-на. — Финнеран делает хорошую мину, но сигара у него во рту перекачивается туда-сюда слишком уж быстро. Он спрашивает, знаю ли я о «слухах про Оксфорд». Тербруган не сказал, что это я помог ему найти эту информацию (а я сразу напомнил себе, что могу теперь выставить ему счет за оказанные услуги). Правды я не стыдился.

— Да, у меня было такое подозрение, — говорю я Финнерану.

— Господи Иисусе, танцующий на кресте! — вопит он, и сигара падает на стол. — А какие еще у вас есть подозрения? Для чего я вас нанял? Чтобы выслушивать всякое от профессоров?..

Понятно, отчего Финнеран разволновался: на кону стояли его деньги, его дочь, деньги его друзей, не исключено, что он публично пособил мошеннику. Хорошо, что плохие новости принес кто-то другой, для меня ставки были слишком высоки. Еще стало ясно, что обдумывание и редактирование моего «окончательного» рапорта по Трилипушевой биографии (тот давно закончен и лежит в моем гостиничном номере с первой ночи в Бостоне) займет еще несколько дней. Моя ситуация только усложнилась.

— Посмотрим, Финнеран, — сказал я. — Не будем делать поспешных выводов. Бумаги могут врать.

— А если не врут? А как же чувства бедняжки Маргарет? — стонет он жалостно после секундной паузы, справившись с паникой. — Она его любит, Феррелл, вы же знаете. Оксфорд Оксфордом, но не становится же мне между ними! — Другими словами, я мог по-прежнему качать из него денежки.

— Где сейчас ваша дочь? — спрашиваю я. Клянусь вам, Мэйси, этот большой человек смотрит на меня так, будто вот-вот распустит нюни, прямо как девчонка. Отводит взгляд, встает, поворачивается ко мне спиной, теребит занавеску.

— Вы хотите мне что-то сказать? Я, между прочим, специализируюсь на конфиденциальных расследованиях...

Тут ваш двоюродный дедушка изливает мне душу — как обычно в таких случаях и происходит. Объясняет, что очень-очень сильно хочет помочь своей «девочке», но она выпивает, и у нее проблемы с — у него губы дергаются, наконец он решается произнести слово — с опиумом, дважды ему казалось, что она вылечилась, но... В последний заход он отправил ее в санаторий, заплатил кучу денег и нанял одну из тамошних сиделок (полная шведка, она мне подалась), чтобы та следила за дочкой дома и давала ей медикаменты, от которых той должно было расхотеться «ловить дракона». Но Маргарет опять начала тайком покуривать, говорит Финнеран, падая обратно в кресло. Инге, сиделка, вроде как следит за ней днем и ночью, не выпускает из дому одну — а Маргарет ускользает от своей стражницы и явно опять больна. И коли Трилипуш узнает правду, помолвка, вероятно, расстроится. При мысли об этом у Финнерана земля уходит из-под ног, на секунду он забывает, что благословенный им жених все наврал про свои университеты, а то и про все остальное.

Сцена, Мэйси, ни в какие ворота. Богатый и крепкий бизнесмен готов разревеваться оттого, что не преуспел в попытках взять под стражу дочь, которая, как мне было яснее ясного, страдала всего только от девичьего задора да непотребной помолвки с убийцей-содомистом, которого семейство отчаянно пыталось *впечатлить*. Они рассказывали ему сказки про то, что Маргарет-де больна редкой, но излечимой болезнью, вызывающей расстройства сна, перепады настроения и все такое (будто бы Трилипушу было не все равно — она интересовала его постольку, поскольку его интересовал банковский счет ее отца). Полнейшее, отвратительнейшее умопомрачение! Мое мнение Финнеран слушать не хотел, а оно было бы простым: спасите свою дочь — оставьте ее в покое. Карабкаясь на скалу бостонского общества, вы ее пришибете ледорубом. А любого английского идиота, который посмеет отвергнуть ее из-за какого-то легкомысленного приключения, следует пристрелить на месте. Я, правда, не мог пока раскрыть свои карты и просто сказал, что послежу за Маргарет, коли Финнеран того хочет, узнаю, правда ли она попала в беду. Он пожал мне руку:

— Вы мне очень поможете, Феррелл. Спасибо, спасибо... Я не знал, к кому обратиться... — сказал он, будто сам до этого додумался. — Я своей девочке, вы же понимаете, только добра...

Ага, конечно. Люди, дорогой мой Мэйси, лучше всех умеют притвориться, что радуют за ближнего, когда на самом деле радуют за себя.

— Положитесь на меня, Честер. Я за ней присмотрю.

— Твой отец о тебе беспокоится, — сказал я ей тем вечером. Мы сидели на кушетке у Дж. П., наверх она еще не ходила. Я подумал, может, мы вместе посмеемся над тем, как все вышло, найдем в случившемся свои плюсы, может, перейдем потом к спокойному обсуждению Трилипушевых слабостей, а потом, может быть...

— Гарри! — сказала она. — Мы развлекаемся или что? Здорово, когда есть парень, который всюду тебя провожает, если кавалер в отлучке, правда же? Так что, Гарри, прошу тебя, не будь ты таким мерзостно скучным. Мне что, на колени перед тобой встать? — Она поднялась и сделала шаг к лестнице. — Пока меня нет, может, поговоришь вон с теми красавицами? — предложила она, показывая на шлюх, который Дж. П. нанял, чтобы услаждать клиентов мужского пола. — Тебе, Гарри, девчонки вообще нравятся? Тебя не научили, как надо разговаривать с девушками в таких вот дырах? Главное, Гарри, не давай им скучать. Пусть даже девушке платят за то, чтоб она тебя выслушивала.

*Пятница, 20 октября 1922 года, гостиница «Сфинкс»*

*К Маргарет:* Любовь моя! Первое впечатление сегодняшнего утра: пока я сидел перед моим портретистом, мальчик принес каблогранму весьма странного содержания, посланную твоим отцом. Я перечел ее без преувеличения дюжину раз и, почувствовав, что тревога распространилась вниз, по кишкам, вынужден был услатить художника домой. Сообщение длиной в десять слов преодолело океан — и, я полагаю, безбрежные моря пуганицы:

**СРОЧНО УДОСТОВЕРЬ ОКСФОРД. ФЕРРЕЛЛ СОМНЕВАЕТСЯ ТВОЕЙ НАДЕЖНОСТИ. ЭТОГО ЗАВИСИТ МНОГОЕ.**

Десять слов, будто наобум извлеченных из цилиндра; это что, какая-то загадочная салонная игра бостонских богачей? Любовь моя, что твой отец имел в

виду? Его смутил Оксфорд, он ждет от меня удостоверения — чего? Существования Оксфорда? Его функций? Что такое «феррелл» и как вообще могло случиться, что оно ставит под сомнение мою надежность? Одно не вызывает сомнений: от этого зависит многое. 22-го, в воскресенье, я пойду в банк и узнаю, что мой расчетный счет потучнел, ибо его пополнил перевод из Бостона, осуществляемый по договоренности 22-го числа каждого месяца на протяжении всей экспедиции. И правда — от этого зависит многое. Не время для салонных игр!

Сегодня утром мне яснее, чем раньше, видится, что я положился на людей совсем не того калибра, на какой рассчитывал. Разумеется, речь не о твоём отце, дорогая моя, речь о его нервных партнерах, из-за которых он и сочинил эту нелепицу. Я принял от него деньги, с моей стороны то была любезность, ибо я люблю тебя, М. Нельзя не заметить, какое я произвожу на него впечатление: нашего Ч. К. Ф. равно будоражат английские аристократы и ирландские дегенераты. Я мог бы обрести финансовую поддержку в более респектабельных, привычных кругах. Ты это знала, вот почему ты попросила меня преподнести твоему отцу подарок. Питаю искреннюю надежду, что об услуге, оказанной нами ему — и мной тебе, — мне пожалеть не придется.

Хватит об этом. Я тревожусь сейчас лишь потому, что мои ресурсы истощаются, жду, что в течение сорока восьми часов от твоего отца поступит помощь, а он вместо этого шлет мне ребусы. Этой записи ты не увидишь. Все обрзуется.

Но наступит день, я обниму тебя в нашем доме и напомним тебе о мгновении, когда мне стало ясно, что я на тебе женюсь: месяц май, три или четыре недели спустя после нашего разговора в Историческом обществе. Ты пребываешь в добрейшем здравии и очаровательна до невозможности. Мы прогуливаемся вдоль реки Чарлз, в десяти ярдах позади нас неслышно бредет гигантская Инге — то справа, то слева, будто спасательная шлюпка на буксире. Небо волнуется, облака нервически перекручивают свои изломанные пальцы, боюсь оросить твою красу дождем. Ты плывешь вперед, прочь от меня, пока я склоняюсь, дабы завязать шнурок (и Инге замирает на том же приличном расстоянии от меня, делая вид, будто старательно нюхает синие цветочки). Одиноким луч солнца, выпроставшись, одним взмахом кисти расцветчивает полоску реки и твое белое платье; маясь со шнурком ботинка, я гляжу на тебя — ты склонилась, чтобы потрепать по голове рыже-белого песика с улыбочивой мордочкой, отмеченной чудными складками. Он только что пронесся через стан пикникующих, подхватил, не сбавляя шага, сосиску, увернулся от неприятеля, оставив в кильватере хаос, — но, завидев *Маргарет*, пес замирает, кладет трофей к ее ногам и позволяет ей почесать его под подбородком, запрокинув голову, вытянув шею, дабы насладиться ласками сполна. И в этот момент, моя любовь, я решаю сделать тебя своею супругой в этом мире — и в том тоже (ибо тебя я упомяну в каждом своем труде, и ты тоже обретешь бессмертие). В этот момент я вообразил тебя изваянной в камне величайшим скульптором Тутмесом, изогнувшейся над берегами Нила, твоя длиннопалая длань покоится на голове глуповатого пса-эмиссара Анубиса. «Мне нужно спросить у тебя кое-что прямо сейчас!» — закричал я, вставая. «Что ты сказал?» — закричала ты, и порывом ветра твой голос донесло до меня. «Мне нужно спросить у тебя кое-что прямо сейчас!..» И я побежал к тебе. Возбуждение мое передалось собаке, она

завертелась вокруг тебя, завывла чудеснейшую из песен, даже бросила сосиску на траву — будто похитила ее не от голода, но из чистого озорства. «Ты должна стать моей царицей, должна, должна!..»

«Ты меня спасешь?» — спросила ты, когда я заключил тебя в объятия.

«Конечно, конечно, я рядом с тобой, чтобы тебя спасти...»

Через несколько дней ты заговорила об отцовском «клубе инвесторов», развеяла мои сомнения и контраргументы, а еще через несколько недель я попросил у него твоей руки. А сегодня мое чрево точно сдавил питон, и я, десятый раз меняя иглу на ватерклозетном патефоне, тщетно пытаюсь постичь смысл каблокриптограммы; говоря коротко, я теряю и время, и нервы. Боюсь, что моя агония есть оброк за твою красоту и любовь, ведь, не будь тебя, моя беспокойная царица, — все было бы по-другому. Однако же я верю, что ты уже образумила своего отца.

*Дневник:* С огромным трудом нашел открытый телеграф и дал в Бостон каблограмму, подтверждающую некоторые детали относительно первого запланированного денежного перевода от компаньонов. Первичные ресурсы истощились, между тем мы едва приступили к делу.

Банк закрыт. На стук никто не отвечает. Послал за портретистом. По пятницам в магометанском городе делать больше нечего.

**КАБЛОГРАММА.**

КАИР — Ч. К. ФИННЕРАНУ

БОСТОН, 20 ОКТ 1922, 15.18

ОКСФОРД УНИВЕРСИТЕТ НАХОДИТСЯ В АНГЛИИ. ИНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ МОЕЙ НАДЕЖНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. НЕ ЗНАЮ НИКАКОГО ФЕРРЕЛЛА. 22Е НА НОСУ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ МНОГОЕ. КЗ: В ЦАРСТВЕ СВОЕМ АТУМ-ХАДУ БОЛЕЕ ПРОЧИХ ЦЕНИТ / ВЛАДЫКУ ЩЕДРОСТИ, БОГОПОДОБНОГО С ГОЛОВЫ И ДО САМЫХ ПЯТ. / ЧТОБ У ВЛАДЫКИ НИ ЗАРЖАВЕЛО — ВСЕ ЭТО ЗЛАТОМ ЕМУ ЗАМЕНИТ, / В РЕКАХ ВИНА ВЛАДЫКА МОЖЕТ КУПАТЬСЯ ХОТЬ ДНИ И НОЧИ ПОДРЯД. КИЛВДЕ, ЛРК, 1920. РМТ.

*Суббота, 21 октября 1922 года*

*Дневник:* Время поджимает, а ответа из Департамента древностей все нет, потому сегодня я нанес им визит. Ибо в ночном тревожном полусне я вдруг ясно осознал: меня заморочили, принудив поклоняться какому-то листку бумаги! Археологи лучше прочих знают, что эти хрупкие божки высечены не в камне. Как обычно говорил Марлоу, когда речь заходила о просьбе дать увольнительную: зачем творить себе кумира из заранее данного разрешения? Если поговорить с генеральным директором на равных, возможно, преподнести ему подарок, откровенно обсудить условия концессии, а то и, выражая от лица «Руки Атума, Лтд.» готовность к сотрудничеству, предложить ему почетную долю в сокровищах, мы сможем наконец двигаться дальше.

Секретарю Г. Д. презентовал первое издание «Коварства и любви в Древнем Египте» с автографом. Секретарь был, разумеется, тронут, благодарен, бормотал что-то по-французски. Я попросил о немедленной аудиенции самого Г. Д., дабы поделиться с ним последними соображениями об усыпальнице Атум-хаду.

«Вы хотите сейчас сделать изменение вашего заявления?» — спрашивает



меня дубоголовый ДюБуа.

«Нет, голуба, я хочу сейчас кое-что к нему прибавить». Это соответствует истине: я по доброй воле желаю дать здешнему укладу еще один, последний шанс.

ДюБуа, очевидно, не в состоянии был и моргнуть без высочайшего разрешения, а потому, оставив меня стоять у конторки, удалился в кабинет Г. Д. О, контингент контор, как нуждаешься ты в показном величии! «Отправитель: Генеральный Директор Департамента древностей». «Отправитель: Главный Секретарь. Получатель: Генеральный Директор Департамента древностей». Восковые печати, заранее подписанные и оплаченные пустые бланки каблограмм. Мишура!

Я ожидал своей очереди в чрезмерно пухлом кожаном кресле, вынув бумаги из раздутого портфеля. Я только что заполнил дневник до сего момента. Я жду в надежде, что моя очевидная готовность подчиниться здешнему бесчестному укладу прочистит напрочь засорившуюся систему.

Настал вечер того же дня, я вернулся в гостиницу и пишу с гордостью и волнением: сегодня я встретился и сдружился с одним из моих идеалов, человеком, чьи профессионализм и самоотверженность ценимы мною паче остального — пусть ныне он и опустился до погони за ускользающими тенями Долины царей.

Я сидел в приемной, ожидая решения Г. Д. и закончив обновление дневника; пресмыкающегося лягушатника все не было. Тут я почувствовал внутри дрожащий студень, предвещавший атаку кишечного тракта средней тяжести, из-за чего удалился в департаментскую позолоченную мужскую уборную. И хотя, мой читатель, тебя может покоробить от подобной бесцеремонности, я все же должен пригласить тебя внутрь. Будь рядом, пока я мою руки и наблюдаю в зеркало, как мое мокрое изможденное лицо обретает природный цвет.

По доносившимся из соседней кабинки скорбным стонам, что гармонировали с моими собственными, я опознал проклятого пищеварением товарища, собрата по бурливым недрам. Омыв лицо, я оторвался от шайки с теплой водой, выбрал туземного мальчика с полотенцем, который сушил меня столь лениво, что замочил воротничок рубашки, — и рядом со своим моргающим отражением заметил в зеркале отражение усатого мужчины, усердно намыливавшего руки. Я сразу же узнал его: мой коллега по несварению был не кто иной, как всем известный Говард Картер, бывший главный инспектор Департамента древностей, первооткрыватель усыпальниц и сокровищ без числа, включая таковые Тутмоса IV и Ментухотепа I, ныне — обеспеченный солидным доходом бенефициарий аристократа-египтофила графа Карнарвона,[11] живописец, авторитет и великий гений раскопок, уже *шестой* год (пишу и не могу поверить) ищущий и не находящий гробницу ничтожного царька XVIII династии, доказательства существования которой убоги. Шесть лет транжирить милордовы деньги! Неудивительно, что против бедняги открыто восстал его желудок.

Я наблюдал в зеркале за его грациозными движениями, манерой держать себя, властной холодностью. На нем был светлый саржевый костюм. Рассудок Картера поврежден, но манеры поразительным образом выдают профессионала. Как и Марлоу, Картер — один из тех, для кого работа есть призвание судьбы, что заметно даже по тому, как он моет руки, как справляется со своим веч-

ным спутником, пошлым телом. Я представился.

«Трилипуш? — повторял он, — Трилипуш?.. — Картер мыл руки и смотрел мне прямо в глаза; в голове его, разложенная по полочкам и готовая к использованию, помещалась вся египтология. — „Порнограф“?..»

Он произнес это слово с сострадательно-насмешливой интонацией, словно закавычив, и тем дал понять, что принимает близко к сердцу боль, причиняемую мне идиотским эпитетом, коим наградили мою книгу недалекие люди. Мы оба знали, что обсуждение мыслей невежд не стоит и секунды нашего времени. В его ироническом вопросе таилось приветствие человека, который, как и я, не понаслышке знаком с завистью и тупостью этого вероломного мира.

«О да, именно так! А вы, если позволите, тоже невольник злокозненного Поносия Великого? Что, дружище, не сошлись со здешней кулинарией? Или вы ходите на алтарь уборной постоянно, даже диета не помогает? Египет — не место дислокации для страдающих расстройствами дефекации».

Пока мальчик вытирал мне руки, я с любопытством отметил, что Картер тянется за своим полотенцем сам. Будто знает, что приученный переносить тяготы раскопок исследователь не вправе позволить себе привыкать к нежной беззаботности города.

Мы сидели и курили в приемной Г. Д. (даже великий Картер вынужден был ждать своей очереди, чтобы удостоиться внимания кабинетных шейхов!). Он принял и поместил в свой портфель мой дар, книгу «Коварство и любовь в Древнем Египте», которую я подписал так: «Моему дорогому другу, равно страдающему от слабых умом и слабых кишок, великому археологу, величайшему из египтологов уходящего поколения. С нежными чувствами, 21 октября 1922 года, приемное помещение офиса генерального директора Департамента древностей, Каир. Ральф М. Трилипуш».

Невыразимая элегантность сквозила в сочетании знаменитого спокойствия Картера и — представьте себе! — некоторой измученности, с коей он готовился преследовать незначительную и к тому же ускользающую добычу, шестой год подряд взваливая на себя ношу концессии на очевидно выработанную Долину царей. Его реплики были пронизательно односложны, брови — многозначительны, дыхание перестраивалось, выражая малейшие оттенки значений; каждый выдохнутый им клуб сигаретного дыма становился в буквальном смысле иероглифами, английский перевод которых занял бы многие страницы. Его уверенность в себе (если учесть, что он перенес нападение с тыла, после которого люди не столь достойные, как мы с ним, плакали бы горькими слезами) говорила о многом.

Несколько минут мы беседовали об «исследовательском несварении», моем открытии отрывка «С», моих надеждах отыскать гробницу Атум-хаду и его надеждах на успех в Долине. Мы обсудили Оксфорд, мое кентское детство, мою военную карьеру и Атум-хаду. «Гардинер отозвался о вашем рифмованном переводе весьма изощренно», — подразнил меня Картер, качая головой в знак неодобрения бесчестного и неумного филолога, написавшего в своем отзыве, что «Коварство и любовь в Древнем Египте» «сбивает с толку простых читателей и заставляет хвататься за головы ученых».

«Забавно, не так ли? Кстати, хорошо, что напомним: я хочу спросить вас, Говард, что вы думаете о людях, которые по сей день питают сомнения в отношении Атум-хаду и...»

«О-о! Мистер Картер! Мы от самого чистого сердца приносим вам свои извинения за то, что вынудили вас ждать! — С этими словами из кабинета Г. Д. выкатывается, задыхаясь от восторгов и извинений, секретаришка. — Вы вернулись из своего особняка в Курне? Мы вас не ждали, но видеть вас — сумасшедшее счастье!» И все в таком подхалимском духе. Мы с Картером посмотрели друг на друга и закатили глаза.

«Что? Картер тоже здесь? Впустите немедленно!» — гремит голос из кабинета Г. Д., без обиняков доказывая: бюрократу холодные угольки былых побед всегда милее пылающего огня сегодняшних надежд. Поднявшись с кресла и шагая в кабинет Г. Д., Картер держался весьма впечатляюще. Будь я молод и податлив, непременно попытался бы подражать его не облеченной в слова, но ясно ощущаемой убежденности в том, что все важное на свете слишком сложно для понимания непосвященного, но единственное стремление есть четкое намерение, и непринужденная простота всегда принесет свои плоды. Да и плоды не важны (шестой год пошел!), и вести себя так, будто они когда-то были важны — значит возжелеть прогнившего и неестественного. Его манеры выдают скорее человека, который принял невозможность управлять удачей как должное, впрочем, выделить экстракт впечатления, кое производит Картер, я, кажется, не в состоянии. Мне доводилось слышать, что рядом с ним ощущаешь себя лилипутом, будто он знает куда больше тебя, но не кичится и не оправдывается, а желает лишь, чтобы ты в его присутствии, не чувствуя себя жалким либо ущербным, взалкал, как и он, не мелочей, но неименуемого величия ровно с тем же, что и у него, невозмутимым, однако элегантным спокойствием. И ни словом бы об этом не обмолвился.

Картер кивнул мне, тем самым подтверждая, что его принимают вперед меня несправедливо, — и распрощался. До того как Картер исчез в кабинете Г. Д., мы пригласили друг друга во время сезона раскопок отобедать в верховьях реки, в Фивах; он опять хвалил «Коварство и любовь».

ДюБуа сообщил мне, что Г. Д. будет занят до конца дня, и сказал, чтобы я «совершил ретур в другую погоду».

*Воскресенье, 22 октября 1922 года*

*Дневник. Планирование маршрута:* Посетил банк. Он открыт, но воскресенье, само собой, выходной у банков в Америке. Так или иначе, завтра, как только осуществится перевод, нужно первым делом найти и арендовать особняк на юге; идеально подошли бы окрестности Курны. Договорился на завтра пообедать с агентом. Готовлю график передвижения, начинаю упаковывать вещи. Не совсем понимаю, какие из патефонов отвезти в особняк на юге, какие — на место раскопок. С одной стороны, «Виктрола XVII» — превосходный салонный механизм, отлично звучащий в закрытом помещении. «Эдисон Аудиограм 3» весьма компактен, подходит для спальни, под него хорошо засыпать. Если транспортные средства на пути от особняка до гробницы Атум-хаду позволят, я бы взял с собой модель «Колумбия Фаворит». Хотя мощь и сила звучания «Виктролы» идеальны для того, чтобы воодушевить музыкой меня и моих людей. Популярны песни. Любимые армейские ритмы.

Впрочем, как напомнил мне вчера Картер, на раскопках великое наслаждение доставляют трудовые песни. Эти простые мелодии распевают простые люди, дабы чем-то занять ум в то время, пока они, равнодушные к самому поис-

ку, копаются в земле; а сладчайший из звуков — молчание, что устанавливается внезапно и волшебным образом нисходит повсюду и на всех, когда один из рабочих извлекает нечто из-под земли. Картер говорил об этом молчании с ностальгическим упоением в глазах.

*Понедельник, 23 октября 1922 года*

*Дневник:* Перво-наперво — банк, но в банке некоторая задержка. Банковский управляющий осведомляется, «уверен ли я, что все реквизиты финансовой сделки верны?» И вперяет в меня свой взгляд из-за нелепых очков. Я готов его ударить. Он из тех англичан, что на солнце тропиков не багровеют и не распухают, чьи одежды не ведают обильного пота; напротив, такие фрукты высушиваются, сморщиваются, обезвоживаются и цепляются за свои цифры и инструкции — одно это и спасает их от полного развоплощения.

Неважно. Проволочки современной финансовой системы — одно из неизбежных препятствий, расставленных на моем пути. Если бы достичь цели было легко, это мог бы сделать любой, тогда заслуга бессмертия обесценилась бы.

Обедал в каирском «Клубе исследователей». Должен признаться, я неистово жаждал увидеть компанию людей, которую однажды надеюсь пополнить. Во время войны в здании располагался офицерский клуб. Я знал о его преобразении и был терзаем смутными предчувствиями: вдруг я увижу грубо сработанный, потешный мемориал отцам-египтологам, своеобразный манок для американских туристов? Или хуже того — шикарно обставленный дом свиданий, где обнищавшим археологам предоставляется возможность уединиться со своими потенциальными покровителями, денежными мешками, будь то представители убогих по экспозиции, но зажиточных американских музеев или мающиеся от скуки сумасшедшие английские аристократы, в идеале — контуженные нарколептики, которые обмахиваются подписанными чеками, словно веерами?

Но нет; моему взору открылось нечто совершенно иное — может, и не слишком льстящее самолюбию французских и британских генеральных консулов, зато повергшее в изумление меня; передо мной словно развернули блистающую панораму моего собственного будущего. Пройдя через колоннаду и войдя в сооружение из песчаника, по первому взгляду неотличимое от банковской конторы, оказываешься в холле темного дерева и ступаешь по коврам цвета крови, сопровождаемый змеиным шипением газовых светильников, одетых в абажуры из хрусталя и лазурита. Дрейфующие фески освободили меня от бремени вещей — и я остался один, в полумраке расправляя манжеты с галстуком под пристальными взглядами галереи портретов тех, кто пришел до меня и оставил в песке свои огромные, неизгладимые следы. По правую руку от зеркала, в котором я изучал свое лицо, висел старый Генри Солт; в детстве я боготворил его мемуары. Следующим был тайный агент Солта, Бельцони, бывший цирковой силач, проникший в храм в Абу-Симбеле. Затем — полупомешанный, гипнотический взор Фуэре, о котором говорили, что он держал гарем с благословения французского правительства, ибо благодаря гарему достиг потрясающих результатов в распространенном занятии золотого века — разоблачении мумий с последующим изъятием золотых колец. Далее — масляный Шампольон в белом воротнике, жестоковыйный, чуть окосевший, словно расшифровка Розеттского камня расфокусировала его взгляд и

клубком змей переплела извилины. И дюжина других; почти все они удалились на покой или умерли, оповестив мир о том, что в египетских песках больше ничего уже не найти, они нашли то последнее, что там было. Правоту каждого опроверг пришедший вослед смельчак, в свой черед сказавший, что все уже найдено, а его правоту, в свой черед... и т. д.

Я застыл посреди галереи, мое отраженное лицо стало одним из изображений. Над моим плечом застыло отражение лица Картера. «Привет, Трилипуш», — сказала картина столь явственно, что, будь рядом со мной еще кто-то, я спросил бы его, слышал ли он эти слова. Дурной фантазм; но я моментально понял значение безумного морока, этой выходки воображения, слишком долго томившегося в силках города с его разлагающимися гостиницами и клубами: боги пантеона пригласили меня стать одним из них.

Приободренный, я удалился в гостиную — искать человека, с которым мы договорились отобедать, среди столиков, изнемогавших под тяжестью плесневелого консульского персонала. Не успел я сесть, как порочный метрдотель попытался отправить меня удостовериться членство в клубе, но тут, как раз вовремя, подоспел мой собеседник. Вскоре нас усадили, и мы принялись смотреть его фотографии особняков с видом на Нил.

Через несколько мгновений в ресторане объявился живой Картер. Он прошел близко от моего столика; одет Картер был, как и на портрете, в светлый габардиновый костюм. Он странно уставился на меня и покачал головой. «Трилипуш, вам уже лучше, да?..»

«Пока на плаву, дружище. Воздерживаюсь от наиболее *recherché* [12] новинок молокопроизводителей, а также любых подарков наших дорогих козочек, в остальном же ничто не заставит меня покинуть пески, благодарю вас». Картер бросил взгляд на фотографии, которые агент по недвижимости разложил по столу. «Мы будем близкими соседями», — сказал я моему коллеге; он явно обрадовался этой новости.

В конце концов, будучи уверенным в Ч. К. Ф. и наших компаньонах, я согласился арендовать просторный дом на дальней окраине Луксора на восточном берегу Нила вместо западного, но поблизости от парома и дороги на Дейр-эль-Бахри, и подписал договор об аренде сроком на пять недель с правом его ежемесячного продления. Да, купить особняк было бы логичнее, но ныне мы подбираемся к добыче и потому осторожны. Задаток я внес из собственных средств. Последующие арендные платежи подождут, пока не подоспеет перевод.

В банке и на почте — пусто.

Вернулся в гостиницу. Учитывая виденное в «Клубе исследователей», долгое позирование перед портретистом перед моим отбытием на юг в четверг — насущная необходимость.

*Вторник, 24 октября 1922 года*

В банке — никаких новостей. Почему М. не сделала все, чтобы я не оказался в таком положении? Ведь наиболее разумно предположить, что она в ответе за то, чему положила начало, окутав меня богатством, словно ворохом покрывал.

Дверь Департамента древностей все так же неприступна.

На почте — пусто: Дал каблограмму Ч. К. Ф., напомнив о неотложности де-

ла.

Не буду отрицать, я тогда запутался, даже страдал. Ваша тетушка безжалостно меня дразнила. Иногда (когда, как мне сейчас ясно, я был в своем уме) я решал, что лучше всего — уехать из Бостона как можно быстрее. Но едва я говорил ей, что взял билет на пароход, она надувала губы и отвечала: «Нет, ты же не можешь меня бросить? А с кем я буду развлекаться?» И я все переигрывал и оставался, а в следующий раз она, видя меня с букетом в дрожащей руке, глумливо спрашивала, мол, почему это я еще не в Египте. Когда я не мог ее найти — бродил по Бостону (так далеко от родного дома!), не понимая, что делать с заглохшим расследованием и что писать в отчете для Финнерана, и шел, и покупал еще один билет из Нью-Йорка до Александрии, который, само собой, потом пропал. Я убеждал себя, что мои многочисленные клиенты и странные повороты дела требуют моего присутствия в Бостоне. И, может, Трилипуш ей не нравится, она же так и сказала — ну, почти. И вам тоже смешно, Мэйси? Ну же, валяйте, смейтесь.

Я навещал Финнерана, говорил ему, что слежу за Маргарет (о наших вечерах у Дж. П. я, конечно, и не заикался и потому денег за то, что опекал Маргарет, с него никогда не брал, это было бы нечестно). Я делал все, чтобы Финнеран увидел вещи в правильном свете без моих объяснений, но он ничего не желал видеть и решать. На деле-то я приходил в надежде увидеть ее. Иногда мне это удавалось, и тогда прекрасная хозяйка предлагала мне в гостинной лимонад, гладила своих собак, мы сидели тихо и мирно, она надо мной подшучивала, потому что я не знал, чего бы такого сказать, чтобы не выдать какую-нибудь тайну: ее — ее отцу, Трилипушеву — ей, ее отца — ей, и, конечно, мою, которую хранить было всего болезненней. Она смотрела на мои пополуденные страдания и говорила: «Гарри, ты стал такой тихий-тихий. Повеселее, а? Помнишь, ты обещал не давать мне скучать? *Терпеть* не могу мужчин, которые не держат слово!» А вечером она неизменно появлялась в моем отеле (знала, где меня искать, я ведь ждал и надеялся) и вела к Дж. П.

Потом однажды днем Финнеран позвонил мне в отель и попросил у меня «совета — вы же у нас разбираетесь в запутанных делах». Он только что получил телеграмму от Трилипуша: храбрый исследователь переезжал из Каира на юг, в пустыню, на место раскопок, и просил немедленно перевести на банковский счет инвесторские деньги. Кажется, Финнеран, когда узнал об Оксфорде, решил повременить с обещанной суммой, но потом шок от оксфордских известий сошел на нет. Было понятно, что Финнеран сменил гнев на милость. Он определенно желал услышать от меня, что Трилипушу, несмотря ни на что, можно доверять. Мой совет ему был не нужен ни на столечко. Нет, было ясно как день, что ему нужно мое вранье, да еще чтоб я его утешал. «Маргарет на самом деле любит этого парня, — сказал он так, точно из этих слов, будь они правдой, следовало что-то важное — кроме того, что Маргарет нужно лечить получше. — И инвесторы на него рассчитывают. И на меня тоже». То он жует свою сигару, весь из себя акулий хрящ в крокодиловом пальто, настоящий бизнесмен-заправила, отдает приказы направо и налево. То вдруг жалобно спрашивает *меня* (а я ему не друг и вообще лицо заинтересованное), что же ему делать. То сердится, то вдруг смутится, спорит сам с собой.

— В этом инвестиционном проекте многое поставлено на карту, — бурчит

он. — Деньги не должны попасть не в те руки. Но если хочешь навариться, коней на переправе менять негоже. Взятся за гуж — не связывай по рукам и ногам человека, который просит несколько жалких долларов...

Тут меня поразила мысль: да ведь все Финнераново семейство у Трилипуша в кармане. Может, и сокровища-то никакого нет!

Из-за безумия этого семейства (не хочу вас обидеть, Мэйси) я чувствовал себя глупой приживалкой. Я-то думал про его дочь в гостиную, про то, что Трилипуш не вернется, про то, как она осрамится, когда бостонское общество узнает, что Маргарет была помолвлена с отпетым мошенником и убийцей — и он ее бросил. Чем дольше Финнеран платил Трилипушу, тем дальше отодвигался час расплаты, но в конце концов Трилипуш просто исчезнет без следа, заграбастав достаточно Финнерановых деньжат, чтобы жить себе припеваючи в Кенте, новые деньги и древняя фамилия сойдутся — водой не разольешь. И когда этот час настанет — кому после всего этого Маргарет будет нужна? Мне, я знал это отчетливо. Мне.

С Финнераном я был мягок. Сказал, что, я думаю, Трилипуш «*может* не быть надежным в смысле вложений. Обстоятельства определенно запутанные». Это он воспринял спокойно. Я по шажочку двинулся вперед: раз Финнерана так заботят здоровье и счастье Маргарет, не думает ли он, что, может, кто-то другой позаботится о ней лучше этого англичанина? Слишком уж рискованно, учитывая сведения из Оксфорда, иметь дело с человеком столь сомнительных качеств. Я сказал, что мой отчет по биографии еще не готов, но, может, Финнерану лучше было бы найти для дочери человека порядочного и проверенного, и не обязательно нищего английского джентльмена. Финнеран посмотрел на меня внимательно, успокаиваясь. Кажется, подумал я, он понял. Кивнув, он поблагодарил меня и сказал, что подумает над моими словами. А она — она подумает?

Меня чуток беспокоило ее пристрастие к опиуму. Я не был настолько ею ослеплен, Мэйси, пишу, как и обещал, не оправдываясь и не привирая. Полагаю, что к свадьбе с вашим дядюшкой Маргарет уже избавилась от слабостей, которым по молодости потакала. Но в октябре и ноябре 22-го года — ух как она им потакала! Опиум она добывала у Дж. П. О'Тула наверху. Сам Дж. П. носу наружу не казал, как и что там происходило — я не знаю. А когда она спускалась обратно и садилась рядом на кушетку, я по широко открытым глазам и суженым зрачкам знал: она уже далеко.

— Гарри, дорогой, ты случаем не педик? Почему ты не хочешь пойти со мной? Пойдем, милый!.. — Я никогда не ходил. — Для тебя проходит одна ночь, для меня — миллион лет, — сказала она мне один раз, когда ее уносило. Думаю, эту фразу она вычитала в книжке. — Миллион лет, Гарри! Не хочешь посмотреть, как это? Побывать со мной миллион лет? Представляешь, мы вместе уходим в вечность, мужчина и женщина, два тела, сплетенных миллион лет подряд!

Мэйси, я горжусь тем, как вел себя, когда ваша тетушка пребывала в этом состоянии. Я защищал ее, как того хотел ее отец. Будущее покажет, кто был благороднее — бедный австралийский работяга или английский джентльмен. Мы оставались в О'Туловом заведении столько, сколько было нужно, чтобы ваша тетя вернулась из своих путешествий длиной в миллион лет. Когда она засыпала, я держал ее за руку, гладил ее волосы и лоб. Когда она возвращалась

в мир к простым смертным, я тайно отвозил ее домой. Да, я повторяю, опиум меня беспокоил, но им ее жизнь не исчерпывалась, и когда в другом, дневном настроении она твердила мне, что это для нее как игра, каприз, не больше, и отцу, у которого дел по горло, про нее, конечно, говорить не стоит, я был не в силах сомневаться в ее правоте. Оглядываясь назад, я вижу, что она была права. Иначе как бы ей удалось выйти замуж за вашего дядю и прожить счастливую жизнь?

*Среда, 25 октября 1922 года*

*Дневник:* Сегодня коридорный доставил сувенир, достойный дневникового упоминания: небольшую деловую записку родом из бюрократического фарса нашей растленной эпохи, в котором каждый должен играть свою роль, пусть его и выбрали на эту роль случайно.

Мистер Трилипуш!

В текущих обстоятельствах желаю прояснить: как показано на приложенной карте, эксклюзивная концессия на раскопки всего района Дейр-эль-Бахри принадлежит профессору Уинлоку и Метрополитен-музею. Ваше заявление принято к сведению и рассмотрено. Как только статус концессии Метрополитен-музея изменится, мы с Вами свяжемся. Если Вы покинете гостиницу «Сфинкс», пожалуйста, сообщите нам, где в Соединенных Штатах возможно Вас найти. Кроме того, вынужден с сожалением сообщить Вам, что на прошлой неделе я посылаю каблогранму профессору тер Брюггену с просьбой подтвердить, что он является Вашим созаявителем. В своем ответе — я уверен, что это недоразумение, — профессор тер Брюгген сообщил, что ни он, ни Гарвард не имеют к вашему заявлению никакого отношения, и просил передать Вам, несмотря на это, «доброе пожелание» [sic]. Остаюсь Вашим покорным корреспондентом,

*П. Лако*

генеральный директор Департамента древностей

Что до Класа тер Брюггена, в своем дорогом главе кафедры я не сомневался ни единой секунды. На «Виктроле XVII» как раз играет «Когда пьешь с ворами, держись за карман».

Тер Брюгген, Клас тер Брюгген, Валлонский Буффон, Бельгийский Хрыч, брызгая слюной и шамкая на фламандском, гибельно руководит (до поры до времени, еще всего несколько месяцев) гарвардской кафедрой египтологии. Он распоряжается мизерной университетской коллекцией и берется учить (с буквы «м») сынов бостонских богачей. Оные несчастные сыны, напоровшись на путаные и часто невнятные лекции тер Брюггена, идут, пошатываясь, в мой кабинет за куда более потребными наставлениями. «Скажи-ка, Пыжик, — начинает один розовощекий тупица, сбитый с толку классической лекцией от тер Брюггена, на которой тот многожды прочищает влажную глотку и гнусаво клекочет, и первый ряд точно знает, что жажда знаний, может, и не утолится, а вот лицо будет забрызгано, — как это фараоны могли верить в Сугробный мир? В Египте ведь жарко, там полно песка, там везде пустыня, верно же? Откуда там сугробы?»

Последние дни тер Брюггена — верховного жреца гарвардской египтоло-



гии — напоены обреченностью и ощущением, что интерлюдия вот-вот закончится и придет герой-завоеватель; это ясно по тому, как он плетет интригу, сочиняя послание, призванное сбить сраженного минутной слабостью соперника с ног. Но найдется придворный, который одержит за морем великие победы, вернется в охваченное хаосом царство — и наведет в нем порядок.

Этот размалеванный дьявол оскалил свои скругленные зубы на мое недавнее обращение к гарвардской межфакультетской комиссии по подбору кадров; он швырялся в меня протухшими зарядами и уже не в первый раз потрясал разваливающимся щитом. Иные члены комиссии, шокированные возмутительными обвинениями тер Брюггена и его готовностью покончить с остатками собственного достоинства, лишь бы оговорить меня как можно чудовищнее, после заседания сказали мне, что комиссия стояла за меня, но тер Брюгген запугивал одних, обхаживал других, а третьих, рыдая, просто-таки умолял оставить меня на скромной должности. Даже декан Уоррен, председательствовавший на шумном заседании, после отвел меня в сторону, дабы приободрить, пожелать удачи в экспедиции и практически гарантировать высокое место, если мне случится найти что-то к вящей славе Гарварда в вечности.

Тошнотворное поведение тер Брюггена объясняется просто: он обиделся на меня, когда я, получив место на кафедре, отказался передать отрывок «С» в коллекцию, которая находится на его попечении, несмотря на то что он тарачил на папирус глаза и чуть слюни на него не пускал. Ну и пусть. Ныне, обогнанный морально загнившим жрецом, я дождусь подходящего момента, завоюю царство за морем, облеку себя славой — и вернусь.

В банке — пусто.

На почте — пусто.

В банке — пусто.

*Четверг, 26 октября 1922 года*

*Дневник:* Полдень последнего дня первого этапа. Штаб-квартира экспедиции переносится на юг. Вперед, к новому началу! Силы и вдохновение вновь переполняют меня. Убивая время в гостинице, я чуть с ума не сошел, от города и его роскоши мое воодушевление скисло. Но вот настал день хлопот, время для импровизаций. В письме Лако в Департамент древностей я благодарю его за послание и даю адрес особняка, где намерен отдыхать, ожидая «каких-либо неожиданных перемен статуса мистера Уинлока *vis-à-vis* Дейр-эль-Бахри». Посетил банковскую контору, чтобы распорядиться уже насчет первого взноса.

Отсутствие новостей расстроило меня лично и как профессионала; явно сбоит вся банковская система, и ее сбои пагубно отражаются на любом путешественнике. Убедился, что у них есть адрес и телеграфные реквизиты моего банка-корреспондента на юге. Высказал маленькому клерку, из-за которого терзался последние недели, пару нелестных замечаний. К сожалению, мой сжатый кулак от его самодовольного личика отделяла черная стальная перегородка (без сомнения, именно по этой причине: английские банкиры средней руки не без остроты ощущают, какое впечатление производят на окружающих).

Забрал свои новые костюмы. Поскольку международная система платежных переводов еле волочит ноги, я, испытав муки выбора, смог одобрить толь-

ко два костюма — из египетской саржи и из светлого габардина. Заверил бедного портного, что за остальные непременно заплачу, когда пришло за ними человека.

Портретист пока не завершил работу. По состоянию на сегодня я полностью выписан от макушки и до верхней губы, а ниже блекну, превращаясь в коричневый набросок. Художник просил меня смотреть прямо в пространство и чуть повернуть голову. Нарисовано красиво. Правда, художник вообразил, что под правым глазом у меня наблюдается мешок; ни одно зеркало сие не подтвердит, ни одна галерея не потерпит. Велел ему, после того как картина будет исправлена и закончена, передать ее «Клубу исследователей», который за нее и заплатит.

Вернувшись, был встречен дневным управляющим, египтянином, который в связи с тем, что я занимаю номер дольше срока, желал знать, сколько еще дней я буду оказывать им честь своим пребыванием в гостинице. Международная система платежных переводов выводит меня из себя: туземные ребята из кожи вон лезут и ведут гостиничное дело совсем не так плохо, как могли бы, и тот факт, что они во многом зависят от банков, приводит в уныние. Однако, хоть я и буду работать на юге, мне, разумеется, понадобится плацдарм в Каире: для пересылки писем и для неотложных дел, еще мой номер будет складом для находок,  *pied-à-terre*[13] для моей невесты или деловых партнеров, если они посетят город; в нем также пройдут иные правительственные торжества, запланированные на начало декабря. Потому я сообщил управляющему отличную новость: самые дорогие апартаменты гостиницы будут заняты по меньшей мере до 1 января, а то и дольше, — точную дату я вышлю каблогграммой из Луксора. Чтобы номер остался за мной, оплатил скромную часть счетов. Раздал экземпляры «Коварства и любви в Древнем Египте» консьержу, коридорным, горничным-африканкам и т. д. В номере из вещей оставляю «Виктролу XVII», самый большой мой патефон. С собой на юг беру побольше печатных бланков для дневника, подходящие полотенца и комплекты белья; на раскопках абсурдные эмблема и девиз гостиницы замечательно всех развлекают. Когда мои чемоданы увезли на причал, я пропустил последний стаканчик на веранде и записал все в дневник. Мне будет не хватать мягкой кровати. Мне будет не хватать бара «Сехмет» в фойе, украшенного изображениями львиноголовой богини, которая уничтожит человечество, если ей однажды позволить протрезветь. Мне будет не хватать обслуживания. Разумеется, ведь я ныне старше, чем когда служил в армии, и не могу сказать, что не нуждаюсь в земных благах. Не поймите меня превратно: я буду счастлив вновь очутиться на походной кровати под открытым небом, охранять свои находки, привыкать к скоротечной смене жары и холода, петь и болтать с местными жителями, которые принимают меня за своего и признают своим вождем. Однако я не столь благонаравно переношу трудности, как раньше. Шестнадцать ночей я провел в роскоши гостиницы «Сфинкс», на гладких простынях с оттисками грифа, сфинкса, кобры и надписью «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ». Эти простыни (и связанные с ними воспоминания) будут согревать меня в пустыне холодными ночами.

Последний раз сходил в банк. Пусто.

И вот наконец — наконец-то! — мой великий поход начинается. Я пишу эти строки на палубе парохода «Хеопс». Впереди — путешествие на юг длиной

в полтысячи миль, полтысячи миль вверх по Нилу. Там ждет меня мой царь, там мы с Марлоу нашли отрывок «С», там же Марлоу и погиб.

Отплытие совпадает с закатом солнца; с белой палубы я вижу, как между пурпурным небом и пенным чернеющим Нилом отступает Каир: толпа на причале; огни на площади; дым над домами, магазинчиками, *ахвами* смешивается с дымом из паровой трубы. Невзирая на расстояние, можно почти разглядеть улыбки на лицах носильщиков, которые, сев на причал, безотлагательно приступают к изучению «Коварства и любви в Древнем Египте» (изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.). Можно поправить саржевый костюм, пошитый одним из величайших портных Египта. Можно облокотиться о полированный деревянный парапет по левому борту ладного корабля. Можно, расслабляясь и прозревая будущее, смотреть на уносящиеся прочь — чух-чух! чух-чух! — нарциссические пальмы, на практически полностью обнаженных пейзажах, ничем не отличающихся от изображений таковых на древних папирусах. Можно любоваться на плывущих с тобою леди, отмечая, что почти все они — американки, можно думать о доме (далеком) и судьбе (близкой), можно сокрушаться по поводу недобрых вестников, громовых раскатов боли в желудке. Нисхожу в каюту.

Позже, безмятежнее, ниже: вскоре я был в состоянии подняться в салон, бог желудочного расстройства даровал мне временное успокоение после всего лишь часа принудительного служения. Успокаивал себя напитками на палубе и в трюме. Джазовое трио в салоне, состоящее из египтян, дудит вполне удовлетворительно. Пока я танцевал с туристками, которых восхищают мои рассказы об исследовательских буднях, один туземец в красном подобии домашнего халата и феске энергично шлепал по банджо, другой гудел в кривой корнет, третий же мурлыкал с проникновенным акцентом песенки наподобие «Я — араб твоего сердца» и «Родина моя, моя Маат», а также:

*Когда Египтом правил фараон,  
На землях этих жил еврейский род.  
Однажды понял старый Моисей:  
Скорее надо уводить народ.*

*«Отпусти мой народ», — сказал Моисей,  
Фараон отвечал: «Это надо вам?» —  
И младенца Иисуса он одарил  
Золотом, мирром и ладаном.*

Слово в слово. От этой песни и пахтания воды за бортом странно кружится голова, и даже джин не помогает.

*К Маргарет:* Вечером на пароходе в Луксор я сидел за обеденным столиком на троих вместе с четой пожилых американцев, которые, как я понял, впервые совершают заграничное путешествие: таково пикантное вознаграждение за жизнь, полную умеренных лишений, а также детей и внуков, проводивших чету в ее предпоследнее головокружительное приключение. Однако же они оказались куда как основательными людьми; сейчас, когда я лежу в своей каюте и пытаюсь уловить секрет их очарования, в то время как сонливость грызет меня и воспоминания о проведенном с ними вечере затуманивают сознание, объяснить то, чему я стал свидетелем, довольно сложно. Американцы не

похожи ни на кого из моих знакомых. В них есть нечто *деликатное*.

Они тронулись в путь из Миннеаполиса, из глухого селения, затерянного в кукурузных полях твоей Америки. Там, у себя, Лен и Соня Нордквисты — столпы общества, не меньше. Он возглавляет нечто вроде концерна, мелющего зерно, он восхищен тем, как египтяне собирают урожай, как они растят лен и просо. Она состоит в совете городского музея, городского театра, городской школы для глухонемых и т. д. Разумеется, они не выглядят аристократами. Две серые пичуги в дорожных костюмах (он — в светлом шотландском охотничьем пиджаке из твида, она — в стилизованном колониальном шлеме с символической сеткой от moskitov, завязанной под подбородком) проявили специфически американское дружелюбие. Они сидели, неизменно держась за руки, иногда Соня касалась моей руки стариковскими пальцами, иногда Лен отечески похлопывал меня по спине. Когда один из супругов сердился на второго, они, удивляясь тупости второй половины, выпучивали глаза, качали головами и расцепляли руки, чтобы мгновением позже вновь воссоединиться, а то и погладить друг друга по морщинистым щекам. Лен ужасно страдает то ли от климата, то ли от пыли; он был постоянным источником шума, Соня же, не глядя и не прерывая нить разговора, подавала ему носовой платок. Она заботилась о нем так же естественно, как дышала. Эта картина, М., была весьма притягательна, и я думал о нас с тобой, когда мы состаримся.

Они расспрашивали меня об Оксфорде, о тебе, о моих исследованиях и гипотезах. Услышав об Атум-хаду, они воодушевленно заголосили и настояли на том, чтобы я продекламировал катрен-другой. «Вы просто обязаны прочитать нам самые возмутительные стихи», — причитала Соня, а Лен, чихая, соглашался: «Да-да, не щадите наши чувства!» Я начал с твоего любимого, довольно кроткого катрена 35 («Ей быть моей...»), однако же, когда закончил, милая леди смотрела озадаченно: «И это все? Точно? Я не вижу тут ничего такого. Наверное, есть стихи пикантнее?» — «Положительно скандинавские стихи! — согласился Лен. — Этот ваш Атум-хаду не был лютеранином?» — «Ну хорошо же, — сказал я, — вот вам катрен 57. Кобра восстает ото сна». Я продекламировал катрен безмятежно (джаз-банд отдыхал, юные леди в столовой, кажется, смотрели на нас и явно прислушивались), оба старика совершенно единообразно выпятили верхнюю губу и закачали головами. «Да-а-а, — сказал Лен с сомнением, — кому-то это может показаться чуток непристойным, образ змеи то есть, но из рассказанного вами следовало, что нужно ожидать куда большего...» — «Хорошо-хорошо, тогда — номер 48». Я склонился к столу и зашептал, потому что прочие обедавшие вдруг умолкли. «Да-да, вот, да-да, — вздохнула Соня. — Вы должны найти гробницу этого человека! Он очарователен!..» — «Я обязательно процитирую вот это на нашем следующем собрании», — сказал старик, и Соня согласилась: «Пожалуйста, запишите нам эти стихи. Я состою в Миннеаполисском поэтическом клубе, моим одноклубницам они понравятся, я уверена!» Я пообещал до того, как они сойдут на берег, вручить им по экземпляру «Коварства и любви»; их переполняли радость и благодарность. Последовали учтивые приглашения вместе исследовать Фивы и Долину царей, а также приехать к старикам в Миннеаполис, пожить летом в их домике на озере с невообразимым индейским названием.

Мы отведали ягненка с кускусом и запили его неплохим кларетом. После десерта (клеякое блюдо местной кухни из меда, кунжута и флердоранжевой

воды) Соня передала Лену чистый носовой платок, подождала, пока муж снова звучно прочистит нос, и спросила: «Ну что... позовем нашего нового друга с собой?» Лен сказал: «Обязательно! Думаю, Ральф ухватится за такую возможность. Мне тоже не терпится познакомиться со старым развратником». Соня обернулась ко мне, ласково погладила мою кисть, заглянула с озорной ухмылкой в глаза и ласково спросила, желаю ли я больше узнать об Атум-хаду, о моих шансах его найти и даже о том, где он находится в этот самый момент?

Какая жалость, подумал я, искренне огорчившись, глядя на стариков другими глазами: они же слабоумные. «А у вас есть доступ к сведениям такого рода?» — спросил я, пряча обуявший меня ужас.

«Не исключено, что есть», — сказала Соня, и лицо ее засияло ослепительной улыбкой; Лен с готовностью кивнул и повторил: «Есть, мой дорогой друг, точно есть!» Неужели они еще и ученые? Или один из молодых Нордквистов — египтолог Миннеаполисского сельскохозяйственного университета? «Терпение, Ральфи, терпение!» — говорила Соня лукаво, когда я вослед за ними, слишком уж шустрými для совокупности их лет, вышел из столовой, спустился в залу, поднялся по главному трапу, прошел по дрожавшему коридору и подошел к двери их каюты.

Они занимали комнату по меньшей мере в шесть раз больше моей — при том, что я жил на широкую ногу (тогда я был уверен в твоём отце и его партнерах; но я и сейчас в них более чем уверен). Рядом с пианино помещался круглый стол, зеленая скатерть на нем бахромой почти касалась пола; на столе стояли серебряные подсвечники с тремя переплетенными рожками, каждый с полосатой на манер зебры тонкой свечой, которые Лен зажег до того, как потушил верхнее электрическое освещение и задернул иллюминатор. «Садитесь, милый юноша», — сказала Соня, придвигая к столу три стула.

Лен сел за стол вместе с нами, мои соседи взяли меня за руки. «Такой приятный вечер, правда, дорогой?» — спросила она, и Лен ответил: «Точно так, дорогая, воздух буквально гудит».

«Пожалуйста, назовите свое имя и скажите, чего вы добиваетесь, душа моя, — сказала она, вцепившись в мои пальцы с удивительной силой. — Чтобы всем было слышно».

«Меня зовут Ральф М. Трилипуш, я — временный младший преподаватель египтологии Гарвардского университета, автор книги „Коварство и любовь в Древнем Египте“, издательство „Любовный роман Коллинза“, 1920 год, переиздание в „Университетском издательстве Гарварда“ ожидается в следующем году. Я — ведущий специалист по египетскому царю Атум-хаду XIII династии. Я приехал...»

И тут свечи сами собой погасли. Ни Лен, ни Соня их не тушили. Нет, Маргарет, свечи потухли не так, как если бы их задули — тогда пламя подалось бы в сторону, противоположную источнику дуновения. Нет, они будто выключились, их накрыла тьма — и не было никакого запаха дыма. Я оцепенел — на моем месте оцепенел бы каждый. Видимо, это какой-то фокус, предположил я; но какой?

«Ах, как замечательно все выходит! — сказала Соня, сжав мои пальцы так, что в них явно прекратилось кровообращение. — Вас услышали очень быстро!»

«Здесь — Его Величество великий царь Ату-ум-Хаду-у-у?..» — нараспев про-

изнес глава отдела продаж крупнейшей в Миннеаполисе продовольственной компании. И тут, Маргарет, стол легонько подпрыгнул. Разумеется, это был фокус, разумеется, Маргарет... но в тот момент я изумился. Ведь подтолкнуть стол снизу коленями старикам явно не по силам.

«У вас есть послание для нашего дорогого друга-профессора?» — спросила Соня, и стол вновь ударил об пол.

«Желаете ли вы, чтобы профессор вас нашел?» Удар.

«Желаете ли вы сообщить ему, где именно следует вас искать?» Удар.

«Преуспеет ли он в своих поисках?» Удар.

«Поможет ли ему кто-нибудь?» Удар.

«Кто-то с этого корабля?» Удар.

«Желаете ли вы говорить через доску?» Удар.

«Ваше пожелание для нас — закон, великий царь», — сказал Лен, точно изысканный царедворец.

«Пожалуйста, подождите секунду», — сказала Соня, попросив таким образом его царское величество Атум-хаду, Налившегося Кровью, не прерывать соединение, пока она ходит за листком бумаги, дабы записать его сообщение. Она высвободила мою руку и, отступив от трясущегося стола, шарила мгновение-другое в темноте комнаты. Потом опять зажгла свечу и положила на стол доску такого престранного вида, что я с трудом могу ее описать. На этой складной деревянной доске были нарисованы витиеватые буквы и цифры. На доску Соня поместила нечто вроде линзы, в центре которой были изображены пересекающиеся под прямым углом линии, достаточно большие, чтобы определенно указывать на одну только букву. Стекляшка вставлена была в диск из слоновой кости на колесиках с еле намеченными, нежнейшими бархатными углублениями для пальцев. Соня поместила мои пальцы на диск; в тусклом свете полосатой черно-белой свечки четыре старческие кисти на необычном приспособлении казались весьма бледными и гладкими, словно также были сделаны из слоновой кости.

«Задавайте вопрос, милый юноша, смелее. Он ждет, когда вы его спросите». Я не понимал, чего от меня хотят.

«Давайте-ка я пушу пробный шар, — сказал Лен. — Великий царь Ату-ум-Хаду-у-у... кто станет самым верным помощником Ральфу на его пути к тебе?..» И стекляшка в костяной оправе принялась скользить по столу под нашими руками, останавливаясь то тут, то там; пересекающиеся линии точно показали на буквы АНАНРТNW.

«М-да, — буркнул Лен. — Его величество, кажется, решило над нами подшутить».

«Величество, мы тут не в бирюльки играем. Наверное, вы не знаете, как обращаются с царями и королями в наши дни. Не прими на свой счет, Ральфи, твоего мы обидеть не хотим... Если не хочешь говорить с нами — так тому и быть, но терпеть всякие... — Тут Соня уверенно выбрала дух последнего царя XIII династии: — детские шалости мы не станем!» На секунду воцарились тишина и спокойствие, а потом диск снова полетел по доске, да так быстро, что мои пальцы чуть не соскользнули: АНАНРТNW.

«Может быть, он хочет отвечать только „да“ и „нет“», — предположил Лен.

«Нет-нет, — я наконец обрел дар речи. — Можно мне попробовать? Владыка Нила, Хозяин Двух Царств, где я найду тебя?»

R X K S T.

«Это уже слишком! — воскликнула Соня и убрала руку с костяного диска, который под давлением пальцев моих и Лена тут же накренился. — Я должна извиниться перед вами, дорогой Ральф, — сказала она, включая электрический свет; мы сощурились от сияния 1920-х. — Знаете, я так надеялась...»

«Право, все было так захватывающе, — сказал я. — Я смотрю на вещи с научной точки зрения и не могу сказать, что полностью верил в происходившее».

«Конечно, душа моя, конечно», — сказала Соня и улыбнулась мне так, как и должны улыбаться матери, закрывая глаза на детскую ложь.

Провозгласив «спокойной ночи!», я вышел вон. Они, взявшись за руки, стояли в дверях, прощались и обсуждали планы на завтрашнюю утреннюю трапезу. Ныне я лежу в своей трясущейся каюте (раздражающе спартанской; теперь, зная, какие на этом корабле бывают каюты, я не прочь вернуться в Каир и потолковать с тем служащим билетного агентства).

Не хочу поощрять шарлатанов, Маргарет. Должно быть, эти милые, очень милые люди — давно сработавшиеся мошенники, профессионалы своего дела, и заодно — готовые услужить египтологи-любители, желающие успеха моей миссии; как иначе объяснить, что буквы АНАНRTNW, если добавить два пробела, складываются в «аНА Нг Тпw», стандартную транслитерацию латинскими буквами иероглифов, означающих «борец за правду», а «rx-k st» означает буквально весьма ободряющую фразу «сам знаешь где»? И что я могу написать по этому поводу, Маргарет? Я видел то, что видел. Я верю во все это не больше твоего. Это не могло произойти. Это произошло.

Только что проснулся, по моим часам сейчас — 4.15 утра. Во сне гул двигателя, от которого дрожат деревянные стены, стал бормотанием нетерпеливых слушателей в переполненной аудитории, похожей на ту, где мы с тобой встретились, только бесконечно больше. Тысячи людей ожидают моего выступления. Я сижу за столом на сцене, держу перед собой конспект лекции, несколько листков, на которых узнаю свои отроческие попытки изобразить демотическое письмо.[14] Мне немного не по себе из-за шлема на голове, его гребень утяжелен золотыми статуэтками, изображающими грифа, сфинкса, кобру, тебя, твоего отца, Инге и Нордквистов. Рядом со мной на помосте сидит Картер — и болтает без умолку; только вот из-за нарастающего рева, идущего откуда-то издалека, с последних рядов бостонских слушателей, сосредоточиться на его льстивых словах все труднее. «Безусловно, и мы должны повторять это снова и снова, величайшее значение имеет наш путь внутри усыпальницы, из одной камеры в другую, и не только ваши открытия восхищают меня, но также и ваше сердце». Рев нарастает, он несется прямо на меня; ряд за рядом бостонские леди внезапно поднимаются с мест и начинают вопить с искаженными лицами, умоляюще протягивая руки и программки. Картер, явно нервничая, вопрошает меня: «Как вам удастся сохранять спокойствие, наблюдая такой ажиотаж?» Теперь ревет уже полтолпы, женщины срывают с себя ожерелья, рвут пояса. Гортанным воплям, звукам древним, как сам Египет, вторят женщины Бостона, декан Уоррен, профессор тер Брюгген, все преступные и раболепные партнеры Финнерана. Инге сорвала платье с пышного тела; даже ты встаешь, пошатываясь, сбрасываешь оцепенение болеутолителей и, уподо-

бьась остальным, начинаешь стенать, и тогда я поднимаюсь из-за стола и делаю шаг вперед, обнаженный, о трех мощных ногах, сжимая конспект в одной руке и бьющееся сердце Картера — в другой.

Я устал. Веки тяжелеют, и все же я чувствую в себе великую силу. Странную силу.

*Пятница, 27 октября 1922 года*

Проснувшись поздно, я узнал от здешних стюардов, что ночью на камбузе двое затеяли перебранку, и один из чертей пырнул другого ножом для резки хлеба прежде, чем их успели унять официанты. Мне сказали также, что стычка началась из-за того, что один из шайтанов напал на американского туриста, а другой египтянин вступил в драку, поскольку не вынес грубого обращения с человеком Запада. Он защищал пострадавшего американца от своего же соплеменника. Борец за правду.

В конце концов я убедил стюарда отвести меня туда, где лежал несчастный парень — весь в бинтах, он оправлялся от ран на руках и спине. По-английски он говорил неплохо, но большей частью мы беседовали на арабском. Я представился, поведал частицу моих планов, подарил ему экземпляр «Коварства и любви в Древнем Египте» (надписанный «борцу за правду») и описал самую малость того, что рассчитываю найти в царской гробнице. Я задал ему несколько вопросов и получил в высшей степени удовлетворительные ответы: уроженец Луксора, он знает все дороги и тропинки района к западу от Нила как пять своих волосатых пальцев. Есть ли у него друзья-крепьши, которым можно довериться? Да, есть. Хочет ли он заработать больше денег, чем ему доводилось видеть в своей жизни? Да, хочет. Хочет ли он поучаствовать в предприятии куда важнее, нежели чистка пепельниц на пароходе? Растративший всю свою энергию на защиту американца и потому не склонный болтать или улыбаться, Ахмед осмотрел меня с ног до головы и надменно согласился (клянусь, он похож на одного сержанта-майора, тот же неурожай волос на голове, то же обескураживающее молчание). В любом случае теперь у экспедиции есть бригадир — пусть мне потребовалось время, чтобы убедить его работать за зарплату и *бакшиш*, а не за «долю в сокровищах». И если он не вскочил на ноги, не поклонился, не разделил со мной соль и не предложил братание кровью, то лишь потому, что его совсем недавно ранили.

Я дал ему адрес моего особняка и указания: что следует предварительно купить, кого нанять, — призвав не привлекать к себе внимания; он отвечал мне кивками. Он запросил и получил два дня на восстановление сил и приведение в порядок дел на берегу. На этом наша встреча закончилась. Я задержался, ожидая бурной благодарности либо детского веселья, но не получил ничего, кроме немигающего взгляда.

Завтракал с Нордквистами, тепло с ними попрощался, дал им адрес моего особняка, пригласил погостить и посетить участок, когда все обустроится и мы начнем пускать на участок туристов. Они объяснимо затрепетали от волнения.

*Дневник:* Высадка в Луксоре! Представитель агента по недвижимости ждал меня с картой и ослами, дабы отвезти в особняк мой багаж. Оплатил аренду до 30 ноября. Финансы обретают все большую важность. Банковские конторы —



на замке до воскресенья.

И вот багаж внутри, а ключ — у меня в руке. Я переправился через Нил, взял внаймы осла и отправился на прогулку по священной земле, которой нога моя не касалась семь лет, с 1915 года: и для меня, и для древнего народа здешняя почва свята. Как описать чувства, что обуяли меня, когда я проезжал мимо немислимо изменившихся пейзажей? Вот туристы приобщаются к достопримечательностям, которые в 1915 году являли собой пустое место, сплошные песчаные дюны, укрывавшие до поры спрятанные от глаз тайны; вот охранники из Департамента древностей совершают плановый обход; вот прославивший Дейр-эль-Бахри храмовый комплекс Хатшепсут; вот огороженный бечевой участок, на котором через несколько дней снова окопается Уинлок из Метрополитен-музея. Миновав все это, я за участком Уинлока двинулся вперед вдоль скалы, преодолевая один холм за другим, чередуя пологие подъемы и спуски, — пока наконец не обнаружил ориентиры, которые мы с Марлоу оставили семь лет назад в день, когда нашли отрывок «С» — и сломя голову бежали с ним прочь.

Тренированный глаз в такой предварительной разведке местности постигает будущие задачи и масштаб препятствий: во скольких местах и где именно следует рыть, сколько на это потребуется человек, сколько времени займет работа, какое оборудование понадобится. Я нарисовал тушью топографическую карту скального выступа, отметил всевозможные трещины на его лицевой стороне, выработал стратегию, рассортировал по вероятности успеха все участки, которые мог оценить, расставил приоритеты сообразно с временем и деньгами.

При условии, что финансовая поддержка мне обеспечена, я полагаю, на ранней стадии достаточно бригады из десяти человек, и чем глубже мы будем уходить под землю, тем больше людей нам потребуется. Если догадки — Марлоу и мои — верны, вряд ли раскопки потребуют привлечения сотен людей и перелопачивания больших территорий. Я знаю, где лежит мой царь; по меньшей мере думаю, что знаю. При условии, что финансовая поддержка мне обеспечена. А это выяснится в воскресенье.

Сегодня ночью я буду спать в своем особняке на затерянном нильском берегу — так близко от моего царя, от моего предназначения.

*Суббота, 28 октября 1922 года*

*О «догадках» относительно местонахождения гробницы:* Вполне резонно мой читатель задает вопрос: как можно на 3500 лет забыть о том, где находится гробница, и потом снова узнать, где ее искать?

Даже если местоположение гробницы было общеизвестно, за 3500 лет забывается решительно все. Тут и там чуть ли не на пустом месте обнаруживаются целые пирамиды, о которых забыть нелегко. Одна гипотеза относительно необнаружимости Атум-хаду гласит, что мы ищем слишком низко: его гробница (как и первый проект Хатшепсут) была выстроена в расщелине на полпути вниз по скальному выступу, вход завалили щебнем — и забыли. Погода и эрозия могут, вступив в стовор, забросать гробницу камнями и грязью. Рабы, строящие усыпальницу по соседству, могут завалить фасад старой гробницы выкопанной землей. Или построить временные хижинки прямо на лестнице в гробницу. В наше время рассеянные археологи могут, не заметив, засыпать гроб-

ницу уже своей землей. А еще фасад гробницы может выглядеть неприметно, на него и посмотришь — ничего не увидишь.

Читатель, вспомни: возможно, гробница создавалась с расчетом на то, что снаружи ее не опознают, и случай Атум-хаду определенно таков. Окинем взглядом последние дни его жизни. Гиксосы вторглись в страну с севера, африканцы — с юга. Его предали собственные вельможи. Повсюду на Ниле появляются цари-самозванцы. Короче говоря, конец света, и это не преувеличение: традиция, культура, повседневная жизнь, справедливое правление — ничего больше нет. Да, мы или какой-нибудь Джонни-С-Вечера-На-Троне, родившийся в золотой рубашке царек XVIII династии, можем прийти и сказать: «Пф, это был переходный период, а через каких-то девяносто или сто лет пришли сиятельные цари Яхмос и Камос, выбили захватчиков из страны и восстановили законную власть». Но когда твой мир рушится, такое будущее — не более чем робкая надежда среди тьмы более вероятных судеб. Перед тобой простирается лишь вечность отчаяния.

*За тем, как пришлецы насилуют страну,  
Атум-хаду взбешенно наблюдает.  
Все золото с собой в пески он забирает,  
А равно — жен своих, богов и [обрыв].*

*(Катрен 17, есть только в отрывке «А», «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.; «Университетское издательство Гарварда», 1923 г., если, конечно, они не поверили той чуши, которую несет тер Брюгген)*

Итак, читатель, яснее ясного, что Атум-хаду намеревался сохранить сведения о гробнице в тайне. У него, в отличие от предшествующих и последующих царей, не было другого выхода: он уносил в свое логово не одно лишь собственное бессмертие, но весь Египет, которому, как он полагал, пришел конец. И защитить могилу он должен был не только от расхитителей гробниц и расточительных преемников; нет, совершенно чуждая раса, так называемые гиксосы (появившийся позднее греческий термин), рыгая и икая, обрушилась на земли Гора, Изиды и Ра. Отсюда следует, что его гробница должна быть (и будет) скрытой и полниться сокровищами: произведениями искусства и иными.

*Маат меня бросила. Жаждал я тела,  
Зажать и расплющить ее мне хотелось,  
Она ж оказалась с повадками леди,  
Которую только и можно, что сзади.*

*(Катрен 72, отрывки «А», «В» и «С», «Коварство и любовь в Древнем Египте», изд-во «Любовный роман Коллинза», 1920 г.; «Университетское издательство Гарварда», 1923 г.)*

Резкие слова Атум-хаду в адрес Маат, богини правды и справедливости, сказаны в момент распада его мира и дают нам некоторое представление о характере этого человека и его эпохи.

Возможно, однако, и менее буквальное прочтение этих грубых строк (хотя Гарриман явно переусердствовал: «Мой град земной разрушен, я погиб, / И судия, неверна и жестока, / Уходит прочь; ее лишь вижу спину...» Вассаль и Уилсон: «Ах, эта Маат — такая плутовка! / Меня оттолкнув, засмеялась, une vraie

соquette![15] / Она соблазняет меня своими формами, / А дела государства отлагательств не терпят»).

Великолепие Атум-хаду нигде так не заметно, как в этом непростом стихотворении: услышите царя, не вопиющего о малодушной беглянке (променявшей царства на коня, на коня!), но взамен тщетно сцепившегося с самой Судьбой, поставившего бессмертную жизнь против ее безнравственных козней, храбро и с отвращением клеймящего бессмысленность надежд на правду и справедливость, словно бы говоря «подобные идеалы заслуживают лишь визита с черного хода».

*Египет гибнет весь со мною.  
Для проклятых — пуста земля моя.  
Враги и трусы гонятся за мною,  
Но жажду утолю однажды я.*

*(Катрен 74, есть только в отрывке «С»)*

Касательно Атум-хаду мы можем со всей определенностью сказать, что:

- он погребен;
- он погребен в усыпальнице, доверху набитой сокровищами и произведениями искусства, поскольку захоронение последнего царя совпало с необходимостью сохранить то, что осталось от исчезающего царства;
- он погребен в районе местонахождения отрывков «А», «В» и «С» его «Назиданий», обнаруженных на расстоянии не более полумили друг от друга;
- он погребен у Фив, близ своей столицы;
- поскольку умер он до того, как Долину царей начали использовать в качестве некрополя, его гробницы там нет;
- его гробница никак не помечена, укрыта от посторонних глаз, возможно, находится высоко над землей, примерно как гробница, приготовленная для Хатшепсут, та, в которую Картер сверзился в 1916 году;
- поскольку ни один из артефактов этой гробницы не выставлялся на продажу (к вящему удовольствию дискуссионного клуба идиотов, подвергающих сомнению и правление Атум-хаду, и его существование), следует логическое заключение: расхитители гробниц ее так и не нашли. Усыпальница Атум-хаду восхитительно девственна и ждет его дорогого друга Ральфа;
- отсюда следует, что Атум-хаду — в Дейр-эль-Бахри, внутри или подле скал, у которых мы с Марлоу нашли отрывок «С», там, где мы строили догадки, чертили карты — и куда намеревались вернуться до того, как меня отправили в Турцию.

*На ложе Изиды я буду лежать,  
Язык в нильской дельте богини купать,  
И кто б ни вошел — головы я к нему  
От гривы уютной не подниму.*

*(Катрен 52, есть в отрывках «В» и «С»)*

И все же: как ему это удалось? Вот загадка, что сводит с ума. Как удалось ему все устроить среди хаоса конца света: построить гробницу, наполнить ее, убедиться, что после его смерти (в бою? в постели? в бою в постели?) его тело перевезут куда следует, мумифицируют, запечатают и после немедленно о нем забудут? Архитекторы гробницы, декораторы, рабочие, Блюстителы Та-

инств (жрецы, наученные удалять из тела внутренности, предохранять его от гниения и обертывать тканями), силачи, запечатывавшие гробницу, — неужели никто ни одной живой душе не открыл того, что ведал? Как мог он знать, что будет всемогущим до последней минуты, а мгновением позже его мир разрушится под натиском извне — до того еще, как любому из тех, кто слишком много знал, придет в голову потревожить его покой? Все же каким-то образом ему это удалось — создать самый захватывающий за всю историю египетского бессмертия Парадокс Гробницы и припасти для наиболее достойного и выдающегося ума открытие, равных которому нет.

*Воскресенье, 29 октября 1922 года*

*Дневник:* Встал рано, за несколько часов до того, как открылся банк, и наткнулся на... кошек! Этим утром у особняка появилось чудесное семейство кошачьих; восходящее солнце золотило наш Нил, а я радостно делил с ними воду и купленную вчера в городе еду, уминаемую с достойной восхищения скоростью с посуды, украшенной изображениями преувеличенно храбрых арабских всадников. Их трое: два самца и ласковейшая оранжевая девочка. Самцов я назвал Рамзесом и Рамзесом (II и IV, разумеется), а вот столь редкое создание, как оранжевая девочка, может быть только Мэгги. У нее отменный аппетит; покончив с завтраком, она тут же оказалась на моих коленях, дабы наградить меня порцией нежных ласк и мурлыканья. Древние мудро полагали, что эти обольстительницы — орудия коварных богинь; они знали больше, чем передали нам. Когда Мэгги поднимает на меня глаза, зеленые с золотом, с антрацитовыми овалами, тонкими и заостренными на концах, я на краткий миг ощущаю, что тело ее определенно занимает некая извечная сила. И эти существа знают, кто им друг, а кто так, они не колеблются и не оступаются; мои колени сразу прищипались им по нутру, ибо они — колени котопоклонника.

У моего отца, разумеется, имелись полные псарни, где всегда содержались от пяти до шести сотен английских и американских фоксхаундов, харьеров, биглей, бигль-харьеров и англо-французских гончих. Псарни (двадцать пять человек в оригинальных отцовских ливреях) были мне вернейшими друзьями, особенно когда отец уезжал в экспедицию. Конечно, собаки в таком количестве жили скорее по законам стаи, нежели как прирученные домашние животные, хотя двух наших гончих с веселым нравом я считал своими товарищами. Много лет я провел бок о бок с псарями, наблюдая за тем, как ладно правят они перенаселенным собачьим миром, и преисполняясь восторгом и беспримесным благоговением. Загон, который псарни в их расклеванных клоунских брюках и крылатых шлемах могли начать и остановить мановением руки, меня зачаровывал, я умолял их сделать так, чтобы собаки запели. Со смеющимися глазами они повелевали всем зверям дружно проголосить «у-у-у!.. у-у-у!.. у-у-у!..»; округа отзывалась милым хором, даже в далекой деревне хлопали ставни, в знак солидарности звенели колокольчики, и счастливая детвора кричала: «Трилипушевы псы! Трилипушевы псы!..» А когда отец возвращался из экспедиции, животные принимались выть самопроизвольно, чуя хозяина за несколько миль; на таком расстоянии не ощущался его запах, но его любовь к ним и их любовь к нему — ощущались вполне.

*В мире мужчин, что ушли на войну, мира, конечно, нет.  
Женщина, если она права, не усомниться не смеет.*

*Нега недолгая ждет тебя в [обрыв]  
Хочешь увидеть богов? Почеши и вытяни шею.*

По меньшей мере ретроградство, если не сказать прямо «сумасшествие» — увидеть, как это сделал Гарриман, в катрене 16 (есть только в отрывке «А») «жажду простеца, подспудно тянущегося к Божьей благодати (грешник, царь и поэт *вытягивает* свою шею к небесам, дабы *почесать* ее и тем унять зуд, то есть стремление к Божьей любви)». И хотя я признаю, что в «Коварстве и любви» не без внутренней логики истолковал это загадочное стихотворение как отсылку к переводянию Атума («почесать», чтобы вытянулась «шея»), ныне мне думается, что стихи эти отсылают к совершенно другим материям; в данном случае наглядный иероглиф выражает значение лучше, нежели неудобопонятная латиница. Владелец чесомой шеи — не кто иной, как пес, которому чешут подбородок, или кот, которого гладят от головы и до хвоста.

И если однажды газетчики, коих обуяет преходящая страсть познания, по-детски гомонливо и шумно осведомятся: «Мистер Трилипуш, что привлекло вас к Атум-хаду? Почему не Рамзес, не Ах-эн-Атон, не этот маловероятный Тутанх-Амон?» — я найдусь что ответить: мы оба любим животных, мой царь и я, мы находим в их темных глазах ту мудрость и то сопереживание, которых так часто не видишь в выцветших белках глаз человеческих.

*К Маргарет:* Твои спаниели, тот песик, что в день нашего обручения взял пикник на абордаж, гончие и лошади моего отца, зверинец Атум-хаду, салуки, они же грейхаунды, изображенные на стенах столь многих гробниц, — все они были с нами с самого начала. После утренних ласк три мои кошки опять сбежали. Надеюсь, завтра они вернуться и пробудут здесь так же долго, как я. Глядя в золотые глаза Мэгги, я воображал тебя: ты в Бостоне, проснувшись, лежишь и гладишь животы Антония и Клеопатры, и их задние левые ноги начинают самопроизвольно дрыгаться, и в это самое мгновение ты и я встречаемся, соприкасаясь ладонь к ладони через мягкие животы зверей. Я надеюсь, что ты в мое отсутствие ведешь дневник. Ласкала ли ты собак и думала ли обо мне 29 октября ровно в полночь по бостонскому времени?

*Дневник:* Отправился исследовать Луксор. Будучи на данный момент лишен возможности совершать много покупок, я тем не менее осмотрел городские рынки и базары, затерянные улочки и открытые площади, попытался сориентироваться; хотя городок этот куда меньше Каира, не могу сказать, что знаю его хорошо. Вновь тщетно пытался уйти от мысли о судьбе, что постигнет экспедицию, если мои финансисты меня подведут.

Воспользовавшись случаем, посетил банковскую контору, назвал свое имя, оставил адрес и попросил известить меня сразу же по прибытии перевода. Чего по состоянию на утро не случилось. Напомнил себе, что по воскресеньям банки в Бостоне закрыты.

Переправился через Нил, чтобы еще раз прогуляться по Дейр-эль-Бахри, на сей раз пешком, пытался проложить такой маршрут, чтобы незамеченным добираться до точки, где был найден отрывок «С», минуя оцепленные участки Уинлока и скопления туристов вокруг храма Хатшепсут. Как в этом преуспеть, пока не понял. Помню, как вел меня Марлоу, чуя нутром, куда идти, и так — холм за холмом: «Еще чуть-чуть, старина, сдается мне, что еще чуть-чуть и...»

Вернулся в особняк. Привел в порядок чертежный стол и конторки, тетради и журналы. Расставил по полкам научные труды, словари, патефонные записи. Разложил по местам снаряжение — фляги, долота, веревки и т. д.

После заката я стоял спиной к вилле Трилипуш и смотрел на берега Нила; было ничуть не светлее, чем 3500 лет назад; можно представить себе, как сам великий царь ходит (вероятно) по этой самой земле, вперяет свой взор (совсем как я) во тьму над рекой — и воображает, как он пересечет реку и спрячет свои бранные останки, не оставив тому свидетелей, когда оттягивать неизбежный конец станет невозможно.

*Понедельник, 30 октября 1922 года*

*Дневник:* Обосновался на вилле Трилипуш. Вернувшиеся (!) кошки накормлены и как следует обласканы. Признаюсь, утром я воспрял ото сна, будучи обеспокоен предстоящими расходами, но поклялся ни минуты не тратить на сомнения в моих покровителях. Взамен дал каблограмму Ч. К. Ф., укрепив его решимость многообещающим описанием работ, планируемых на будущие недели.

Засим последовал трудный день. За несколько часов до назначенной встречи с Ахмедом я собирал легкие нескоропортящиеся продукты, кастрюлю, спички, батареи для электрического фонаря и т. д.

Вернувшись в особняк, дабы пообедать и встретиться с Ахмедом, застал там славных Нордквистов. Я велел Ахмеду ждать и не без гордости провел милых сердцу стариков по особняку, показал карты, библиотеку, все, что приготовил для раскопок; они поздравляли меня и вообще были сама любезность. После обеда я помог им спланировать маршрут, сообщил, какие гробницы заслуживают внимания, какие, будучи вторичными, — нет. Отправляясь в путь, божьи одуванчики трогательно попрощались со мной и моим молчаливым старшим рабочим — ни дать ни взять любящие родители!

Я вновь должен поздравить себя с тем, что нашел Ахмеда — он будет великолепным бригадиром. Не улыбается, не болтает, деловит. Объяснил ему, что перед нами стоит временная, однако немаловажная проблема — нанять и перебросить на наш участок достаточно людей для раскопок; действовать нужно скрытно, пока сама собой не разрешится ситуация с концессиями. (Разумеется, за успехом последует и концессия, однако в зыбкое межвременье следует сохранять видимость уважения к существующему порядку.)

Опередив Уинлока и Картера, мы с Ахмедом вышли на сцену первыми и потому не испытали недостатка в бедных, сильных и нелюбознательных людях. Нескольких мы взяли на работу сразу, многих наняли на потом. Избранные замечания Ахмеда насчет проклятия, которое падет на каждого, кто попытается отрыть царя Тут-анх-Амона, упоминания о банкротстве Картера или судимости Уинлока, а также небрежное, однако внятное замечание о том, что и Картер, и Уинлок порют своих туземцев за провинности, определенно облегчат доступ на рынок труда в предстоящем сезоне. Меня нельзя назвать сторонником подобных методов, однако не хотелось наказывать Ахмеда в первый же день, к тому же он вел себя несообразно ради меня. Мы, как водится, отправимся в экспедицию с небольшой подвижной бригадой: шесть крепких мужчин, включая Ахмеда и меня самого. Завтра на рассвете он явится ко мне с ослами, упряжью, тяжелыми лопатами, заступами, холщовыми мешками и

деревянной телегой — и мы приступим к делу. Меня все еще беспокоит маршрут.

*К Маргарет:* Сегодня я нашел на базаре две вещи, которые ты оценишь по достоинству. Первая — игрушка, замечательный подарок на будущее для сообразительного мальчика, о моя сладкая царица, для малыша-крепыша, обожающего Египет и своего отца (он, сам того не зная, будет учиться на биографа!). Это коробочка с выпрыгивающей фигуркой, раскрашенная под каменную гробницу. Поворачиваешь рычажок — и раздается слабый потусторонний скрип, будто газ вырывается из неплотно закрытой бутылки с шипучкой. Звук становится все громче, пока крышка гробницы не откидывается и не показывается якобы каменный саркофаг с нарисованным спереди царским ликом. Если продолжаешь крутить рычаг, крышка саркофага с хлопком открывается, появляется золотой футляр с мумией. Еще поворот; футляр открывается, являя взору белоснежную мумию, которая садится, по-детски улыбаясь и нежно глядя на тебя голубыми глазами сквозь свои пелены.

Еще лучше, моя любовь, маленькая разрисованная статуэтка из необожженной глины, шагающий человек в тунике, сандалиях и короне, умелое анонимное подражание изваяниям Среднего Царства. Меня привлекла хитрая ухмылка на его лице, совершенно неподобающая таким работам; не обычная равнодушная улыбка, но абсолютно неуместная и очаровательная усмешка довольного собой лукавца. Статуэтка составит отличную пару той, что путешествует со мною вместе, будучи преподнесена мне во время интимного завтрака à deux[16] в «Локе-Обер» (покуда Инге коротала время за столиком снаружи).

Ты вся лучилась; любовь наполняла тебя сиянием, пусть ты этого пока не замечала. Ты прелестно цитировала книгу, которую я рекомендовал тебе прочесть. Лукавый котенок, ты спросила: «Они правда верили, что, когда гробницу закроешь и запечатаешь, внутри все становится живым?»

«Именно так», — ответил я, гордясь твоими успехами.

«И если там был нарисован пир — начинался пир? И статуи красавиц-прислужниц становились красавицами-прислужницами?»

«Да, моя дорогая, ты все поняла правильно».

Я поднял глаза и увидел, что ты протягиваешь мне прекрасную статуэтку, изображающую тебя обнаженную, если не считать скромного куска материи. «Папа узнал, что в Бостон приехал один француз, и заплатил ему, чтобы он меня изваял. Я вот подумала — если поставить ее в твоей комнате... а потом ты закроешь дверь и выключишь свет... никто же не знает, что потом будет, а?»

Завтра я отправляюсь на участок, а сегодня ночью, М., ты — здесь, со мной, в моем особняке, воскресает подле меня. Спокойной ночи, моя любовь.

*Вторник, 31 октября 1922 года, первый день раскопок*

В бой — наконец-то! Сейчас уже вечер, день первый подошел к концу, я вернулся на виллу Трилипуш. В кои-то веки мы довольно быстро движемся вперед.

Ахмед прибыл утром, когда еще не рассвело; тяжелое снаряжение и животные ждали нас на том берегу реки. Весьма примечательно, что Ахмед решил мои проблемы географического свойства. Я поручил ему провести рекогнос-

цировку, в чем мой крепыш и преуспел ночью; утром, склонившись над огромной картой, разложенной на моем главном рабочем столе, он вычертил маршрут много лучше моего: наш путь проляжет от реки к тропинке, на которой мы с Марлоу нашли отрывок «С», причем так, что никто из людей, коим наше продвижение может казаться подозрительным, нас не заметит. (Если помахать доказательствами существования Атум-хаду перед лицом Лако, тот с радостью урежет концессию Уинлока в мою пользу.)

Мы выступили рано, и оттого, поведал мне Ахмед, нам достались лучшие мулы и лучшее снаряжение. Именно за это великолепие, объяснил он, мне предстоит заплатить по предоставленным им распискам значительно больше, нежели я предполагал, но такова, напомнил он, цена любой работы, если делать ее хорошо. Я уставился на гору исписанных бумаг, которые он бросил на стол, потом на цифры в кожаном грессбухе, и понял, что терплю убыток. «Зачем вы так на меня смотрите? Если хотите убедиться, что я не вру, — можем пойти к любому из купцов!» В чем-то Ахмед — дитя. «Недоверие превращает мужчин в фиги», — изрек он многозначительно, словно цитировал Коран; я заподозрил, что неправильно его понял, однако нельзя дать ему понять, что мой арабский несовершенно, иначе он будет всячески хитрить с рабочими.

За рекой первые четыре члена бригады ожидали нас на ослах. На западный берег Нила пала заря; мы, следуя за Ахмедом, сделали большой крюк и вышли на тропинку за Дейр-эль-Бахри. Пешая прогулка по скалистым холмам заняла от силы полтора часа или час сорок минут. «Есть путь покороче», — пробормотал кто-то из безымянной четверки, однако Ахмед, благослови Господь его черное сердце, одним лишь строгим взглядом заставил рабочего замолчать.

И вот мы там, где ожидала нас с Марлоу великая победа; спустя семь лет я сюда вернулся с собственной бригадой, дабы завершить работу, начатую моим товарищем и мной. Мы на месте! У высоких скал, на песке, который светило льстиво переокрасило в оранжевую ржавчину, я предложил сделать привал; меня поддержал Ахмед. Двум мужчинам я велел провести предварительный осмотр нижней части скальной поверхности: изучить уступы, что идут вокруг скалы вверх по склону, и обследовать склон на предмет подозрительных шероховатостей или, наоборот, слишком ровных участков, симметричных мет, чего угодно, что кажется рукотворным. Трое оставшихся мужчин отошли от скалы на несколько сот ярдов, осмотрели, пока солнце не поднялось высоко, ее верхушку — нет ли на ней каких-нибудь расщелин, — и зарисовали пропущенные мной на первом наброске детали. В это время я с той точки, в которой мы с Марлоу оставили в свое время ориентиры, отправился на северо-запад, просто чтобы проверить: вдруг Уинлок запнулся обо что-нибудь важное, сам того не заметив? Пока мужчины в халатах и налезавших на глаза чалмах дружно шагали, ощупывая скальную поверхность, я обнаружил два подпирающих друг друга валуна, которые мы с Марлоу заметили, когда искали, куда поставить мотоцикл, и кучку булыжников на одном из них — ее мы насыпали, осознав, что обнаружили нечто важное.

«Где-то здесь!» — крикнул я Ахмеду на арабском.

«Богатый был царь?» — спросил Ахмед впопад. Прочь сомнения: за этим малым нужен глаз да глаз.

Известной ему тропой Ахмед провел меня на вершину скалы, возвышав-



шейся над долиной футов на триста. Мы поднимались около часа; с такой высоты четверо моих рабочих казались сущими мышами, искавшими в огромном поле один вполне конкретный прутик. К сожалению, с этой позиции нас можно было разглядеть как из Долины царей, так и из котловины Дейр-эль-Бахри, где работает Уинлок. Поэтому, если наверху вообще было что искать, работать требовалось быстро. Первостепенное значение, разумеется, имели расщелины.

В расщелинах на высоте потому и удобно устраивать тайные гробницы, что они и с тропинок на склоне незаметны, и с земли недоступны. Я послал Ахмеда обратно в долину, он отошел от скалы на достаточное расстояние и, маша руками, подавал сигналы всякий раз, когда я оказывался прямо над изображенной на моем рисунке расщелиной; продолжали мы до тех пор, пока я не расставил дюжину меток в тех местах, откуда позже будут спущены веревки, дабы я мог обследовать склон в подробностях. К этому времени наш рабочий день почти подошел к концу. Мы выступили обратно к берегу реки по тому же безопасному кружному маршруту, пропели друг другу «салаам!» и разошлись восвояси до завтрашней зари.

На патефоне вертится «Ничейная земля принадлежит мне, Отто».

Домино: фигура «змея» идет вверх и вниз по лестнице и завершается спиралью под моим главным рабочим столом. Стук костяшек привлек котов!

*Среда, 1 ноября 1922 года*

Мы с Ахмедом некоторое время спорили, как на высоте 300 футов наилучшим образом застраховаться от губельного падения, причем в его голосе звучали угрожающие нотки. Он заявил (не без плохо замаскированной спеси), будто является экспертом по вязанию узлов, оценил (по достоинству) мускулистость моего торса и тут же сослался на магометанское право, порицающее (я об этом не слышал, но он был непреклонен) презренное стремление летать, уподобляясь Пророку, вознесшемуся в Рай. Догма есть догма, и потому я с бешено колотящимся сердцем спустился на сто футов по склону скалы; драгоценное время утекало, а мои рабочие глазели, разинув рты, на то, как я, ушибаясь и вскрикивая, нисходил до Расщелины 1. Произведя посадку на освещенном гладком выступе, я обнаружил, что нахожусь на передней площадке пустой ниши, уходившей в скалу не более чем на четыре-пять футов. В ней не было никаких надписей, гончарных черепков, запечатанной или потайной двери. Я убедился в этом, битый час работая щеткой и ковыряя стены длинным металлическим стержнем, дабы проверить, не поддадутся ли они; но нет, передо мной была обточенная водой расщелина в скале и ничего более. Может быть, ее еще не касалась нога человека; может быть, меня опередили средневековые отшельники (впрочем, если бы они сочли, что данный насест слишком уж изолирован и уныл, я бы их понял), а то и древние архитекторы, в раздражении качавшие головами: в столь некачественной расщелине нормальной гробницы не выстроишь. Еще одно утро пропало впустую, что удручило меня до чрезвычайности.

Я начал карабкаться к вершине, что было весьма нелегко. Обнаружив выемку в скале, я помещал в нее ногу и давал себе передых. С дрожащими руками, выплевывая пыль, я дополз до самого верха. Ахмед, куря сигару, лежал под самодельным солнцезащитным пологом — натянутой на жердях просты-

ней гостиницы «Сфинкс» (с кошмарной эмблемой: грифом, сфинксом и коброй). Я выбрал его за леность и велел приготовить мне обед, который мы разделили, сидя в бледно-желтой тени. Между нами лежали чуть более темные тени простынных геральдических зверей. «Гостиница „Сфинкс“, — сказал неулыбчивый Ахмед по-английски. — Первый класс, Джек. Ты богатый землекоп, да?»

«Где вы выучили английский?»

«Я не говорю по-английски», — по-английски ответил он.

«Землекопами называют австралийских солдат, — объяснил я. — Я — англичанин, вы выбрали неподходящий термин».

«Ненавижу австралийцев, — спокойно сказал он по-английски. — Во время войны они были хуже всех. Даже хуже турок. Всех шлюхами делали. Ты англичанин, да, от англичан много бед, и французы... *тьфу!* — Ахмед сплюнул. — Американцы — я не знаю. Но австралийцы... Позор, позор!» Все это он сказал странно бесцветным голосом, поглаживая щетину у висков. Все-таки странно смотреть, как туземцы горюют и жалуются, терзаемые недоразумениями либо мелочами, значение коих людям Запада не объяснишь. Древних предков Ахмеда я понимаю куда лучше, нежели его самого, однако предки эти были сами себе хозяева, их не опекали никакие иностранные власти. Дабы воодушевить Ахмеда, я рассказал ему кое-что про Атум-хаду и его эпоху. Ахмед кивал, вроде бы осознавая важность того, о чем я говорил, вроде бы понемногу начиная гордиться людьми *своего* племени, *своей* историей.

Покончив с трапезой, я вновь перемахнул через край, напоследок узрев обнадеживающую картину: Ахмед, дергая за клинья и колья, угрюмо перепроверяет узлы.

На этот раз я спустился на выдававшийся гладкий уступ, располагавшийся примерно десятью футами ниже первой попытки, и наткнулся на куда более многообещающую нишу. Этот уступ бесспорно был прелюдией к вырубленной в скале холодной и темной камере приблизительно двадцати пяти футов в глубину. Камера начиналась после небольшого поворота вправо, так что даже птица, парящая непосредственно перед расщелиной, не уразумела бы, что камера глубока. Биение моего сердца участилось. Освободив себя от пут, я посмотрел вниз и задрожал в предвкушении: почти прямо подо мной было то место, где семь лет назад я нашел отрывок «С». Камеру явно прорубили люди (или по меньшей мере продолжили начатое природой) — совсем как недостроенную гробницу Хатшепсут. В данном случае, однако, хоть я четыре часа кряду ощупывал стены сверху донизу, истыкал их стержнем, уподобясь нетрезвому фехтовальщику, и осветил каждый дюйм мрака электрическим фонарем, можно было заключить лишь, что передо мной — «сухая скважина»: древний архитектор гробницы начал работу над первым помещением, а потом что-то ему пришлось не по нраву, либо царь передумал и в последний момент решил, что роскошная пирамида куда милее дыры в скале. Множество подобных разочарований только ждет момента, чтобы растоптать надежды распалившего себя мечтателя.

Немилосердно палившее солнце быстро опускалось. Я закрепил на себе веревку и призвал Ахмеда поднять меня вверх. Снова и снова повторял я мой призыв, подтягиваясь по веревке, стеная, задыхаясь и обдирая ладони, пока не выбрался на вершину и не обнаружил, что там нет ни души. Я собрал снаря-

жение, свернул простыню, сложил грязную кухонную утварь и, покачиваясь, сошел по склону вниз, где обнаружил запряженных ослов. Мои рабочие словно испарились.

Вечером второго дня я сижу на вилле Трилипуш и при свете лампы улыбаюсь весьма серьезной каблограмме от Финнерана (как и следовало ожидать, его ввел в заблуждение григорианский календарь: «ДЕНЬГИ? СЛИШКОМ РАНО ПОСЫЛАТЬ ДЕНЬГИ. НА ЧТО УШЛИ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ У ТЕБЯ БЫЛИ? УДАЧИ, Ч. К. Ф.»). Я представляю себе Атум-хаду, размышляющего над Парадоксом Гробницы, который явно озадачивал царя. Вот он дает слуге наказ обследовать склон скалы в Дейр-эль-Бахри и сообщить о местах, подходящих для гробницы; вероятно, слуге этому довелось побывать в тех же самых расщелинах, что и мне. Однако же Атум-хаду был особенным правителем, так что, возможно, и не было никакого слуги, ибо не следует забывать:

*Я — Египта единый владыка, Гора душа, сын Ра,  
Я — зачинщик любого пира, мне подчиняется Нил.  
Всякая женщина мне — наложница, всякий мужчина — раб,  
Равно рабы мне — каждый утес, бархан или крокодил.*

*(Катрен 23, есть только в отрывках «А» и «В»)*

При такой надменности и необходимости все держать в тайне можем ли мы довериться какому-то слуге? Или же его царское величество изволило ступить на скалу самолично либо в компании помощника, могущего после быть пущенным в расход? Вперял ли Атум-хаду взор свой в уединенные расщелины, заставляя обезъязыченных рабов одноразового пользования заползать внутрь этих расщелин и удостоверять сих расщелин пригодность?

Продолжу описывать свой день. Бригада обнаружила меня, когда я, упаковав вещи, ждал их подле ослов, готовясь предположить худшее. Однако Ахмед, с характерной ловкостью применяясь к обстоятельствам, сообщил мне на арабском, что его люди, в ходе длительного обследования поверхности скалы не обнаружив ничего особенного, продолжили разведку местности и стали наблюдать за тем, что происходило на участках Картера и Уинлока, потому-то Ахмед и спустился с небес, оставив меня в подвешенном состоянии. «Чтобы не раскрыли тайну вашей светлости», — добавил он по-английски, сохраняя все то же постное лицо. Этот человек может доставить мне массу хлопот.

Мы вернулись к реке нашим обычным путем. Ахмед отправился возвращать ослов и складировать снаряжение. Попрощавшись с рабочими, я двинулся к парому — и тут передо мной возник не кто иной, как сам Говард Картер. Он возглавлял караван тележек с горами лопат, рычагов, пылеуловителей и прочих игрушек (оргия неумеренности лорда Карнарвона!) и сквозь зубы по-нукал марширующих рабочих на арабском — с легким акцентом и той же величавостью, с какой говорил по-английски.

Мне не терпелось взяться за вечерние дела, однако же я втянулся в беседу с Картером и бодро зашагал с ним рядом. Он в последний раз на дню переправлял в Долину снаряжение, потребное для того, чтобы *шестой* год подряд продолжать все тот же бесплодный поход. Это вызов судьбе, если не сказать — безумие! «Что ж, удачи вам, несмотря ни на что, — поддержал его я. — Не теряйте надежды, старина!» Картер холоден и молчалив как рыба; между тем в этом году он планирует выкопать длинную траншею от гробницы Рамзеса

VI — как сообщил мне о том один из туземных рабочих. Чудачество да и только; в крайнем случае он замечательно потрудится, перевернув кучи песка, дав каждой песчинке шанс на мгновение узреть солнце да пополнив закрома крестьян удобрением, называемым *себах*. [17]

*Египет во времена возвышения Атум-хаду*: Атум-хаду пришел к власти во времена великой разрухи. Царство хворало, хирело, сохло по новой крови и новому предводителю. Цари-долгожители оставляли по смерти сомнительных наследников, слабосильных внучатых племянниц, которые дрожащими руками передавали мужьям ключи дрожащего царства. Царское богатство испарилось, все чаще запросы и развлечения настоящего оплачивали, закладывая будущее. Подножие династийного трона грызли внешние враги и самозванцы. В эти непростые времена появляется вождь, последний герой. Что же мы можем сказать о нем с определенностью?

Из входящих в «Назидания» стихотворений автобиографического характера мы знаем, что он был последним царем, ощущавшим, что смерть его повлечет за собой гибель всего Египта. Мы знаем, что он доверял одному лишь советнику, которого называл Владыкой Щедрости. Мы знаем, что его аппетиты к любви и насилию были равно неутолимы. Почти ничего больше мы сказать с определенностью не можем.

И все же, когда стоишь там же, где стоял он, смотришь на его Нил и представляешь конец его царства, надвигающийся по мере того, как гиксосские завоеватели приближаются к Фивам, его столице, нетрудно понять, что чувствовал этот смертный, алкавший бессмертия, царь обреченного царства, наследник пустоты, заполучивший бесславное настоящее, которое его предки полагали будущим, что можно закладывать снова и снова — до бесконечности. Но будущее оказалось небесконечным: настал некий день, конкретная дата, будущее, мерцая, растворилось в пустынном мареве, Атум-хаду остался один — и тут из пустоты возникло одно, два, четыре, десять, пятьдесят, сто, тысяча, десять тысяч копий, и наконецники их пронзали колеблющийся воздух над соседним барханом.

*Четверг, 2 ноября 1922 года*

*Дневник*: Утром осмотрено еще три расщелины, в итоге — пять. Процесс тормозится, потому что остальные с вершины скалы не видны. Мои люди вновь прошли по тропе, где я нашел отрывок «С», 200 ярдов в обоих направлениях, на сей раз изучая поверхность скалы медленнее и тщательнее. Дважды они обнаруживали подозрительно гладкие участки и, как им было велено, сзывали меня вниз; и оба раза после детального осмотра оказывалось, что перед нами — древний камень, отполированный ветром либо водой. Обедал с Ахмедом. Обсуждали Оксфорд, к которому он проявляет трогательный интерес. Полдень: еще две расщелины и одна ложная тревога — нам попался гладкий камень.

В эти дни возбуждение нарастает, множатся ложные посулы, переосмысливается происходящее. Задним числом будет казаться, что мы неизменно и непреложно шагали в правильном направлении; но покуда мы еще в пути, покуда шаги наши принадлежат не освященному прошлому, но настоящему, вполне может оказаться, что шлепаем мы по грязи, и летят окрест брызги со-

мнений, веры, отчаяния.

Я попрощался со своими людьми до завтра, направил свои стопы в город, чтобы проверить свежую *poste restante*, и отыскал там реликвию гибнущей династии, достойную того, чтобы приложить ее к дневнику:

*19 октября, Кембридж*

*Мой дорогой мистер Трилипуш!*

*Как счастлив я в Кембридже! После того как на прошлой неделе меня посетил заслуживающий доверия мистер Феррелл, я установил контакт с Оксфордом и сегодня, получив оттуда ответ, провел несколько счастливых часов в компании отца Вашей невесты, приятного, простого человека, который открыт для всего нового и моментально вникает в объяснения специалиста.*

*Если Вы удивитесь, узнав, что в Оксфорде считают, что Вы никогда и ничего не изучали под руководством профессора Векслера, Ваше удивление не сравнится с тем удивлением, которое испытал, узнав об этом, я. Этим своим удивлением, а также мнением о том, что Ваша экспедиция окончится ничем, я и поделился с мистером Финнераном. Вы вряд ли удивитесь, услышав об этом от меня, поскольку Ваше спекулятивное увлечение мнимым Атумаду никогда меня не впечатляло. Если Вы удивлены недостаточно, я не удивлюсь тому, что Вас удивит следующая новость: по получении разъяснений из Оксфорда было решено, что кафедра египтологии и, по правде говоря, почитаемый и бессмертный Гарвардский университет смогут замечательно существовать без того, чтобы Вы продолжали находиться здесь на сколь бы то ни было незначительных ролях. Примите мои поклоны за то наслаждение, которое Вы доставили нам Вашими непристойными переводами эротических апокрифов и историей Вашей фальшивой репутации. Всех Вам благ!*

*Остаюсь Вашим вечным ученым кошмаром,  
Клас тер Брюгген*

Многословие заговаривающегося безумца возмущает разум здравомыслящего: неужели тер Брюгген думает, что я не предам это его письмо гласности? Нет, мой дорогой профессор фальсификаций, нет, растлитель юношества, я его, разумеется, опубликую. Я опубликую его факсимиле на первой странице, чтобы все могли видеть вашу инфантильную, кривую роспись, я напечатаю письмо рядом с фотографией, на которой на фоне мумии Атум-хаду держу диплом о получении оксфордских степеней.

Тер Брюгген — наглядный пример для каждого из нас: человек, выдающий себя за ученого, привыкшего скрупулезно взвешивать каждый аргумент, доверчиво увлекся этим стихийным вруном, Ферреллом, человеком из ниоткуда, свалившимся как снег на голову. И ведь ложь, которую он с поспешностью заглотил, бессмысленна; что бы там ни было, утверждение «Ральф Трилипуш не был в Оксфорде» не имеет смысла. Пропали ли записи, было ли неправильно записано мое имя — неважно, кто и какую именно порчу навел на документы в сырых оксфордских подвалах; порча остается порчей. Испорченные документы не меняют действительности, они просто вводят в заблуждение тех, кто слаб умом.

Тер Брюгген ухватился за возможность уволить меня, что неудивительно, ибо я поставил свое место на Атум-хаду, и если этот ничегонезнайка желает

оправдать свое невежество, сославшись на ложь какого-то уголовника, мне ровным счетом наплевать. Но правда же — как нелепо состряпано дело! Пропали записи, значит, я никогда не учился в Оксфорде. Великолепно. И что с того? Я что, не разбираюсь в египтологии? Я не переводил стихотворения Атумхаду? Я не держал в этих вот руках отрывок «С»? Но все это *было*, и я *действительно* учился в Оксфорде, и никакая ошибка в записях этого не изменит. Если сегодня Оксфорд сторит дотла и не останется записей *вообще ни о ком*, будет ли это означать, что *никто* никогда не гулял по его прекрасным, увитым плющом залам, не завтракал в его ресторанах, устроенных прямо на крышах среди шпилей, не плавал по его беспокойным соленым озерам, не посещал вместе с донами и прокторами бои быков в ночь на воскресенье, не дрался голышом на зеленых лужайках в окружении городских девушек, которые подбадривают борцов и бросаются картофелинами? Неужто всеочищающего пламени будет достаточно, чтобы мир наполнился «оксфордскими» проходимцами и фальшивыми выпускниками?

Из безумных притязаний вероломного невидимки Феррелла рождаются все новые и новые абсурдные «истины». Если я не учился в Оксфорде, где же встречались мы с Марлоу? И как нам случилось откопать вазу, в которой хранился отрывок «С»? Если я не был его однокашником, как мы оказались в одном подразделении в Египте? Если мы с ним не пошли служить добровольцами, как я оказался в армии? История, пересказанная подобным образом, не имеет никакого смысла. Феррелл — полоумный.

Восстановление череды событий по запаздывающим письмам сводит с ума. Какой бы яд ни влил тер Брюгген в уши Финнерана 19-го числа, очевидно, этим и объясняются загадочные каблогаммы Ч. К. Ф. и промедление с финансированием. Я не знаю, кто такой *Феррелл*, но он по непостижимым причинам замыслил меня опорочить. Да, в кабинете тер Брюггена он преуспел — но тамошняя почва унавожена страхом и некомпетентностью. Ч. К. Ф. — орешек покрепче. О боже, М.

**КАБЛОГРАММА.**

**ЛУКСОР — МАРГАРЕТ ФИННЕРАН БОСТОН, 2 НОЯ 1922, 17.47**  
**МОЯ ДОРОГАЯ. УЗНАЛ, ЧТО В ЗАСАДЕ ТАИТСЯ ЛЖЕЦ, ЧУЖАК ПО ИМЕНИ ФЕРРЕЛЛ. НЕ ЗНАЙСЯ С НИМ, НЕ ВЕРЬ ЕМУ. НЕ ПУСКАЙ ЕГО НА ПОРОГ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. ТВОЯ ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ. РМТ.**

**КАБЛОГРАММА.**

**ЛУКСОР — Ч. К. ФИННЕРАНУ**  
**БОСТОН, 2 НОЯ 1922, 17.49**  
**ВЛАДЫКА ЩЕДРОСТИ. УЗНАЛ БОЛЬШЕ О ФЕРРЕЛЛЕ, ЛЖЕЦЕ С ЗАГАДОЧНЫМИ ПОБУЖДЕНИЯМИ. ВЫ МОЖЕТЕ СМЕЛО ПРЕНЕБРЕЧЬ ИМ И ВЗАМЕН СПОКОЙНО И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ НАШЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА. РМТ.**

*К Маргарет:* Я сорвался с места и дал тебе каблогамму, призывая не пускать Феррелла на порог. Уверен, ты так и поступишь, если уже не поступила. Он — таинственная Немезида, присланная меня извести, но мне не понять — кем, поскольку не понять — зачем. Пусть так; все равно он — Немезида шутовская и худосочная. И — о да, необходимая! Великих людей, дорогая моя, часто донимают подобные ему хулиганчики и безжизненные зложелатели. Эти надоедливые, грызуноподобные людишки движимы страстью разрушать, ибо

создавать они не умеют, Атум обделил их искрой, частичкой божественности, причаститься которой желают великие, — властью творить. И вот они, зеленая венами, цепляют нас зазубринами когтей, и понукает ими сатанинское стремление разрушать.

Если ты уже слышала ту чушь, которую он несет, — а ты, очевидно, слышала, поскольку он приходил к тебе в дом две недели назад, — мне тебя искренне жаль, ведь изрыгаемая им ложь обожгла тебя, едва ты подумала обо мне. Что должна была подумать ты, услышав безумное, невозможное утверждение — «Ральф не учился в Оксфорде»? Если ты поверила ему хоть на единое предательское мгновение — мне очень, очень жаль.

Маргарет, я сознаю — не такой уж я и дурак, в конце концов, — да, я сознаю, что в первые моменты тебя привлекли мои манеры и моя история: английский исследователь, голубая кровь, оксфордское образование, героизм военных лет... Я осознаю, что все это — краугольные камни твоего чувства. Но теперь, любовь моя, Феррелл предоставляет нам возможность стать сильнее, полюбить сильнее, глубже проникнуться друг другом. И ты, и я знаем, что мой *curriculum vitae*[18] — не лучшая и не большая часть меня. Если Феррелл прав, если никакого Оксфорда не было — что-нибудь между нами было бы иначе? Нет. Мои достоинства — лишь средство, что свело нас вместе, а вовсе не питательная среда, благодаря коей наша любовь продлится вечно. И если сбитый с толку Феррелл поможет нам это понять — великодушно скажем ему спасибо!

Вечер был ужасен, но сейчас я вновь ощущаю себя — собой. Значит, вот на что была похожа «дворцовая интрига», покуда она не превратилась из повседневной реальности в сухую формулировку в устах историка? Когда Атум-хаду не мог довериться царедворцам, когда во мраке крались заговорщики, когда возжелавшие трона обманщики подкупали поваров в чаду дворцовых кухонь, когда жрецы при зыбком свете факелов перешептывались, обмениваясь чудовищной ложью и обещаниями, — бурлил ли его желудок так, как бурлит сейчас мой? Пытался ли он схватиться с ускользящими разрушителями, когда мог вместо этого актом творения славить свое имя и бога-покровителя?

*Пятница, 3 ноября 1922 года*

*Дневник:* Я велел моим людям обследовать поверхность скалы на полмили в сторону пустыни. Осмотрел еще четыре расщелины, в наиболее перспективной есть следы человеческого присутствия, но — ничего определенного. Дважды рабочие находили на поверхности нечто, что требовало моего срочного спуска по тропе, но оба раза тревога оказывалась ложной. Вскоре мне придется рассмотреть возможность раскопок. Если все расщелины окажутся негодными и ничего не будет найдено на поверхности скалы, останется только заключить, что гробница Атум-хаду располагается в плоском дне долины, что повлечет за собой земляные работы, схожие с тем копошеньем, которое Картер развел по другую сторону скалы. Для того чтобы работа спорилась, потребуется сотня людей, если не больше. Без полной и недвусмысленной концессии от Департамента древностей работать будет невозможно.

*Суббота, 4 ноября 1922 года*

*Дневник:* Осмотрел еще пять расщелин. Велел моим людям заняться скоблением поверхности скалы до высоты в семь футов, охватив по 250 ярдов в одну

и в другую сторону от места, где был найден отрывок «С». Этот шаг неизбежен, и, я надеюсь, скобление принесет свои плоды. Боюсь, однако, что теперь обширное и плоское дно долины представляется более привлекательной маскировкой для гробницы Атум-хаду. В этом случае на раскопки может уйти куда больше времени, чем планировалось. Выдержат ли нервы моих компаньонов, если придется ждать еще год? Вероятно, мне следует познакомиться с профессором Уинлоком и обсудить с ним без посторонних глаз раздел земли, отданной Метрополитен-музею. Он не специалист по Атум-хаду и не намеревается им стать, и даже с неприличными фондами его музея Уинлоку за год не обработать больше определенной площади. Не исключено, что он приветствует идею стать пайщиком «Руки Атума, Лтд» — ибо в его собственные руки за последние месяцы перепало немного.

Пополудни. Спустился и обнаружил, что пропал Ахмед и один из моих людей. Они вернулись через час и рассказали следующее: пока я был наверху, пришедшие на участок родственники одного из рабочих поделились интересными новостями (родственники, разносящие слухи, — главная индустрия этой страны): Картер что-то нашел. Отсутствие моих людей (беспрестанное «салаам» и «тысячи извинений, лорд Трилипуш») объясняется тем, что они проникли на участок Картера, где выяснилось, что Картер нашел... ступеньку. Боже правый, да уж, действительно, ветерану раскопок есть что отпраздновать. Шесть лет убить на то, чтобы найти ступеньку! О да, он это заслужил, да и граф Карнарвон теперь поймет, что не все его деньги ушли в песок.

Дома отдыхал в обществе котов под музыку.

Заходили радостные Нордквисты, я разделил с ними ужин. Рассказал им подробно о том, как провожу дни, они поделились деталями своих туристических походов. Меня согрели их доброжелательные вопросы и интерес к каждому моему слову. Приятный сюрприз, чудесное средство для возрождения уверенности в себе.

### *Воскресенье, 5 ноября 1922 года*

*Дневник:* Посетил базар, переодевшись в туземный наряд (в нем выгоднее торговаться). Купил несколько сувенирных скарабеев, изготовленных мастером своего дела — выглядят они совсем как старинные. Продавец смело утверждал, что скарабеи сделаны при Тутмосе III. Чепуха, конечно; но Картера такой подарок от соратника по борьбе с докучливым песком наверняка развеселит.

Отважился въехать на осле в Долину, чтобы посмотреть на обнаруженную Картером ступеньку. Мне было не по себе, бросало то в жар, то в холод. Разумеется, если он что-то нашел, это замечательно.

Его смехотворно громоздкий лагерь разбит практически на гробнице Рамзеса VI. Найти самого Картера оказалось делом мудреным, ибо он был окружен множеством рабочих. Его внимание было привлечено, лишь когда я громко позвал его по имени. Он вышел из толпы, чтобы поприветствовать меня, отряхнул руки от пыли. Картер держал себя своеобразно холодно; когда, будучи окружен сотнями прислужников, купаешься в деньгах лорда Карнарвона, играть такие роли легче легкого. На одном шарме далеко не уедешь.

«Трилипуш, — сказал он, засунув в карман поднесенный мною дар, редкое первое издание „Коварства и любви в Древнем Египте“. — Что вас сюда приве-



ло?»

«Я прослышал, Говард, что вы споткнулись о ступеньку. Не возражаете, если я ее осмотрю? Профессиональная вежливость, коллегиальная оценка, все такое прочее...»

«Что, уже пошли слухи?»

«Вы же знаете, туземцев хлебом не корми, дай посплетничать».

«Понятно. Но на данном этапе принимать гостей мне кажется неуместным».

«Конечно, старина, если сюда хлынут толпы туристов и аристократишек, они только все испортят!»

Старый египтолог прав: немыслимо позволить гражданским наброситься на находку. Я направился на участок; там десяток коленопреклоненных рабочих просеивали через сита весь вырытый песок, складывали в пакеты заведомый сор и звали надсмотрщика, если обнаруживалось что-то вроде черепка. Прямо золотодобычные работы! Не научная экспедиция, а целая фабрика, капиталистическое «потогонное» производство. Археологическое циркачество. Неудивительно, что столько лет Картер потратил впустую. Просочившись наконец в эпицентр суматохи, я увидел там ступеньку, торчащую à la Атум, причем ступенька эта отличилась плодовитостью и бездарно размножилась: теперь уже под землю уходила целая лестница, упиравшаяся в каменно-мусорную стенку. Бог мой, вот это зрелище! Блестящее открытие. Вопросов нет, что уж тут скажешь.

«Тайник с награбленным хламом? — поинтересовался я у Картера, когда он меня догнал. — Древнее складское помещение? Зернохранилище?»

«Возможно, — согласился он. — Прошу простить меня, дорогой Ральф, впереди у нас — долгие дни работы, нужно убрать мусор и осторожно открыть все двери, какие найдем».

Отъезжая, я оглянулся. Картер был занят дюжиной дел сразу; достойное зрелище, особенно если недра у старины в том же состоянии, что и у меня. Выражения лиц его рабочих такие, каких моя подержанная бригада произвести не в состоянии. Конечно, несмотря на слабоумие, Картеру по-прежнему удается внушить окружающим, будто они невидимы и невесомы. Он, кажется, об этом и не догадывается; не иначе как с рождения его лицо непрерывно излучает слепящий свет, требующий от всякого, с кем он говорит, зажмуриться — да и как ему знать, что люди ослеплены, когда он на них не смотрит? Даже если сказать ему об этом, он, скорее всего, станет все отрицать. «Что? — скажет он, недоверчиво глядя в очередные прищуренные глаза. — Что вы имеете в виду? Что значит — я другой?..»

Мне нужно проветриться и проверить *poste restante*.

Письмо от моей невесты, отправленное 13 октября, двадцать три дня тому назад. Что случилось с тех пор?

По причине жесточайшей нужды длительно заседал в клозете. Патефон не помогает. Я в лихорадке.

13 окт.

Мой Ральфи!

Мой Владыка Египта, тут случилась куча странного.

Сегодня к нам приходила длинноногая ищейка по имени Гарольд Феррелл.

Искал твоего друга. Ты только послушай: он говорит, что у тебя есть друг, бедный австралийский мальчик, звать Полом Колдуэллом, египтолог-любитель, и жизнь у него была на самом деле ужасно-ужасно грустная и страшная. «Друг Ральфа?» — спросила я так, чтоб ему все стало ясно, а потом, чтобы он точно усек, я сказала ему, что на войне ты, конечно, был вынужден общаться с кем попало, но Пол Колдуэлл стать твоим другом не мог ну никак. Он тоже из Австралии. В смысле — ищейка. А еще он говорил с папочкой за закрытой дверью, я хотела подслушать, но быстро устала.

Такое ощущение, что ты уехал навсегда. Мне трудно понять, что ты там делаешь дни напролет в песках. Я забыла, каково быть с тобой рядом. Здесь похолодало, и от Инге никуда не деться, скучно-скучно-скучно. Иногда заходит Дж. П. О'Тул, приносит подарки, приглашает к себе. Шлет тебе приветы. Да, я чуть не забыла сказать, он попросил меня об одолжении. Он сказал, что я должна попросить тебя посылать ему «все-все-все новости» с раскопок, а не только папочке, потому что Дж. П. хочет быть в курсе. Прелесть, разве нет? Он прелестный человек, ты же знаешь, и еще он добрый-добрый.

Вот, вспомнила: я хочу, чтобы у тебя все получилось — и поскорее. Я думаю, ты — изумительный человек. Ты герой. Ты же знаешь, Ральфи, я правда так думаю, просто мне не нравится, что ты там пропадаешь так долго. Мне все это не нравится, и если после того, как мы поженимся, ты будешь опять ездить в экспедиции, я думаю, я поеду с тобой, или я буду ждать тебя в Трилипуш-холле с тучей друзей и слуг или в гостинице в Париже. Бостон — ужасно скучное место. Скотина ты, что бросил меня здесь одну и надолго. Папочка — скучный. Инге — жирная и скучная. И как прикажешь тут жить, пока с тобой там случается куча интересного? Я знаю, что «это все ради нас», и ты, когда вернешься, привезешь наше будущее, я знаю. И все равно. Папочка и Инге не дают мне шагу ступить, я тут как маленькая девочка. Я знаю, что они хотят для меня как лучше, но получается, что мне скучно так, что плакать хочется.

М.

Понедельник, 6 ноября 1922 года

Заплатил моим людям за неделю и отослал их домой. Работать не в состоянии.

Среда, 8 ноября 1922 года

Ночь. Три дня под хвост лихорадке и прочему. Когда наступает ночь, я ощущаю силы встать. Пока я болел, коты меня поддерживали, особенно Мэгги. Впервые с воскресенья плотно поел. Несколько дней спал урывками, борясь с тошнотой, и этой ночью, разумеется, не могу уснуть. Интересно, нашел Картер у подножия своей лестницы древний, давным-давно опустошенный винный погреб? Взберусь на сомнамбулического осла, проберусь в Долину и, узрев убитого горем коллегу своего на лестнице, ведущей к старинным мусорным урнам, утолю его печаль по шальным деньгам, кои он шесть лет просаживал в пустыне.

Позже: Облачился в туземный наряд. Заплатил мальчику на пароме, чтобы тот переправил меня через реку, и вскоре достиг залитой лунным светом До-

лины. Прогулялся по окольной тропе мимо гробницы Рамзеса VI, чтобы снова осмотреть драгоценный лестничный пролет. Обнаружил вместо него двух рабочих Картера, которые дремали на посту. Еще обнаружил кучу бульжников на том самом месте, где была лестница. И все. Если лестница тут однажды и имелась, если жара, одиночество, порушенные надежды и лихорадка не сподобили меня пережить бессмысленную галлюцинацию, значит, Картер не иначе как *перезахоронил* свою находку. Я обменялся с его рабочими «салаамами», поболтал с ними о том о сем. Мой маскарад безупречен. С их слов получалось, что Картер повелел своей бригаде рыть траншею в другом направлении, вокруг древних хижин строителей гробницы Рамзеса VI. Этот Картер — что за человечеще! Сколь изощрен! Рискуя осрамиться перед толстосумом из Тронутого Холла в далекой Англии так, как не срамился еще никто в истории египтологии (спешите видеть: шесть лет спустя — лестница с дырой в никуда!), он попросту зарыл глупый артефакт, сделав вид, что его и не было. А вы, мистер Картер, оказывается, ловкач. Интересно, какие еще скелеты запрятаны в шкафах вашего славного прошлого.

Обратно к реке я ехал мимо его особняка в Курне. Ставни на окнах были открыты, стены посеребрены луной. В гостиной (или это кабинет?) аккуратнейшим образом расставлены мольберты и книги — ни дать ни взять перевезенный в Египет уголок старой Англии. Ничего не могу сказать о том, какой Картер художник, — мольберт стоял обратной стороной к окну. Чайную посуду со стола Картер не убрал; без сомнения, он пил что-то крепкое, дабы стереть из памяти кошмарные воспоминания о том, как ему пришлось хоронить раскопанное, с 1890-х скрывать свои «ступеньки». Кто, не считая меня, узнал раньше времени о его «триумфе»? Скольким людям его рабочие сказали: «Да-да, сегодня лорд Картер нашел гробницу царя Тут-анх-Амона! Сегодня он нашел ступеньку, завтра найдет сокровищницу! Не забудь сообщить родственникам!» Бедняга Картер. Неудивительно, что чайная посуда стоит немытая.

С обратной стороны особняка мне открылась интригующая картина в зеленой оконной раме. Странное дело: он спал сном праведника; наверное, для того чтобы успокоиться и унять досаду, он заглотил снотворное, не иначе. Его очки в тонкой оправе покоились на тумбочке у кровати поверх читанной на ночь книги, обложка которой была того же цвета, что и у «Коварства и любви в Древнем Египте», и это не стало для меня сюрпризом; увы, прочитать название я не смог. Сам Картер лежал, укрытый белой простыней, под раскинутой сеткой. Свои старческие морщинистые руки он прижимал к шее, будто грызун, зарывшийся в преддверии долгой холодной зимы глубоко под землю. Не завидую я тому, что ждет несчастного впереди.

*Четверг, 9 ноября 1922 года*

*Дневник:* Потеряв из-за лихорадки и вспышки беспочвенных опасений три дня, я поднялся рано, подкрепился и готов работать. Самочувствие — превосходное. Выставил наружу завтрак для Мэгги и Рамзесов.

Верный Ахмед и его люди ждут, они рады видеть меня в добром здравии. Они приходили сюда каждое утро и уходили, лишь прождав несколько часов. Сегодня они рвутся в бой, и рвение их осязаемо и заразительно. Они смотрят на меня почтительно и с воодушевлением.

Я велел им продолжить скрупулезную расчистку поверхности скалы над

восходящей тропой. Наше продвижение обнадеживает, хотя продвижение без открытия может быть рассмотрено и как сужение поля возможностей — но я гоню от себя такие мысли. Осмотрел еще три расщелины. Осталось не так много, но, боюсь, нас ждут тяжелые дни.

Мэгги с котами разделили со мной ужин в столовой и провели вечер, с любопытством уставившись на патефон.

*Пятница, 10 ноября 1922 года*

*Дневник:* Раздал больше двух десятков сигар с монограммами Ч. К. Ф. своим людям в качестве *бакшиша*. Се — знак моей веры в рабочих. Много и удручающе часто толкуют о том, что Картер-де «пробуждает в своих людях преданность». Но в армии я усвоил, что «пробуждение преданности» — фокус для троглодита. Это любой может сделать кнутом либо пряником.

Сегодня осознал, что пришла пора задуматься, какими будут следующие шаги. Послал двух своих людей на ближние участки на дне долины, с тем чтобы они разметили кольями прямоугольник: 100 ярдов от склона скалы в ширину и 100 ярдов в длину с центром в том месте, где был найден отрывок «С». Если возникнет нужда рыть траншеи — мы будем к этому готовы. Спросил у Ахмеда, как быстро мы сможем набрать команду из ста человек и снабдить их всех орудиями для раскопок. Договориться о времени можно уже сейчас, что касается расходов — придется ждать реакции компаньонов. А компаньоны должны приготовиться оплатить работу бригады в полном составе. Я не склонен идти к Лако или Уинлоку с пустыми руками, однако замаскировать под дюны столько землекопов — дело попросту гиблое.

*Суббота, 11 ноября 1922 года*

*К рукописи:* Изменил дату в эпитафии на 11 ноября 1922 года! Назначая срок, я расщедрился на целых тринадцать дней!

*Дневник:* И вот сегодня нам улыбнулась госпожа удача. Когда я хотел уже было менять стратегию, мир озарился лучами света, и мы узрели больше, нежели кто-либо до нас. Я пишу эти строки поздней ночью на походной кровати под звездным небом рядом с гробницей Атум-хаду. Велел Ахмеду отослать каблогранму Ч. К. Ф. и накормить кошек.

Гром нашей победы все еще раздаётся в биении моего сердца, оно неистово и благоговейно жаждет насладиться каждым мгновением... так с чего же мне начать? На время дав отставку луне, вновь выкачу на небо солнечную колесницу — и проиграю наш день с самого чудесного рассвета!

Утро я провел, качаясь взад-вперед и обследуя две из оставшихся расщелин. Находясь на вершине скалы, я принужден был передвигаться едва ли не ползком, дабы не быть замеченным из Долины, что напоминает сейчас муравейник и изрыта вдоль и поперек бесцельными канавами. Я оставил Ахмеда наверху следить за веревками, велел двум людям на дне долины штыковать рыхлый грунт, а еще двое в это время неспешно и старательно расчищали склон вдоль тропы. Мои инстинкты меня не подвели.

После обеда, спускаясь к третьей за день расщелине, я думал о том, что моя чуть неполная опись их оказалась бесполезной. Хуже того, я не рассчитал длину веревки, не достал до дна углубления, на которое нацелился, и расстроился,

осознав, что придется возвращаться наверх и покупать веревку подлиннее, дабы завтра добраться до последнего ряда самых нижних выступов. Проклиная свою неподготовленность, я был на полпути наверх, когда услышал, что внизу исходят криком мои придурки, которым велено было в любых обстоятельствах быть тише воды и ниже травы. В тот самый момент на моих руках лопнули два волдыря, превратив мое восхождение в весьма болезненную пытку. Я призвал Ахмеда помочь мне — с очевидным результатом. Взглянув вниз, я увидел, что четверо моих рабочих все собрались в одном месте — футах в двухстах подо мной. Мне понадобилось двадцать минут, чтобы вскарабкаться на вершину. Сдирая кожу с ладоней, я поминутно смотрел наверх, где все не было Ахмеда, и вниз, на съезживавшуюся группу моих людей, явно мающихся от безделья. Я отдышал, туда-сюда качаясь. Карабкался и полз наверх, терзаясь.

Наконец я достиг вершины, не обнаружил Ахмеда и побрел вниз по тропе. Ахмед, как выяснилось, спускался, чтобы посмотреть, чему так обрадовались его собратья, и к тому времени, когда я дошел до основания скалы, прошло по меньшей мере три четверти часа.

Что, надо сказать, ничего не значит в сравнении с тем временем, которое мой друг провел в ожидании меня под землей! Что же мы нашли? Мой бог, чего только мы *не* нашли! Один из моих людей — имя ускользает из памяти, вечно я не могу отличить его от другого, возможно, они братья, — при скоблении склона обнаружил на уровне глаз небольшое вкрапление, гладкий беловатый камень, заглубленный на несколько дюймов в скальную породу менее чем в ста футах от места, где мы с Марлоу нашли отрывок «С». Аберрация, когда на нее обратили внимание, имела размер и форму большого пальца руки: продолговатый и совершенно плоский булыжник посреди неровной каменной поверхности и бурых наносов. Будучи крепко вмурован в скалу, он начал крошиться лишь от сильных ударов. Ровно из-за таких камней мои люди уже раз десять били ложную тревогу. Когда я прибыл на место, они пытались самостоятельно определить достоверность находки: долбили бурую скалу, поджимали белый камень стальным прутом, пытались поцарапать его поверхность. Они утверждали, что камень в три раза больше, чем кажется, и вывели меня из себя тем, что нарушили данные им указания в мое отсутствие ни к чему не прикасаться.

Я велел Ахмеду наново объяснить рабочим, как надо себя вести; за поврежденные находки никакого *бакшиша* не полагается. Осмотрев камень под увеличительным стеклом, я обнаружил на нем вроде бы повторяющиеся узоры — впрочем, пруты рабочих причинили камню такой ущерб, что утверждать что-либо я бы не решился. Белый булыжник вне всякого сомнения был совсем другой природы, нежели камень даже в футах над ним. Если он большой, то продолжаться может только вниз, между тем следов эрозии текстуры я не заметил. Послав рабочих снять с ослов вьюки с лопатами и щетками, я с удвоенным тщанием принялся работать. «Это оно, да? Мы уже рядом?» — говорит Ахмед; первая ласточка искренней заинтересованности!

Ни ужин, ни приход ночи не сказались на скорости, с которой я осторожно обрабатывал склон. К чести Ахмеда и рабочих нужно отметить, что, когда солнце садилось, они не сделали и попытки удалиться, хотя что было у них на уме — сказать трудно, за прошедшую неделю их арабский стал совсем уже

непонятным: нормальное произношение заменил невнятный выговор — кажется, они перешли на какой-то жаргон. Орудя множеством специально изготовленных долот и щеток длиной от полудюйма до фута и длиннее, я работал споро, будто хирург, проводящий виртуознейшую из операций. Искушение применить стенобитные орудия и динамит (как поступали наши предтечи десятки лет назад) следует оборотить, ведь мы несем ответственность за сохранность не только артефакта внутри гробницы (который лучше как можно быстрее передать музею или коллекционеру), но и первоначальной обстановки, мы обязаны описать ее и воссоздать для потомства. Ведь очевидно, что мы не ведаем границ собственного невежества. Никогда не знаешь, на что не обращаешь внимания, торопливо проламывая стену, которая кажется тебе обычной, не несущей никакого смысла стеной. Сохрани всякий камень и обломок, отметь взаиморасположение кирпичиков прежде, чем разбирать кладку; именно это отличает профессионала от расхитителя гробниц. И если я медлю с переходом к другим событиям дня, которому нет равных, то лишь для того, чтобы ты, мой нетерпеливый читатель, прочувствовал и исход волнения, и странное шествие Времени.

Ибо к моменту, когда было сделано открытие, Время пошло вразнос, оно растекалось во всех направлениях на любой представимой скорости, и вот солнце летит по небосклону, а ты ощущаешь, что только-только начал работать; что работе твоей никогда не окончится; что ты можешь сосчитать каждый свой выдох; ты в мельчайших деталях представляешь себе, что ждет тебя за этой дверью (а это, приоткрою завесу тайны, была, да-да, именно дверь!); ты можешь вообразить любой золотой браслет, и царский трон, и усеянные драгоценными камнями одежды, и алебастровый саркофаг, и кальцитовую голову на канопе с царскими органами. И более того: ты видишь, как жизнь твою застигает врасплох и переменяет одно лишь мгновение, ты видишь платье, кое твоя возлюбленная наденет на бракосочетание, и тусклый блеск золотой ленты вокруг шеи твоего господина, повелевающего тебе подняться с колен. Ты знаешь также, что почувствуешь, когда продвинешься вперед на один фут — но как долго предстоит идти по пути длиной в фут, ты не знаешь: которое из мгновений будет *то самое*? Который осколок вдребезги разбитого хрустального времени сольется с вечностью, став мостом между настоящим, прошлым, которому вскоре суждено проясниться, и предустановленным, неотвратимым будущим? Может быть, 10.14 утра 12 ноября? Или же эта минута отложится до 16.14, и лишь тогда твои друзья закричат от радости и любви?

Кто вослед мне вперит свой взор в златоблещущий мрак? Поэты, борзописцы, туристы? Пусть школьники рисуют милый картуш Атум-хаду на своих рисовальных дощечках, пусть начинают свой день с декламации вдохновенного царского катрена 7 (есть только в отрывке «С»):

*Побиты враги и унижен рок, и девочки к нам спешат,  
Чтобы сплясать, и Атум-хаду растегивает халат.  
Кольшутся груди, спадают одежды в самом разгаре утех —  
И хищная кобра Атум-хаду взмывает стремительно вверх.*

Сегодня ночью я был бы счастлив присоединиться к излюбленным торжествам моего царя, но не могу — за морем ожидает меня моя непорочная краса, моя будущая царица, и Наука, ревнивая любовница, требует, чтобы я, полуле-

жа на походной кровати под простынями, украшенными коброй, грифом и сфинксом, охранял свою находку от бандитов и завистливых коллег, которые не замедлят прибыть, как только разнесется молва, а она непременно разнесется, потому что современный египетский трудящийся по природе своей крайне свободолюбив. Я встречу их с верным «вэбли» (бандитов) и улыбкой в тишине (Картера).

О, как мне будет приятно! Путь Картера — не единственный путь; мое здоровое и энергичное «я» в десять тысяч раз полезнее его вальяжности.

Я забегаю вперед. Как уже было сказано, время шутит шутки.

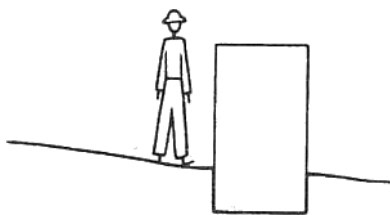
Итак, сначала мои люди увидели вот что:



**РИС. «А»**

**ДВЕРЬ «А» ГРОБНИЦЫ АТУМ-ХАДУ, КАКОЙ ЕЕ УВИДЕЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ 11 НОЯБРЯ 1922 ГОДА, КОГДА ТРУДОВЫЕ ПЕСНИ СТИХЛИ И ВНЕЗАПНО УСТАНОВИЛОСЬ ПУГАЮЩЕЕ, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ МОЛЧАНИЕ**

Местами дверь покрывал твердый, как кремень, земляной нанос толщиной в один фут и более. Но после нескольких часов работы долотом, щеткой и ситом перед нами возникла дверь — примерно пять с половиной футов в высоту и три фута в ширину (нужно послать Ахмеда купить линейку). Приблизительно на две трети высоты дверь возвышается над тропой на склоне и на одну треть скрывается под ней. После изматывающих часов нам открылось вот что:



**РИС. «В»**

**РАЛЬФ М. ТРИЛИПУШ У ДВЕРИ «А» ГРОБНИЦЫ АТУМ-ХАДУ 11 НОЯБРЯ 1922 ГОДА**

По получении перевода нужно заказать фотографическое оборудование.

Дверной проем совершенно девственный, совершенно нетронутый. Грабители никогда его не ломали, власти не реставрировали ни дюйма его поверхности. Что куда важнее, дверь не «запечатана». В том смысле, что на каменном блоке нет никаких намеков на картуши или символы царской власти, никаких следов профессионального охранителя гробниц. В мирные времена это было бы странно, но, учитывая то, что нам известно о последних днях Атум-хаду, безупречная непорочность двери — лишнее доказательство ее подлинности. Тот, кто закрыл эту дверь, кем бы он ни был, получил указание не оставлять снаружи отметок, по которым можно было бы определить личность

обитателя гробницы (что дало возможность определить его личность мне — точно и безошибочно).

Уместно вспомнить — конечно, если (а я в этом вполне уверен) сегодняшней ночью я пишу эти строки у гробницы Атум-хаду, — что его похороны совпали с концом XIII династии, концом всей культуры, религии, жизни, Египта, надежды, времени. И хотя всего сотню лет спустя XVIII династия восстанет из пепла XIII, воссоздаст Египет и обновит его сияющее величие (буржуазная реставрация, китч Нового Царства, шикарная, однако фальшивая имитация, плац, где гарцуют пузатые коротышки-андрогины, предмет исследования ученых тихонь), в тот момент, когда умер Атум-хаду, когда завоеватели-гиксосы объявили себя царями страны, которую они были не в силах постичь, когда варвары устраивали маскарады и оскверняли храмы, пытаясь поклоняться богам, которые их презирали, — ставить государственные печати на двери гробницы Атум-хаду, последнего из египетских царей, и хвалиться его усыпальницей не было нужды. На гробнице Картера, когда и если он ее найдет, будут сплошные печати с иероглифическим эквивалентом слов «Тут спал Тут»; дверь Атум-хаду, напротив, оставили пустой и покрыли слоем быстросохнущей грязи; царь в это время, не тратя ни секунды, спешил в загробный мир.

Ощупав дверь по периметру, я обнаружил, что она плотно примыкает к скале. Дверь толщиной по меньшей мере в фут должна выдвигаться наружу цельным блоком. Этим я займусь завтра и буду заниматься до тех пор, пока не сделаю все грамотно, как сделал бы Картер. Отдадим старому неудачнику должное.

Между тем, пока я сплю под небом Атум-хаду и сторожу гробницу, Ахмед и рабочие разошлись по домам, чтобы выполнить ряд ответственных заданий. Жаль, что я не могу, подобно царям древности, вырезать у них языки и положить на их вероятную безграмотность: задания должны быть выполнены, я не могу все делать один. Завтра они вернутся с веревками и упряжью, металлическими валиками, потребными для выкатывания двери, а также телегой с мягким настилом и брезентом, чтобы незаметно отвезти все перечисленное в мой особняк.

По правилам я должен связаться с Департаментом древностей, который вышлет инспектора по древностям, дабы тот принял участие в и установил надзор за надлежащим вскрытием, раскапыванием, расчисткой и каталогизацией гробницы, находящейся на территории моей концессии. Однако благодаря моему затянувшемуся гавоту с Лако я нахожусь в некотором затруднении и не вижу иного пути, кроме как продолжать начатое на свой страх и риск до тех пор, пока не пойму, какая помощь мне от него на деле требуется. Когда я это пойму, я вернусь в Каир и при личной встрече расскажу о найденных сокровищах. Я заполню все их бумаги, как полагается, заплачу умеренный штраф, подыграю им, когда они будут вымученно улыбаться и деликатно меня одергивать, и наслажусь сполна тем, как обстригают концессию Уинлока, дабы удовлетворить транспортные и исследовательские нужды экспедиции Трилипуша.

Завтра мы открываем гробницу!

*КАБЛОГРАММА.  
ЛУКСОР — Ч. К. ФИННЕРАНУ  
БОСТОН, 11 НОЯ 1922, 17.58*



*ВЛАДЫКА ЩЕДРОСТИ, ПОБЕДА! НАХОДКА ДАРИТ НАС СВОИМ СИЯНИЕМ.*

*ОБЕСПЕЧЬТЕ ПЕРЕВОД К 22МУ. ПРОМЕДЛИТЕ С ПЕННИ — РИСКУЕТЕ ПОТЕРЯТЬ ГОРЫ ЗОЛОТА. РМТ.*

Правду сказать, я покупал для вашей тетушки подарки. Самые обычные. Конечно, я их все записывал на счет фирмы, ведь Маргарет была главным источником информации. И она, скажу вам, принимала их все, ни секунды не мешкая; я же не был ослом. И вот пришел день, когда я решил приоткрыть карты, поведать о своих намерениях. В то самое утро, когда я раздумывал, как бы это сделать, меня, так сказать, призывают ко двору — Финнеран получил вести из Египта.

— Взгляните-ка, Феррелл, — сказал он, толкнув меня в кресло. — Кажись, мы с вами оба заблуждались насчет этого парня, и это — хорошие новости! — Он показал мне телеграмму от Трилипуша: этот черт нашел свою гробницу, или притворился, что нашел, и теперь его команда ее открывала, блеск драгоценностей, золотые горы... — Видели бы вы лицо Мэгги, когда я ей это показал! — сказал Финнеран, возбужденно размахивая телеграммой.

От возбуждения он не мог усидеть на месте, прыгал по кабинету, предлагал мне выпивку, которую держал под столом. Он никогда не говорил про свои опасения Маргарет... никаких упоминаний об Оксфорде... он умоляет меня... нет, он мне приказывает... Тогда я понял: ежели он в чем уверится — разом превращается в крепкого старого чертяку. Так вот, он мне приказывает поступать так, как он велит, потому что его решение ныне «реабилитировано».

Финнеран так обрадовался, что собирался возобновить перекачку денег, которую прикрыл, когда пришли новости из Оксфорда.

— Вы уверены, что это мудрое решение? — спросил я. — Коли Трилипуш врет, а у нас есть некоторые основания это подозревать, вряд ли телеграмма что-либо доказывает.

По-вашему, Мэйси, я поступил дурно? Он попросил меня присматривать за дочерью. И я сказал то, что сказал, не из личной выгоды, а потому, что таков был мой искренний совет. Я ошибся. Мое самое первое впечатление о Финнерановых потребностях оказалось верным: жаждал он вовсе не искреннего совета. Он перестал даже разжигать сигару и обернулся ко мне. Абсолютно неожиданно он рассвирепел, я никогда его таким не видел, хотя должен был предполагать, что он именно таков. Я сбежал из его кабинета и его дома, желая никогда не встречаться ни с ним, ни с его дочкой, которая жрет опиум что твои конфеты. Клиент был потерян. Я нацелился на Египет.

Такие решения принимают влюбленные придурки, Мэйси, даже детективы — хотя кому, как не им, держать голову в холоде? Когда тем же вечером она появилась в моем отеле и принялась со смехом рассказывать, как легко сбежала из дому, и про своего сторожевого датского дога, я охотно пошел с ней; мы шатались по джаз-клубам, по бостонским кварталам, где наши лица были единственными белыми среди моря черных, потом в район, где улица за улицей жили одни китайцы, потом — обратно к Дж. П., там она все время пила за триумф жениха. Да, в ту ночь она веселилась, даже не притронулась к опиуму и не переставая пела дифирамбы своему Трилипушу. Яснее ясного, как я ни старался, ей было на меня ровным счетом начхать. Она напивалась, я платил (а точнее, платило бессмертное предприятие мистера Дэвиса). Ожере-

лье я засунул в карман.

В ту же ночь, коли я правильно помню, я повстречался с загадочным Дж. П. О'Тулом. Уверен, вы слышали имя О'Тула, Мэйси, оно обесславлено перестрелками ганстерских банд в конце 20-х. Но в те времена он среди прочих делишек держал клуб, снабжал вашу тетю опиумом и был одним из инвесторов египетской экспедиции. Спустившись к нашей кушетке (видимо, для того, чтобы узнать, почему Маргарет не идет наверх за порцией наркотика), он протянул мне два пальца для рукопожатия. С теми, кто осмеливался заговорить с ним, он вел себя как французский аристократ, однако Маргарет он посадил на колени и стал ее качать, называя своей озорной крестницей. От такой распущенности кровь моя закипела. И все же я не сказал бы, что О'Тул был плохим парнем, поскольку, Мэйси, прошло совсем чуть времени — и он оказался в числе наших клиентов.

С моей помощью она в то утро вернулась домой перед самым восходом солнца. Мы остановились в общественном парке у ее дома. Я был готов сказать ей все. Я собирался ей сказать, что Трилипушу она нужна только из-за ее денег, что он никогда не учился в Оксфорде, зато там училось множество его друзей-извращенцев, они-то и подделали ему дипломы. Я как раз надумал, с чего начать свой рассказ: с английского беспутного дворянчика, содомиста, который прикончил своего любовника и невинного австралийского солдата. Я хотел высказать ей все ради ее же блага, вот как. И я надеялся — нет, я *знал!* — что, когда я скажу ей правду, она будет мне благодарна, скажет мне «спасибо», наконец увидит меня в новом свете, в котором не видела меня потому, что ее ослепляло Трилипушево вранье. Она сказала:

— Доброй ночи, Гарри.

Я молчал. Она направилась было к воротам дома, не заботясь о том, увидят ее или нет. Потом обернулась ко мне и сказала:

— Нет, ты только представь себе! Мой герой — он нашел сокровища! Правда, здорово? — И ушла.

Лишь тогда я позвал ее по имени, но очень тихо, и тут ворота захлопнулись. Я все еще слышу этот звук. Тут в нашем доме престарелых тоже есть ворота — между так называемым садом и чем-то вроде сарая, где стоят мусорки. Когда уборщики вываливают из них мусор, и окно открыто, и стоит такая особенная погода, и воздух так особенно пахнет, тогда щеколда этих ворот тихо звякает — и я вспоминаю вашу тетушку так ясно, хоть плачь. Она вам наверняка об этом рассказывала.

*Воскресенье, 12 ноября 1922 года*

*К рукописи:* Вчера был День перемирия, самое время вспомнить наших братьев, павших на Великой войне, и подумать с благодарностью о выпавшем большинству из нас счастье вечно (надеюсь) жить в мирное время. Написать тут что-нибудь о Марлоу и обо мне: я прощаюсь с ним перед отбытием в Турцию, Марлоу обещает хранить отрывок «С» до моего возвращения, предается воспоминаниям о нашей беззаботной оксфордской молодости, благословляет меня на битву, я отбываю, с оптимизмом думая о вечном партнерстве, я скорблю по возвращении из Турции и т. д., и т. п.

*Дневник:* Ахмеда словно подменили, он улыбочив и то и дело кланяется, и

рабочие следуют его примеру. Что в высшей степени отрадно. Они приехали на заре и доложились: каблогаммы разосланы, кошки накормлены. С собой они привезли целый поезд рабочих инструментов; впрочем, до того, как наше приключение закончится, я должен буду съездить в Каир за кое-каким дефицитным научным оборудованием. Вдобавок, если я опять буду спать на свежем воздухе, следует вечером послать кого-нибудь за москитной сеткой. Руки мои напоминают отцовские рельефные карты с Гималаями.

Мы сразу приступили к делу: вогнали клинья сначала под дверь, а затем и по всему ее периметру, одновременно удаляя с камня земляной нанос. Работа изматывающая; к обеду мы освободили от земли полосу скалы шириной около фута вокруг блока, однако дверь сидела в проеме все так же плотно. Мы заключили, что нам остается только пропустить по низу и бокам блока веревки и затем, придерживая его двенадцатью руками, не повреждая микроскопические надписи, незаметные через мои лупы, опустить дверь передом на настил, под которым помещаются валики, чтобы потом напрямую соединить веревки с ослиной упряжью. К делу!

17.00 — я в состоянии различить зазор там, где верхняя грань блока примыкает, вероятно, к потолку, ограждающему пространство за дверью. В этот зазор я вгоняю первые клинья, забиваю их в открывшуюся узкую щель и осторожно выжимаю дверной блок из проема. Вот один из первых клиньев проваливается во тьму; услышав, как он ударяется о камень, все мы задерживаем дыхание. Еще чуть-чуть! Я ввожу стержень туда, откуда выпал клин (куда мы уже проникли бы, если бы не проклятый нью-йоркский Метрополитен-музей, если бы у нас было достаточно рабочих, если бы нас не вынуждали таиться, как татей в ночи!). Дабы убедиться, что из щели не сочатся ядовитые газы, подношу к ней свечу. Отверстие слишком узкое, чтобы в него заглянуть, фонарь в щель не входит, посему, невзирая на желание увидеть хоть что-то, объявляю перерыв — пусть рабочие отдохнут. Они жуют лепешки с ююбой, молчат, улыбаются всякий раз, когда ловят мой взгляд.

19.30 — после часа изнурительного вытягивания дверь наконец поддалась, я могу опустить в гробницу маленькую свечу и разглядеть помещение. Поначалу зрение мое не может приспособиться к темноте и расплывчатому, неколебимому никакими воздушными потоками световому конусу, сужающемуся к фитилю, и я пока не вижу того, что надеюсь увидеть (тени, отблески металла). Долгие мгновения все мы, затаив дыхание, ждем. «Что вы видите, черт вас дери?» — бормочет Ахмед на английском. «Бессмертие!» — говорю я (заменить в эпиграфе Абдуллу на Ахмеда, хоть этот мерзавец и не заслуживает того, чтобы его имя вообще упоминалось).

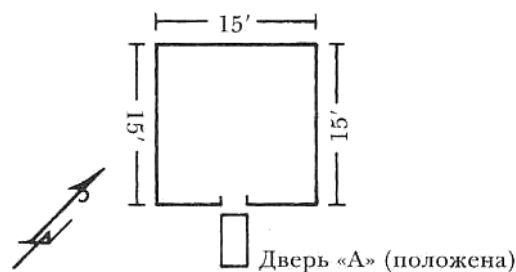
Пространство наконец проясняется: сухие белые стены, такой же точно пол, более ничего. К ночи мы смогли высвободить дверь из проема настолько, чтобы завтра, выспавшись, с новыми силами ее опустить. Уполномочив Ахмеда нанять еще рабочих, я отослал людей домой.

*Понедельник, 13 ноября 1922 года*

*Дневник:* 11.00 — Ахмед сегодня прибыл к 8.30 — припозднился, зато привел с собой шесть человек. Пятерым я выплатил жалованье за весь срок, два новичка получили деньги за сегодняшний день. Мы только что опустили дверь на крытый настилом транспорт, разом почти расплющив валики. Дверь, по

нашему единому мнению, весит, должно быть, около 2000 фунтов, мужчины, осторожно ее опуская, перенапряглись, двое новичков уковыляли, не в силах выпрямиться и схватившись за спины. Но вот работа сделана — и я тотчас шагнул вниз, в мою камеру, с электрическим фонарем. Смакую горячий, вязкий, застоявшийся за 3500 лет воздух. Дверь располагалась по центру одной из стен камеры, которых всего четыре, каждая стена — приблизительно 15 футов в длину и около семи футов в высоту. Все поверхности единообразны, из гладкого желто-белого камня. Что до предметов, стенных украшений, скульптурных групп, отпечатков ступней, богов-хранителей, стенных надписей — возможно, при последующей описи выявится то, что я один, с единственным фонарем, сейчас не в состоянии узреть. Пока же, исходя из увиденного, в порядке предварительной гипотезы осторожно предположу, что здесь всего этого, наверное, очень мало, и нельзя исключать даже вариант, что ничего из этого тут попросту нет.

Я пишу эти строки, стоя в помещении, которое в настоящий момент вынужден называть «Пустой Камерой» гробницы Атум-хаду. План ее таков:

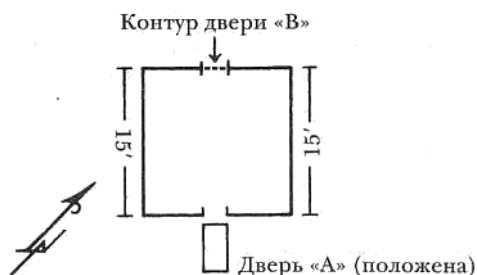


**РИС. «С». ПУСТАЯ КАМЕРА**

Несмотря на мои недвусмысленные приказания, обнаружил, что в Пустую Камеру вошел Ахмед. «Вон! — закричал я. — Это место не терпит любителей». Он не сдвинулся с места, вообще не обратил на меня внимания, просто осветил фонарем стены. Я увидел, как его жалкий умишко наводняют предвзятые идеи. Вздохнув, он картинно шагнул назад. Ему-то какая разница? При временной оплате чем медленнее движется дело, тем лучше. «На сегодня все, отправь людей по домам, — сказал я ему вдогонку. — Тебя и еще четверых жду завтра на рассвете». До конца дня мне следовало предаться размышлениям и провести скрупулезный анализ помещения.

Сейчас уже ночь. Я не сужу Ахмеда строго. Я тоже мог бы отчаяться и написать здесь вместо слова «успех» — «разочарование», не будь я осведомленнее его. Читатель, вдумайся: невежество Ахмеда и его детское, предсказуемое раздражение есть наилучшая защита, которую могли только измыслить архитекторы гробницы Атум-хаду. Я лежу на походной кровати при мигающем свете лампы — и ясно вижу назначение этой камеры. Представьте себе расхитителя гробниц в древности. Хотя нам абсолютно точно известно, что именно в эту гробницу расхитители не проникли, у архитекторов определенно имелся на их счет свой план. Итак — представьте себе архитектора, который готовится к встрече вора. Что до вора, вообразите человека вроде Ахмеда, который со своими подлыми дружками предпринял титанические усилия, дабы проникнуть за неподъемную дверь, о которой они узнали случайно либо хитростью. Добравшись до места окольными тропами, дабы не попасться на глаза каким бы то ни было властям, они наконец вламываются в переходную камеру последнего владыки Нила — и встречает их насмешливое извинение в виде пустой

комнаты: «Здесь, каторжник, тебе ничего не светит, грабительствуй в другом месте». И никто, кроме остроглазого поделщика, не заметит слабый абрис на задней стене — контур еще одной двери, при всем желании почти необнаружимой, однако бесспорно имеющейся. И даже Р. М. Трилипуш, по праву ставший царекоткрывателем, не замечал его до 20.00. Его рабочие ушли, а сам он пребывал в некоторой тревоге.



## РИС. «D». ПУСТАЯ КАМЕРА. ИСПРАВЛЕННЫЙ ПЛАН

Филигранная работа долотом и щеткой, несколько забитых клиньев — и никаких сомнений не остается. Завтра мы проникнем еще глубже в замечательный лабиринт, сотворенный для нас нашим господином Атум-хаду. Его загадка, в свою очередь, является решением другой загадки, над которой ломал голову сам царь, остроумнейшим решением ужасающе запутанного, сложнейшего Парадокса Гробницы за всю историю этой фантастической страны!

Вспомним катрен 78 (есть в отрывках «А», «В» и «С», из книги «Коварство и любовь в Древнем Египте», «Университетское издательство Гарварда», 1923 г.):

*Ни пес, зорчайший из салуки, ни сокол не увидят, нет,  
Как в рот и зад имею я Изиду по-грубому, без слов.  
Маат меня целует влажно слева, а справа — грудь Сехмет,  
Воры, предатели, враги пройдут над нами,  
ослеплены безмерностью песков.*

Замечательное, лучшее описание как Парадокса Гробницы, так и утех подземного мира! Да, древнего счастливца, если бы он нашел вход в пристанище Атум-хаду, ждала обескураживающе пустая камера, скорее всего, кем-то уже очищенная. Выдвинем здесь гипотезу, как именно был разрешен в данном случае Парадокс Гробницы: предположим, человек, который запечатал вторую, внутреннюю дверь (дверь «В»), был по приказу Атум-хаду убит человеком, запечатавшим позже дверь «А», а тот, в свою очередь, пал жертвой третьего человека, который не знал ничего ни о местонахождении гробницы, ни даже о том, что стоит за убийством, которое он подрядился совершить. После смерти Атум-хаду в мир иной отправляются два человека, никак не связанные с царем, даже исполнители ни о чем не ведают; вряд ли хоть кто-то хватился этих двоих, когда на Египет пала тьма.

Завтра мы проникнем в царскую усыпальницу и прервем череду ненасытных наслаждений, которым Атум-хаду предается со своими вечными любовницами. Этой ночью, забывшись сном в Пустой Камере, я почти слышу его ровное дыхание: утолив страсть, он знает, что его приказы исполнены, люди умерщвлены, концы схоронены; что его женщины будут ублажать его всегда; что он перехитрил саму нашу злопамятную родительницу — Время.

*Вторник, 14 ноября 1922 года*

Ахмед вернулся, ходит пристыженный и довольный, что нашлась дверь «В». «Мой господин Трилипуш, ваш соколиный взор, ваш собачий нюх, сердце, что никогда вас не подводит, — пример для всех нас, вы олицетворяете собой все, чем англичане одарили Египет...»

Невзирая на колеблющийся свет фонаря и потогонный зной, мы снова взялись за работу и наметили контур второй двери. Мы проверили и перепроверили ее на предмет печатей, надписей, любого рода знаков и, к моей вящей радости, не нашли ровным счетом ничего; тем самым моя гипотеза относительно предназначения Пустой Камеры лишней раз подтвердилась. Я позволил каждому использовать увеличительное стекло, и шесть раз мы сказали одно и то же: пусто.

Сейчас двое из моих людей стоят на страже у входа, еще двое отправились, когда в том возникла нужда, за водой и снаряжением, а я бережно и аккуратно работаю долотом. Ахмеду, чтобы он перестал слоняться взад-вперед, будто нервная старуха, я велел держать фонарь.

Абрис двери углублялся и прояснялся стремительно, словно желтоватая стена ее почти и не маскировала; мы все глубже погрязали в деяниях ожидавшего нас царя. Нам определенно необходим лом, и не один; кроме того, пол Пустой Камеры от тропы и до второй двери идет под уклоном вниз, а потому нам, скорее всего, понадобятся колесные носилки, притом прочные, чтобы возможно стало извлечь из гробницы вторую дверь, положив ее набок и протащив сквозь дверной проем «А»; когда-нибудь Департамент древностей решит вернуть ее на место и оставить приоткрытой *in situ*, [19] дабы затрепетали от волнения туристы-пуристы.

Приняв во внимание все эти осложнения и уверившись в том, что препятствие в виде двери «В» для воров неодолимо, я оставил рабочих сторожить вход и спать в Пустой Камере под простынями с грифом, коброй, сфинксом и «ГОР ПОЖИРАЕТ», а сам вернулся в город. Интересно, какова семейная жизнь у этих людей, если их не ждут дома и они готовы по первому требованию заночевать в пустыне?

На почте — письмо от моей невесты, отосланное двадцать четыре дня назад (целую жизнь назад, до нашей находки!) и каблограмма от Владыки Щедрости, доказывающая, что он достоин своего титула не менее любого другого, кто этим титулом обладал: «ОЧЕНЬ ХОРОШО! СООБЩИ ПОДРОБНОСТИ. ПЕРЕВОД В ПУТИ». Закупил ломы, провиант и т. д.

Сейчас, удалившись от гробницы, я сижу в сумерках на террасе виллы Трилипуш с антималярийным коктейлем в руке и мурлычущей Мэгги на коленях, слушаю патефон и думаю о том, что же увижу за дверью «В». Светит фонарь, тени ложатся на белые стены, дверь позади нас, от изумления мы выпускаем ломы из рук... Завтра!

*21 окт.*

*Привет-привет, Ральфи!*

*Пока ты там охотишься за чернокожими девочками в касбах (да, сэр, я тут недавно ходила в синематограф и теперь точно знаю, с чего это тебя, мой нечестивый Шейх, понесло в Египет и Аравию), я не желаю сидеть сиднем*

и слушать нудятину Инге про суровые зимы Исландии, понятно вам, мистер?

Мне удалось-таки выскользнуть на пару ну просто здоровских вечеринок в заведении Дж. П., ты бы это, я знаю, точно не одобрил. Хотелось бы мне знать, что именно ты бы не одобрил: заведение Дж. П. или меня на здоровской вечеринке? Если честно, если б ты видел, как мне тут приходится, ты бы подумал, что меня уперли в тюрьму или что-то в этом роде.

Может, тебе будет интересно узнать, что Дж. П. познакомил меня со своим другом, как там его зовут, на языке вертится, а, вот: Корнелиус Мэйси. Ну вот, этот Корнелиус на меня запал, да, а еще он так танцует! Мы познакомились во вторник, и он появляется уже четвертую ночь подряд. Дж. П. тут обмолвился, что у этого парня Корни денег ну просто завались. Одевается он точно как магнат. Мне нравится, когда меня заваливают деньгами, да-да, мистер Трилипуш, вот так-то!

Остынь, британшечка. Он для меня ничего не значит, ты — мой единственный, мой исследователь, мой Герой.

Ищейка тоже со мной любезничает. Не знаю, что и думать. Я тебе прямо скажу, там и смотреть не на что. Дня через два после того, как он появился, я собиралась пойти на девичник, ну как раньше, вышла из дому, смотрю — ищейка стоит, меня поджидает и говорит: «Пошли, я тебя угощу». А девочку не нужно приглашать дважды.

Что ты привезешь оттуда своей Царице? Знаю, знаю, гробница под завязку набита драгоценностями, которым миллион лет. Египетские украшения сейчас в моде, это здорово. Только не надо ничего б/у и с плесенью. Понимаешь, Ральфи, девочка не будет носить на шее музейный экспонат, это я тебе говорю.

А ищейка — там, и смотреть не на что. Волосы цвета морковки, кожа в рытвинах. Правда, он меня стесняется, в глаза мне смотреть не может. Это верный знак — значит, втрескался по уши. Ты, мой Герой, тут исключение, ты когда рассказывал свои грязные стихи, глядел на меня прямо-прямо. А этот — он провожает меня в заведение Дж. П., когда мне охота, когда становится скучно и надо ночью повеселиться, и он трогательный, как щенок. И вот что я тебе скажу: он говорит, что ищет какого-то австралийского мальчика, а на самом деле интересуется тобой. Мне кажется, он еще и потому интересуется, что хочет узнать, свободно ли мое сердце для нового парня. Нет, Ральфи, не волнуйся — и приезжай быстрее домой! Я тебя совсем задразнила, да? Но ты посмотри на все моими глазами. У тебя там приключения. А со мной обращаются, как с заключенным, — только потому, что я сейчас крошечную чуточку нездорова.

Интересно, ты уже нашел сокровища? Как думаешь, стены гробницы Атум-хаду — они какие? Если вспомнить его стихи — ум за разум заходит, сразу становится ясно, что в его гробнице наверняка есть на что посмотреть! Даже и не думай, мистер, или по крайней мере отложи эти мысли до возвращения. Я тебя жду не дождусь, Герой, чиста, как первый снег.

Но ты так далеко, так далеко от меня — ужас, да? А я с той минуты, когда ты прыгнул на корабль и помахал мне шляпой, не получила от тебя ни строчечки. Я засыпаю, представляя, как ты читаешь мне стихи царя — порочные, страстные. Иногда я просыпаюсь и вижу, что Инге читает твою книгу. Немудрено.

Как долго ты там еще пробудешь? Здесь скучно, это ты виноват. С тобой мне ни разу не было скучно, даже когда мы смотрели на скучное старое разломанное кресло фараона в музее. Пришла пора что-то менять, Ральфи. Я хочу замуж. Я заслуживаю лучшего, разве нет? Я заслуживаю того, что ты мне обещал. Мне тут больше не нравится, не нравится Инге, не нравится сейчас даже папочка.

Так-то вот!

М.

Среда, 15 ноября 1922 года

Встал затемно.

Рассвет застал меня на участке; с собой я принес провиант, воду, еще два электрических фонаря. Легкими пинками разбудил своих людей, уютно расположившихся в Пустой Камере.

И вновь в пролом! Устанавливать рычаги, вставлять клинья, пытаться ввинтить крюки, напрягать позвоночник, прикатывать обратно нерасплющенные валики, выслушивать жалобы рабочих (чем ближе цель, тем громче жалобы) на скользкие веревки, от которых их ладони покрылись волдырями (забыл купить им перчатки), тянуть влево, толкать вправо.

Обед. Мне нужна тяжелая техника, которую я не могу купить и открыто привезти на участок. Как обойти этот упрямый угол, из-за которого дверь словно тяжелее? Может быть, мне следует относиться к находке менее бережно и попросту разбить дверь на мелкие кусочки. Но на это я не пойду при всем желании. Мы расчищаем, дабы сохранить.

Наше продвижение вперед — каторжное, на фоне недомоганий, кровоподтеков и адски болезненных лопнувших волдырей оно почти незаметно. В сумерках я отослал рабочих по домам и рухнул на походную кровать, кожей ощущая переменчивые сквозняки и ветренное тепло Пустой Камеры.

Четверг, 16 ноября 1922 года

К Маргарет: 3.30 утра, пишу при свете лампы. Проснулся оттого, что ломило все тело. По ночам я уже не могу спать дольше четырех часов, и сон мой беспокоен. Думаю о тебе, кошмарно далекой, моей сладкой, моей верной — вопреки всем невздам, невзирая на твой странный мир, сотворенный отцовскими деньгами, и мглу медикаментов, и тревожные скачки настроения, и эксцентрика Феррелла с его попытками отвратить тебя от меня, и докучливую компанию Инге, которая, я склонен согласиться, действительно могла упасть в объятия твоего отца.

Дневник: Полдень. После нескольких часов работы дверь на волосок тронулась с места и с каждым новым рывком сдвигалась еще на чуть-чуть. После полудня я могу заглянуть в щель: там золото, в этом нет никаких сомнений, оно сверкает, практически отражаясь в моих испуганных глазах. Перед последним заходом позволил людям малость отдохнуть. «Почему не кувалдой?» — спрашивает Ахмед по-английски, и я в изумлении вижу, что он серьезен. Невероятно, но эти люди не понимают, что мы делаем ради их же блага! Начал было объяснять ему основы археологии, но все-таки надо беречь силы, к тому же его все это явно не слишком интересует.



*Четверг, пятница и суббота, 16, 17 и 18 ноября, записано в субботу, 18 ноября 1922 года*

*Дневник:* Прорывы и временные, ничего не значащие отступления. Мучительно больно.

16-го, еще час провозившись с ломами и веревками, мы одержали пиррову победу, оказавшись в описанной выше ситуации. Ахмед оказался строгим и полезным бригадиром, он прочел на моем лице незыблемую уверенность и проникся. После перерыва мы принялись работать еще исступленнее. Сейчас я понимаю, что требовать от нас такой самоотдачи было ошибкой. Мы с Ахмедом посередине тянули за веревки так, что наши перчатки раскалились до красна, по двое рабочих с каждой стороны от двери изо всех сил налегали на ломы — и тут, к моему стыду, случилось то, что случилось: сначала мы услышали звук, ужасный звук, с которым поток событий разрушил плотину научного контроля. Уши суеверных (а иные из нас были таковы) вняли оглушительному воплю из прошлого, коий сопровождался натиском горячего воздуха (наверное, они подумали, что это сердитое дыхание Атум-хаду), а также моим скорбным восклицанием на английском; тут массивная дверь накренилась, с треском упала на твердый пол и разбилась на мириады мраморных осколков, разлетевшихся во все стороны подобно шрапнели; послышался крик — это кричал рабочий, которому отлетевший камешек слегка поцарапал глаз, — и только тут я осознал, что мне больно, мучительно больно оттого, что моя нога оказалась застигнута врасплох взорвавшейся дверью. Истекая кровью, спотыкаясь, со сломанными пальцами и лопнувшим с одного края ботинком, не обращая на все это внимания, я тут же ринулся в следующую камеру, освещая дорогу электрическим фонарем: вспышки света здесь, там, вверху, внизу, на каждой стене, в каждом углу — и электрическая боль в ноге отдавалась вспышками перед глазами.

Арабские проклятия, которые мне удалось разобрать, были вопиющими, и я подумал сначала, что ругается раненый, но оказалось, что изрыгал их Ахмед, проклинавший судьбу, Запад и Египет (ослепленный, он видел перед собой очередную пустую камеру). Его пораженческие настроения питает жажда наживы; с таким темпераментом ученым ему не быть. То, что объединяет Картера, Марлоу и меня, египтянину просто чуждо.

Я приказал Ахмеду и еще двум рабочим отвезти искалеченного в город, позаботиться о его увечье и вернуться обратно через двадцать четыре часа. Одного рабочего я оставил при себе — нам предстояло тяжело потрудиться, кроме того, кто-то должен был помочь мне перевязать раны.

Рабочий снял с моей ноги ботинок, и от боли я чуть не прокусил себе щеку. Сколько-то гостиничных простыней и вода были принесены в жертву, дабы омыть и перевязать мою обезображенную кровотокающую ступню. Позднее того же числа я смог наконец проковылять в новооткрытую камеру и расставить там фонари. Не без горечи следует упомянуть об ужасной, невосполнимой потере двери «В», на которой имелась великолепная иероглифическая надпись:

***АТУМ-ХАДУ, ВЛАДЫКА НИЛА, ПЛЮЕТ НА СВОИХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ,  
ОНИ ПОТРЕВОЖИЛИ ЕГО СЛИШКОМ ПОЗДНО И ЗАПЛАТЯТ ЗА ВТОР-  
ЖЕНИЕ УЖАСНУЮ ЦЕНУ.***

Даже если кто-то по сю пору еще сомневался в наших предположениях и достижениях, эти иероглифы отменно доказывали нашу правоту. Надеюсь, мы сможем восстановить надпись из осколков разбитой двери, но, боюсь, она утрачена безвозвратно. Виновен в этом я, а также идиоты из Департамента древностей, которые создали невыносимые условия работы и ныне оторвали от моей ноги свой кусок мяса.

Нога стремительно распухла, оттого я вынужден был отложить осмотр новой камеры и провести вечер, вновь и вновь меняя мокнущие повязки. Рана скверная, и все же это скромная цена за наше открытие. Велел рабочему отдохнуть и принести еще воды и трость. Находясь в здравом уме, я не мог вернуться в особняк или отправиться к врачу до тех пор, пока не зарисую план новой камеры усыпальницы. Забыться сном было невозможно.

Настало 17 ноября, я увидел проблеск света и, поскольку мой человек пока не возвращался, опять промыл и перевязал ступню очередной полоской ткани от простыни, истратив остатки питьевой воды. Насилу рассветало; я обнаружил, что дело куда серьезнее, чем я думал: мизинец и безымянный палец явно сломаны, равно как и, если судить по багровой опухоли, некоторые кости ступни. Порезы в основном поверхностные, мой ботинок послужил ступне броней, хотя в нескольких местах кожа рассечена, и простыня побурела. Закончив самолечение, я, спотыкаясь, отправился исследовать камеру, кою мы временно будем называть «Камерой Замешательства».

Эта вторая камера на первый взгляд столь же пуста, как и Пустая Камера. Потому должно заключить: Атум-хаду и его оставшийся неизвестным архитектор гробницы решили, что грабителя, взломавшего Пустую Камеру, узревшего злое проклятие на двери «В» и обладающего притом достаточной силой, чтобы двигаться вперед, остановить способно только полное разочарование, ибо ни страх, ни препятствия его уже не остановили; оттого царь и его зодчий решили не утруждать себя измышлением новых проклятий либо помех движению и взамен попытались убедить потенциального вора, что он зря теряет время. По этой причине перед нами — еще одно голое помещение. Разумеется, никто пока что досюда не добрался, потому при всем уважении к хитростям Атум-хаду я не могу не считать их избыточными.

Как бы то ни было, моя гробница сейчас выглядит так:

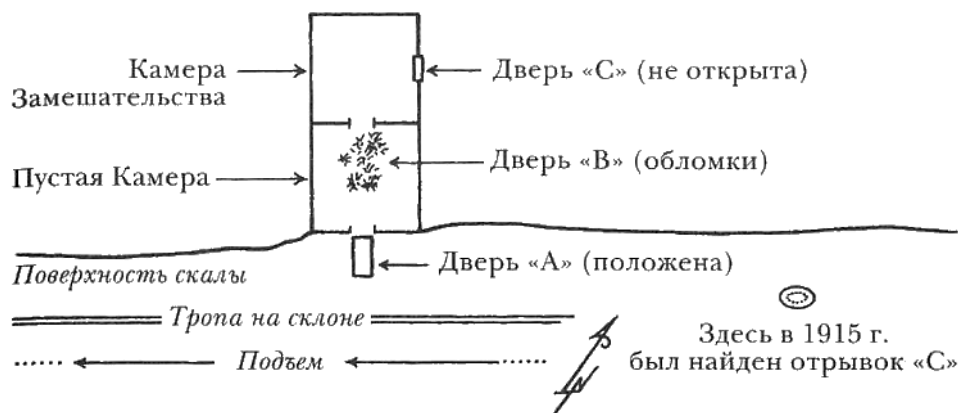


рис. «Е»

## ПЛАН ГРОБНИЦЫ АТУМ-ХАДУ НА 17 НОЯБРЯ 1922 ГОДА

Если бы не (утраченная) надпись на двери «В» и пение двери-соблазнительницы «С», я сам познал бы замешательство и отчаяние не меньшие, чем гипотетический грабитель древности.

Поздним утром 17-го числа мой рабочий возвратился с бинтами, водой и тростью из твердого темного дерева, с верхней частью, изогнутой наподобие царского скипетра. «Знаете ли вы, что, повредив на раскопках ногу, он послал за тростью и продолжил работать как ни в чем не бывало? Трость выставлена в „Клубе исследователей“ в Каире».

Ходить с тростью было легче; каждое движение ноги отдавалось нескончаемым эхом падения двери. Я насытился, напился и закончил осмотр Камеры Замешательства под увеличительным стеклом. Помещение, как и предполагалось, оформлено обманным манером: уподобясь опоссуму, что прикидывается мертвым, Камера Замешательства прикидывается, будто в ней ничего нет — кроме слабого, но ясного абриса двери «С».

При помощи моего рабочего (Ахмед и трое остальных задерживались) я начал удалять пыль и обрабатывать долотом контур двери «С». Работа по-прежнему шла неспешно: долото, щетка, киянка, клин, щетка, долото, щетка, киянка, клин, щетка. Навалилась ужасная слабость, меня даже немного лихорадило — несомненно, от волнения: что ждет нас за последней чудесной дверью? Дважды или трижды я, хромая, отступал, потому что мне было дурно. По меньшей мере дважды я от усталости забывался тревожным сном на одной из походных кроватей в Пустой Камере, наверстывая часы, украденные у меня бессонницей. Проспав почти весь день и всю ночь 17-го числа, я пробудился очень рано, до рассвета — такова наша с Атум-хаду злополучная привычка. 18-е. Слух (но не зрение) подсказывал, что верный мне рабочий спит в темном углу. Остальные так и не вернулись. Я вышел наружу, чтобы рассмотреть звезды над Дейр-эль-Бахри.

Не могу сказать, что я был бодр и весел в своем ночном дозоре.

Наконец 18-го числа взошло солнце, и при бледном свете мне открылось, что я один: очевидно, я принял эхо собственного дыхания за дыхание рабочего, коего не было. Я отметил, что Ахмед и остальные опаздывают уже на восемнадцать часов. Мне пришло в голову, что меня, возможно, предали; малодушие и корыстолюбие туземной рабочей силы могут явить себя в любой момент. Не будучи сей момент вознаграждена, эта сила вполне способна на дезертирство. Что ж, так тому и быть. Я решил продолжать работать над дверью «С», невзирая на ранение, жажду, голод и праведный гнев. Затем я заложу фасад гробницы булыжниками, залеплю грязью, вернусь в Луксор, представлю свое открытие инспектору Департамента древностей и приму выговор, а также людей и техническую поддержку, которую мне окажут вследствие сделанного открытия. В частности, весьма полезно провести в гробницу электричество — это позволит избавиться от фонаря и смердящего светильника и значительно увеличить число часов, которые рабочий может проводить внутри без необходимости выбираться на свежий воздух.

Сегодня, 18-го числа, около полудня вернулись Ахмед с тремя рабочими. Они рассыпались в извинениях и явно рады были увидеть контур двери «С». Раненый нуждался в срочной помощи, Ахмед оставался в особняке, пока не появились кошки, которых надо было накормить, после чего Ахмед со товарищи по собственному почину добыли инструменты, которые, по их разумению, будут полезны «в нашем общем деле». А именно: две тяжеленные кувалды. Я был тронут, однако задал им элементарный вопрос: что случится с сокровищами, ждущими нас по ту сторону двери «С», если мы возьмем на вооруже-

ние эту дверепробивную технику? Глядя на их лица в тот момент, я не смог удержаться от смеха.

Оставив Ахмеда с одним из рабочих сторожить гробницу ночью, я при помощи двух других добрался до виллы Трилипуш. Каждый валкий шаг жестокосердного осла превращал мое тело в костедробилку; всю дорогу я думал о том, что вскорости наступят блаженные времена и я смогу передвигаться в открытую, при свете дня, с благословения паяцев при исполнении, гиксосов новой эпохи, толкающих людей на вынужденный обман.

Одна только вилла Трилипуш не обманула моих надежд: горячая ванна, стаканчик-другой, перевязка ступни, которая ныне слишком велика и не помещается в ботинок, и вот я уже описываю произошедшее в дневнике.

Позже. Мой человек вернулся с почты, где меня дожидались письмо и каблограмма. Каблограмма: Ч. К. Ф. поздравляет меня, уведомляет о том, что санкционировал денежный перевод, и просит немедленно прислать перечень находок, «особ. предметы, представляющие интерес частного, персонального свойства». Письмо из Луксорского банка подтверждает каблограмму Ч. К. Ф.: два дня назад, в четверг, 16-го, из США на мой счет была переведена — с точностью до злокипучего доллара! — лишь восьмая доля месячного платежа, того, что был выбит с огромными трудами и внесен в «Предварительную общую смету»; но и эти деньги, если уж говорить начистоту, запоздали на двадцать пять дней. Несмотря на понесенные мною за последнее время расходы и невероятные обещания, Ч. К. Ф. соизволил сделать столь мизерный вклад, что деньгами буквально и не пахнет.

Эта измена выбивает у меня почву из-под ног. Если бы я мог приписать Ч. К. Ф. хоть толику логики — но и этой толикой он, разумеется, не обладает. Намекает ли он на то, что восполнит разницу следующим переводом, намеченным на 22 ноября? В тревоге я пытаюсь проследить за ходом его мысли, которая, как должно предположить, сбита с пути истинного зловещим Ферреллом. Ч. К. Ф., без сомнения, подпал под его нечистое влияние. Есть способы возродить наше сотрудничество, но они, по моему убеждению, не годятся для компаньонов. Почему он так со мной поступает? Вотще стремлюсь я понять, отчего мой никудышный, скаредный Владыка Щедрости, вместо того чтобы оправдать возложенные на него скромные надежды, отправляется в какую-нибудь бостонскую пивную, дабы раструсить столь нужные Атум-хаду денежные средства на подпольную сивуху и юных барышень в компании дружков-бандюганов и наложницы из Скандинавии.

Мой верный рабочий все еще за дверью, ждет моих приказаний. Я вновь отсылаю его на почту со взвешенным ответом Ч. К. Ф.: **НЕСМОТЯ НА ПОСТЫДНУЮ НУЖДУ, ОТКРЫЛ ВТОРУЮ ЧУДЕСНУЮ КАМЕРУ. НЕ ВРЕМЯ МЕЛОЧИТЬСЯ, НА КОНУ ВАША ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.** Мне нужно больше отдыхать. Я засну мертвецким сном и завтра вновь ринусь в битву с тем оружием, что у меня осталось. Меня не остановить.

*Воскресенье, 19 ноября 1922 года*

3.55. Поторопился. Спать не могу, а вот ступня положительно одеревенела, что можно только приветствовать.

Ночь черна. Изыщное решение Парадокса Гробницы Атум-хаду, забившее мои легкие пылью и заявившее права на ногу, мне пока не дается. Скрытые

двери. Фальшивые тупики, сбивающие с толку грабителей. Чего-то недостает. Чего-то я не могу постичь. К какому решению он пришел под этими звездами? Нужно поставить себя на его место.

Вот он прогуливается по освещенным и без пяти минут заброшенным залам своего фиванского дворца, бросается, не зная покоя, с золотого трона на резной одр. Желает ли владыка видеть акробатов? Не желаю. Составить воплощению Осириса компанию? Не нужно. Желает ли божественный любовник Маат оседлать верблюда, накормить тигра, содрать кожу с пленника, поупражняться в висе на кольцах, поиграть со слоновьим хоботом, приласкать жирафа? Не желаю. Царские заботы ныне одолевают меня и не дают мне заснуть. Минуту или две посвящу я размышлениям, после чего Гор выжмет из меня причитающуюся ему дань с чрезмерной жестокостью. Вот анаграмма на языке моего друга из будущего: Гор скрутит меня в рог, долгие часы я проведу, обхватив руками ноющее чрево, сторающий со стыда, жалимый одиночеством, неприкасаемый; и как сокологлавый патрон возместит мне потерю бесценных часов убывающего земного бытия? Что ждет меня в последнем путешествии? А оно приближается, вне всяких сомнений, и проводит меня либо гиксосская стрела, либо отравленный кинжал изменника-царедворца, кои в эпоху упадка множатся, либо крокодил, каждодневно подрастающий в моем чреве. Однажды он точно пожрет мой желудок, если я вовремя не утаю его в сосуде под землей.

Пробудился с заходящим солнцем; еще один день потерян благодаря моей ране и истощению. Ступня моя весит сотню фунтов. Голова зажата меж кулаками великана. Желудок мой рвет, мечет и не желает утихомириваться, даже когда я на несколько минут иду ему навстречу.

Стемнело, и лишь после этого один из моих верных идиотов догадался меня проведать. Они провели день в Пустой Камере, сидели и сплетничали. День прошел, им за него заплатили, мое отсутствие не показалось им странным. Послал рабочего обратно, поручив ему всю ночь охранять гробницу Атум-хаду и донести до остальных, чтобы завтра утром они были готовы к финальному рывку в последнюю камеру, где нас ждет заслуженная награда. Еще он принес письмо, которое пришло *poste restante*. От моей невесты, датировано 2 ноября. Свидания и разлуки писем на почте — игра поистине бессердечная.

2 нояб.

*Мой дорогой Ральф!*

*Буду коротка. Мне нужно, чтобы ты мне написал как можно скорее. Я боюсь того, что меня окружает, мне нужно, чтобы ты сказал мне, что все-все будет хорошо, чтобы ты мне все-все объяснил.*

*Ищейка никуда не уехал. Я думала, он безвреден и даже забавен. Неплохо танцует, всюду за мной увивается. Только меня увидит — сияет как солнышко, в такую погоду это какое-никакое, а развлечение. С такими парнями я всегда справляюсь. Но есть одна проблема. Он кое-что сказал папочке, а я подслушала, и еще он кое-что сказал мне. Он старается делать вид, будто просто болтает, но я знаю, что он пытается сказать мне кое-что о тебе. Он спрашивал меня про Оксфорд, и я ему сто раз сказала, что ты там был с Марлоу, а*

потом уехал сражаться за Демократию, это было после магистра, но перед доктором, Оксфорд дал добро. Феррелл просил показать ему фотокарточку, где вы с Марлоу вместе, я ему показала ту, которую ты мне дал, вы там в землеройной рванине, ты положил руку Марлоу на плечо, улыбаешься, а Марлоу притворяется, будто серьезен как я не знаю что. А этот Феррелл сказал только «ну конечно». Если хочешь знать, он смахивает на крысеныша. Надеюсь, ты не против, что я отдала фотокарточку?

В последнее время, Ральфи, мне не по себе. Ты только не волнуйся, просто мне на самом деле не по себе, точно из меня опять все соки выпили. Я знаю, если ты будешь рядом, я выздоровею, правда-правда, просто тебя страшно долго нет, это очень тяжело. Я очень по тебе тоскую, но иногда мне кажется, что ты ужасно далеко и ничем мне не поможешь, и все равно, болею я или нет. Не волнуйся, ничего страшного, я просто так, хочу сказать только, что по тебе тоскую.

Феррелл раз или два отправлялся поговорить с папочкой в папочкином кабинете, я хотела подслушать, чтобы тебе рассказать, но из меня плохая ищейка. А когда я спросила папочку, о чем был разговор, он мне сказал только «посмотрим». А когда мы ходим к Дж. П., Феррелл много не пьет и потому много не разговаривает, а потом мне становится скучно играть в твою девицу-детектива, в конце концов, это нечестно с твоей стороны, заставляя меня это делать, разве нет? Скучно.

Ты можешь еще раз сказать папочке, что учился в Оксфорде? А эта ищейка, Гарри, он постоянно рыскает за мной, скалится как волк и говорит «никогда нельзя быть уверенным» и «все может быть совсем не так, как кажется, особенно с бриттами». Бриттами он зовет англичан. Завидует. Ненавижу его за то, что он не уважает тебя как я. Я люблю тебя, Ральф, потому что ты настоящий и в то же время чудесный, а он — враль, хоть и скучный, а он тебя за это ненавидит и доказывает папочке, что ты совсем не такой.

Не волнуйся. Инге собирается полечить меня, чтобы мне стало лучше, и мне правда лучше с каждым днем, а до свадьбы, как я и обещала, все-все заживет. Но для того, чтобы все было так, а не иначе, мне нужен рядом ты, понимаешь? Ты — мой лучший врач. Мне станет лучше, когда ты будешь рядом, мы займемся делами и будем счастливы, поэтому приезжай домой, пожалуйста. От скуки мне дурно, правда, дурно-дурно.

Если хочешь мне что-то рассказать, я готова тебя выслушать, ты же знаешь. Все, что ты скажешь, — хорошо. Ты ведь тоже будешь меня любить, что бы обо мне ни узнал, правда? Больше я ничего знать не желаю, просто верни все, как оно было. И поторопись.

Я выздоровею, буду лучше всех — и для тебя одного. Только возвращайся домой.

Твоя девочка.

М.

Воскресенье, 19 ноября 1922 года (продолжение)

Что происходит? Разве я не пришел к тем же выводам? Убедила ли тебя моя каблограмма, что он в самом деле лжец и чужак? Если все это — не более чем недоразумение, усугубленное погрешностями пересылки, дальше письма вконец нас запутают — каждое проплывет незамеченным мимо следующего, гро-

моздя ошибку на ошибку. Что происходит там в настоящем, сей момент? Я читаю о событиях далекого прошлого, о погасших звездах. Я не понимаю, кто такой этот Феррелл и как случилось, что он пробрался в самое лоно моей семьи.

Ты исцелишься, ты исцелишься, ты исцелишься. Я так хочу. Я никогда не сомневался, никогда не волновался. Один только раз. Волнение охватило меня в тот июньский дождливый день в музее. Я тебе никогда не рассказывал.

Я сопровождал тебя в Музей изящных искусств. Рядом парила безмолвная валькирия Инге; впрочем, я заметил, сколь неистово блестят ее распутные глаза, особенно когда мы миновали грандиозную набедренную повязку Маихерпри (и я тщетно пытался заинтересовать тебя рассказом про Картера, напоровшегося на нее в 1902 году).

Пока ты рассматривала статую бараноголового бога Херишефа, я поведал тебе о том, как мальчишкой видел сны, в которых открывал гробницы, еще не понимая, как эти сны толковать, не зная слова «гробница» и не читая про раскопки. Во сне мое воображение создавало удивительнейшие образы, описать которые мне не позволял тогда мой словарь: уютные пещеры, где тепло и светло, тела спящих на мягких постелях, животные, друзья, еда, счастье, и все это — в уединенном, безопасном месте. Мне было года четыре, не больше, тогда-то у меня и началась клаустрофилия.

Я описывал экспонаты, мимо которых мы проходили, уже видя, что тебе нужно все чаще отдыхать. Я рассказывал о Гарварде, о тамошних консерваторах, что верят в пожилых, работающих по старинке землекопателей. Только в 1915 году, говорил я тебе, Лаймен Стори в экспедиции, снаряженной этим самым музеем, хотел использовать тринитротолуол! «Гарвард еще не готов принять Атум-хаду или меня, — сказал я, — но однажды это произойдет». Обернувшись, я увидел, что ты вся дрожишь — то ли потому, что согласна с каждым моим словом, то ли оттого, что поражена красотой реликвий. «Не о чем беспокоиться, сэр», — сказала деловитая Инге и поспешно увела тебя в дамскую комнату для отдыха. Двадцать минут проползли как черепахи, а затем ты появилась снова — бодрая, прелестная, готовая хоть целый день ходить по магазинам и ресторанам. Никогда еще ты не выглядела столь прелестной и бодрой, однако память твоя не сохранила *ничего* из случившегося за последний час, включая истории моих детских лет. О любовь моя, твой отец сказал мне, что ты исцелишься. Врачи сказали ему, что ты исцелишься. Я знаю, что ты исцелишься. Ты должна в это верить, ты должна верить мне. В ночи, наедине с собой сохранить веру трудно, я знаю. Но ты должна. Феррелл — дым.

И я совершу мою, как ты ее очаровательно называешь, «находку», не обращая внимания на препятствия, недоразумения, откровенное вероломство, ядовитый туман перепутанных писем. Твой отец считает меня невесть кем — или считал, — но все образуется, если уже не образовалось, и не стоит об этом даже говорить. 19 ноября твой Ральф с любовью размышлял о тебе, забыв о преходящих страхах твоего отца или проклятии Феррелла, которое заставляет тебя страдать из-за меня. Когда я вернусь домой, ты прочтешь эти страницы, мы сравним наши записи и посмеемся над путаницей времени, расстояния и почты.

Трилипуш нашел гробницу — и Бостон внезапно стал неприветливым. Ни денег, ни любви. Финнеран на меня наорал, а Маргарет вновь настаивала, что

смысл ее жизни — Трилипуш и никто, кроме Трилипуша. Шли дни, Маргарет не появлялась, в их дом я больше не заглядывал. Я хотел было умыть руки и оставить проклятых Финнеранов в покое. Коли Трилипуш нашел свое поганое золотишко, он либо вернется, либо не вернется. На что я ставил — понимаете сами. Для меня никакой разницы не было, потому что коли он убил Пола Колдуэлла, я поеду в Египет, чтобы это доказать, и буду кричать так громко, что и упрямые Финнераны на другом конце земли услышат.

Пустые, вялые дни я проводил, сверяя расшифровки бесед, редактируя записи, отправляя рапорты и чеки в Лондон, расспрашивая Трилипушевых студентов и объясняя штаб-квартире, почему в погоне за Полом Дэвисом я застрел в Бостоне. Думаю, никто моих объяснений даже не читал. Я писал письма другим своим клиентам, сообщая Томми Колдуэллу, Эмме Хойт, Рональду Барри и чете Марлоу, как идут дела.

Я не вылезал из отеля, занимался рутинной, ждал отбытия в Нью-Йорк, надеялся, что Маргарет в последний раз придет со мной повидаться. Временами я осознавал, что это вряд ли случится, злился и тогда ждал просто новостей, хоть чего-нибудь. Я чувствовал, что вот-вот все станет понятно, все встанет на свои места; придет время — и будет ясно: нужно отправляться в Египет или, наоборот, остаться с Маргарет, защищать ее, спасти ее, когда грянет буря — а буря точно грянет. Я был молод, Мэйси. Она могла еще что-то перерешить. Все могло, скажу вам, повернуться как угодно. Иногда я стоял у ее дома, в темноте, и кипел от гнева. Думаю, вы меня поймете, вы все же человек опытный.

Пару-тройку раз я с ней таки встречался по ночам: один раз она заявила, ночью не проронила про него ни слова, улеглась спать на кушетке Дж. П., положив мне голову на колени и взяв меня за руку, по-страшному меня обругала. Я часами следил за ее дыханием. Она приходила вечером ко мне в отель, и всякий раз я готовился произнести маленькую речь, мне казалось, что именно этой ночью она упадет в мои объятия и я ее спасу. Но моменты были сплошь неподходящие. Она вела себя порочно, называла меня плаксой или занудой, когда я прекращал ее смешить и отказывался танцевать. По пути в заведение она излагала мне последние новости о Трилипуше (всегда хорошие, всегда невнятные). Как только мы оказывались внутри, она поднималась по ступенькам наверх, искала хозяина и свой наркотик. И я сидел и гладил ее по голове, а потом, когда она приходила в себя, я вел ее домой, сражаясь в сером рассвете со своей немотой, пытаюсь сказать ей все. И я снова давал себе клятву положить этому конец.

*Понедельник, 20 ноября 1922 года*

Снял со счета жалованье рабочих; счет в момент раскошеливания отчетливо скрипнул. Не имеет значения. Скорее я пойду по миру, чем они; я никогда не оставлю своих людей. И вот я снова еду на участок.

Прибыл как раз вовремя, дабы предотвратить катаклизм — смуглые ублюдки набросились на дверь «С» с кувалдой. Ощущение было такое, будто ударили меня. Ахмед сидел рядом, курил сигару Ч. К. Ф. и наблюдал за избиением. Я закричал им, чтоб они остановились, но раздался по меньшей мере еще один мощный глухой удар, потом все стихло. Мы смотрели друг на друга со взаимонепониманием.

Я определенно оставил их слишком надолго, положившись на их способ-



ность если не уважать виртуозность моей работы и увлеченность ею, то по крайней мере выполнять приказы. Мои дисциплинарные финансовые санкции наконец уяснены. Я раздал моим людям заработок, соответственно его уменьшив. Заметил, что раненый так и не возвратился. Ахмед молчал и смотрел диким зверем.

Лишь после этого я проковылял к моей двери «С» и оценил нанесенный ущерб. Моя вина. Мне ни за что не следовало оставлять их на страже, когда за камнем толщиной всего в фут прячутся сокровища, завораживающие разум. Утрата надписи на двери «С» — не что иное, как трагедия, Департамент древностей справедливо покарает меня за то, что я не призвал инспектора, да и я вряд ли могу это сделать, ведь доказательство того, что гробница эта принадлежит Атум-хаду, опять рассыпалось в прах у моих ног. Мне следовало переписать надпись 17-го числа, и я бы сделал это, если бы не рана. Могли я предположить, что случится нечто подобное? Должен был! Теперь придется воссоздавать надпись по памяти:

*АТУМ-ХАДУ, ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ ЧЕРНОЙ СТРАНЫ, АВТОР БЛИСТАТЕЛЬНЫХ НАЗИДАНИЙ, ОТПЛЫВАЕТ В ПОДЗЕМНЫЙ МИР, ВЗЯВ В ПОПУТЧИКИ ЛИШЬ БОГАТСТВО СВОЕЙ МНОГАЖДЫ ОБЕСЧЕЩЕННОЙ ЗЕМЛИ*

Объяснил рабочим, что их изуверство не приблизило наше открытие, но лишь отсрочило его, и горам золота по ту сторону двери придется подождать, ибо я не рискну открыть дверь «С», не удостоверившись, что образовавшиеся от их неумного колоченья трещины не угрожают ее целостности, ибо в противном случае я поврежу произведения искусства, которые точно есть на той стороне. Иначе говоря, трещины требуется заштукатурить. (На правах хранителя гробницы я также получу возможность заново вырисовать на восстановленной двери точные копии сбитых идиотскими кувалдами иероглифов просто для того, чтобы дать представление о размере и месторасположении надписи.) Послал: двоих за водой, замазкой и мастерками; Ахмеда — разузнать, чем заполнены дни Картера; еще одного — в другой конец Дейр-эль-Бахри, к Уинлоку. Сведения о его бездействии придутся ко двору — тогда я возобновлю переговоры о концессии.

В лагере Уинлока не происходит ничего интересного, там копают наугад и чистят щетками то, что накопили в прошлом году. В лагере Картера в отчаянии расчищают участки к югу и западу, лихорадочно пытаются извлечь из под земли похороненную репутацию, сам же Картер сбежал в Каир. Шесть часов спустя: они действительно идиоты, принесли не ту замазку. Часами я развожу доставленное в различных пропорциях, а результат один — дверь «С» заляпана мутной водицей. Послал их обратно в город за правильной замазкой.

Наступает вечер, и я предпринимаю еще одну попытку. Заполняю раствором большие трещины, даю ему высохнуть, и он сохнет. Медленно.

*Вторник, 21 ноября 1922 года*

Утром обнаружил, что первая порция раствора отлично застыла как в дверных трещинах, так и в ведре. Когда мои люди наконец сообразовали явиться, послал их обратно в город купить еще замазки и новое ведро. Они возвратились поздно и без воды, которую один из них все-таки принес около десяти ве-

вчера, когда стемнело. Время истекает кровью, как и, вероятно, мой оплот в Бостоне. Борюсь с искушением спать этой ночью на вилле Трилипуш, однако ступня вся горит, и доверять вооруженным кувалдами мартышкам охрану гробницы я более не намерен.

*К Маргарет:* Ты же отвергнешь Феррелла и наставишь отца на путь истинный, правда? Уверен, ты уже это сделала. У самой усыпальницы его царского величества я гляжу на твою фотографию при свете лампы и звезд пустыни и понимаю: ты — моя защитница, ты — мое вдохновение. Я вижу тебя за пустынями и за морем, ты готовишь постель ко сну высоко над заснеженным садом, покрытым лунной белизной.

На этом фото свет был за тобой, оттого ты стала силуэтом на белом фоне, силуэтом с почти совершенным профилем; ты склонилась над столом, разглядывая нечто (припоминаю, что это было ожерелье с камеей, которое я тебе подарил), и красота твоя проявила себя в мельчайших штрихах: ресницы едва выдаются за контур носа, образуя птичье крыло из тончайших и изящнейших черных линий.

Помню, той ночью ты кротко рыдала в моих объятиях, удрученная своим недугом и встревоженная моим отъездом; кончиком пальца я коснулся уголка твоего глаза, поймал беглую слезинку, прочертил ею и разведенной в ней тушью линию до виска, дабы просто высушить твои слезы, — и, этим жестом нарисовав малахитовый штрих глаза Гора, произвел тебя в египетские царицы.

Двадцатитрехлетняя дочь фараона универмага осаниста в профиль, блазна в три четверти, ошеломляющая анфас. Ноздри ее тонкого носа выразительны, словно ими посредством десятка верных нитей управляет тысячепалый кукловод, чья чуткость непревзойденна, а гордость неприступна. Она еле заметно поднимает бровь — и мы, простые смертные, постигаем ее волю и готовы служить ей. Тяжелая надутая нижняя губа — под верхней, что дыбится волною; впадинка над нею — божественная долина, высеченная единым любовным ударом долота на резной поверхности гладчайшего охряного камня. Изогнутая лебединая шея, грацией подобная раздутому парусу нильской *фелуки*. Величественный извив ее статной фигуры, сокровища линий, мистерии фактуры; платье, украшенное сзади разрезом, словно продолжающим сказочную расселину ее тела. Вот она, сидя на троне, подается вперед, дабы разглядеть раба, преклонившего колена у ее обутых в сандалии и увитых бусами ног, вот она заносит руку, готовая вонзить обнаженный клинок в подлеца, перепутавшего сосуды с вином, но тут позади нее появляется царь — и удерживает напрягшуюся длань.

*Среда, 22 ноября 1922 года*

Рабочие возвратились рано. Я наконец полностью экипирован для того, чтобы замазать поврежденную дверь. Ахмед, храня змеиное молчание, сидит, курит очередную сигару Ч. К. Ф. и грызет свежие финики. Пополудни дверь все еще влажная. Время умерщвляет меня. Не остается ничего, кроме как оставить их на страже под присмотром Ахмеда, торжественно поклявшегося проследить за тем, чтобы гробница охранялась как следует. Теперь я могу отправиться в банк, чтобы получить известия о деньгах, которые должны прийти сегодня. Перевод от 16-го числа слишком незначителен, его можно счесть раз-

ве что премией от Ч. К. Ф. лично.

Банковский клерк, узнав о ранении, выказал заботу о моем здоровье, но с сожалением сообщил, что по состоянию на сегодняшний... и т. д., и т. п. Вернулся на участок.

Лишь ранним вечером я смог перевысечь утерянную надпись поверх раствора, после чего отдал приказ: клинья вперед! Мои люди, мобилизовав скрытые силы, приступили к делу, будто оправившиеся от долгой болезни подростки; воодушевление их заразительно. Веревки, клинья, валики к полуночи на своих местах. Все согласны провести тут ночь, если будет необходимость.

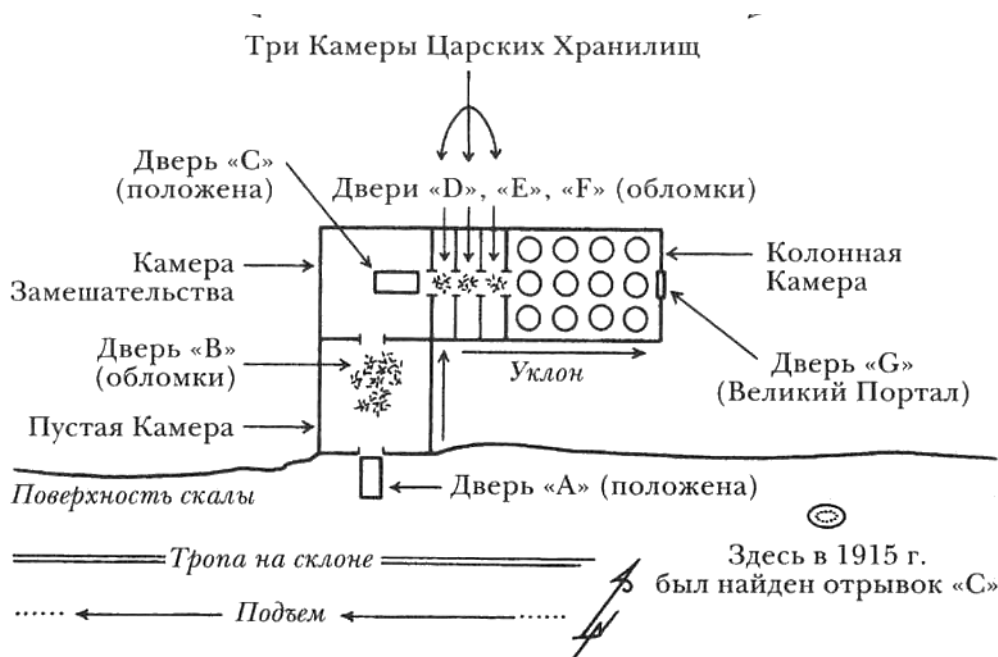
Их ребячество не должно меня удивлять. Какие бы проблемы нас ни поджидали, я виню только себя, ибо мои люди увлечены менее меня, и добиться того, чего добиваюсь я, им не по силам. Им нужны твердая рука и указующий глас. Я объясняю им, чего хочу, и мы вновь понимаем друг друга. Мы возрождаем братство, коему случается возникнуть весьма нечасто.

*Четверг, 23 ноября 1922 года*

Сразу после полуночи. Я пишу эти строки при свете фонаря, пока рабочие перекусывают, разминают ноги и затекшие спины и готовятся вернуться к последней двери, двери «С». За ней скрыты гробница, сокровище, история, а также почерневший, искрошившийся под своими полотняными бинтами гений. Тут исследователь обязан сделать паузу, осознать ответственность, ощутить ткань времени, в которой вот-вот будет проделана брешь.

Мои люди готовы. Итак...

Позже. Над Дейр-эль-Бахри восходит солнце, однако сияние его слишком жалко, чтобы пролить свет на тайну, которой нет равных в этой земле тайн. Наша схема продолжилась Колонной Камерой, чувство юмора Агум-хаду ему не изменило.



**РИС. «F»**  
**ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КАМЕР. 23 НОЯБРЯ 1922 ГОДА**

Как разрослась моя карта в сонном солнечном свете 23 ноября! Завтра Ахмед приведет новую бригаду, я же проведу день на участке: отдохну, произведу замеры, сделаю заметки, уберу строительный мусор и подготовлюсь к

штурму двери «G», «Великого Портала». С трудом представляю себе лицо Картера, узнавшего о моем открытии. Он скрестит руки на груди, не издаст ни звука, не обнаружит своих чувств.

Но сначала я должен рассказать о событиях последних восьми часов, ужасных и чудесных, о предательстве и триумфе. Не забыть бы сегодня лечь вздремнуть.

Дверь «C» истязала наши мышцы и сердца, однако в конце концов оказалась куда уступчивее своей неистовой предшественницы. Она осталась лежать до времени, пока я не смогу отправить ее в турне от гробницы до лаборатории и там подвергнуть обстоятельной консервации и осмотру, чтобы затем проводить в последний путь на место постоянной дислокации, в центральную галерею Каирского музея. В свете наших электрических фонарей внутренняя поверхность двери «C» (ныне это ее верхняя грань) казалась безнадежно гладкой; я вынужден был встать в новооткрытом проеме и прикрикнуть на своих людей, чтобы они перестали ныть о потраченном впустую времени и целесообразности использования кувалды. Я приказал им всем удалиться и вошел в новое помещение один. Мое сердце колотилось, ступня и щиколотка любезно онемели. Должен признать, что открывшаяся глазам картина меня озадачила: я стоял в узкой, пустой на первый взгляд камерке (более детальное ее изучение пока подождет, сперва я обязан доверить бумаге тщательную реконструкцию произошедшего). Не далее чем на расстоянии трех футов от меня и прямо напротив двери «C» располагалась очередная, сводившая меня с ума дверь Атум-хаду (дверь «D»). Голое, невеликое помещение; возможно, амбар, подумал я, хоть в нем и нет зерна. Или камерка предназначалась для охранявших гробницу статуй? Но где тогда эти статуи? Между тем мои люди в Камере Замешательства обсуждали что-то на своем специфическом говоре. Я продолжил осмотр двери «D» и стен камерки, стараясь постичь причудливую идею защищенного посмертия по Атум-хаду и разрешить Парадокс Гробницы вместе с ним. Место погребения жен? Слуг? Животных? Хранилось ли тут оружие? Или гардероб, впоследствии истлевший? Снедь? Я замер, поглощенный глубокими размышлениями. Не могу сказать, как долго я думал. Кто-то дернул меня за рукав. «Лорд Трилипуш, — сказал Ахмед, — пожалуйста, сэр, выйдем. Разделим хлеб, глотнем воздуха. Позвольте мне осмотреть несчастную ступню его светлости, пока его светлость обдумывает наш следующий шаг...» Я был тем более тронут добротой Ахмеда, что проявлялась она чертовски редко, и потому, хромя и опираясь на свою трость, я выбрался из озадачившей меня гробницы. Ахмед свел меня вниз по тропе в багряную тьму, усадил на камень, принес еды и горячего кофе, спросил, что же мы нашли и что все это значит. С деликатностью медсестры Ахмед сменил мою повязку; впрочем, ему не было нужды осторожничать, поскольку дурнопахнущая сине-черная рана абсолютно нечувствительна. Мы побеседовали полчаса, может быть, и больше; на востоке появились первые жемчужные прожилки. Для Ахмеда наш разговор был чем-то наподобие школьного урока, для меня он стал возможностью облечь сведенные судорогой мысли в слова. Я излагал различные гипотезы, объяснял, сколь сложен любой Парадокс Гробницы — и как дьявольски он усложнен в этом конкретном случае. Ахмед понимал меня; я обрадовался, заметив в его глазах искры разума. После передышки я собрался было поработать. Однако Ахмед был охоч до знаний и задавал весьма проникательные во-

просы о раскопках и консервации, о предпринятой мной как хранителем попытке восстановить надпись на лицевой стороне двери «С», о богатствах, могущих быть сокрытыми в гробнице последнего царя династии. Мы продолжили беседовать.

Лишь когда трое моих людей показались вновь, я осознал, что на какое-то время выпустил их из виду. Белые от пыли, они спускались по тропе к нам, светясь в сумраке и отплевываясь. Швырнув на землю свои гнусные кувалды, они принялись орать на Ахмеда на неожиданно ясном арабском: «Пусто! Одни колонны, больше ничего нет!» Они взгромоздились на трех ослов и умчались прочь к восходящему солнцу, не разбирая дороги.

«Что сделали эти свиньи?» — закричал я и заковылял обратно в гробницу. О, чего они только не сделали! Улики — пыль и щебенка — были зловещи и неоспоримы: моих людей обуяла жадность. Они разрушили дверь «D», обнаружили второе узкое помещение и дверь «E», разрушили ее, обнаружили третье узкое помещение и дверь «F», разрушили ее и обнаружили заворазивающую Колонную Камеру.

Мне трудно описать охвативший меня гнев. Ничего похожего со мной никогда не случалось. Даже сейчас, по прошествии нескольких часов, мои глаза наполняются слезами, перо мое дрожит. Мне стоит не без издевки поинтересоваться у самого себя: почему я был застигнут врасплох? Разве люди, которых я встречал на своем пути, когда-либо вели себя иначе? Никому нельзя верить, кроме тех немногих, кого мы любим, наших жен и отцов.

Предать меня, науку, собственное наследие и Ахмеда, которому они обязаны работой! Ахмед стоял рядом, качал головой и явно сердился. Никто не знает, что за письма они стерли в порошок и какие незаметные сокровища падали на пол и осели на чалмах преступников или их платьях, когда они уходили, громко возмущаясь на чистом арабском тем, что «ничего нет». Увы, однажды у меня не будет другого выхода, кроме как сказать инспектору Департамента древностей, что дверей «D», «E» и «F» никогда не существовали. Я связан по рукам и ногам — и все из-за содеянного беззакония.

Отослал преданного Ахмеда прочь, хотя он и горел желанием остаться в моем обществе — оценивать вместе со мной ущерб и осматривать новые помещения. Отдал ему четкие приказы: уволить нечестивцев и нанять на их места добродетельных рабочих, которым будут платить не раз в неделю, а раз в три недели. Он ушел, бормоча что-то о постигшем нас несчастье.

Я же, стеная, развернулся к обесчещенной, но и побежденной усыпальнице. Три Камеры Царских Хранилищ — тождественные, симметричные, спроектированные блистательно просто и цельно, замечательно пропорциональные и мистически непорочные — созданы, вне всякого сомнения, для хранения личных принадлежностей царя, без которых он не мог отправиться в подземный мир. Ясно как день, что в камерах этих помещались (именно в таком порядке!) пища (впоследствии истлевшая); ладанное масло (его жгли во время похорон, остатки масла испарились, однако и 3500 лет спустя пропитавший гробницу слабый запах ладана все-таки чувствуется; он поразительно напоминает аромат духов Маргарет, содержавшихся в амфорообразном каплевидном флакончике); и золотые монеты или небольшие драгоценности, нечто блестящее, невеликой ценности, достаточно маленькое и оттого похищенное благодарными ослокрадами, чьих имен я так и не узнал.

Но — ах! Колонная Камера! Шарада, оставленная в ней Атум-хаду, еще пощекочет наши нервы. Все станет ясно за дверью «G» (которую вандалы, видимо, не заметили за облаками пыли — так они спешили смыться с выкраденными побрякушками, для виду вопя от возмущения).

Всю вторую половину дня я провел, жадно измеряя и ощупывая дюйм за дюймом все без исключения поверхности Колонной Камеры. Длина Колонной Камеры — приблизительно двадцать пять футов, в ней помещаются двенадцать идентичных каменных столпов, упирающихся концами в пол и потолок. Столпы круглые, абсолютно белые, без каких-либо отметок; их совершенная цилиндрическая форма есть математическое достижение огромного содержательного значения, любые другие украшения смотрелись бы рядом вульгарно, а то и вовсе перечеркнули бы благочестивый царский замысел. Колонны расположены в строгом порядке: по три в четыре ряда. Каждая — около двенадцати футов в охвате. Никогда не был силен в математике. Это значит, около трех футов в диаметре. Колонны стоят так, что быстрое продвижение по камере затруднено, древнему расхитителю гробницы пришлось бы туго, пожелай он быстро войти или быстро выйти. Размеры колонн почти определенно точны математически и знаменательны. Если учесть, что размер всей комнаты  $25 \times 15$  футов = 375 квадратных футов, а колонны занимают площадь  $12 \text{ колонн} \times \pi r^2$ , где  $r = 1,5$

$$\begin{array}{r}
 1,5 \\
 \underline{1,5} \\
 75 \\
 \underline{150} \\
 2,25 \\
 \underline{3,14} \\
 900 \\
 2250 \\
 \underline{67500} \\
 7,0650 \\
 \underline{\quad 12} \\
 141300 \\
 \underline{706500} \\
 84,7800
 \end{array}$$

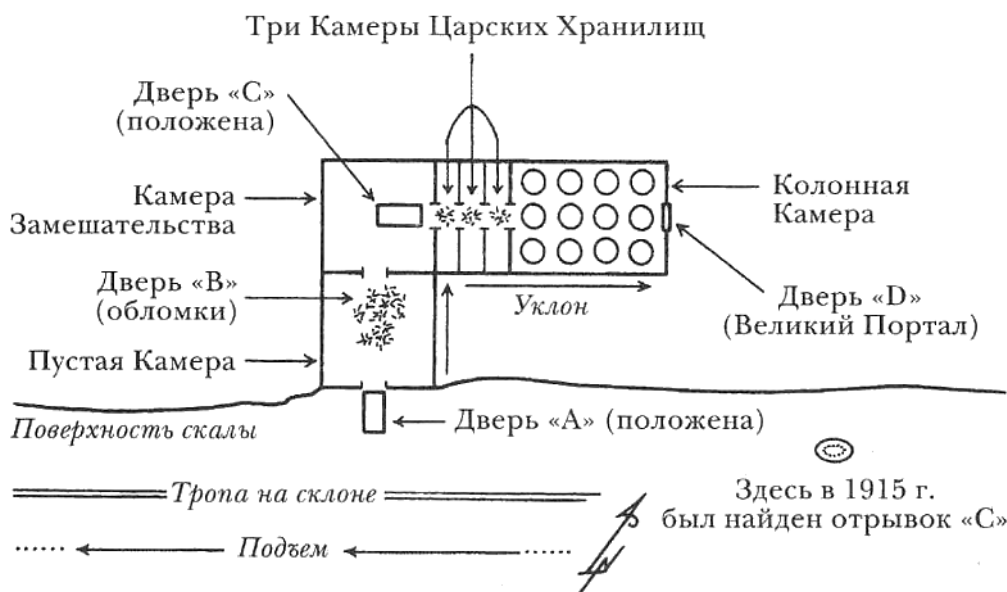
то есть 84,78 квадратных футов от площади — это колонны, следовательно, мы имеем соотношение 84,78/375, в точности то же, что и Следует отметить тот факт, что династии Атум-хаду предшествовали ровно двенадцать династий, несомненно, именно их и олицетворяют собой колонны; Атум-хаду, таким образом, рассматривал себя в качестве их символического защитника, а свое погребение Зодиакальное расположение колонн олицетворяет собой астрономическое расположение созвездия, называемого нами Сириусом; египтяне считали его небесным воплощением Изиды, потому в знак благодарности за помощь, оказанную ею при путешествии Атум-хаду в Мы обязаны серьезно рассмотреть гипотезу, согласно которой во внутренней полости каждой колонны содержится ценный материал, потому столпы следует укрепить и вскрыть Древние грабители, которых Атум-хаду боялся более всего на свете, в Колонной Камере запутывались в натянутых между всеми двенадцатью колоннами крепких нитях, превращавших помещение в смертельную паутину, напоенные ядом тенета коего спеленывали жирных мух; секрет яда был изве-

стен лишь магам древ двенадцать колен израилевых двенадцать месяцев двенадцать провинций канады двенадцать дней рождества что бы делал Картер, окажись он в подобной комнате? Осматривается, молча измеряет все, кивает, не раскрывая своих карт, говорит: «Слишком рано что-то утверждать», — но держит себя так, будто знает много больше. Его надменность тускло мерцает сквозь саван покорности и спокойствия.

*Пятница, 24 ноября 1922 года*

Полдень. Прошлой ночью я довел себя до умственного истощения. Меня сокрушило предательство и истерзало восхищение новыми камерами. А сегодня у меня день рождения — к этому дню я на первых порах наметил добиться успеха. Мои тогдашние надежды более чем оправдались.

Значение Колонной Камеры покуда от меня ускользает, хотя, будучи профессионалом, я способен выдвинуть мириады гипотез, и одна из них вполне может оказаться верной. В настоящий момент нужно всего лишь придерживаться плана и ждать дополнительных данных. Однако то, что откроется нам за дверью «G» (будь то склеп или сокровища), скорее всего, закономерно объяснит также геометрические особенности и роль Колонной Камеры; тогда нам станет понятен и величественный образец древнеегипетской архитектуры, и мистический образ мысли его создателей. [Р. М. Т. — Дверь «G» теперь станет дверью «D». Заново пройти по тексту, перерисовать карты и отредактировать ссылки. Дверь «B», следует признать, уничтожена, дверь «C» укреплена подходящим раствором, дальше до двери «D» (ранее «G») дверей не было.]



**РИС. «F»**

## **ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КАМЕР. 23 НОЯБРЯ 1922 ГОДА**

Изнурительно тружусь. Ахмед и его новая команда не появлялись. Вынес из Пустой Камеры и трех Камер Царских Хранилищ строительный мусор, набил им холщовые мешки и выставил их на тропу. Я стал хромой поденщицей Атум-хаду. Оставил мешки прямо у входа в гробницу; подозреваю, что перед возвращением в город мне придется ее запечатать.

Работал до темноты. Ахмеда нет. Еда закончилась. Готовлюсь отойти ко сну в Колонной Камере, где свалился прошлой ночью. Может, помещение это создано потехи ради? Или камера воспроизводит помещение фиванского двор-

ца Атум-хаду? Слишком рано что-либо утверждать, молчание — вот мое золото, виноград бесплодных измышлений топчут лишь неуверенные в себе дилетанты. Нога над щиколоткой словно истыкана иголками. Нужно будет вернуться на виллу Трилипуш за бинтами, рана опять влажная.

Вечером, перечитывая в Колонной Камере при мерцающем свете чадящей лампы письма из дома и истрепанный экземпляр «Коварства и любви», я осознал, что понимаю Атум-хаду, его побуждения и устремления лучше, чем мою невесту или моего покровителя. И неважно, что я целовал первую, а со вторым не менее интимно заключил сделку. Атум-хаду куда прозрачнее, тысячелетия выделили его квинтэссенцию — шестьдесят стихотворений. Каждое проливает свет на очередной кристально чистый и конкретный аспект его неизменной натуры. А та, которую я люблю? Всякая перемена в настроении заставляет меня взглянуть на нее по-новому и предрекает и ей, и мне иное будущее. Должен я сострадать немощи или сходить с ума от нежности? Обмирать, когда она стервенеет, делать замечания, когда шалит, не обращать внимания, когда дразнится? Спасать от депрессии? Бранить за непостоянство? А мой Владыка Щедрости, жестокий и малодушный, любящий и порочный; что можно понять, глядя на столь неоднозначную фигуру? Я смотрю на них, но они едва различимы, будто камера заполнена густым дымом; будто глаза мои застилает прозрачная полотняная пелена.

*Суббота, 25 ноября 1922 года*

Странные сны; чего еще ждать от ночи в подобном помещении? Утро провел, закрывая вход в гробницу деревянными досками и закладывая их камнями, которые скрепил остатками раствора. Очень утомился, но замаскировал все как следует. К полудню дыра, в которой однажды помещалась дверь «А», заслонена непрочной ширмой. Упорствующего злоумышленника ширма не остановит, но внимания привлечет меньше, чем открытый зев пещеры.

И тут вернулся Ахмед; умолял простить его за наем на работу ненадежных псов и песьих сынов, выражал надежду, что они во имя Аллаха и моего Бога не помешали моей великой работе, вопрошал, не нашел ли я с тех пор каких-нибудь сокровищ. Отказал ему в ответах и в прощении. Надеется ли его светлость на следующие камеры? Не полагает ли его светлость, что древние цари обычно складировали все золото в последней комнате, а спереди оставляли гробницу пустой? Следует ли верному Ахмеду привести много-много людей, готовых работать задаром? У него есть родственники, они жаждут поработать и любят англичан.

Признаюсь, на мгновение я замешкался. Людей, далеких от науки, гробница в своем нынешнем неброском виде лишь отвратит, потому им трудно уловить аромат успеха, сочащийся из-за двери «D». Горячность Ахмеда, пусть источник ее и очевиден, приободряет: ему также чудится, что там, внутри, таится нечто невообразимое. Я лишь кивнул ему в знак признательности за терпение и веру в мои познания. «Как говорит ваш Коран, все мы будем вознаграждены по заслугам», — сказал я ему. «Вы уверены?» — спросил он. «Уверен, Ахмед». И это правда.

Он помог мне взобраться на осла, которого привел. Я приказал Ахмеду найти плотника, чтобы соорудить ворота и закрыть вход, купить для этих ворот висячий замок, нанять двух родственников, которым можно доверять, и при-



вести плотника с воротами и родственников (всех — кружным путем) к гробнице через три дня. Во время антракта я дам Ч. К. Ф. шанс вновь запустить двигатель экспедиции на полную мощность.

Переправился через Нил. Был в банке. Был на почте, дал срочную каблограмму Ч. К. Ф.:

**ШЕСТЬ КОМНАТ, ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ. ГДЕ ЖЕ ВАША ПОДДЕРЖКА? ПОДУМАЙТЕ О СВОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ.**

Одолел долгий и мучительный путь до виллы Трилипуш. Перевязал ногу.

И все-таки есть верность в этом мире! Меня дожидались Мэгги и Рамзесы. Обрадовались еде, но еще больше — моему обществу.

*Воскресенье, 26 ноября 1922 года*

Меня будит Ахмед. «Что, уже вторник?» — слабым голосом осведомляюсь я. «Нет», — говорит он. «А какой сегодня день?» — «Будьте спокойны, — говорит он. — Вы ведь ничего не нашли, да?» — «Не совсем так, во вторник мы установим порученные тебе ворота и возьмемся за следующую дверь». «Нет», — говорит Ахмед. «Нет?» — «Нет». Он говорит, что все его родственники работают на Картера, который нанимает кого только можно и хорошо платит. Ахмед тоже собирается работать на Картера, а сегодня пришел лишь для того, чтобы получить деньги, причитающиеся ему и его родственникам. «Не понимаю. Картер ничего не нашел и вернулся в Каир», — говорю я. Ахмед поправляет меня, кошки убегают (они умнее меня — сразу чувствуют опасность): Картер решил дождаться прибытия из Англии Карнарвона, а уж потом продолжать раскопки. Карнарвон только что приехал, ступенька опять выкопана. Они нашли дверь с печатями Тут-анх-Амона. Они нашли коробки и горшки, у них большой бакшиш. Об этом пишут все газеты. Они хорошо платят. Они найдут сокровища. Денег у них куры не клюют. И вот Ахмед требует от меня расплатиться. «Ты хам и вор», — говорю я ему, все еще лежа практически нагишом. Больная нога покоится на подушке, встать я не могу.

«Я вор? Я копаюсь в древних могилах, и ищу золото, и ничего не сообщаю властям? Я скрываюсь в пустыне, как преступник?»

«Ахмед, я не собираюсь избавлять тебя от наивных заблуждений. Ты уволен. Вон с глаз моих».

Ахмед опорожняет мой кошелек, пересчитывает деньги и говорит, что ему причитается еще. «Завтра я приду за деньгами. Вы заплатите мне и моим родственникам. И еще вы заплатите мне, чтобы я ничего не сказал инспекторам о том, что вы копаете без разрешения».

«Какая же ты все-таки свинья», — говорю я ему, умалчивая о пробелах в логике, на которой зиждется безнадежный шантаж. Но тут он с неожиданной силой сжимает мою поврежденную ногу.

Сдается мне, что я ошибся в Ахмеде, может быть, не так понял того корабельного стюарда с его неразборчивым арабским, и он привел меня к человеку, затеявшему драку, а борца за правду я так и не увидел.

Я в затруднении: мне нужны рабочие, чтобы открыть дверь «D», мне нужно заплатить Ахмеду за неделю, и я не в том положении, чтобы жаловаться властям. Впрочем, когда позиции мои укрепятся, Ахмед ответит за свои преступления.

Ступня онемела, зато горит огнем голень.

Неужели Картер и в самом деле что-то нашел? И зарыл находку, чтобы терпеливо дожидаться возвращения своего покровителя? Такое трудно вообразить. А теперь он переманивает моих рабочих? Разумеется, мои люди уже обучены и закалены. Естественно, Картер ищет таких людей и ради меня пальцем не пошевелит, ему безразлично, что я в беде.

Я облачаюсь в туземный наряд, хромаю на паром, беру внаймы осла и еду в Долину. Спрашиваю одного из людей Картера по-арабски, правда ли, что здесь нанимают на работу; он отвечает на английском — не знаю почему, возможно, таковы требования на участке (чертовски правильные требования, думаю я теперь). Интересуюсь новостями, его ответ обнадеживает: да, у основания лестницы нашли дверь, покрытую печатями Тут-анх-Амона, однако за ней таился лишь засоренный лаз, забитый всяким хламом. Гробницу разграбили несколько тысяч лет назад.

Невзирая на раздражительность Картера и все его провокации, следует ему посочувствовать. Он на глазах всего мира нашел забитый камнями тоннель и специально позвал своего покровителя из Англии на этот тоннель посмотреть.

*Понедельник, 27 ноября 1922 года*

Каблограмма от Ч. К. Ф.:

**ГАЗЕТЫ ТРУБЯТ ПРО ЕГИПЕТСКИЕ ОТКРЫТИЯ! ЧУДЕСНО. НИКОГДА В ТЕБЕ НЕ СОМНЕВАЛСЯ. КОМПАЬОНЫ СКОРО ПЕРЕВЕДУТ ДЕНЬГИ, ЖДУ ПОДРОБНОСТЕЙ.**

Верится с трудом. Освещение в американских газетах? Полагаю, Нордквисты могли сказать что-то журналисту, а то и Маргарет или Дж. П. О'Тул. Сообразительная девушка. Вероятнее, что из-за громкой оплошности Картера пресса ухватилась за возможность описать все текущие раскопки. Надеюсь, вся эта шумиха не привлечет на участок слишком много непрошенных гостей, хотя огласка меня защитит: Департамент древностей вряд ли сможет прикрыть экспедицию, которая привлекла внимание мировой общественности, пусть даже того и не желая.

Я попеременно то жертва расстояния, то его должник. Отсюда я не могу уследить за тем, что Ч. К. Ф. слышит или думает, но теперь, хвала прессе, он решил, что все опять в порядке. Посылаю своему нервному Владыке Щедрости утешительную каблограмму:

**РАД, ЧТО ВЫ СНОВА В ДЕЛЕ. ОТКРЫТИЯ КАРТЕРА, УИНЛОКА И ПРОЧИХ В СРАВНЕНИИ С НАШИМ — НИЧТО. ВЫСЫЛАЙТЕ ДЕНЬГИ НЕ КОЛЕБЛЯСЬ.**

В любом случае Ч. К. Ф. вновь горит энтузиазмом — и я обретаю уверенность в себе; теперь про Ахмеда можно забыть. Обнаружил, что моя самодельная стена как стояла, так и стоит, никто ее не трогал. Заменяю несколько выпавших камней, уравниваю стену по углам; процесс раздражает, напоминает игру в бирюльки. Борюсь с искушением все разрушить, вломиться внутрь и продолжить работу — но пока не время: я лишен новой бригады и качественных инструментов, и деньги еще не переведены. Терпение побеждает.

Вечером на вилле Т. Сегодня добраться до ступеньки Картера оказалось сложно. По словам одного из его людей, «по всему участку провели электричество». По всему участку? И правда: вчера Картер и лорд Карнарвон с милордовой дочкой, леди Как-то-так, и инспектором Департамента разрыли тоннель до конца и нашли еще одну дверь, за которой (проклятие, они продвигаются так быстро, потому что, видимо, беспечно крушат все на своем пути!) им, очевидно, открылось нечто — а что именно, светящиеся от радости туземцы за просто так не говорят. Если верить смуглым, выходит, что царек Тут-анх-Амон, пропадавший 3200 лет, утопает в золоте, статуях, колесницах, драгоценных камнях, вазах, тронах, одрах, одежде, бюстах — «сокровища без конца», поведал мне словоохотливый рабочий. Я потряс его за плечи и сказал: представь, что можно найти в усыпальнице по-настоящему великого царя, последнего из династии и потому унесшего с собой все, что у него было. Перспективы рабочего ошеломили; точно так же будет ошеломлен весь мир.

Разумеется, когда тебя финансирует лорд Карнарвон, а не безмозглый принц американских лавочников, все происходит само собой; впрочем, как повторял *ad nauseam*[20] один мой знакомый, «богачи держатся друг за друга. Пролетарий, желающий получить свое, должен драться».

На этом карнавале я нахожу Картера: тот, заперев деревянную решетку у основания своей лестницы, восходит вверх по шестнадцати священным ступенькам вслед за богатыми и на все согласными гостями, папашей и дочуркой. Галстук, пиджак, подстриженные усы — все выдает в нашем Картере щеголя. Нужно видеть, как он держится, закрывая и запирая гробницу, которая до поры — *до поры!* — затмевает мою. Нужно видеть, с каким лицом он уводит своих тупоголовых покровителей прочь от места, значение которого они едва ли удосужились понять. Он позволяет им мельком узреть барыш, но не дает повлиять на ход работ. Нужно видеть, сколь беззаботно и привольно правит своим участком Картер, нужно видеть его людей, его покровителей, даже его воодушевление. Он нашел определенно больше того, что многим удастся найти за всю жизнь; даже приветствуя меня, он не злорадствует и не прячется, кажется, даже ни на что не намекает. «А, Трилипуш, — говорит он, оказавшись на вершине лестницы. — Ну да, конечно, Трилипуш...»

«Картер! Что нового, старина?»

«Лорд Карнарвон, леди Эвелин, позвольте представить вам профессора Трилипуша, переводчика стихов сомнительного [*sic!*] царя Атум-хаду. Он вроде бы ученый-египтолог, приехал, чтобы насладиться видами Фив».

Два влажных рукопожатия. Граф — хлыщ из породы долговязых благостных имбецилов; будь он поменьше — сошел бы за комнатную собачонку, будь поумнее — за садовое украшение. После автомобильной аварии он привлекает ногу и шепелявит. «Превосходно, превосходно, — говорит он, — нужно потитать васы работы. Апокрифы — они бесподобны!»

«Не для ушей леди Эвелин», — встречает Картер.

Он носит хомбург и ходит с тростью, схожей с моей. Усы свои он, верно, холит и лелеет — они подстрижены, навощены, разве что не позолочены. «Так что, под землей обнаружилось диво дивное? — спрашиваю я — Могу я бросить на это диво профессиональный взгляд?»

«Ах да, вы тоже египтолог. Кому как не вам знать, сколь там, под землей, все хрупко...»

«Проклятие фараона», — внезапно бормочет его убогость, а Картер спешно уводит нас к границе участка: «Туземцы друг другу все уши прожужжали о колдовстве, проклятиях и прочей странной дребедени. Все только и говорят, что о фараоне Туте, о том, какие его защищают злые чары. Согласитесь, удивительно, как люди живут, веря в такие вещи. Начинаешь думать, что нам не хватает...» Но тут кто-то окликает Картера, и он обрывает свою речь. Я его понимаю: он возбужден открытием, у меня и в мыслях нет встать у него на пути.

В банк сведения о новом кредитном письме не поступали.

Проверил *poste restante* — полным-полно писем. Требование об уплате аренды за виллу Трилипуш к 1 декабря. Счет из гостиницы «Сфинкс» — за ноябрь, еще один счет оттуда же — за одолженные простыни, полотенца и халаты.

Вернулся в особняк, чтобы взяться за скучную, но необходимую работу — нужно проверить расходные книги и сметы и, возможно, урезать часть расходов. Удивительно, однако из-за деловой несостоятельности Финнерана (и неспособности Маргарет как-то на него повлиять) я становлюсь совсем как он, думаю только о деньгах, чего джентльмен, безусловно, должен избегать, ибо деньги — изнанка жизни, наподобие починки канализации. Впрочем, как говорил мой отец, всякий раз, когда благородные крови мешаются с кровью лавочников, случается отторжение.

Аренда. Жалованье рабочих за прошлую неделю, которое Ахмед требовал столь красноречиво. Еще нанять новую бригаду. Работал допоздна, составлял планы, перепроверял сальдо, переписывал сметы. Денег нет. Поразительно, что удача улыбнулась Картеру именно *сейчас*, после стольких лет блужданий вокруг да около.

Он приходит в мой особняк, когда я уже готовлюсь отойти ко сну. Он извиняется за вторжение, улыбается, оправдывается, несколько смутясь, отклоняет предложение выпить. «Пришел сказать только, что я восхищен вашими трудами, — говорит он. — Вашими великолепными переводами, вашим анализом. Я был бы счастливейшим человеком, если бы мог звать вас братом. Моя скромная гробница да будет посвящением вам и вашей настойчивости. Такие усыпальницы — легкая добыча, правда, Тута хочешь не хочешь, а найдешь, везде словно знаки поставлены, мол, вот здесь, вот тут... но, Ральф — могу я называть вас Ральфом? — земля, на которой вы стоите, есть *terra* весьма *incognita*, [21] весьма *мистериозо* и непостижима, и доведись мне оказаться на вашем месте, я бы так не смог, я бы просто растерялся. И — да, чуть не забыл, хотел сказать, что сегодня вечером леди Эвелин справлялась о вас, знаете, вся горела любопытством. Я сказал ей, что вы помолвлены с американкой, богатой наследницей, и ее лицо осунулось на моих глазах, да, старина, осунулось, представляете? Жаль, конечно, девушка стоит столько, сколько весь китайский чай, а ее папа — о таких друзьях можно только мечтать, он граф, у него 36 000 акров земли. Если хотите знать мое мнение, вам следует влюбиться в леди Эвелин».

«Если бы это было так легко — влюбиться», — бросаю я ему вслед, и он растворяется в ночи.

Вторник, 28 ноября 1922 года

Каблограмма от Ч. К. Ф.:

**КАРТЕР НЕ В ТВОЕЙ КОМАНДЕ? В ГАЗЕТАХ ТОЛЬКО О НЕМ И ПИШУТ. ОН НЕ С ТОБОЙ? ВЫСЫЛАЙ ОПИСЬ НАЙДЕННОГО. КАРТЕРУ НУЖНЫ ДЕНЬГИ? РАЗУЗНАЙ.**

Когда передаешь курьеру карточку с текстом каблогаммы, пребываешь в смятении: инстинктивно ожидаешь, что мальчик тут же тебе ответит, хотя, конечно, он не более чем наемный проводник. Ты будто пытаешься докричаться до глухого и оглушающего ветра. И все-таки до тебя доносится словно отдаленное эхо, и ты читаешь на непроницаемом мальчишеском лице: Ч. К. Ф. со мной покончил. Стоит кому-то довериться — и всегда одно и то же, всегда. Люди, которые в непристойной погоне за мерзкой наживой готовы наплевать даже на любовь и ради сиюминутной выгоды бросить тебя на произвол судьбы, всегда застают врасплох.

*О проблеме доверия к финансистам:* «Профессор Трилипуш, — сказал он, как сейчас помню, когда другие инвесторы ушли с июньского собрания, — не уделите ли вы мне минуточку?» Я еще отметил, что он неожиданно вежлив; ибо, что бы вы ни думали о Честере Кроуфорде Финнеране, эпитет «благовоспитанный» приходит в голову в последнюю очередь. «Я тут подумал, это, может, вы мне посоветуете чего насчет моей персональной коллекции?» Его ага-товые глазки буравили мое плечо, сигара то вспыхивала, то тлела. «Я знаю, в этой фараоновой могиле будет куча золота, мумии и всякое такое, все как вы только что обстоятельно рассказали. Но мне бы хотелось привлечь ваше внимание к другим вещам... изящные искусства, разные ваяния, скульптуры, рисунки... такие, каких в музее не выставишь, потому что о них будут много спорить. Вещи, которые скорее заинтересуют частного коллекционера. Я знаю, вы знаете, о чем я. Более практичные вещи... — Его смущенный монолог все продолжался, я уклончиво поддакивал. — Именно вы поймете, именно вы — как ученый, как человек...» Руки Финнерана словно перебирали невидимый шнур, повязанный вокруг талии.

Он повел меня в свой кабинет, обогнул стол, остановился у книжной полки; начал вытаскивать одну из книг, потом задвинул ее обратно, потом опять вытащил; книга раскачивалась, опираясь на нижнюю кромку корешка, а Финнеран будто никак не мог решить, вынимать ее или нет. Оставив том в покое, он страдальчески вздохнул, повернулся ко мне и скрестил руки на груди. «Понимаете, это вопрос вашей, э, вашей...» Финнеран хотел было пригладить роскошные усы и пышные баки, но те по-прежнему существовали только на его портрете, висевшем тут же на стене. Увидев, что я смотрю на картину, он сказал: «Вы всегда гладко выбриты? Я, знаете, все никак не привыкну...» Он положил в пепельницу тлеющую сигару, рдеющую и кривую, словно пораженный молнией древесный ствол, и принялся дергать ту же книгу за корешок — туда-сюда, туда-сюда. Он попросил Иисуса сотворить кое-что с неким бостонским ирландцем-плотником. Опять и опять он вытаскивал и задвигал книгу с упорством фанатика, проклиная всех и вся.

«Что это за книга, Ч. К. Ф.?»

«Удойная христова мать, я зажарю его заживо», — пробормотал он, бешено двигая книгу вперед и назад.

«Привет, папочка. Встреча закончилась? — Маргарет неслышно вошла в кабинет. — Привет, Ральфи. Ну как, поладил с бостонскими плутократами?»

«Моя любимая, моя родная, — говорю я. — Ты — воплощение непредставимой красоты!»

«Мы заняты, выкатывайся», — рычит вечно деловой хозяин дома, наподобие гориллы припав к полу и выпятив в нашу сторону ягодицы; оборачиваясь, я нахожу Ч. К. Ф. на коленях, он запрокинул голову и разглядывает нижнюю полку как раз под той книгой, которую массировал, когда вошла Маргарет.

«Роза нежнейшего цвета, — продолжил я, — терпкий весны аромат!» Именно такой, тысяча проклятий, она и была в тот день — и ни следа болезни. Мне следовало развернуться на месте, забыть о своем чудовищном покровителе и его неодолимых позывах, сжать ее в объятиях и... Я мог бы наброситься на нее прямо там, разобраться со всем на месте и в тот миг, когда не было на свете ничего важнее, забыть об остальном и добиться того, чтобы она стала моей женой. Нет, конечно, она бы ни за что не согласилась тогда — нет, ей нужен был мой триумф. Но она была столь свежа и чиста в тот день. И будет такой — если я добьюсь хоть какого-то успеха и смогу к ней вернуться.

«Извиняюсь за заминку, перфферсор», — говорит Финнеран и призывает Инге, чтобы та увела Маргарет из комнаты и поволокла бродить по общественному парку дышать свежим воздухом. Стоило дубовой двери его логовища захлопнуться, как он поднялся с колен и начал исступленно дергать книгу взад-вперед. Мгновением позже кто-то поскребся под закрытой дверью, Финнерана скрючило, у него задергалась щека. Проорав что-то вроде «христовы печенки-селезенки!» (или похожую кельтско-католическую чушь), он вприпрыжку понесся к двери и обнаружил за ней спаниеля Маргарет, который сполна расплатился за вторжение.

«В конце-то концов!» — взревел Финнеран, возвращаясь к своему гипнотическому занятию, но тут книжная полка, повинувшись пружинному механизму под заторможенной книгой, внятно щелкнула и на дюйм сдвинулась с места. Финнеран уперся плечом в край книжного шкафа, повернул шестиполочное сооружение вокруг центральной оси, открыв проход настолько, чтобы мы смогли в него протиснуться, и поманил меня за собой. Когда шкаф за нами закрылся (очевидно, подчинившись все той же ненадежной пружине, которая в один прекрасный день выпустит нас наружу), Финнеран включил шеренгу электрических ламп.

«Перед вами, перфферсор, Финнеранова коллекция изящного искусства, — продекламировал он, величественно помавая руками. У кирпичных стен располагались стеклянные витрины и стеллажи, уставленные штабелями папок. — Перфферсор, у великих цивилизаций, как вы, ясное дело, знаете...» Хриплый бубнеж оправдывающегося Финнерана не утихал довольно долго; содержание его речи я приводить не намерен, она не слишком отличалась от речей других членов его жалкой компании. Трофеи Финнерана были по-своему хороши и достаточно разнообразны, однако он жестоко просчитался, решив, что мои исследования Атум-хаду имеют хоть что-то общее с его ералашем. Он повернул электрические лампы так, чтобы свет падал на шесть или восемь стеклянных витрин, в каждой наличествовали восемь-десять экспонатов: ухмыляющиеся каменные крокодилчики индейцев инка, распластавшиеся на гватемальских девственницах; сине-белые вазы династии Мин, на которых разоблачившийся император припадал на корточках к наложницам, фаршируя их, словно птичек-овсянок, с некулинарными целями; многочленные бронзовые

индуистские богини — переплетенные, поглощенные, поглощавшие; куски то ли слоновой кости, то ли выбеленного дерева, черные от резных изображений собак-хаски, тюленьих лап и обрамленных мехами лиц, ослабившихся в узкоглазом экстазе. «Инуиты. Эскимосы Гренландии, — прокомментировал безумный хранитель „музея“. — Китовый ус!» Затем мы изучили кожаные папки, на каждой из которых имелось тиснение «КОЛЛЕКЦИЯ ФИННЕРАНА», Господи спаси его блудную душу. «Работы на бумаге!» — провозгласил он, осторожно извлекая на свет божий свои сокровища: первой шла серия георгианских гравюр, на которых багрянощекие угрюмцы в напудренных париках обследовали посудомоек на предмет интимных заболеваний; за ними последовали «японские гравюры на дереве»; чернильные точки зрачков Финнерана следили за мной, пока пальцы медленно перебирали вычурные листы, излагавшие историю самурая и прислуживавших ему деревенских женщин, в ходе которой много раз хватались за мечи, таскали поселянок за волосы и т. д., и т. п. «Ну и современное искусство, как без него, — сказал он совсем уже быстро и уверенно. — Я, знаете ли, не какой-то там косный и отсталый консерватор, я не... не...» Однако сообразить, кем он не является, Финнеран не успел, слишком был увлечен развязыванием тесемок на папках, полных фотографий. На снимках не было ничего неожиданного, ничего такого, чего нельзя заполучить в армии или на любом черном рынке планеты, включая Бостон. Ничего необычного; разве что роль модели играла по большей части сиделка его дочери. «Инге обладает редким пониманием искусства изображения тел!»

«Весьма впечатляюще, Честер».

«Спасибо, Ральф. Я знал, что вы как ученый меня поймете. Жаль только, что, как вы заметили, у меня нет вещей египетского произведения. Другие коллекционеры мне говорили, что в подвалах Лувра и этого вашего Британского музея есть такие экспонаты, что сразу ясно: в этом вашем Древнем Египте имелись свои зрелые художники». Бросив через щелку взгляд на свой кабинет, Финнеран открыл дверь и быстро вывел меня обратно. Усевшись за стол, он промокнул голову носовым платком, скрестил руки на груди и предсказуемо перешел к делу: «Сдается мне, Ральф, что...» И тут церковные колокола и часы с боем начали играть прекрасную симфонию: настольные часы заголосили первыми, за ними вступили настенные, потом оживились домашние маятниковые механизмы, после чего пришла очередь отметить наступление полудня всем звонницам бостонского общественного парка. Видимо, бостонцы отмечали какой-то праздник; не прошло и двух минут, как все нетрезвые звонари и пресловутые горбуны принялись состязаться в позвякивании и гудении, исполняя для нас громовые сочинения, что неизменно оканчивались двенадцатью оглушительными пушечными выстрелами; играли они попеременно (будто всякая церковь находилась в собственном часовом поясе), потому по меньшей мере шестьдесят взрывов прогремели один после другого до момента, когда Финнеран собрался с духом и прошептал наконец: «...ваши научные интересы и мои художественные и культурные пристрастия тут пересекаются». Передо мной сидел еще один человек, не видевший пропасти (обширной, непреодолимой) между тем, что я изучаю и уважаю, и тем, что они пожирают и алчут, пожирают и алчут. «Так что вот, если вы найдете, а вы точно найдете, какие-то образцы...» Я задумался, знает ли об этой тайне его дочь. «Ну и конечно, — прервал он сам себя, отвечая на мою невысказанную мысль, — если кто-

то что-то прознает об этой нашей сделке, соглашение о финансировании будет расторгнуто немедленно и бесповоротно».

И этот человек по загадочной причине — нет, без всякой причины! — подвел меня в самый разгар экспедиции. Следовало ожидать, что он оставит меня биться в тисках судьбы, поверив какому-то заезжему лгуну. Порнограф из нуворишей, он не постеснялся предложить жениху своей дочери переквалифицироваться в поставщика «клубнички». А его дружки-бандюганы? Молчальник О'Тул, клептоман, который на собрании инвесторов спер серебряный подстаканник Ч. К. Ф. у хозяина из-под носа. Ковакс с глазами неизменно влажными; видно, совесть его отягощают мокрые дела, и он плачет теперь слезами своих жертв.

Весь город треплется об открытии Картера. Слухи бредовы до неправдоподобия, что понятно — только воображение страдающего от недозанятости, дымящего *чичей* египтянина способно объять чудесные истории вроде тех сказок, что рассказали мне сегодня утром. Слухи разносятся со скоростью ветра. Например, в лавке продавца фруктов я походя сказал, что на месте Карнарвона погрузил бы трофеи на аэроплан и отправил бы напрямик в Британский музей, не оставив египтянам ни шиша. Когда я очутился в другом районе, где нашел галантерейщика с хомбургом моего размера, египтянин с завитой и расчесанной бородой стал рассказывать мне о том, что три аэроплана лорда Карнарвона приземлились в Долине прошлой ночью и что лорд под покровом темноты совершает по нескольку рейсов, вывозя египетские сокровища в свое английское поместье, где (сообщил я бородатому ослу) его светлость держит рабов — таковы привилегии британского пэрства. Бородач, ничуть не удивившись, закивал.

Наконец нашел ножнички для подравнивания усов. Купил их у брадобрея, мускусного мускулистого мусульманина, столь сильного, что лишь милостью Аллаха он не сокрушил по небрежности ни одного клиентского черепа. Я спросил его, не пожелает ли человек, наделенный такой силой, поработать на раскопках гробницы одного из знаменитейших царей древности. «Простите, мистер Картер, нет, сэр... — Смешное, не слишком лестное заблуждение! Он продолжал: — Однако я наслышан о ваших удивительных находках... Можно порекомендовать вам моего родственника?» Я согласился, получил адрес и могу наконец приступить к воссозданию бригады.

Вознамерившись претворить в жизнь поистине блистательный план по выводу экспедиции из финансового кризиса, я направился на участок Картера. Граф Карнарвон и два туземца наблюдали за леди Эвелин, пытавшей счастья с кисточкой и маленькой дамской лопаткой. Удивленно хихикнув, леди выпрямилась, в руках у нее был черепок. На этом участке воистину достаточно просто наклониться, пару раз копнуть землю — и ты уже что-то нашел.

Не стал их беспокоить. Шатер бригады Картера — зрелище любопытное, пусть и безвкусное, сразу видно, что хозяин забылся и спутал себя с Цезарем. Красивая леттсовская тетрадь № 46 служит Картеру то дневником, то экспедиционным журналом; судя по ней, на завтра намечено торжественное открытие гробницы Тутанахтона. Гостей — целый список, включая, разумеется, меня.

Выйдя из шатра, я разговорился с одним из многочисленных журналистов, в недоумении бродящих по участку. Мы стояли у ограждения прямо над ямой (суета суета! ограждения для туристов!), я объяснял репортеру, что тут происхо-



дит и в каком историческом контексте следует описать открытие Картера в газетной статье, рассказывал о затмевающих Картеров великих раскопках прошлого и важных экспедициях будущего, о том, что в контексте египетской истории Тут — царь сравнительно малоизвестный и малозначительный. Стремясь убедить меня в своей журналистской объективности, он подвергал сомнению всякое мое слово. Объясняя невежде, как правильно писать имена и термины, я услышал, как непосредственно подо мной беседуют Картер, Карнарвон и еще один англичанин. «В свете важности нашего открытия, — вещал Картер, — а также в свете многолетнего бескорыстного служения египтологии и его светлости, и семьи его светлости я считаю уместным обратить внимание правительства на возможность компенсировать...»

«Это Тута вы называете царьком? А как же золото и сокровища?» — спрашивает инфантильный писака, привлекая к себе мое внимание.

Но я успел ухватить суть: возместив расходы на прокопавшегося шесть лет Картера, его светлость задается целью совершить вложение в новую экспедицию. Я исхожу из верных предпосылок, а значит, сумею вывести свою экспедицию из финансового застоя и в то же время, не порывая окончательно с моим будущим тестем, заставлю его оценить по достоинству труды, завершение которых этот скряга с сердцем шакала вздумал поставить под удар.

*О необходимости проявления эмоций в исследовательской работе:* Сия история проста, и если я надумаю включить ее в книгу, то сделаю это с любезного разрешения удостоившего меня высокой чести лорда Карнарвона. Ч. К. Ф. ничего не останется, кроме как сконфуженно развести руками. Все мы выйдем сухими из воды, кроме, возможно, Картера, которого мимолетная улыбка Фортуну делает невыносимым.

Когда оставленный в обществе чашки чая Карнарвон попытался напустить на себя ученый вид и уставился бессмысленным взором на балку в основании лестницы, я извинился перед выпачканным в чернилах газетчиком и позвал его светлость по имени. Спотыкаясь, он взобрался на смотровую площадку. «Я правда не могу дать интервью, это все заслуга мистера Картера, не больше и не меньше», — сказал он приветливо, гримасничая на клоунский манер.

Я напомнил его сумасбродию, что мы встречались вчера. Он все-таки редкостный образчик английского пэрства.

«Конетъно, конетъно зе, вы изутяете неприлительного царя. Кстати, сэр, мне нравится васа сляпа, — говорит он. — В мое время все было по-другому. Сейтяс у археологов принято одеваться с иголотъки».

«Да, старый добрый хомбург. Она подает туземцам пример хладнокровия».

«Сэр, вы банкир?» — вмешивается из-за моей спины журналист, тыча своей ручкой в Карнарвона.

«Должен признать, это сто-то новенькое!» — шумно веселится лорд, опять повторяет, что это, мол, шоу Картера, после чего тем не менее дает пространное интервью. Я застыл рядом — само терпение.

В конце концов репортер, раскланиваясь и расшаркиваясь перед английским пэром (и не сомневаясь ни в едином слове Карнарвона — как можно!), удаляется, чтобы не понять или преувеличить что-нибудь еще.

«Лорд Карнарвон, позвольте мне вручить вам в знак моей признательности...» И я презентовал ему редкое первое издание «Коварства и любви» 1920

года с посвящением: «Графу Карнарвону — Покровителю, Исследователю, Другу Египта, истинному Владыке Щедрости, — от его восторженного коллеги Р. М. Трилипуша».

«Отличный подарок, вы так добры», — говорит миллионер-простофиля.

«Так вот, ваша светлость...»

«Позалуйста, называйте меня Порчи».

«Конечно. Порчи, вы, наверное, не в курсе, но я очень близок к...»

«Откуда вы родом, старина?»

«Кент, ваша светлость. Из семьи военных и исследователей, у нас там скромные семейные владения, небольшой особнячок».

«Правда? Нузно бы съездить в гости. Обозаю Кент!»

«Разумеется, Порчи, мы всегда вам рады. Так вот, Картер, видимо, уже сказал вам, что я весьма, весьма близок к тому, чтобы сделать потрясающее открытие и проникнуть в гробницу царя Атум-хаду. Это открытие, при всем моем уважении к Картеру, затмит все, что Картер отряхнет от земли. При вашей поддержке, да с моей репутацией... и, заметьте, речи не идет о шести годах раскопок. Пусть и Картер получит удовольствие за свои деньги — я имею в виду, за ваши деньги. На все про все нам понадобится не более месяца, мы с вами сможем...»

«Господи! Послушайте... а сто у вас с ногой?»

«Ничего страшного, она совсем не болит».

«Будьте осторожны, здесний климат для таких весей неблагоприятен». (Граф очень заботлив, но с патологическим упорством забывает, о чем с ним говорят.)

«Спасибо, понимаете, Атум-хаду был, вероятно, последним фиванским царем XIII династии, и гиксосские завоеватели подмяли под себя всю...»

«Царь — настоясий? Историтеский? Картер говорит, сто это апокрифитеский царь, выдуманый. Вроде короля Артура, созданного воображением де Сада. Его придумали египетские поэты или кто-то вроде них. Ностальгия по Древнему Египту, артистические проказы...»

«Артур и де Сад? Наш Картер просто паясничал...»

«Правда?» Кто научил этого ревнивца неслышно подкрадываться на манер ассасина и вторгаться в интимные беседы? Прежде чем я успел вымолвить хоть слово, он повел Карнарвона прочь — осматривать останки Тутти или что-то в этом роде. «Потом продолжим, Порчи!» — крикнул я, полагая, что бедняга в состоянии отделаться от своей назойливой няньки. Не удивлюсь, если окажется, что Картер намеренно постарается не допустить нашего свидания с лордом Толстосумом; он словно бы проходил мимо и повел себя своеобразно высокомерно, но теперь мне понятно, что скрывается за его деланной надменностью: страх и зависть! В пиджаке и шляпе, при галстукe, с ухоженными усами, с тростью в руке стоял я, невзирая на жару и пыль; а Картер, одетый как я, беззвучно уходил прочь, цепляясь за моего будущего покровителя. Будто сам Картер никогда не ходил с протянутой рукой, будто ему достаточно было лишь кивнуть, когда граф приполз к нему на коленях, умоляя разрешить ему набить карманы Картера деньгами... Возможно, именно так все и было.

А какую кропотливую работу проделал Картер за моей спиной, дабы умалить мои труды, и не только мои труды, но саму историю! Как он поспешил уверить Порчи, что Атум-хаду не было! Ущемленный, бессловесный, тошно-

творный, к тому же бесчестный!

Я знаю этот тип людей, они способны быстро доказать тебе, что ты не способен пересчитать собственные пальцы, и это не пальцы вовсе, а нечто совсем иное. Я сижу на склоне холма и описываю события прошедшего дня, и мне начинает казаться: в руке моей — не перо. Я не издал египтологический труд. И все узнанное мною я узнал, сидя один в темной комнате. И Картеру, Карнарвону и тер Брюггену ведомо что-то, о чем они не говорят вслух, зная, что я этого не знаю и никогда не узнаю. И они смеются невидимо и неслышно, и смех этот бежит по незримым проводам от первого ко второму и третьему; а потом, отвернувшись, они возвращаются к своим делам небожителей, которые лишь *кажутся* мне понятными. И мне лишь кажется, что я делаю записи вот этой ручкой в леттсовской тетради № 46. И мне лишь кажется, что я существую и занимаюсь важными делами. И мне лишь кажется, что я могу судить о происходящем вокруг меня или во мне. «А вот и нет. — Они улыбаются, но губы их остаются недвижны. — Не можешь». Так Ларс Филип-Тюрм самодовольно критиковал «Коварство и любовь» — вот его отзыв в моем саквояже: «Трилипуш копает, но я не рискну назвать его археологом. Он пишет, но я не рискну назвать его ученым. Как его назвать — я не знаю, но к ведомству, которому я служу, он не относится».

О читатель, мой читатель, суть моей беседы с Порчи проста: по необходимости в права вступают психология и эмоции. Я знаю, что Ч. К. Ф. восприимчив к давлению, поскольку сам каждодневно давит на партнеров; будучи деловым человеком, он отдает себе отчет в том, что цена определяется в схватке между конкурентами. Я скажу ему правду — не потому, что хочу видеть на его месте Карнарвона (этого я не желаю точно, финансист в далеком Бостоне куда предпочтительнее того, что околачивается на участке), но чтобы он знал: не след выпрашивать американские пенни, когда мне в руки плывут милордовы фунты. Особенно сейчас, когда работа приостановлена ввиду решения кадровых и финансовых вопросов. Финнеран вынудил меня принять его деньги, я сделал это ради моей невесты и не возьму своих слов обратно, пока мне не начнет платить Карнарвон. Таков, мой читатель, человеческий фактор, неизбежно проявляющийся в чистой науке. Отправляю Финнерану соответствующую каблограмму — и отправляюсь на виллу Трилипуш.

Вернулся с почты. Мой брадобрей сдержал слово — у моей двери сидит на корточках его родственник Амр, мой новый заместитель командующего. Подросток шестнадцати лет, Амр станет великолепным бригадиром, хотя его еще многому предстоит научить. «Лорд Картер, — говорит он мне, — надеюсь, я вам пригожусь». Посмотрим, мальчик Амр. [Изменить посвящение и эпиграф, вписать «Амр».] Я велел ему не называть меня так и рассказал, что древние египтяне весьма высоко ставили скромность, как и я, но что древние цари возносили нескромность на недостижимую высоту. Мы договорились о завтрашней встрече. В качестве символического авансового *бакшиша* я вручил ему очаровательную мумию в коробочке.

29 ноября, до того как уехать в Египет ловить убийцу Пола Колдуэлла, я отрепетировал как мог свою речь и отправился прощаться с женщиной, от нечего делать разбившей мне сердце. Но дверь открыл Финнеран.

— Отлично, — сказал он, сильно меня удивив. — Мне поговорить не поме-

шает.

Он провел меня через вестибюль в свой кабинет, резко извинился за то, что в тот раз на меня наорал, сказал, что это все нервишки. Маргарет я не видел.

— Вот что, Феррелл. Мне нужен ваш совет. Вы по-любому куда опытнее меня, — сказал он, хрустя пальцами.

Звучит, согласитесь, так, будто он оправдывается, дает мне пропуск к себе в душу и обещает рассказать все как есть. За четыре, кажется, дня до того Финнеран получил телеграмму от Трилипуша: тот нашел в гробнице что-то совершенно невообразимое, буквально золотые горы, ему нужны деньги, чтобы все закончить и заплатить бригаде, но в любом случае победа будет за партнерством. До этой телеграммы Финнеран *все еще* воздерживался от платежей, за исключением, признал он, скромной суммы, посланной в припадке оптимизма. После телеграммы от 25 числа он готов был слать деньги пачками и немедленно. Особенно, сказал Финнеран, 26 ноября, когда все газеты протрубили о неслыханном египетском открытии. Встаньте на его место, Мэйси: пресса без устали славилась царя Тутанхамона и англичанина по имени Говард Картер, главу той экспедиции; Трилипуша это все не касалась *никаким боком*, но совпадение по времени поразительное (Трилипушева телеграмма пришла всего днем ранее), Финнеран же (как я потом узнал) сильно рисковал, вот он и предпочел понадеяться, что Тутанхамон как-то связан с его инвестициями и что Говард Картер — это один из Трилипушевых рабочих, какой-нибудь помощник бригадира.

— Правда же, — сказал Финнеран, — все эти фараонские имена почти одинаковые — разве нет?

26 числа он отправил Трилипушу поздравительную телеграмму и сообщил, что возобновляет денежные переводы. Кроме того, он сообщил другим инвесторам, что дело на мази и что о своей инвестиции они не пожалеют. Настроен он был решительно: Трилипушу можно верить, с Оксфордом вышло недоумение, тут и говорить не о чем, Маргарет обрадовалась, так что Финнеран планировал уже начать месячные выплаты из денег, собранных инвесторами и хранившихся на его личных счетах. Однако 27 числа он осознал, что ошибся, что Картер и Трилипуш работают в разных местах, и его опять охватили сомнения. 28 числа он получил от Трилипуша новую телеграмму. Финнеран бросил ее мне. В ней говорилось: НЕ ШЛИТЕ МНЕ БОЛЕЕ ДЕНЕГ. НАШЕЛ НОВОГО, НАДЕЖНОГО КОРМИЛЬЦА. ФИНАНСИСТЫ КАРТЕРА УМОЛЯЮТ МЕНЯ ПРИНЯТЬ ИХ ВЛОЖЕНИЯ. Не могу сказать, что удивился: Трилипуш использовал Финнерана, нашел в пустыне свою золотую дырку — и Финнеран был ему теперь нужен как собаке третий глаз. Трилипуш стал небожителем, на бостонских людишек ему начхать. Все это я высказал Финнерану в недвусмысленных выражениях. Он вытаращил глаза.

— Вы думаете, он не вернется? Но мне нужны эти деньги! — сказал он, заикаясь. Какую сумму он выслал? Не так много, перевод был небольшой, по первоначальной договоренности Трилипуш первые несколько недель тратил собственные средства и тем доказывал инвесторам, что ему можно доверять.

— Так в чем проблема? — спросил я. — Вы потеряли совсем немного. — Нет, Мэйси, волновался он не из-за *потраченных* денег, а из-за денег недополученных, из-за, коли я правильно его понял, своей доли в якобы найденных сокровищах.

— Что я скажу?.. — начал он, но я перебил его, велел ему расслабиться, сказал, что я сам все расскажу Маргарет, пусть он не волнуется. Он дико на меня посмотрел: — Идиот. О'Тулу и Коваксу, О'Тулу и Коваксу! Что я скажу *им*?

Я посмотрел ему в лицо — и вот тут, Мэйси, я окончательно все понял. Я видел такие лица прежде, я видел их после. Ни с чем не спутаешь перекошенный рот человека, который понимает, что не в состоянии расплатиться с опасными кредиторами.

— Не знаю, Финнеран, зато я знаю другое. Пошлите Трилипушу телеграмму за подписью Маргарет, напишите, что она разрывает помолвку. Трилипуш быстренько вас предал, так спасите хотя бы Маргарет. Сделайте это, чтобы сохранить ее доброе имя: она должна порвать с ним прежде, чем он порвет с ней. Вы перед ней в долгу. А *если* он к ней хоть что-то испытывает, в чем я сомневаюсь, она — ваш единственный шанс контролировать его теперь, когда он не нуждается в вашем кошельке.

Раздался дверной звонок. Вошел Джулиус Падриг О'Тул, кивнул мне холодно. Меня выставили, Финнеран с лицом человека, готового лизать грязные сапоги, пригласил О'Тула в кабинет. Я ждал в гостиной. Никто не кричал и не стрелял. Четверть часа спустя дверь кабинета отворилась, О'Тул спокойно прошествовал в вестибюль и покинул дом. Финнеран сидел за столом и постукивал пальцами по коробке для сигар. Я спросил его, чего хотел О'Тул.

— Закройте дверь с той стороны, — ответил он.

Я ушел. Ни в тот день, ни той ночью Маргарет я не видел.

*М-р Трилиш*

*Мне нужны деньги аренды за следующие шесть месяцев, прямо сейчас есть надобность, если вас не затруднит. Срочно и быстро! И еще есть вещь не переносящая отсрочки. Поскольку это другое, что мы с вами договорились через агента, необходимо теперь увеличить на раз пять (5) сумму арендования дома на каждый месяц. И это правильное дело, да, потому что интерес к вещам Тута. Так многие люди проникают! Счастливые обстоятельства! Спасибо вам героический м-р Картер! И дом такой красивый как этот! Вот это да! По большей мере десять людей попросили агента свободен ли мой дом, если вы не заплатите за шесть месяцев более разом, по этой новой цене.*

*Откровенно ваш*

*М-р Гэмилъ*

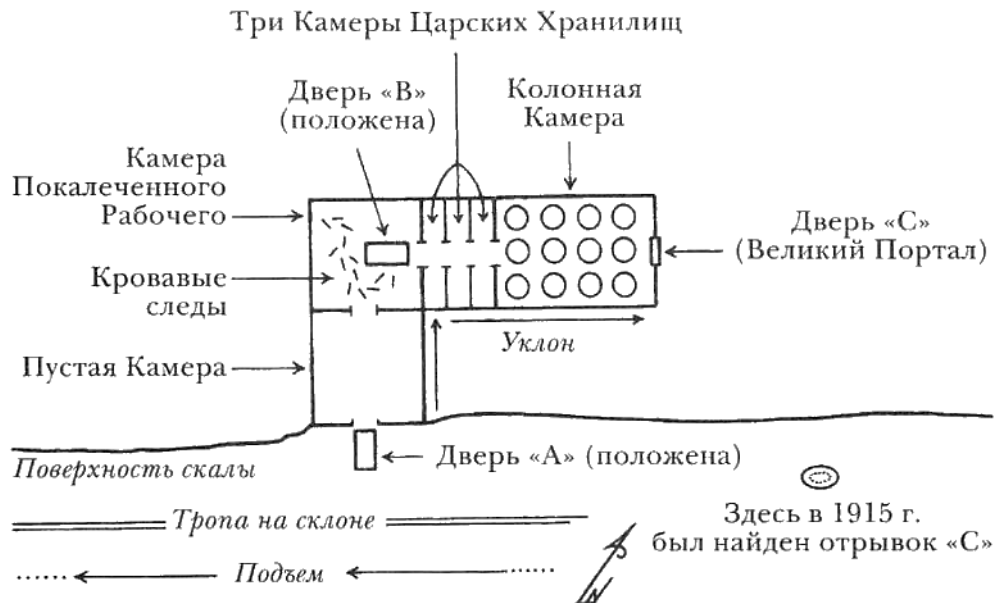
*Среда, 29 ноября 1922 года*

*Дневник:* Подброшенное ночью послание создает новую угрозу экспедиционным финансам. Необходимо героически взять себя в руки и решить насущные проблемы. Кормлю котов и на заре отправляюсь *работать*.

Амр с раствором встречает меня на западном берегу Нила; позади нас восходит солнце, и я показываю ему правильную дорогу до нашего участка. У него есть свой осел, что замечательно. Он сопровождает меня до гробницы, не произнося ни слова. Приказываю ему убрать от входа в гробницу самодельную ширму и разрешаю идти за мной. Он должным образом благоговеет. Этот мальчик одолжит мне свои мышцы, а я дам ему образование — и подойду к этой задаче со всей ответственностью. «Археология, Амр, — это не столько рытье в земле, сколько отношение к нашему окружению и нашим рабочим (в данный момент — к тебе), выражающееся в бескорыстной, сознательно неэгоистичной оценке унаследованного нами исторического окружения».

Он храбрый мальчик, схватывает все на лету, Египет должен гордиться такими людьми. Велел ему сколачивать доски и единообразно скреплять их раствором, чтобы соорудить более незаметную ширму для входа в гробницу.

Сам я тем временем вновь захожу в свою усыпальницу и заново погружаюсь в несделанную работу на обширной и удивительной территории, карта коей ныне выглядит так:



**РИС. «F»**

## ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КАМЕР. 29 НОЯБРЯ 1922 ГОДА

Говоря коротко, уже найденные сокровища имеют ценность не столько материальную, сколько историческую, они доказывают, что мы на верном пути, насмешливо указывают дорогу к более осязаемым находкам, которые вскоре будут обнаружены и превзойдут все остальные находки этого сезона. В качестве примера упомянутых мною исторических трофеев следует кратко сказать о кровавых следах в Камере Покалеченного Рабочего — явлении в истории египтологии уникальном. Осмелюсь выдвинуть не более чем гипотезу на их счет: возможно, здесь был покалечен рабочий, закрывавший и запечатывавший дверь «В».

Я вбиваю клинья и расчищаю долотом контур Великого Портала. Взвешиваю возможность использовать рычаги, но — нет, абсурд полагать, будто мы с мальчиком справимся без посторонней помощи. Можно подождать, пока решение лорда Карнарвона не откроет передо мной эту и любые другие двери, сколько бы их ни было. Можно надеяться, что Маргарет наконец превозможет себя и уговорит отца и его лакеев вернуться на поле боя. Можно пойти к брадобрею и попросить его помочь. Картер пропихнулся в свою гробницу очень быстро, и если работа кувалдой здесь не возбраняется, разве обязан я беречь каждый камешек на своем пути? *Что скрывает дверь «С»?* Этот вопрос не дает мне покоя. Совсем уже неоспоримое доказательство существования Атум-хаду и, наконец, сокровища? Так близок я к цели — и всеми оставлен, и вынужден полагаться лишь на себя одного.

Мне многое нужно сделать, между тем время утекает, а родник Ч. К. Ф., боюсь, пересох навсегда. И все же меня притягивает участок Картера; не желая оскорбить ветерана раскопок, я непременно отправлюсь туда, где соберутся сегодня толпы зевак и журналистов. В полдень я приказываю Амру прервать

плотницкие занятия и сторожить гробницу до вечера. На его осле я еду в Долину, на праздник Говарда Картера в песках.

*К Маргарет:* Моя дорогая! Сажу над Долиной царей, вот-вот начнется званный обед и торжественное открытие гробницы одного из моих коллег. Я в затруднительном положении, упрямство твоего отца для меня — словно запертая клетка. Успокаиваюсь на мысли, что твоя любовь отперет любые замки. Уверен, что и сейчас, когда я пишу эти строки, ты толкаешь своего отца на путь истинный.

Любовь моя, прошло немного времени, я вернулся на то же укромное место, чтобы кратко записать мысли по поводу увиденного, а затем поехать обратно в Дейр-эль-Бахри и взяться за неотложную работу; увы, из-за увечья передвигаюсь я медленно. Стоит описать случившееся просто для того, чтобы однажды, когда все встанет на свои места, ты поняла, каковы из себя люди, снижавшие доверие и помутившие рассудок твоего отца. Ничего! Ничего нет в открытии Картера такого, что может хоть на минуту кого-либо смутить, чему должно завидовать. Ныне, когда я увидел «блеск» Тут-анх-Амона, путаница в голове Владыки Щедрости меня попросту смешит.

Помимо Мёртона из «Таймс» и прочих журналистов, завлеченных бесплатным обедом, присутствовали Картер, граф и его дочь, куча-мала пашей, леди Алленби, Энгельбах из Департамента древностей, комендант местной полиции, луксорский инспектор Департамента Эффенди, а также весь справочник Бёрка в виде английских хлыщей с их женами. Я слышал, одна из них, леди Прэттлмаддл, привела с собой йоркширского терьера (милое, но холощенное шелковистое существо с черным кожаным ошейником) и потом бляла, как рожаящая овца, обнаружив, что пес ее куда-то смылся, очевидно, отправился добывать себе пропитание получше того обеда, что предложили нам на длинных столах, накрытых в верховьях Долины.

Обеденная болтовня была невыносима, леди стремились перещеголять друг друга по части туристического опыта. Тряся брошками в форме скарабеев с ониксами и брильянтами, а также соломенными шляпками, они с апломбом произносили названия местных ям и поражали собеседниц рассказами о незабываемых пейзажах неземной красоты, увиденных в самых что ни на есть благоприятных обстоятельствах.

«Конечно, я тебе верю, та дыра, ну, Рамзеса VI, — не худшее пристанище для человека, умершего в Египте, — нападает одна леди на другую, осмелившуюся признать, что впечатлена гробницей Р6. — Но колоссы Рамзеса II в Абу-Симбеле дадут этой дыре сто очков вперед. Если не поленишься и съездишь на них посмотреть, увидишь, что такое настоящее искусство!»

«Да уж, они большие, — вздыхает третья. — Я их видала. У парня не было никакого вкуса, раз он приказал изваять себя в таком непотребном виде. И скульптор — ну чистый Майкл Анджело. Но согласитесь, есть что-то такое в признанных экспертами произведениях искусства, от чего вкус отмирает. Определенно *открывать* нечто своими глазами и чувствами не менее интересно, чем просто приехать и полюбоваться. Собственно, поэтому-то мы и здесь — чтобы первыми увидеть малыша Тута. Хотя, конечно, вряд ли мы тут найдем что-нибудь волшебное, как я, когда впервые наткнулась на вещицы из резного стекла в Туна-эль-Гебель...»

«Их сделал какой-нибудь бедный студент. Настоящие шедевры схоронены в Нури и Эль-Курру».

«Там одни, как я их называю, чудовины. Вам нужно ехать в Судан. Правда, вас туда так просто не пустят, но я могу шепнуть кому надо пару слов...»

«...Тот участок, где царь Не-Помню-Как-Зовут просто взял и наклеил свой картуш на обелиски предшественника? Это не по правилам, скажу я вам...»

«...Ехать нужно шесть дней, но восход там такой, что не передать словами!..»

«...Восход? Милая девочка, астрономия — это не искусство!»

«Вы бы видели, что нашли в гробнице Атум-хаду», — добавил кто-то, и все гости заинтересованно встрепенулись, как оно обычно и бывает, когда упоминают имя великого царя.

Наконец Картер пробурчал свои реплики, и мы все строем, по трое в ряд, промаршировали по шестнадцати волшебным ступенькам прямо в дыру маленького Тута, чтобы, согнувшись в три погибели в пустом коридоре, получить драгоценную возможность мельком взглянуть на случайно выбранное хранилище, где валяются там и сям всякие вещи. Я слышал, как его сравнили с реквизиторской древней оперы, и в мою голову закралось подозрение, что царь-коротышка Тут просто обчистил уже существовавшую гробницу, соскоблил имя Атум-хаду и написал свое собственное. Такое делалось довольно часто.

«Что это за кошмарное амбре?» — спрашивает жена какого-то чиновника, и Картер пытается растолковать ей, что воздуху в гробнице 3200 лет, а я понимаю, что мне нужно сменить повязку и я как-нибудь обойдусь без этого представления. Быстро выхожу наружу.

Маргарет, бедный Картер сваял дурака, делая свои открытия публично, и теперь за это расплачивается: пока он работает, вокруг него вьется стая щебечущих кретинов. Он целыми днями только и делает, что водит по усыпальнице дилетантов. А ведь в гробнице должно тщательно обдумывать каждый шаг; с каждым выдохом воздух гробницы насыщается влагой, от которой портится нежная грунтовка расписных ларцов и темнеют надписи на стенах; при каждом движении руки та или другая важная леди рискует задеть рукавом предмет, который, будучи незаконсервированным, может буквально рассыпаться от прикосновения; на одной леди сегодня имелось даже большое серебряное кольцо с сапфирами, которое вполне могло упасть и повредить что-либо, когда она, пребывая в хранилище Тута, наклонялась, дабы как следует рассмотреть произведения искусства. Экскурсии неуклюжих, несведущих, восторженных поклонников! Бедный Картер!

И сколько можно обсуждать это хранилище и эту усыпальницу? После всего, что говорят туземцы и пишут газеты, она не впечатляет. Да, журналисты выбрали верные *существительные* — но не *прилагательные*. Я слышал, что «Таймс» назвала колеса царских повозок «зачаровывающими», золото «ослепительным», статуи «восхитительными», а сама гробница-де такова, что «не сравнится ни с чем во всем Египте». Это неправда, Маргарет, говорю тебе, это просто *неправда*; у этой комнаты нет ни истории, ни цели, в ней просто свалены в кучи всякие броские нелепицы; разумеется, неопытный турист задохнется от восхищения и при виде всех этих полудрагоценных штукочин будет почти готов выбросить собственные драгоценности, но я как профессионал Кар-



тера жалею, а в общем и целом мне *противно*, ощущение такое, будто меня в самую духоту по горло напичкали сладостями. Особенно меня задела огромная кровать с изножьем в виде львиных голов; я почти слышал, как заливаются смехом увидавший эту такую безвкусицу Хьюго Марлоу. Трон со спинкой, украшенной золотыми барельефами. Провислобрюхие алебастровые сосуды XVIII династии, погрязшие в декадентской, избыточно детальной, невротичной андрогинности. Само собой, я был добр к бедному Картеру и похвалил его; глаза Картера смотрели на меня по-новому, как-то робко, будто он устыдился своей добычи и привлек внимание общественности, не имея на то никакого права.

Сейчас, Маргарет, я отправляюсь на собственный участок, где меня ждут работа, загадка и достославное открытие. Все для тебя, моя любовь.

*Дневник:* Достичь чего-то *вопреки*, а не *благодаря* обстоятельствам. Атум-хаду понимал, каково это; трагедия превращается в комедию, поскольку обладающий нестигаемым характером, сам себя приводящий в движение человек сильнее любого трюка Судьбы, и наблюдение за ним, одолевающим всех и вся, и бодрит, и веселит.

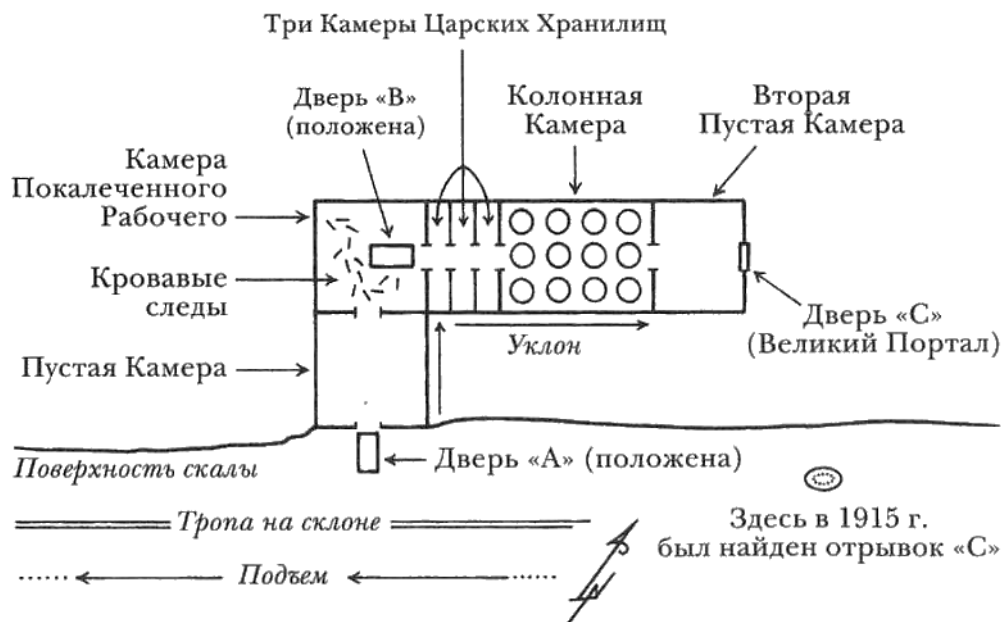
Кстати: когда я вернулся с шоу Картера, Амра на месте не было. Впрочем, мальчик отлично поработал над моей временной дверью. Я позвал его, но из гробницы вылез только злой Ахмед. Он отослал Амра домой и сказал мне, чтобы я не ждал его возвращения; воображаю, как эта скотина угрожала бедному мальчику. Разговор зашел о деньгах Ахмеда, к которому я испытываю некоторое даже сочувствие. В итоге я потратил драгоценное время, пытаюсь объяснить ему ситуацию и вежливо намекая на то, что он нарушил условия нашей сделки и что сегодня выплатить все причитающиеся ему наличные затруднительно.

Ахмед хвастался своим самообладанием. Ахмед буйствовал. Ахмед угрожал. Но денег не было, потому угрозы пропали втуне. Тогда Ахмед предложил мне решить вопрос по-другому: он вручил мне кувалду. Я пошел бы на все, лишь бы этого избежать, я заплатил бы любую цену — но выбора у меня не было. Он так настаивал, что мне ничего не оставалось, кроме как открыть дверь «С»; каждый жалающий удар безжалостно отдавался в моей ноге и моей голове, разбивая мне сердце. Ахмед вбежал в камеру первым — не могу поверить, что записываю этот прискорбный факт. Он вышел, качая головой. Я никогда не забуду его слова: «Англичанин, я жестоко разочарован». Неудовлетворенный, он выместил свою злость в обычной для первобытных людей форме. По большей части он пинал мою раненую ногу, а также бил меня по лицу и, когда я распростерся на полу, по спине. Слава богу, он разрушил лишь одну дверь. Любостяжание, как видите, ослепляет, потому он и не подумал открыть Великий Портал, который все еще ожидает моей ласки и любви, который воздаст мне сполна за все жертвы.

Так тому и быть. Я как смог промыл раны и наложил необходимые бинты. Уходя, эта свинья украла осла Амра и один из моих патефонов — «Колумбия Фаворит».

Опуская подробности: сегодня я открыл седьмую камеру гробницы Атум-хаду.

**РИС. «G»**



## ПЕРВЫЕ СЕМЬ КАМЕР. 29 НОЯБРЯ 1922 ГОДА

Остальное подождет до завтра, включая описание новой камеры, которая замечательна в самых разных аспектах. Закрыв дверь Амра переднее отверстие.

Банк — сплошное расстройство. Почта доставила невразумительную каблограмму, видимо, шуточную. Это точно шутка — или какой-то дурак забавляется.

### КАБЛОГРАММА.

БОСТОН — РАЛЬФУ ТРИЛИПУШУ,

ЛУКСОР, 29 НОЯ 1922, 10.27

ПОМОЛВКА РАСТОРГНУТА. ТВОЯ ЛОЖЬ РАЗОБЛАЧЕНА.

НЕ ВЗДУМАЙ МНЕ ПИСАТЬ. М.

Я мог бы ответить, но кому? Кто автор этой «каблограммы от Маргарет»? Голова идет кругом от его преступлений и измен. Он заслуживает суровейшего из всех придуманных великим царем наказаний.

Кошки зализывают раны, что нанесли мне Ахмед и Финнеран. Почему судьба настаивает на том, чтобы мы играли столь неоригинальные, пустые роли, когда мы способны на большее? Если бы я сам писал для себя сценарий, он был бы — и все еще может быть — куда более захватывающим, но нет, я должен принимать как есть придуманные твердокаменным Финнераном сцены с их яркими красками и жесткой арифметикой. Будучи не в состоянии финансировать египетскую экспедицию, которая не нашла в мгновение ока ни сокровищ, ни штабелей порнографии, он счел за лучшее предать меня и рассказывает небылицы многострадальной дочери, дабы отравить колодец ее любви ко мне; пока она по его воле пребывает в оцепенелом, полубессознательном состоянии, он развлекается с ее нордической тюремщицей. О, судьи подземного мира, взвесьте мое сердце на своих весах, прочтите все секреты, написанные на его красных протоках и набухших серых сосудах, каждую мою потаенную мысль. Разве не видите вы, что я люблю ее, люблю вопреки деньгам ее отца? Я уверен, бездушные манипуляторы вроде Финнерана скажут, что Маргарет не дала мне того, чего я от нее ожидал, при ней не оказалось огромного состояния, на которое я рассчитывал. Наверное, эти люди сочтут,

что мне следует от нее отказаться, признать, что любовь моя — лишь притворство. И это правда, я действительно думаю, что Маргарет отчасти виновна в моем нынешнем положении. Как выяснилось, она не смазала колеса финансовой машины великих раскопок; нельзя быть уверенным и в том, что во время моего отсутствия она истово хранила мне верность.

Притворялся ли я, когда восторгался ею? А она? Не буду отрицать, сперва я подумал о том, что она богата. Хотя нет, я *должен* это отрицать; эта мысль не могла быть первой, поскольку о богатстве, которое она наследует, я узнал много позже. Так что сперва я подумал о ее красоте. Нет, это тоже неверно, по многим статьям Инге куда привлекательнее. Зная себя, должен предположить, что сперва я ее пожалел: передо мной очутилась молодая женщина, что была обременена некоего рода недомоганием, тяготилась своим состоянием, обессилела прямо на публичной лекции на пресловутую тему, украдкой подошла к кафедре, чтобы представиться и поблагодарить лектора, утверждала, будто интересуется Египтом... Нет. Нет, я не могу сказать даже, что заметил ее слабость. Мне не нужны были ни ее деньги, ни ее красота, ни ее недостатки. Она меня смешила.

Я бы полетел к ней на всех парусах сегодня же, доказал, что я люблю ее; но нельзя уходить отсюда, пока не сделана работа, не совершено и не признано открытие. Если я прибуду сломленный и с пустыми руками, она никогда не вернется ко мне; либо я — ее английский исследователь, либо я никто. Без мумии Атум-хаду на парадном золотом ложе, без последних камер гробницы я в Бостоне никому не нужен.

Кошки, что платят хозяину верностью и пониманием, были богами благоразумия. Оранжевая красотка Мэгги — сама доброта, как и та, в честь которой названа, та, что никогда не отправила бы эту каблограмму. Она ее и не отправляла; она ее даже не *видела*.

15 нояб.

*Мой сладкий милый Ральф!*

*Получила вчера твое письмо от 19 октября. Мне стало грустно-грустно. Я по тебе очень-очень скучаю. А всего четыре дня назад пришла каблограмма с великим известием — ты совершил свое Открытие. Папочка показал ее мне, я тобой горжусь, правда. То есть, конечно, мы с ним гордимся.*

*Опять читаю твое письмо. Не знаю, о чем писать, мне так грустно. Я плачу, когда перечитываю твое милое письмо, ты обо мне так заботишься, а я боюсь, я этого не заслужила. Хотя это очень абсурдно — теперь, когда все хорошо, разве нет?*

*Папочка в конце концов вышел из себя и на днях указал щеке на дверь. Я не слышала всего разговора. Потом я спросила папочку, что случилось, а он велел мне убираться, довольно грубо велел. Понимаешь, папочке приходится очень тяжело. Он мне ни словечка не говорит, никогда не жалуется, и ты его прости, если он злится или верит всяким вралям вроде щеки или того профессора, твоего начальника-немца. Немец к нам приходил месяц назад, они с папочкой говорили о династиях, отрывках, Оксфорде, о чем только не говорили. (И это еще вопрос, должны ли мы вообще доверять немцам. Я бы ни за что им не поверила, я-то знаю, дорогой мой, через что ты прошел на войне!) Ты же знаешь, Ральф, я таких людей никогда не слушала. Мне известно, какой ты, я*

тебя люблю с макушки до подошв твоих грязных ботинок, и всегда буду любить. Ты же знаешь? Просто поверь мне, ладно? Без тебя — я не знаю, что бы со мной стало. Я храню под подушкой каблограмму, в которой ты пишешь, что Феррелл врет.

Ты наверняка уже слышал о том, что «Фешенебельные Фасоны Финнерана» переживают не лучшие времена. Мне так кажется, и папочка очень переживает, и Дж. П. О'Тул иногда проговаривается. Поэтому твоя победа очень-очень важна для всех нас, они все тобой восхищаются — почти как я, твоя царица. Надеюсь, эта новость тебя не встревожит и не переменит твоего отношения к папочке или ко мне. Я знаю, ты не такой. Это все совсем не так серьезно, как кажется.

Я так тебе благодарна, ты представить себе не можешь, как я тебе благодарна за то, что ты думаешь про Инге, про мои лекарства, про то, что до свадьбы все-все заживет. Пожалуйста, не волнуйся. Все будет хорошо. Мне достаточно просто знать, что ты обо мне думаешь, и что ты думаешь о том, как мне выздороветь, если я это буду знать, я выздоровею, вот увидишь. Мне станет лучше просто от любви к тебе, поэтому ты не волнуйся так за меня. Я уже выздоравливаю — ради тебя. Любой бы выздоровел ради такого человека, как ты.

Ты едешь домой, значит, мне не будет скучно, когда мне скучно, я думаю, что надо пойти погулять в городе. Но теперь я скажу себе: нет, ты больше не пойдешь в город, ни разу не пойдешь.

Я думаю о тебе постоянно — когда не сплю и когда могу соображать. Ты всегда говорил, что тебя ведут наука и дедуктивный метод, а не эмоции. Помнишь, ты сказал это, когда мы гуляли у реки? Но все улики говорят, мой археолог, что ты не должен меня любить. А ты меня любишь. Поэтому я даю тебе слово, я выздоровею ради тебя, стану достойной тебя, вознагражу тебя. Начну выздоравливать прямо сейчас. Три-четыре!..

Пиши мне чаще! Напиши о нашей свадьбе, о золотых кольцах, о коронах, которые ты ищешь в пустыне, о кентском Холле, о том, как мы познакомимся с королем Англии. Живой король, если уж на то пошло, лучше мумифицированного царя.

Остаюсь твоей вечной царицей,  
м.

Четверг, 30 ноября 1922 года

К Маргарет: Маргарет, любовь моя, однажды ты пожелаешь знать все о произошедшем, воссоздать поток событий со всей возможной точностью. Так вот, сегодня утром, на следующий день после того, как ты со мной «порвала», я первым делом захромал на почту. И что ты думаешь? Я получил письмо от тебя, датированное 15 ноября; читал и хохотал, представляешь? Немедленно отправил тебе ответ, дорогая моя, благослови Господь кабель, позволяющий через океан устранить любое недоразумение. Теперь все понятно. Любовь наша — неколебима. Разумеется: у твоего отца неполадки с финансами, и он, бедняга, боится мне в этом признаться! Разумеется! Разумеется, ему совестно, он опасается неверности близких и решил испытать меня, послав мне фальшивую каблограмму. И к чему же мы пришли? Я люблю тебя, невзирая ни на что. Ни на что.

Вот все и объяснилось, и ныне я твоего отца жалею — и только. И вынесение проблемы финансирования экспедиции за скобки наших с ним отношений — только к лучшему, особенно сейчас, когда ему приходится очень тяжело. Судьба подарила мне встречу с новым вероятным компаньоном, так что все к лучшему. Представив меня отцу, ты оказала ему большую услугу; я последую твоему примеру и прощу ему его долги. Вместе нам с тобой по зубам любые проблемы. Мне так легко на душе, дорогая моя. Я еле пережил эту ночь.

Завтра вернусь на участок, а сегодня мне предстоит поразмыслить над всем, что мне за эти дни открылось. Прежде чем мы станем компаньонами, Карнарвону потребуется уяснить, чего я добился. Потому я обязан потратить сбереженную энергию, дабы в ясном и незамутненном свете представить потенциальному покровителю своему все, что я успел сделать. О Маргарет, я не могу предложить большее доказательство моей любви, нежели это: хотя ответственность снабжать экспедицию деньгами возьмет на себя лорд Карнарвон, моей женой станешь *ты*. Узнав об этом, вы с Ч. К. Ф. прекратите питать подозрения на мой счет. Сейчас — 11.15 утра 30 ноября 1922 года, моя любовь к тебе — несокрушимая скала.

*Дневник:* Укрывшись от солнца, посвятил несколько часов обдумыванию и планированию, пил сладкий чай. После обеда чувствую себя в состоянии вновь погрузиться в думу о головоломном наследии Атум-хаду. На сцене каба-ре началось представление — провинциальный вариант того, что я лицезрел в Каире не помню сколько дней назад. Девочки раскачиваются, монеты падают к их туфлям, гремят барабаны, изредка вскрикивают скрипки, покрывала плывут по воздуху, будто листья, сорванные легким осенним ветерком.

*Уроки историографии:* о характере связи между (запутанной) жизнью и позднейшим (упрощенным) жизнеописанием на примере Атум-хаду: Легко представить себе, сколько дров может наломать некий будущий археолог. В попытке уяснить, чем ты жил, он обязан додумывать и досочинять, и все оттенки и подробности твоего существования, которые делают тебя тобой, либо утрачены, либо придуманы, подменены таковыми твоего хрониста. Ты был добродетелен и великодушен, ты смиренно воздавал добром за добро, но записей об этом не сохранилось — а значит, ничего и не было. И наоборот, если сохранилось что-то иное — упоминание о секундном помрачении, хорошо задокументированные наветы твоего вечного соперника, собрание болезненных, односторонних писем разгневанной любовницы, возводящее напраслину досье самоуверенного детектива, который так ничего и не понял, — что скажет о тебе злосчастный землекопатель?

Вот почему нужно всегда следить, остается ли за тобой шлейф ясной, недвусмысленной истины, обрублено ли все лишнее. Примеры — «Назидания Атум-хаду», а также эта книга независимо от результата моей работы.

Когда появляется наш археолог, наш проницательный биограф — а мы все без исключения лелеем надежду, что он появится, — когда он раскладывает по полочкам нашу жизнь и упрощает ее, чтобы даже бестолковейший из читателей ухватил ее суть и запомнил нас навсегда, как мы можем содействовать ему из прошлого? Как помочь ему понять, когда нужно отложить лопату и

взяться за перо? Средоточие нашей жизни, освобожденный от инородных элементов остов личности — где он? Под одним пластом скрыт другой, под ним третий; под шелковым покрывалом — вновь шелк; под слоем пыли — вновь пыль; дверь за дверью, а за ней склеп, а в нем внешний саркофаг, а в нем внутренний, а в нем коробка, а в ней золотая маска и полотняные пелены, а в них... черный скелет, обтянутый хрустящей кожей, нетронутый, но лишенный мозга, печени, легких, кишок, желудка. И *это* — истина? Или же мы в погоне за «ответом» прошли мимо скромной истины, походя сокрушили ее, забросали в спешке землей?

Думаю, перед тем как приступать к основательным и дорогим раскопкам, нужно тщательнее осмотреть гробницу как она есть и подробно описать достигнутые на сегодняшний день результаты.

Для того чтобы перерисовать многочисленные изображения, украшающие гробницу, мне понадобится больше чернил, красок и бумаги, чем я думал. Еще придется использовать стремянку, без нее не прочесть и не срисовать самые верхние ряды иероглифических надписей. Закуплю на остаток денег последнюю партию требуемого — и в постель с царственными кошками.

На следующей стадии раскопок я должен спать на участке и нигде иначе, а значит, с завтрашнего дня буду на время отлучен от мягкой постели. Особняк превращается в обузу, завтра я его покину. Нужно продумать, как ухаживать за кошками.

На следующий день, 30 числа, все пошло просто кувыркком. Вашему двоюродному дедушке было нехорошо, он то орал, будто его живьем резали, то успокаивался — коли это можно так назвать, спокойствием там и не пахло. До того я почти не видел его пьяным, а тут он напился в сопли. Ночь он точно не спал. Мне доводилось видеть людей в его положении, Мэйси, и все они вели себя похоже. Проблемы сказываются на людях одинаково, вот что я понял. Когда все идет вкривь и вкось, реакций может быть две, максимум три. Я видел, я знаю.

Накануне вечером Финнеран внял моему совету и отправил телеграмму о разрыве помолвки. 30 числа Трилипуш ответил, причем горячо, что меня все-рвез озадачило: я, надо сказать, не думал, что он, получив от Маргарет и ее семейства все, что хотел получить, станет трепыхаться, ему должно было быть все равно. Я готов был утешить сраженную Маргарет, однако, очевидно, не смог раскрыть Трилипушевы планы до самого конца. Так просто расставаться со своей невестой он не желал. Ответную телеграмму он дал не Финнерану, не Маргарет, а *О'Тулу*, и коварный ирландец переслал ее Финнерану, чтобы тот употел как следует. В Трилипушевой телеграмме было написано: *О'ТУЛ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ НАС СО СКАЗОЧНОЙ УДАЧЕЙ. ПОЛАГАЮ, ФИННЕРАН ОБСУДИЛ С ВАМИ РАЗМЕРЫ ПОСЛЕДНЕЙ ВЫПЛАТЫ. НАМ ВСЕМ ВОЗДАСТСЯ СПОЛНА.* Внизу *О'Тул* нацарапал ручкой: «Хорошие новости, Ч. К. И впрямь, не затягивай с бухгалтерией».

Трилипуш знал, куда бить.

— Он смерти моей хочет! — застонал Финнеран, показав мне злосчастную телеграмму. — Я только вчера сказал *О'Тулу*, что экспедиция провалилась!

Выкрутасы Трилипуша этим не исчерпывались: часом ранее в Финнеранову дверь позвонил репортер бульварной газеты.

— Представляете? — кричал Финнеран. — Писака из «Бостон Меркьюри» заявился ко мне в дом и говорит: мы, мол, получили *анонимную телеграмму* про то, что я, дескать, коллекционирую порнографию и хотел бы рассказать об этом прессе. Он хочет подорвать мою репутацию! Да я его в бараний рог скручу! — орал он, проливая ликер на стол. — А потом позвонили от кардинала. От моего кардинала, от бостонского князя церкви! Мы, говорят, получили *тревожную телеграмму*, это, говорят, какой-то злой розыгрыш!..

Я выслушал его вежливо. Подобные выступления, Мэйси, меня не трогают. Я профессионал, я видел такое тысячу раз. Хотя в данном случае все это касалось и меня лично.

— Маргарет уже знает? — спросил я, возвращаясь к самому важному вопросу. Финнеранова злость улетучилась, он просто-таки обмяк в кресле.

— Она убита горем. Я сказал ей, что он ее использовал, поматросил и бросил, и все из-за денег. Она где-то шлялась всю ночь. Она сейчас наверху с Инге. Что же мне делать? — бормотал он, запуская руки в волосы и хватаясь за воротничок рубашки.

Я, Мэйси, ему особо не сочувствовал, его много раз предупреждали, чем все может кончиться, а он и слушать не желал. Ему хотелось забраться на вершину общества, получить много денег и расплатиться с нехорошими людьми. Вместо этого он напоролся на уверенного в себе афериста, угробил репутацию и дочкино счастье. Я ничем не мог ему помочь.

Он посмотрел на часы, взял перо и бумагу и махнул мне рукой, чтобы я вышел. Когда я уходил, он слюнявил кончик пера и тряс головой. В такие минуты обреченный человек надеется, что вот-вот проснется — и все закончится.

На второй этаж Финнеранова особняка я поднялся впервые. С Маргарет не поговоришь, Инге дала ей снотворного.

— У ней была истерика, — сказал викинг в юбке, — она привыкает к новому лекарству.

Инге позволила мне зайти внутрь посмотреть на Маргарет. Та даже не пошевелилась. Что ей дала Инге — понятия не имею. Чертовы медбратья «Гавани на закате» тоже колют самых буйных из нас чем-то крепким, вроде лошадиного успокоительного, такое бывает, когда до старых придурков вдруг доходит, что их отправили сюда как на погост, и они начинают разевать пасти по этому поводу, или когда орут психи, которым кажется, будто они опять бегут с винтовкой по Турции. Вашей бедной тетушке, видно, давали средство не менее сильнодействующее, она способна была дышать да и только.

Я сидел у ее кровати и ждал, когда она проснется. Ее «р-р-р-редкие» тибетские спаниели спали рядом вповалку на маленькой бело-зеленой кушетке. Время шло. Последнее ноябрьское солнце закатилось рано. Я спустился вниз — проведать хозяина дома. Поразительно — он исчез и даже не подумал, что я остаюсь в будуаре его дочери. Еще бы, ведь его шкура в опасности. Вот вам и отец, который любит дочь до безумия! На столе Финнеран оставил письма и еще какие-то бумаги, я нашел среди них письмо Маргарет, в котором он оправдывался «за все» (не совсем понятно, что это значило), писал, что вскоре все поправит, уехал ненадолго, пусть она не волнуется и пока что во всем полагается на Инге. Я подумал, что знаю, куда он мог направиться, и точно: потом выяснилось, что он в ту самую ночь уехал в спальном вагоне в Нью-Йорк. Дело в том, что корабль в Александрию отчаливал на следующий день, 1 де-

кабря. Я знал расписание назубок, потому что за время бостонских сомнений и раздумий много раз заказывал на это судно билет. Я бродил по дому Финнера, Инге ушла через час или около того — наверно, решила, что я посторожу ее спящую красавицу (или узницу — это уж как посмотреть).

Через пару часов ваша тетя очнулась и уселась на постели с таким видом, будто не забывалась мертвым наркотическим сном, а чуток вздремнула. Она сердито сказала:

— А, это ты, — и отвернулась к окну. Попросила найти ее пальто и даже не посмотрела на меня, когда я ей его подавал. Шаря по карманам, то стервенела, то изумлялась чему-то, то вдруг застывала на несколько секунд, будто опять проваливалась в сон.

— Может, я чем помогу? — спросил я.

— Заткнись, — сказала Маргарет. Найдя то, что искала, она сжала маленький предмет в кулачке и сказала: — Боже, храни Дж. П.

Мэйси, я только что перечел свое длиннущее письмо. Я убил день, описывая свое житье в Бостоне, но по мне лучше было рассказывать эту тяжелую историю, чем подыгрывать грубым ублюдкам и натужно изображать рождественское веселье. Особенно сейчас, когда вместо головорезов из персонала вокруг шмыгают моральные уродцы, которых хлебом не корми — дай поработать на Рождество, повиносить утки за сирыми, убогими и придурочными, побегать, посуетиться и потехи ради нас погонять.

Мне сдается, я уже упоминал, что у вашей тетушки было три настроения. Какое бы слово подобрать для третьего? Может, она была такой на самом деле, может, из-за опиума, может, только со мной, только меня удостаивала таким приемом. В любом случае выглядело это гадко.

— Отойди от меня, ты, — заорала она, когда я попытался дать ей стакан воды. — Что ты натворил, Гарри? Что ты натворил? Отойди от меня, урод! Оставь меня. Я иду к Дж. П. — Она не двигалась с места. И на меня не смотрела.

— Ты многого не понимаешь, я должен тебе объяснить...

— Хватит! Что ты мне можешь объяснить? Ты свое поганое дело сделал!

— Так нечестно! — Я безуспешно пытался уговорить ее меня выслушать, чтобы она поняла: не во мне корень ее бед, я исполняю обязанности гонца поневоле. Я рассказал ей, что Трилипуш предал ее семью и только притворялся, будто любит ее, а сам растратил деньги ее отца, выдал деньги из кого-то еще и вот-вот смоется с накопанным золотишком, а про нее и не вспомнит. — Он тебя использовал, а возвращаться и не собирается. Я знаю, ты на самом деле к нему безразлична, твой отец тебе его навязал, так что все в порядке.

Она повела себя не так, как я ожидал. Я уже думал... Не знаю, что я там думал.

— Ты ничего не понимаешь! Я тебя ненавижу, меня от тебя тошнит!

Потом она стала звать отца с сиделкой, но я-то знал, что их дома нет и нам никто не помешает. Она хотела меня унижить. Она всячески меня обзывала, расшвыривала одеяла, будто они ее душили, без устали оскорбляла меня по любому поводу. Я старался только ее успокоить, ради ее же блага, удержать, чтобы она не поранила себя и не бросалась вещами в меня, сказать ей, что я люблю ее и со мной она будет в безопасности, а с Трилипушем она была на волосок от гибели, что я — честный человек, который может составить ее сча-



стье.

Я прожил долгую жизнь, Мэйси, и теперь могу сказать: увы, не каждый создан для любви. Она почему-то не унялась — до сих пор вспоминаю об этом с содроганием, — она не унялась и не поглядела на меня с удивлением и нежностью, ее глаза не вспыхнули, ничего похожего. Нет, она стала надо мной смеяться, тихо и гадко смеяться. Она меня передразнивала. Я отвернулся и посмотрел на двух ее собачек, они сидели на белой кушетке, на ней еще был зеленый рисунок, французская пастораль — молочница и ее любовник идут рука об руку по лесу. Я смотрел на собачек, которые с любопытством глазели на меня. А она все не унималась: с Ральфом мне не сравниться, я ничего не знаю, я дурак, урод и убудок, рядом с Ральфом я убожество, я недостойн произносить Ральфово имя, я ничего не понимаю, я хуже убожества, я жалкий, я отвратительный, и так без умолку.

— Ты тупой осел, Гарри, безмозглый австрал, вот ты кто! Ты наврал с три короба отцу, подначивал его, все из-за тебя! Только Ральфу от твоего вранья ничего не сделается! — Так она то плакала, то кричала, кидалась подушками, куклами, стеклянными безделушками, повторяла, какой замечательный человек этот английский убийца, какой он искренний, верный, английский и благородный, а я — рыжий пигмей из буша, на которого все только и делают, что плюют. — Ты меня любишь? Да меня тошнит от тебя, Гарри.

Прошло какое-то время, чаша моего терпения лопнула, я вышел вон и больше, Мэйси, никогда не встречался с вашими родственниками. Когда я уходил, собачки все еще сидели на кушетке и не сводили с меня своих круглых судебных глаз. Любой герой однажды садится в калошу — вот и моя очередь пришла. Вы же видите, я делал только то, что сделал бы на моем месте любой мужчина, который пытается завоевать сердце женщины, сердце девчонки. Я свалил дурака, но это не преступление.

Сейчас опущу письмо в ящик и постараюсь заснуть. Вы же получили все мои письма? Я дух испущу, коли они затерялись по пути либо лежат нераскрытые на вашем столе. Узнай я, что вы меня не слушаете, прыгнул бы с крыши этого заведения.

Счастливого Рождества, Мэйси!

Г. Ф.

*Пятница, 1 декабря 1922 года*

*Дневник:* Близится пора тяжелого труда, потому утро я потратил на то, чтобы перебазироваться из особняка в гробницу Атум-хаду. Агент по недвижимости помогает мне складировать вещи в сарай. Расставаться с Мэгги и котами ужасно, однако я постараюсь кормить их всякий раз, когда будет возможность безопасно пересечь реку. Есть искушение взять их с собой на западный берег, однако, уверен, у котов тут свои охотничьи территории, потому — зачем стогнать их с привычного места?

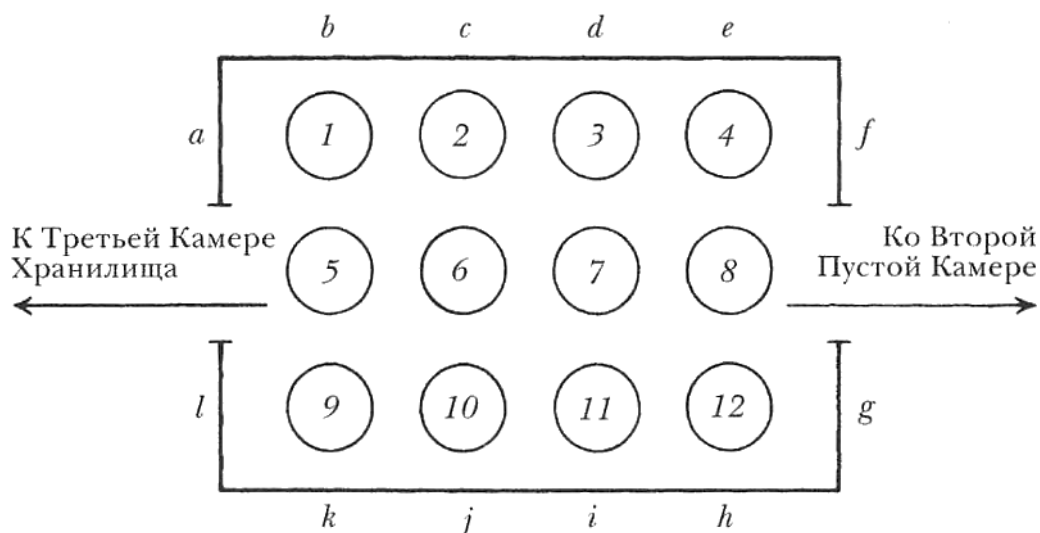
Улучшаю конструкцию сооруженной Амром двери. Намазав поверхность клеем, покрыл ее камнями и песком, отпилил лишние края; теперь она закрывает проход идеально и незаметно, сливаясь со скалой. Действенная и недорогая защита! Кроме того: дверь «А», покоившаяся на раздавленных валиках, только привлекала бы лишнее внимание, приманивала расхитителей гробниц и туристов, потому пришлось ею пожертвовать. Потеря эта не столь зна-

чительна.

*Подведение итогов обследования Исторической Камеры:* Покрывающая стены и колонны Исторической Камеры от пола до потолка роспись сохранилась просто великолепно. Все и каждая поверхность покрыта текстами и изображениями. Текст состоит из иероглифов, выписанных с великим тщанием и, на мой просвещенный взгляд, одной и той же рукой. Я могу также предположить, что рука эта принадлежала писцу, обладавшему безусловно ясным умом, но не прошедшему традиционную для того времени академическую подготовку.

Настенные иероглифы складываются в том числе в отрывки из «Назиданий», развеивая легчайший дымок сомнения в том, что (а) Атум-хаду существовал и правил; (б) он является автором «Назиданий»; (в) его захоронили или хотели захоронить именно здесь. Надписи убивают сразу трех зайцев; лишь завидев их, Карнарвон, безусловно, решит финансировать дальнейшие исследования на данном участке или других, если те покажутся небезнадежными.

И если изображения по соседству с надписями нельзя сравнить с лучшими образцами художественного искусства, если композиционно они неуклюжи, лица нарисованы не совсем по канонам древнеегипетской росписи гробниц, животные на них на первый взгляд неотличимы от предметов обстановки, в некоторых местах краски расплылись или потекли по безжалостным стенам усыпальницы, если художник, по всей видимости, не был обучен технике рисунка, — что ж, на это можно сказать лишь, что суровые последние дни энергичной XIII династии совсем не походили на приятные вялотекущие дни династии XVIII, а двор Атум-хаду был занят более насущными делами, нежели изысканное живописание бытия, свойственное псевдофараонским династиям, кои, одурманены спокойствием, появляются в эпилоге великой драмы моего царя.



**РИС. «Н»**

**КАМЕРА № 6 ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАМЕРА, ОТКРЫТАЯ  
23.11.1922 Г.**

**РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕКСТОВ И РИСУНКОВ**

Единственно копирование и перевод всех без исключения иероглифов и описание рисунков займет несколько дней. По завершении полного описания

камеры я приглашу лорда Карнарвона, дабы он ознакомился с нашими открытиями по состоянию на сегодняшний день, и лишь затем пройду через дверь «С», так называемый «Великий Портал», в следующие камеры, где, не исключено, найду сокровища и погребенные тела. Или же мы с Карнарвоном продолжим раскопки на других участках — в случае, если обнаружится, что эта гробница пуста и в ней наличествует только Историческая Камера (хотя она замечательна сама по себе).

Каждая из двенадцати колонн описывает ключевое событие каждого года двенадцатилетнего правления Атум-хаду. Благодаря двенадцати колоннам период правления можно считать окончательно установленным, он приходится, по всей вероятности, на 1642–1630 гг. до Р. Х. Текст и изображение на каждой из двенадцати стенных панелей более подробно излагают эпизоды из жизни Атум-хаду — от его зачатия до конца его земной жизни.

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «А»: «РОЖДЕНИЕ АТУМ-ХАДУ, ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ ЧЕРНОЙ СТРАНЫ»**

*Иероглифический текст:* Вечное имя великого царя составлено из имен: Гор, Сын Осириса и Сета; Тот, Кто С Двумя Женщинами — Воссоздатель Утраченного Царства; Гор Из Злата — Свирепый Любовник Маат; Тот, Кто От Ситовника И Пчелы — Рука Писца, Победоносный Бык, Рыба Бога; Сын Ра — Атум-Кто-Возбудился. Но при рождении имя царя было скрыто.

Царь рожден вдали от столицы, возле моря. [Его] мать за особенное милосердие, красоту и ум отмечена семенем Сета [бог путаницы и беспорядка — Р. М. Т.]. В самый жаркий день лета Сет, превратившись в рыбака, возлежал с этой женщиной. В тот момент, когда семя истекло, Сет открылся, женщина увидела голову осла и испугалась. Сет удалился. Женщина пожелала убить жизнь в своем чреве, но Сет остановил ее руку. Сет превратил ее кисть в звериную лапу. Сет отнял у неблагодарной ее красоту. Лик ее помрачился, никто не вспомнит ее имени.

Женщина стирала одежды и пила пиво. Она понесла детей от стольких мужчин, сколько звезд на небе. Первый сын спросил ее, кем был его отец. Она указала на человека, что напоминал Сета в обличье рыбака. «Это порождение вульвы шлюхи — твой отец». Рыбак сказал: нет, она совокуплялась с ослом, все ее дети — дети ослов.

Сет увидел, что мальчик вырос сильным, и пришел к нему. Сет все объяснил, мальчик все понял. Мальчик был создан не людьми, но богами и самим собой. Он создал себя сам. Бог, которого он напоминал больше всего, был не Сет, но Атум, великий создатель вселенной, в тот момент, когда бог напрягся в акте творения. Он назвал себя Атум-Кто-Возбудился, и Сет пришел к Атуму-Кто-Возбудился и воспел ему славу. Слепив его вспышкой на солнечном диске, Сет сделал так, что мальчик позабыл данное ему при рождении ложное имя единожды и навсегда.

В это время жил завистливый жрец храма Амона. Жрецом правило ненасытство, он часто насаживал мальчика на вертел, словно жертвенного теленка, и мальчик вынужден был пылать в огне, и мальчик поклялся, что жрец увидит, как сгорает его собственное сердце, и Атум-Кто-Возбудился с сестрами и племянницами жреца будут подбрасывать верблюжий навоз в костер, и глаза жреца истекнут кровью.

*Изображение:* Иллюстрации — выше всяческих похвал: мы видим Сета, совокупающегося с красивой женщиной в момент летнего солнцестояния, причем голова бога в самый момент оплодотворения матери Атума-Кто-Возбудился преобразуется: наполовину она ослиная, наполовину человеческая. Далее мы видим в ее прозрачном животе золотого младенца. Далее мы видим, как она пытается ударить кулаками по животу, а Сет наказывает женщину за это злодеяние, превращая ее в уродливую, неприглядную прачку. Далее мы видим красивого мальчика с золотой кожей, окруженного множеством других детей, темнокожих и толстых, а рядом лежит их пьяная мать. Далее мы видим, как жрец храма жестоко («вынужден был пылать») обращается с мальчиком. Далее мы видим пришедшего к мальчику Сета. Далее мы видим мальчика, который сам себя учит читать и писать, охотиться и рыбачить. Далее мы видим, как он стоит в стороне от рыбацкой деревни и своей семьи и вперяет взор в солнечный диск, откуда Гор и Ра смотрят на него в восхищении.

Изображения по художественным стандартам Запада бесхитростны и не слишком типичны для египетского искусства — но сколь впечатляющи!

*Разбор:* Мое детство было безоблачным, однако люди, которыми я безгранично восхищаюсь, добились всего своими силами — так сказать, сотворили себя сами. Видимо, то же можно сказать и про царя.

Под «сотворением себя» я не разумею превращение бедняка в богача. Я разумею скорее тех людей, которые, будучи детьми, оказались отвергнуты или угнетены; собрав доступные им крохи и крупы, они молотом живокипящей, творческой натуры выковывали собственную суть, отмеченную силой и, что еще важнее, стилем. Суть, созданная такими людьми, не несет мало-мальски заметных следов темной наследственности, дурного воспитания, провинциальных городков, где прошло их детство, совершенных против них злодейств, ни следа обделенности (деньгами, лаской, питанием, дружбой), ни следа первоисточника; эта суть — творение эстетическое и практическое, богоподобное в своей простоте и совершенстве. В простоте: на человека не влияют ни родители, ни деревенские традиции, он обходится только своей головой, только порождающим самое себя сознанием. В совершенстве: создано должно быть абсолютно все: точки зрения, манеры, верования, ценности и стильные жесты. Ничто унаследованное не допускается из недопустимого прошлого.

Однако же ирония судьбы заключается в том, что именно таких людей обычно не замечают, а замечают, напротив, таких, как я — рожденных в любви, окруженных наставниками, благополучных со всех сторон. Наверное, более прочих стихов меня восхищает катрен 24 (есть в отрывках «В» и «С»):

*Атум-хаду посмотрит вниз и удивится: как высоко!  
Атум-хаду озирает все, что он одолел, и дышит легко.  
Атум-хаду не имеет долгов, он никому не обязан собой,  
Потому он может так поступать, как не может никто другой.*

Легко представить себе, как сочиняет это стихотворение молодой человек, не так давно обнаруживший, что сделался царем Египта.

*Об имени Атум-хаду:* Отвлечись от характерной египетской мифологии,

мы находим две детали важнейшего исторического значения: Атум-хаду пришел ниоткуда и назвал себя сам. Легенда не предлагает иных объяснений. Он был не царского рода, но крестьянского, в условиях разрухи конца династии его возвышение было возможно. Полное пятисоставное имя царя, открывающее текст и завершающееся именем «Сына Ра» Атум-хаду (Атум-Кто-Возбудился), приводится здесь впервые. Традиционно имя «Сын Ра» царь получал при рождении, оно давалось новорожденным царской семьи и звучало, естественно, по-царски. Однако, как оказалось, наш незаурядный герой, вознесшийся, невзирая на скромные возможности, на самый верх, с рождения звался по-иному.

Разумеется, можно пожалеть этого мальчика, самому себе рассказывавшего на ночь сказки и сочинившего себе небесного родителя. Анализировать историю Атум-хаду следует с позиций современной социологии: согласно исследованиям, в тех жутких случаях, о которых мы слышим и читаем, имеется, как правило, некий критический возраст, некий момент, когда ребенок впервые осознает тяготы своего положения, начинает понимать в конце концов, как он относится к своей, допустим, матери и отсюда — к окружающему миру. Этому моменту не пропасть в пропасти минувшего, куда я теперь лечу; однако, по правде говоря, жалеть таких детей не следует. Напротив, взгляните, сколь они красивы и храбры: вот мальчик восьми лет в последний раз вбегает в свой ветхий дом (ибо какой-то раз должен стать *последним*, неважно, поймет он это сразу или потом) и гордо и громко оповещает хозяйку о каком-то своем достижении, все еще предвкушая (обрубком детского инстинкта любви) похвалу. Он гордо и громко рассказывает о том, что освоил то или это в науке или в спорте. В знак полнейшего к нему равнодушия он получает либо зуботычину, либо вымоченное в ликере слащавое проклятие, либо соплетекущее, рвотное молчание; его полуродные братья-сестры ползают по комнате и режут. Трагичен ли этот миг в сознании ребенка, которое распускается подобно цветку? Не совсем; почему мы считаем, что дверь закрывается, а не отворяется — с тем же самым скрипом? И разве способно нетренированное ухо уловить разницу? Закройте глаза; если душераздирающий визг донесется до вас ветерком озарения либо шанса все изменить, вы почувствуете то же, что, судя по всему, чувствовал Атум-хаду. Ему открылось нечто, что он предпочел называть ночным нисхождением Сета.

Современная социология говорит, что наиболее смысленные дети осознают важность этого момента; приурочивание к нему — не что иное, как *второе рождение*: «младенец» полностью независим, свободен от оков иллюзий и иллюзий оков. Он становится обоими своими родителями. С этого дня он будет создавать себя сам. Когда царь выбирал имя, под которым его позже узнал мир, он думал, конечно же, о том, что с *этого момента начнется величайшее из сотворений — сотворение меня*.

Разумеется, только пройдя через слегка болезненное второе рождение, можно устремиться к *третьему*, о котором большинство людей и не подозревает — даже те, кто сотворил себя сам (в любом случае шанс родиться в третий раз чудовищно мал). Третье рождение есть *бессмертие*: человека, прожившего плодотворную жизнь, руководствуясь единственно самородительскими инстинктами, будут помнить и любить всегда — в подземном ли мире, в грядущем ли блаженстве. Но если вы не в силах справиться с химерами дет-

ства, если продолжаете блуждать, доверившись материнской любви, благонадежному участию священника, учителя, любовницы, нанимателя или командира, благовольной заботе богатого о бедном, беспечальному приятельству и бескрайней преданности близких друзей, — что ж, значит, вы обречены жить в мире детства. Вам не дано познать настоящее взросление, оставьте упования добиться чего-нибудь, стоящего заметки в вечности.

Все описанное превращает Атум-хаду в достойный пример для изучения. Весьма похоже очерченные выше закономерности великий царь описывает в катрене 80 (есть только в отрывке «С»):

*Запечатано сердце матери, для ребенка закрыто; что же?!  
Это — лучший из всех даров ее для ревущего малыша.  
Как лишенная плевры дева, мы стенаем на смертном ложе,  
Но закроется дверь усыпальницы — и восторжествует душа.*

Ослоглавый бог Сет, сексуально опасный, алчущий власти забияка, изображен на стенах симпатичным и заботливым, он предстает скорее домашним псом, нежели ослом. Безымянная мать, жрец, соседи — все, невзирая на шаблонные профили и формальные требования египетской живописи, невзирая даже на их расплывчатость и мелкотравчатость, определено порочны и злокозненны.

*Дом престарелых «Гавань на закате»*

*Сидней, Австралия*

*5 января 1955 года*

Мэйси!

Мне снова нездоровилось, только все это скучно, старики часто болеют, какая кому разница. И еще: я тут надеялся получить от вас ответ на мое первое письмо, а сейчас смотрю на чертов календарь с морскими пейзажами, который они тут пришили, и вижу, что слишком уж нетерпелив. В лучшем случае письмо от вас придет через несколько дней, не раньше. Эх, приятель, известие от вас о том, что вы нашли издателей или договорились с киношниками, когда оно осилит долгий путь, точно придаст мне сил. Чувствую я себя хуже некуда, по уши увяз в Бостоне, про который много лет не вспоминал — чего вспоминать об ушате холодной воды, выплеснутом в лицо и в сердце после всего, что было? Но когда я думаю, что ваша несчастная тетушка таки нашла счастье после тех злоключений, мое сердце успокаивается, факт. А умерла такой молодой. Тут поневоле почувствуешь себя стариком. У меня было не слишком много близких приятелей, такова цена профессии, Мэйси. Подумайте об этом, прежде чем нырять с головой в детективные истории, вот вам мой бесплатный совет. Ваша тетушка была прекрасной женщиной. Надеюсь, еще успею прочитать об истории вашей семьи, когда она будет закончена.

Так вот. Я сошел вниз по лестнице. Я должен был поработать ради нее и всех остальных. На столе Финнерана лежали записки для нее и для сиделки, которые я, кажется, уже описывал, и еще куча разных писем ему и от него, и телеграмма Трилипуша для Маргарет, в которой тот пытался выставиться молодцом и выиграть время. Я оставил все как было.

В Финнерановой записке Маргарет говорилось, что он на какое-то время уедет из города. Полдня (1 декабря) мне хватило, чтобы подтвердить то, что я

и подозревал: в тот самый день он отчалил на пароходе из Нью-Йорка и 14 числа должен приплыть в Александрию. В Бостоне меня уже ничего не держало, так что я потратил остаток дня на подготовку к собственному путешествию и вернулся в отель упаковать вещи. Мне было плоховато, вот примерно как сейчас, и я надеялся снова прийти в форму, оказавшись вдали от подступающей бостонской зимы и расследуя дело в более домашней, австралийской духоте Египта. Конец был близок.

И тут — стук в дверь моего номера: за дверью — Дж. П. О'Тул с задраннным носом и круглый человечек, я опознал в нем Хайнца Ковакса, видел его на фотографиях в газетах. О'Тул мне Ковакса так и не представил, за всю нашу встречу тот не проронил почти ни слова. (Конечно, вы помните, что случилось с Коваксом в конце 30-х? Об этом даже австралийские газеты писали. Иисусе, это был суший кошмар.) Они вкатились внутрь с таким видом, будто имели на это полное право, расселись в креслах у окна, О'Тул заговорил со мной со своим ирландским акцентом:

— Вы детектив, верно? У нас возникла малая нужда в ваших услугах.

Новые клиенты, Мэйси, и первым делом я узнал от них, что заставило Финнерана прикинуться святым семейством и удрать под покровом ночи в Египет: он уже полтора года как был банкротом. Сейчас я вам могу это сказать, учитывая, что новость запоздала на тридцать лет и не в состоянии предотвратить женитьбу вашего дяди на моей Маргарет. Да, Финнеран был на мели, его магазины могли в любую минуту закрыться. Применив логику, я заключил, что он частенько обращался к О'Тулу и компании за солидными суммами, которые ему выдавались на жестких условиях. Финнеран убедил их, что на Трилипуше и его стопроцентно успешных раскопках заработает столько, что заплатит долги. О'Тул с Коваксом ему подыграли, даже ссудили *еще* денег, чтобы он смог выкупить свою долю в экспедиции, хотя его кредит давно истощился. Более того: «Мы и сами вложились в эту авантюру», — сказал О'Тул. Но сейчас, к их «невыразимому разочарованию», мистер Финнеран отбыл в неизвестном направлении, очень туманно пообещав, что все выплатит, как только вернется, а когда — и вовсе не сказал. До того момента я все понимал и думал, что нас, Мэйси, ждет простая сыщицкая работа: они желают с нашей помощью узнать адрес своего наложившего в штаны мистера Финнерана — в розыске и без гроша за душой. Разгневанный должник сбежал в отчаянной надежде разыскать оскандалившегося будущего зятя, который между тем чудом добывал деньги из песка, и вот теперь за ним гонятся раздраженные кредиторы в лице сиднейского филиала «Международных расследований Тейлора». История не нова, у меня таких дел был вагон и маленькая тележка, хотя в этот раз я нырнул в мутноватный омут. Задача достаточно простая, к тому же я так и так ехал в Египет, а чем больше клиентов, тем больше окупится расходов.

Все верно, только я упустил одну загвоздку.

— Человек оставляет дом и дочь, — заливается О'Тул, — сбегает, чтобы в одиночку просадить полученное незаконным путем. Согласитесь, так поступать не годится.

— Полученное незаконным путем? — пробормотал я, наверно, довольно тупо.

— Именно так. Нам принадлежит большая часть находок профессора, все бумаги законные и заверенные, никакой тайны в этом нет.

— Чертовски законные бумаги! — рявкает Ковакс, забрызгивая все вокруг слюной. За наше свидание он только эти три слова и сказал.

— Первое, мистер Феррелл, — безучастно продолжает О'Тул. — Выясните, какую точно сумму наш друг мистер Финнеран уже получил от профессора в виде прибыли от раскопок, и сообщите мне об этом приватно. Дадите мне телеграмму, в которой укажете местопребывание мистера Финнерана и золота, после чего ждите моих недвусмысленных указаний.

Вот этого я не ожидал, поскольку забыл, что О'Тул и Ковакс могли поверить в Трилипушевы телеграммы о великих находках, доля в которых принадлежала им. Они уверились, что сокровища и впрямь *были* и что Финнеран прикарманил свои дивиденды (которые должен был пустить на оплату долга), не говоря уже про О'Туловы и Коваксовы. В итоге Финнеран сбежал, чтобы все украсть, думали они. До того момента судьба реальных сокровищ меня не занимала: может, Трилипуш их нашел и планировал с ними сбежать, может, он их не нашел, просто заграбастал Финнерановы денежки, почистил перышки и ищет новую жертву, чтобы выжать из нее *еще больше* денег, получить компенсацию за все лишения и рассчитаться за свой домик в Англии. Моего дела об убийстве *реальность* сокровищ не касалась, но О'Тул и Ковакс свято в них верили. Полагают ли они, что Трилипуш спелся с Финнераном, чтобы вместе потырить золотишко?

— Не глупите, — сказал О'Тул. — Если Трилипуш хочет нас надуть, зачем бы ему телеграфировать про находку? Нет, профессору верить можно. — О'Тул и Ковакс боялись худшего: Финнеран делает ноги уже при деньгах, на которые не имеет никакого права. Или: он направляется в Египет, чтобы прибрать к рукам остаток О'Туловых и Коваксовых прибылей. Подстережет Трилипуша в темном углу и пиши пропало. — Нам все равно, что там случится с англичанином, — признался О'Тул. — И если с ним случится что-то нехорошее, число партнеров сократится на одного, тогда мы все получим соответственно больший процент с улова. Что касается нашего Честера, дадим ему шанс: может, он едет туда с целью гарантировать безопасность трофеев и не желает обидеть нас, компаньонов-вкладчиков. В данной ситуации это было бы разумно, и если он и вправду собирается выполнить данные нам обязательства — пусть действует. Если намерения этого человека достойны, мы их только поприветствуем. Он может смело возвращаться домой. Передайте ему мои слова, детектив.

Нам дали странные инструкции, Мэйси. В воздухе повисло множество намеков и недоговорок.

Я отбыл в Нью-Йорк 3 декабря и сел на пароход в Александрию 12 числа. С каждым днем я чувствовал себя свежее и сильнее. Мне нужно было срочно уехать из Америки. Помню, я стоял на палубе, ноль внимания на бушевавшую в нью-йоркской бухте метель, смотрел на море и думал, что скоро наступит конец — двусмысленности, вранью, тайнам. Недолго осталось богатству покрывать зло.

Финнеран положил средства партнеров на собственные счета, чтобы переправить их в Египет. Что с этими деньгами случилось? Он говорил мне, что так никуда ничего и не переправил. Врал ли он? Либо Трилипуш получил эти деньги, либо нет. И либо он нашел сокровища, либо не нашел. Коли нашел, либо Финнеран собрался их украсть, либо Трилипуш успел первым и Финне-



ран пытался его остановить. Куда ни кинь, Финнеран представлял для Трилипуша смертельную опасность, и по иронии судьбы именно мне нужно было Трилипуша защищать. Я надеялся не опоздать. Финнеран жаждал либо мести, либо сокровищ, либо и того и другого, это мне было ясно как день. И, Мэйси, мне уж точно не хотелось увидеть новые трупы в пустыне. Ваша тетя была достойна лучшей доли, кроме того, следовало принять во внимание убийства Хьюго Марлоу и Пола Колдуэлла — а в том, что их убили, у меня не осталось ни малейшего сомнения. Ничто не сорвет мои планы. Истина и правосудие настигали злоумышленника в лице австралийского детектива и его молодого американского помощника. Успеют ли эти двое вмешаться до того, как мелочная месть и жадность (в лице бостонского бизнесмена) поднимут свои древние бессмертные головы?

*Суббота, 2 декабря 1922 года*

**СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «В»:  
«БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ  
АТУМ-ХАДУ, ПОСЛЕДНЕГО ВЛАДЫКИ ДВУХ ЦАРСТВ»**

*Текст:* Атум-хаду, да пребудет он в теле бога и обществе Изиды миллион лет, был сильным и смелым. Он записался в армию старого царя Джеднеферры Дедумеса, при котором враги поглотили Нижнее Царство подобно очень ленивому крокодилу, пожирающему детеныша черепахи. Чужаки с востока и севера занимались грабежом. В устье Нила коротышки, как дети, наряжались в царские одежды и убивали всякого, кто отказывался играть с ними. Лишь стрелы Атум-хаду приносили в те дни редкие победы. Все, кто видел его, знали, что к нему благоволит Монту [бог войны — Р. М. Т.].

Когда полководец Атум-хаду остановил уже миллион врагов, старый царь призвал сына Сета к себе. Атум-хаду пришел в Фивы. При дворе жило много животных и акробатов, но не было еды. Люди сидели, уткнув головы в колени, и не имели никаких желаний. Страну обуял страх.

Атум-хаду [вошел во] дворец. Он был красив и силен, он был окровавлен в бою. Его умастили маслами, накормили и напоили. Он возлежал с молодой женщиной, чье тело его прельстило, и никто не знал, стоит ли сказать ему, что женщина эта — новая жена старого царя. За занавесью она показала Атум-хаду цвет своей кожи, и он возрадовался. Посланник привел Атум-хаду к царю.

*Изображение:* Животные, должно признать, вышли неплохо, в сравнении с панелью «А» заметен некоторый прогресс. Для завершения пространных изображений художнику потребовалось много часов, если не дней, по мере освоения стены мастерство его растет: он научается дозировать краски, допускает меньше потеков. Я обратил бы внимание туриста на молодого Атум-хаду, с пылом воителя обнимающего женщину, и на него же, кормящего финиками жирафа. Особо следует отметить его чуткость, коя проявилась в несомненной любви к животным из зверинца умирающего царя. Двор Джеднеферры Дедумеса выписан с великим тщанием, умело изображены скульптурные группы, обвитые цветочными гирляндами колонны, прочие атрибуты царской власти. Одр с изножьем в виде львиных голов, на котором Атум-хаду возлежит с царицей (у нее имеется замечательное родимое пятно), в нарисованном виде — чу-

до прикладного искусства; чудом он должен был быть и в виде натуральном (не исключено, что это ложе и поныне обретается в неоткрытой камере либо ином гробничном помещении где-то в Дейр-эль-Бахри). Толстые лазуритовые ожерелья на придворных женщинах с ювелирной точки зрения выписаны безупречно.

*Разбор:* Мы находим подтверждение нашему видению исторической обстановки: Атум-хаду наследует Джеднеферре Дедумесу, до сего момента считавшемуся последним царем XIII династии.

*Дневник:* Устал переводить и перерисовывать. Укрепил дверь клиньями и отправился, хромая, к парому. Почты нет. Банк закрыт — жаль, я надеялся, что О'Тул и другие компаньоны будут любезны взять на себя выполнение обязательств, с которыми пока что медлит Ч. К. Ф. Кормлю кошек, крадусь к вилле так же скрытно, как к усыпальнице. Снова берусь за работу после печального и затянувшегося прощания с Мэгги и Рамзесами.

**СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «С»:  
«УМИРАЮЩИЙ ЦАРЬ ДЖЕДНЕФЕРРА ДЕДУМЕС ИЗБИРАЕТ  
АТУМ-ХАДУ»**

*Текст:* Старый царь, наместник Гора во дворце, не мог подняться. Он сказал: «Полководец Атум-хаду, я прожил 110 лет. Все вокруг меня одержимы желанием стать царями, а почему — я не понимаю, ведь никогда уже не будет радости в черной стране. Я не боюсь смерти, Атум-хаду, я лишь боюсь, что все нами обретенное будет потеряно. Тем, кто однажды может возродить нашу страну, должно оставить наставления. О боги, пусть писцы успеют рассказать о нашем славном прошлом и укрыть тексты! Следующий царь, надеюсь, преуспеет хотя бы в этом, да и для этого ему должно быть сильным. Умный человек не пожелает стать царем, но лишь умному дано достигнуть цели. Мои вельможи неумны, оттого они строят планы на мой трон. Атум-хаду, возьми ли ты дочь моей внучки? Возьми эту девочку, и два наших царства, и наш дворец, и нашу страну, и всех людей нашей страны». И Атум-хаду сказал: «Я возьму все это, царь, и да будешь ты долго властвовать в здравии и благоденствии». И Джеднеферра Дедумес сказал: «Да, разумеется, а крокодилы обретут крылья. Теперь поговорим серьезно: уймешь ли ты жрецов и вельмож, когда они захотят тебя сместить?» — «Уйму». — «Оставишь ли ты прочие дела и наслаждения ради того, чтобы воспеть и укрыть нашу славу?» — «Оставляю. Я сделаю все это, царь, и более того. Я изгоню завоевателей. Я подавлю мятежников в дельте. Из двух царств я создам одно и укреплю его с моря. Я прослежу за тем, чтобы богов почитали правильно, а не так, как почитают их уже много лет. Я оставлю вам множество потомков и сделаю так, что имя ваше будет воспето в веках». И Джеднеферра Дедумес сказал: «Не надорвись, прежде чем научишь моих ручных обезьянок стрелять из лука. Но довольно разговоров. С того момента, как ты вошел в мои покои, тебя окружают одни враги. Вне их числа — твоя будущая царица и мой Владыка Щедрости, они тебя поддержат. Слишком поздно мечтать о славе. Приложи усилия к тому, чтобы память о нашей великой стране не исчезла». И царя постигла участь смертных.

Атум-хаду созвал двор. «Царя постигла участь смертных, — сказал он. —

Вот перед вами — наместник Гора во дворце». И он сокрушил вероломных вельмож. Он повелел принести папирус, и написал стихотворение, и сказал писцам: дано вам писать обо всем, что есть в стране, но лишь Атум-хаду будет писать об Атум-хаду. После Владыка Щедрости пал на колени и поклялся в верности. После Атум-хаду взял в жены дочь дочери дочери мертвого царя, и бросил в ее воды свой якорь, и обследовал ее пещеру, и возрадовался.

Прошло семьдесят дней, и Блюстители Таинств закончили приготовление мумии старого царя, великого Джеднеферры Дедумеса. Атум-хаду отослал прочь всех и каждого, и своими руками перенес мумию царя в тайное место, и похоронил его с его книгами, и сокровищами, и яствами, и сам запечатал гробницу.

*Изображение:* Несколько существенных замечаний. В остроумных репликах старого царя мы находим, кажется, первый пример сарказма в письменной истории, и, если бы роспись вышла получше, стало бы ясно, что художник пытался изобразить старого царя, который, услышав о преисполненных хвастовства планах Атум-хаду, закатил глаза, словно говоря: «Ну-ну, Атум-хаду, попробуй, в подземном мире расскажешь, что да как». Можно было бы разглядеть отчаяние и смятение, завладевшие умирающим царем при виде молодого щеголя, который не внял царским увещаниям и приготовился к роли традиционного правителя, вместо того чтобы взять на себя архиисторическую задачу и стать тем, кто, уходя последним, гасит за собою свет. К несчастью, художник вынужден был класть краски на шероховатую, рябую каменную поверхность, к тому же стена с панелью «С» слишком уж выщерблена, на ней достаточно трудно рисовать даже иероглифы. Отдав всего себя изображению и сочинению композиции, художник, без всякого сомнения, был изнурен усталостью, голодом, жаждой, болью и чадом.

*Разбор:* Само собой, я не знаю, что за безымянный писец и художник расписывали эти стены, к тому же изнуряющее перерисовывание знаков в мою тетрадь и перевод, в ходе которого я снова и снова сверяюсь с собственными филологическими трудами и словарем Баджа, отнимают массу времени, и сказать, что ждет нас впереди, я не могу. Зато я могу сказать следующее. Да позволят мне те, кто не является знатоком, прояснить значение открытых мною настенных хроник: в них ясно обозначается акт наследования, имевший место в конце XIII династии, прежде туманном; повествуется о ненайденной гробнице «спорного» царя Джеднеферры Дедумеса; рассказывается о дальнейших событиях жизни несомненно существовавшего Атум-хаду; и дается ясное как божий день объяснение, почему имя Атум-хаду встречается в одном только письменном источнике — в написанных самим царем «Назиданиях». Карнарвон станет вторым человеком, который вошел сюда за 3500 лет. Предвкушаю, как он, впечатляясь увиденным, будет медленно погружаться в экстаз!

*Воскресенье, 3 декабря 1922 года*

**СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «D»:  
«НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ АТУМ-ХАДУ, ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ  
ДВУХ ЗЕМЕЛЬ»**

*Текст:* Десять раз разливался Нил, и все это время Атум-хаду оправдывал

свое бахвальство. Гиксосы были остановлены. Там, где правил Атум-хаду, дела велись исправно, и всходили посевы, и почитались боги, и писцы поступали по завету старого царя, и вечная ночь не осмеливалась пасть, и дворец был освещен не пламенем войны, но сердцем Атум-хаду, повелителя всей полноты вещей, воплощения Гора, а также Атума, и собственной дланью он заново создавал мир на радость своим подданным.

Атум-хаду привел тех, кто в юности причинил ему зло, посмотреть на дворец. Он показал им горы яств. Они истекали слюной, но не могли дотронуться до еды. Между тем Атум-хаду вонзил зубы в сливу, точно спеленутую картой ночных небес. Царь предоставил своим гостям возможность извиниться за грубое обращение, коему они подвергали царя, когда тот был мальчиком. Когда настало время обеда, жреца храма Амона насадили, словно телячью тушу, на вертел и поместили над огнем, и Атум-хаду спокойно заговорил с толстяком, который в муках плакал, как дитя. «Ты сожалеешь?» — спросил Атум-хаду спокойно. «Да, повелитель, да». — «И ты думаешь, что огорчения твоего достаточно?» — «Я не знаю, повелитель». — «Нет, его недостаточно. Ты украл часть меня, и не в твоей власти меня воссоздать». — «Скажи мне, великий царь и повелитель, как я могу служить тебе?» — «Ты страдаешь?» — «Да». — «Большого я от тебя не требую». И Атум-хаду повелел привести племянниц жреца, и сестер его, и мать, чему жрец удивился. На глазах у умирающего жреца Атум-хаду соединялся с женщинами его семьи в различных сочетаниях, временами — с жестокостью, исторгая из женских глаз слезы. Когда жреца постигла участь смертных и когда Атум-хаду посчитал, что плоть его приготовлена, Атум-хаду своими руками снял ее с вертела, разрезал на куски и скормил их дворцовым животным. Сердце жреца Атум-хаду скормил любимым царским псам, потому имя и ка этого человека навсегда забыты.

*Изображение:* Эта стена удалась несколько лучше, текст сопровождается иллюстрациями, которые также свидетельствуют: техника художника постепенно совершенствуется. В наиболее впечатляющих из десятка сцен жрец — нагой, с переломанными костями, жесточайшим образом проткнутый вертелом, не имеющий возможности пошевелить рукой или ногой, дабы защититься от выросшего и мстительного царя, — плачет навзрыд. На лице Атум-хаду написано облегчение, словно ритуал его в какой-то мере умиротворяет.

*Разбор:* Этот отрывок замечателен по двум причинам. Во-первых, если эпизод исторически достоверен, он позволяет нам взглянуть на внутренний мир человека, который, даже будучи облечен властью, мучим жаждой отомстить за переживания детства. Он приказывает воинам собрать своих врагов; сценарий его сеансов мести (очевидно, их было больше одного) продуман таким образом, чтобы он получил величайшее удовольствие, а его прежние мучители испытали величайшие боль и стыд. Во-вторых, сам этот эпизод оказался настолько важен для царя, что он включил его в свое иллюстрированное жизнеописание, дабы унести с собой в подземный мир.

В части бессмертия нужно заметить, что жрец с уничтоженным сердцем не имел шансов попасть в подземный мир, где условием допуска служат обмер и взвешивание сердца каждого ходатая против перышка. Для ровного счета Атум-хаду принял меры к тому, чтобы самое имя жреца никогда более не про-

износилось в этом мире, и тем окончательно преградил румяному глумливцу путь к бессмертию.

*Дневник:* Дохромал до парома, был на почте, в банке, покормил кошек. Почта.

Маргарет, молю тебя, не молчи. Ты обязана каблогаммой ли, письмом ли, как угодно сказать мне, что все вернулось на круги своя. Однажды я поведаю тебе о том, как был от тоски мой желудок всякий день, когда от тебя не было известий, всякую минуту декабря, в которую ты, храня молчание, играла со мной, отказывая унять мою боль словом. Почему ты так со мной поступаешь?

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «Е»: «АТУМ-ХАДУ И ДОЧЬ ВЛАДЫКИ ЩЕДРОСТИ»**

*Текст:* Когда Нил разлился десять раз [1632 г. до Р. Х.? — Р. М. Т.], Атум-хаду увидел прекраснейшую из женщин. Она околдовала его, и он увидел в ней дух Маат в теле Изиды, доброту ласковейшей из матерей в блещущих светом одеяниях Хатор [богиня Луны и любви — Р. М.Т.]. Он спросил, как ее зовут, и узнал, что она — дочь Владыки Щедрости. Она подошла к нему. Она ничего не просила, но волшебством своим успокоила царя, умиротворила его утробу, убаюкала, заставила забыть о гиксосах и о жрецах.

Она заморозила его глаза, и не мог он видеть никого, кроме нее, и все его царицы и все женщины дворца рыдали, ибо перестал он появляться в их покоях и в их пещерах. Женщины, в которых он более не нуждался, нашли при дворе других мужчин, и мужчины и женщины, любившие Атум-хаду, объединились против жрецов, и назвали Атума единственным своим богом, и заполнили свои жизни одной лишь радостью.

Атум-хаду сделал дочь Владыки Щедрости своей главной царицей. В ту ночь, когда он увидел цвет ее кожи, когда пришло ее время, она выкрикнула его имя столь громко, что тишина пала на дворец, и она выкрикнула его имя снова, и снова, и снова, и вскоре все замолкнувшие подхватили крик новой царицы, и залы дворца рождали стократное эхо, и из сотни глоток воплем удовольствия исторгалось его имя, Атум-хаду, Атум-хаду, Атум-хаду, и стены дворца задрожали, и охотничьи псы завыли в унисон.

*Понедельник, 4 декабря 1922 года*

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «F»: «АТУМ-ХАДУ НЕ ВНИМАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ СЕТА»**

*Текст:* Пока Атум-хаду спал, несчастья множились. Гиксосы наступали. Запасы времени и царского золота были неограниченны, Владыка Щедрости — бессилён. Сет появился и сказал: «Ее отец — не Владыка Щедрости, но Владыка Измены. Разве нет других женщин, что могли бы стать царицами? Взгляни, ими устлано все вокруг, их больше, чем мух на испражнениях бегемота, вот и еще одна готова подняться — светлокожая, с шеей белой гусыни и мощными ягодицами. Беспокойный царь, отчего ты противишься?» Услышав слова Сета, заплакал Атум-хаду. Он должен был убить любовь, что заточила его в кандалы. Он перевернулся на другой бок, занес кинжал над ее белоснежной шеей, и она тихо дремала, и он посмотрел на ее лицо, и он вложил кинжал в ножны. Он не верил озорному Сету.

*Изображение:* На этой части стены, любовно воспроизводящей сцены супружеской жизни, более всего впечатляет возникающий тут и там образ Владыки Щедрости, чья свиноподобная фигура вечно прячется от царского взгляда. Атум-хаду берет свою царицу за руку — ее отец таится за занавесью и шпионит за ними, облизывая губы. Атум-хаду ведет свою царицу на ложе и обнимает — ее отец таится под тем же ложем с изножьем в виде львиных голов; скинув с себя халат, он являет собой гротескное (жалкое еще и потому, что миниатюрное) подобие Атума. Атум-хаду, бросив кинжал на пол у своих ног, плачет над спящей царицей, — ее отец за его спиной сговаривается с неопознаваемой, но зловещей фигурой. В отдалении видны шеренги гиксосских воинов.

Так, разумеется, было далеко не всегда, катрен 45 (есть в отрывках «А» и «С») свидетельствует, что в начале правления, даже во дни, когда назревала война с гиксосами, Атум-хаду своему советнику верил:

*Когда распался надвое Египет — мертвеющая мать,  
Явились близнецы из остывающего лона.  
Атум-хаду терзается, и боли сердечной не унять,  
Владыка же его в тени и не издаст ни стога.*

*Дневник:* Почта, банк. Неужто Ч. К. Ф. унизился настолько, что и другим компаньонам велел не высылать мне денег? Кошки, почта. У меня не осталось предоплаченных бланков, я могу позволить себе лишь чрезвычайно короткую каблограмму Маргарет. Временный отказ от особняка — потеря невеликая, но не в такие дни, как сегодня, когда желудок мой беснуется, сражаясь с судьбой, а я — ни в чем не повинный наблюдатель, страдающий пуце всех.

*КАБЛОГРАММА.*

*ЛУКСОР — МАРГАРЕТ ФИННЕРАН, БОСТОН,  
4 ДЕК 1922, 16.13. ПЖЛСТПРМЛБВРМТ.*

*К Маргарет:* Меня убивает твое колючее молчание. Сегодня я отослал тебе каблограмму, в которой попросил только: пожалуйста, прими мою любовь. Настанет ли день, когда мы с тобой сравним наши одновременные дневники и я зачитаю тебе вслух: 4 декабря я боялся, что потерял тебя навсегда, — и ты посмеешься над моей неразумностью, потому что 4-го числа ты весь день проспала? Или мчалась на полных парах в теплые края? Или же виной всему — согласованные попытки ненавидящих любовь бостонских телеграфистов, подначиваемых «красными» агитаторами, превратить сообщение в душераздирающий хаос? Может, все мои каблограммы по злому умыслу переправляются пожилой леди, а ты получаешь заказы на миллион фунтов шоколада?

Но если ты меня не ждешь, Бостон для меня — пустота.

(Неотправленное письмо, найденное среди личных бумаг Маргарет Финнеран Мэйси после ее смерти.)

*4 дек.*

*Дорогой Ральф!*

*Я кое о чем должна рассказать. Папочка мне кое-что про тебя рассказал и заставил меня написать тебе, что я разрываю помолвку, и я так и сделала. А потом в мою комнату зашел Феррелл, он был так счастлив, что все это произошло, сумел нас разлучить. Ну вот, он говорил о тебе всякие ужасы, будто*

ты убил мальчика Пола и твоего друга Марлоу, нес ужасный бред, и тут я поняла, что все остальное — тоже неправда, ты не крал папочкины деньги и не врал насчет Оксфорда. Ах, Ральф, Феррелл все это время врал и папочке, и мне, из-за него мы теперь все в ссоре, ты и папочка и мы с тобой, и я не знала, что сделать, чтобы все было по-старому, как исправить то, что Феррелл натворил, и я накричала на него и сказала ему, что я о нем думаю. Я была еще сонная, понимаешь, когда папочка сказал мне, что ты только делал вид, будто меня любишь, и тебе просто нужны были его деньги, Инге дала мне какое-то успокоительное. Мне бы надо было посмеяться над ними обоими, но я им поначалу верила. Прости меня.

Мне бы надо было сказать тебе, от чего я боюсь, но я этого не сделала. Это не я, оно сейчас сильнее меня, но я боюсь, если ты узнаешь.

*Дорогой Ральф!*

Ты любил бы меня меньше из-за того, что есть вещи, которые сильнее меня?

Феррелл в последний раз был на меня очень зол, когда пришел в мою комнату и меня разбудил. Я над ним потешалась, и он злился, уж это я умею, люди сначала злятся, а потом сами над собой смеются, я могу такие вещи делать, если хочу. Все так говорят. Я приведу в чувство кого угодно.

Все разрушил Феррелл, правда же? А как теперь быть — я не знаю, особенно сейчас, когда он сделал со мной то, что сделал. Ральф, что он со мной сделал! Что ты обо мне подумаешь? Я пыталась его остановить, клянусь тебе. Мы были в доме одни. Папочка уехал, Инге тоже. Он велел Инге уехать и пришел наверх.

Я не могу найти все твои письма. Я думаю, он их забрал.

Это я виновата, я его разозлила и не смогла остановить. Это я виновата. И ты меня теперь не захочешь.

Я была не права, прости меня, пожалуйста. Прости меня за то, что я ему поверила насчет тебя. Он говорил о тебе такие ужасы, я только хотела ему сказать, что он врет. Антоний и Клеопатра все время сидели рядом, они не гавкнули, даже не попытались мне помочь, сидели и смотрели, а потом, когда он ушел, взглянули на меня, будто знали, что это я виновата. Дорогой Ральф, я пишу тебе, потому что Дорогой Ральф, пожалуйста, прости меня за

*Вторник, 5 декабря 1922 года*

Молчание в банке и на почте. Кошкам на новом месте кормления хорошо и привольно, хоть оно и далеко от виллы. Полагаю, теперь, когда я здесь, на виллу они уже не вернуться.

Пью в ахве мятный чай. Я был здесь раз двадцать, но официанты меня не узнают. Вновь за работу.

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «G»:**

#### **«ПРОВОЗВЕСТИЕ ТРЕТЬЕГО РОЖДЕНИЯ АТУМ-ХАДУ»**

Замечание: этот текст явно соотносится с катреном 56 (есть в отрывках «А» и «В»), возможно, подробнее рассказывает о тех же самых событиях:

*Пирь, и танцы до упаду, и излишества  
Не отвлекают ли царя от важных дел?  
Болезней мука, мертвый пес Его Величества,  
Война, усеявшая берег сонмом тел.*

Текст: На одиннадцатом году правления Атум-хаду его дворец горел во тьме огнями очередной вакханалии, прекрасной и достойной продолжаться вечно. Над открытым небом главным залом вздымались и опадали на ветру пологи. Свет высоких факелов падал на края пологов так, что алая кровля, казалось, объята была безвредным пламенем. Павлины жарились над колоннами, внутри которых бушевали огни разных цветов. Начертанные на колоннах заклинания должны были облегчить страдания царя, что маялся животом, но вотще. Исходивший от птиц аромат привлек во дворец собак и кошек. Среди них пришла кошка, что была любимицей Атум-хаду, и забралась к нему на колени.

Атум-хаду возлежал на троне и одной рукой гладил кошку. В другой он сжимал длинное копьё, тонкое и легкое, такими дрались в поединках только женщины, умиравшие, когда Атум-хаду от них уставал. Он проткнул бок павлина и изверг из плоти его телесные соки. Он проткнул бок связанного военнопленного гиксоса и изверг из плоти его планы гиксосского командования.

Атум-хаду задавал вопросы спокойно, хотя был взбешен и мучим пученьем живота. Лишь брюшная полость и карта порожистого Нила на его бронзовом виске выдавали ярость гнездящихся в царя кобр. Он осыпал тайноведцев от медицины бесчисленными наградами — и все равно страдал. Его боль не имела начала и разрешения.

До этой ночи. Явилась сама Маат в раскаленном, как солнечный диск, обличье, и никто во дворце не мог бросить на нее взгляд. Все пали ниц, все, кроме Атум-хаду, свирепого любовника Маат. Атум-хаду поднялся со своего трона, и живот отпустило. Маат заключила царя в нежные объятия, и она заговорила с ним на нежном языке змей, и они с Атум-хаду воспаряли в небеса и беседовали.

Маат говорила: «О Атум-хаду, любимец богов и людей, ты страдаешь, ибо в утробе твоей, что разлагается и клокочет, скрыто твое смертное прошлое, твое первое детство, и любая мысль о нем заставляет тебя вскипать изнутри. Там же, внутри тебя, растет будущее, которое придет, как то предсказал старый царь. Великий сын Атума, конец страны совпадет с концом твоей второй жизни. Приближается твое окончательное рождение. Ты должен очиститься от прошлого».

Маат поцеловала царя и исчезла. Атум-хаду низошел на свой трон; танцоры, повара и жрецы встали. Дворец снова зашумел: акробаты-близнецы чествовали Атума, женщины утихомиривали младенцев, мальчики просили отцов с ними поиграть, старик успокаивал бьющегося в конвульсиях сына, воины пили пиво. Тело пленника привлекло внимание псов Атум-хаду, и кошка, лучший друг царя, стала жадно пить из лужи гиксосской крови, что превратила пол в изменчивую карту. Сие видение нашествия гиксосов даже в смерти своей не ускользнуло от царя.

Воины привели еще одного гиксосского лазутчика. «Атум-хаду желает, чтобы они поняли», — провозгласил царь и приказал хранителю царского зверинца принести молодую змею, не имеющую яда. Воины держали мальчика, Атум-хаду схватил нож и проделал в боку его небольшую дыру, сквозь которую видны были кишки, после чего просунул в отверстие змеиный хвост. Он повелел жрецам зашить дыру так, чтобы наружу высывалась лишь змеиная голова, после чего приказал воинам отвести мальчика туда, где его найдут его



люди, и оставить ему много воды и пищи. «Его должны найти живым, со знаком Атум-хаду в теле», — сказал Атум-хаду.

*Изображение:* Отдельные части обширного и изумительного рисунка, покрывающего всю стену от пола до потолка справа от входа во Вторую Пустую Камеру, заслуживают безотлагательных славословий. Как и повсюду, блестяще воспроизведены животные (жарящийся павлин, мурлычущая кошка), а предметы обстановки дворца, убранного, без сомнения, богато, но не безвкусно, наводят на мысли о застольных уладах и постельных утехах. Дворцовые сцены кичатся яйцеобразными кувшинами, лотусообразными чашами, алебастровыми кубками, леопардовыми шкурами, одрами и колесницами, прозрачными женскими одеждами, царской юбкой, его покрытым изысканными узорами оружием, его же великолепным тронем со спинкой, коя украшена подобием золотого барельефа: на нем царь изображен львом, топчущим крошечных врагов.

*Дневник:* Почта, банк, кошки.

*Среда, 6 декабря 1922 года*

*Дневник:* Почта, банк, кошки.

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «Н»: «ГИКСОСЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ НАСТУПЛЕНИЕ»**

*Текст:* Но и после встречи с Маат зловередные бестии предавались разгулу в царском животе. Вождь гиксосов был человек спокойный, однако высокомерный, одевался в золотые одежды. Вождю гиксосов донесли, что недуг ослабил великого Атум-хаду и что лучшая половина страны после десяти лет упорной обороны готова сдаться. Гиксосы ворвались в [Верхнее Царство]. Противники бились не на жизнь, а на смерть, Атум-хаду самолично вел войска в бой, когда был на то способен. Он сражался подобно льву, но часто бывал повержен собственным животом и вынужден был поворачиваться к врагам спиной и приседать.

Даже теперь Атум-хаду мог обратить гиксосов в бегство. Однако во времена жесточайшей нужды царь не мог нигде найти своего Владыку Щедрости, эту вульву шлюхи. Враг царя исчез, похитив царицу.

И вскоре победа гиксосов стала неизбежностью.

*Изображения:* Наибольшее впечатление на зрителя производит Владыка Щедрости, который тащит царицу за волосы и пленяет ее; Атум-хаду ищет ее — и не может найти.

*Дневник:* Опять весь день посвятил переводу и перерисовыванию надписей. Многих выражений в громоздком словаре Баджа просто нет; и этот человек имел наглость подвергнуть критике мои переводы в «Коварстве и любви»! Почта, банк, кошки.

*Четверг, 7 декабря 1922 года*

*Дневник:* Кошки, банк, почта.

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «I»:**

## «ПРИБЛИЖЕНИЕ КОНЦА ЧЕРНОЙ СТРАНЫ»

*Текст:* На столицу пало молчание. Люди сидели, уткнув головы в колени. Желания их были слабы. И все же Атум-хаду требовал музыки, утех и женщин. Часто он возвращался с битвы, и кровь капала на пол с его доспехов, и он входил во дворец и брал двух девочек-рабынь, как другие мужчины выпивают стакан воды, а затем требовал кисть и сочинял стихотворение. Глядя на него, царедворцы, решившие, что усладам суждено длиться до скончания времен, снова запели безрассудные и радостные песни. Гиксосские лазутчики возвращались к своему царьку и рассказывали, что враг никогда не сдастся. Если бы воины сражались так же, как царедворцы любили, эти слова стали бы истинны.

«Приходит конец всему, — сказал им Атум-хаду, и слова его разнеслись по всему дворцу, и люди зарыдали и убоялись, но акробаты, и любовники, и музыканты не прекратили своих занятий. — Приходит конец всему».

*Изображение:* Величествен облик царя в момент битвы! Он стоит на боевой колеснице. Традиционно для Египта по размерам царь превосходит своих врагов, те едва достают ему до колен; на заднем плане разодетый в пух и прах глава гиксосов содрогается, пораженный страхом. Равно традиционно для египетского военно-изобразительного искусства присутствие в колеснице Атум-хаду его предшественников, прежних царей Египта, которые (будучи по размеру меньше его) торопят его на бой.

*Дневник:* Кошки. Банк, почта: пусто и там, и там.

Все друзья моего отца были военными, генералами и старшими офицерами, воителями в отставке и в строю. В детстве я об этом, конечно, не ведал, называя их просто «дядя Банни» или «старый Ллойд»; лишь много лет спустя мне открылось, что дядя Банни сразил такого-то афганского хана. Для меня он остался приятным пожилым человеком в твидовом охотничьем костюме, который не возражал, когда я красил его лицо в черный цвет: я изображал фараона, а он — моего африканского врага. Биографы обессмертили старых вояк, выписав их короткими аки агнцы (только в войнах Виктории по всему земному шару они неистовствовали, преданно служили ей в ранге вице-королей, твердо держали в узде норовистые народы). В отношении Трилипуш-холла биографы были точны. Помню, мы вместе с одним или другим одноглазым героем, стоя по колени в грязи, перебинтовывали лапы гончим, поранившимся на охоте. В те счастливые годы у меня была словно дюжина отцов.

*Пятница, 8 декабря 1922 года*

*Дневник:* Кошки. Банк и почта закрыты.

## СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «J»>: «АТУМ-ХАДУ РАЗМЫШЛЯЕТ О ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ БЕССМЕРТИИ»

*Текст:* Гиксосы разлившейся рекой обрушились на берега, и удержать их стало невозможно. В момент передышки Атум-хаду гулял в ночи по высокой скале близ Нила. После него царей уже не будет; Гор не поселится во дворце. Как сохранить записи о временах одиннадцати разливов и имущество, дабы доставить его потом на царскую ладью? Где его царица? Где Владыка Щедро-

сти? Прибыл Сет, и двенадцать грифов перенесли царя со скалы на землю. Из клювов их вырвалось пламя, и Сет расколол скалу. «Здесь, мой сын, ты сможешь прейти в безопасности, и землю твою будут помнить миллион миллионов лет».

*Изображения:* На нескольких рисунках Атум-хаду стоит на складке земли, несомненно являющейся тем скальным массивом, что отделяет ныне Долину царей от Дейр-эль-Бахри. У царя нет спутников, время суток — ночь (богиня Нут, покрытая звездами, замерла подле). Он глубоко задумался. Вот он смотрит вниз на Долину, вот на Дейр-эль-Бахри, точно споря с собой: где начать строить гробницу и укрыть свое бессмертие? В отдалении бушует битва. Сет, мифический отец, чья голова напоминает здесь муравьедеву, в компании двенадцати волшебных грифов является царю и опускает его не куда-нибудь, а на тропу у этой самой гробницы. И вот грифы, плюясь пламенем, создают проем в камне самого Египетского царства. Сет ведет Атум-хаду внутрь, минуя, несомненно, дверь «А» и Пустую Камеру. На последнем рисунке Атум-хаду вновь стоит снаружи, а на скальном склоне сияет магический чертеж плана гробницы. Этот план, насколько можно судить по открытым камерам, совпадает с планом комплекса, где я сей самый миг нахожусь.

*Разбор:* Сквозь легенду мы должны зреть реальность истории. Наступил день, когда стало ясно: война проиграна. Судьба предрешилась, но пока что не исполнилась, в это время царь осознает: он нуждается в гробнице, которую следует выстроить тайно. Я выдвинул бы такую гипотезу: путешествуя вне сомнений один, инкогнито, он разведывал места, где мог совершить безопасный переход в подземный мир с той обстановкой и багажом, которые мог доставить лишь собственными силами. Это не более чем предположение, но: не могло ли быть так, что настенный рассказ повествует о «чуде», совершившемся, когда Атум-хаду наткнулся однажды ночью на открытую гробницу, построенную сколькими-то годами ранее для некой забытой души и тогда же заброшенную; а может быть, гробницу разграбили и оставили пустой; или в здешних скальных пустотах складировали что-то архитекторы или рабочие другой династии; или то был скит, населенный лишь отшельниками, которых не составило труда вырезать. Возможностей несколько; скорее всего, именно тогда, когда без гробницы было уже не обойтись, Атум-хаду нашел что хотел: удобные пещеры, которые возможно быстро превратить в усыпальницу — без затрат нервов и времени, без риска [см. эссе о Парадоксе Гробницы] использования архитекторов и рабочих, без нужды вести строительство при свете дня. Я так и представляю себе ход мысли Атум-хаду: столь удачное открытие могло быть истолковано лишь как своевременная услуга любящего бога-отца.

*Дневник:* Когда в моих тетрадах появится детальное описание этой камеры, когда будут зарисованы и переведены все до единого иероглифы, я приглашу графа Карнарвона совершить частную прогулку, аккуратно и ловко поменяю коней на переправе и выйду сухим из воды.

Двенадцать колонн Исторической Камеры снабжают нас изумительными рисунками-дополнениями: каждую колонну снизу доверху занимает одно-единственное великанское изображение отдельного события, к нему при-

ложен короткий пояснительный текст. Читатель, обрати внимание: если колонны оформлены тем же художником, что расписал стенные панели, его уверенность в своем таланте и умение разводить краски выросли на наших глазах. Рисунки на колоннах несоизмеримо грандиознее и высокопробнее, нежели на стенах.

**КОЛОННА ПЕРВАЯ. ТЕКСТ:  
МАЛЬЧИК АТУМ-ХАДУ НАТРАВЛИВАЕТ СВОИХ ВРАГОВ ДРУГ  
НА ДРУГА И БЕЖИТ В АРМИЮ**

*Изображение:* Воин нападает на мужчину и женщину, а Атум-хаду (смеясь? плача?) бежит, дабы присоединиться к армии Джеднеферры Дедумеса.

*Суббота, 9 декабря 1922 года*

*Д.: Кошки. П.: пусто. Б.: закрыт.*

**КОЛОННА ВТОРАЯ, ТЕКСТ:  
АТУМ-ХАДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ДВОРЕ ДЖЕДНЕФЕРРЫ ДЕ-  
ДУМЕСА, ЕГО ОЖИДАЕТ РАДУШНЫЙ ПРИЕМ**

*Изображение:* Коленопреклоненная супруга Джеднеферры Дедумеса и другие коленопреклоненные придворные женщины своеобразно воздают честь Атум-хаду; на церемонию взирает жираф с длинными ресницами, жующий жвачку; сам Атум-хаду возвел глаза горе и смотрит на полет акробатов, подбрасывающих друг друга высоко в воздух.

**КОЛОННА ТРЕТЬЯ, ТЕКСТ:  
ВОИТЕЛЬ АТУМА УНИЧТОЖАЕТ ВРАГОВ ЦАРЯ**

*Изображение:* Атум-хаду — человек с головой льва — растаптывает врагов Египта, те падают под градом стрел. С высоты Гор, Атум, Ра, Изиды, Осирис, Сет, Монту и Маат глядят на него с видимым одобрением.

**КОЛОННА ЧЕТВЕРТАЯ, ТЕКСТ:  
АТУМ-ХАДУ СТАНОВИТСЯ И ПОЭТОМ, И ЦАРЕМ**

*Изображение:* Попирая ногами тела вероломных вельмож Джеднеферры Дедумеса, Атум-хаду наставляет его двор. Одна рука его покоится на голове усопшего царя, в другой он держит свиток папируса. На папирусе различимы замечательные иероглифические письмена, выведенные с необычными для египетской каллиграфии правдоподобием и тщанием. Перед нами не что иное, как катрен 1. Мельчайшие детали крохотных черных иероглифов на бледно-коричневом листке папируса художник, должно быть, вырисовывал часами. Учитывая условия, в которых он, скорее всего, работал (чад, духота, голод, бедность, приближающиеся враги), достижения его по меньшей мере гениальны.

*Д.: К. П.: все так же пусто.*

*Воскресенье, 10 декабря 1922 года*

*Д.: Кошки, банк, почта. Пусто.*

**КОЛОННА ПЯТАЯ, ТЕКСТ:  
ДНИ МИРА И УТЕХ ВО ДВОРЦЕ АТУМ-ХАДУ**

*Изображение:* Эта колонна достойна особого разбора. Двор Атум-хаду, разумеется, был мучим ностальгией и ощущал безумную тягу оглянуться на золо-

той век. Когда подкрадывается тьма и повсеместно ощущается неотвратимость гибели, подобные инстинкты оказываются сильнее прочих. Имея в виду сказанное, ясно, что Атум-хаду (пусть его писцы, вовлеченные в ностальгический прожект прежнего царя, и консервировали прошлое) был обуян стремлением превратить в золотой век *свою* эпоху: возрождение Египта должно было начаться с царского двора. Его прожект был одновременно антиностальгическим и трудноосуществимым, особенно во времена поражения и отчаяния. Однако данная колонна представляет двор, каким его по воле Атум-хаду должны были запомнить: на вершине славы. Играют музыканты в туниках с разноцветными ромбами, женщина командует парадом дрессированных собак. Отправляющие культ Атума делают это в незаурядном наборе математических комбинаций — от рядов молящихся в одиночку до сложных пирамидальных построений, требующих привлечения к священнодействию целых орд участников. Мужчины связаны символическими путями, сплетенными из павлиньих перьев, их хлещут кнутами обнаженные женщины; в самом центре жизненного пира толпы нежных длиннопалых красавиц с сонными глазами возносят славу нагому царю.

### **КОЛОННА ШЕСТАЯ, ТЕКСТ: ЛЖЕОТЦЫ**

*Изображение:* Эта любопытная колонна содержит, кроме необъяснимого названия, ряд рисунков, изображающих казни и пытки, на которые повсюду взирает Атум-хаду; судя по его лицу, без жестоких мер обойтись нельзя никак. Воина пожирает крокодил. Жрец насажен на вертел и поджарен заживо (см. панель «D»). Молодого рабочего (изображенного на первой колонне) здесь преследует армия — кажется, вооруженных детей, — а на женщину, изображенную на первой колонне рядом с ним, взбирается осел.

*Д.:* Почта, банк — пусто. Кошки. Мэгги такая смешная! Она знает, по какой дороге я теперь хожу, когда несу им еду, и приводит Рамзесов меня встречать, так что подходить к вилле у меня вовсе нет необходимости. Сегодня вечером мы выяснили, что она любит рыбку, нильского окуня, а коты потребляют только молоко и порезанное на кусочки мясо. Я бы взял всех троих вместе с собой за реку, но боюсь навредить кошкам и погубить деликатную работу, которую веду.

Мистер Трилипуш!

Вам наверняка будет интересно узнать, что, учитывая очевидную значимость совершенного мистером Картером и лордом Карнарвоном открытия гробницы Тут-анх-Амона — одного из величайших открытий за всю историю египтологии, мистеру Картеру для завершения стоящей перед ним грандиозной задачи, включая каталогизацию, консервацию и транспортировку содержимого его буквально «забитой до отказа» гробницы, понадобятся большие средства. Принимая во внимание характер задачи, реализация которой наверняка займет у мистера Картера несколько лет, куратор нью-йоркского Метрополитен-музея предоставил в распоряжение мистера Картера немалую часть музейных средств, в настоящее время тратящихся на другие раскопки. В частности, мистер Литгоу предложил мистеру Картеру услуги фотографов, художников, квалифицированных рабочих, филологов, экспертов в области химического анализа и криминалистики и т. д. Все это, как вы сами можете заклю-

читать, существенно уменьшит отдачу на раскопках профессора Уинлока, а равно и площадь участков в районе Дейр-эль-Бахри, которые он в состоянии плодотворно исследовать по меньшей мере в настоящий сезон и, вероятно, большую часть следующего. Потому профессор Уинлок любезно проинформировал меня о том, что, если Департамент древностей желает выдать временные концессии на участки за пределами ныне изучаемой им территории, он в интересах науки рассмотрит вопрос о временном разделении своей концессии. Учитывая присланный Вами ранее запрос, я намерен предложить Вам возможность представить заявление вновь. Департамент древностей оставляет за собой право не выдавать новых концессий, однако любой профессионально подготовленный проект, имеющий шанс успешной реализации, безусловно, будет принят во внимание.

С наилучшими пожеланиями! По-прежнему остаюсь Вашим преданным и нестигаемым слугой,

*Пьер Лако,*

генеральный директор Департамента древностей

*Понедельник, 11 декабря 1922 года*

*Дневник:* Кошки, банк, почта: *poste restante* меня ожидало запоздалое вознаграждение за время, проведенное в пустыне без поддержки и опоры. Лако удосужился наконец предложить мне мою концессию!

Остановись, мгновенье, дай тобою насладиться! Я помчался на участок Картера, даже не подумав очиститься от следов многодневной работы в полевых условиях. Не обращая внимания на жгучую боль в ноге, я отправился к лорду Карнарвону. Во мгновение ока все переменялось! Но на полпути я повернул назад и доковылял до гробницы, чтобы сделать эту запись, а также потому, что чуть не забыл об экземпляре «Коварства и любви в Древнем Египте». Только что написал посвящение: «Лорду Карнарвону, покровителю Египта, финансисту науки, Поборнику Атум-хаду, самой созидательной правой руке Атума от его почитателя и, осмелюсь сказать, компаньона. Р. М. Трилипуш, 11 декабря 1922 г.». И снова в путь!

Быть может, Лако — участник широко раскинувшего сети заговора с целью разбить мне сердце? Я прибыл на участок Картера, но не нашел ни его, ни графа, ни сборищ туристов, ни пашей, требующих дать им взглянуть на Тута хоть одним нечестивым глазком. Напротив, вход в гробницу вновь закрыт. Я спросил одного из многочисленных туземных охранников, куда делись его хозяева. «Его светлость с леди Эвелин вернулись в Англию. Мистер Картер отбыл в Каир, чтобы их проводить». Уехал! Моя светлость уехал в Лондон на большом пароходе. Как легко было на самодовольной душонке Картера, когда он спроваживал Карнарвона прочь от меня в тот момент, когда плод моей удачи налился соком — и поспешно изгнил.

Банк. Несмотря на строжайшую экономию, денег почти не осталось. Мои кредиторы меня отринули. Мои соперники намерены не допустить моей победы. Почта: послал «Коварство и любовь» и подробное изложение плана в поместье Карнарвона в Англии, но пока оно дойдет... Однако и то, что я успел найти, склонит лорда к решению финансировать мою экспедицию, сомнений нет. Теперь домой? Сочетаться браком с Маргарет без египетских сокровищ, без работы, зато с Ферреллом, под чью дудку она будет плясать? И даже если

ее любовь возродится — на что нам жить? Или — сидеть и ждать ответа Карнарвона? Привести его на будущий год в Историческую Камеру?

А Картер уже в Каире.

В первый раз за одиннадцать дней спал в доме. Оставил «Виктролу 50» в гробнице, а жаль: патефонов здесь нет, а мне, чтобы уснуть, без музыки не обойтись.

*Вторник, 12 декабря 1922 года*

Д.: Неплохо перекусив, вновь переправился на левый берег к кошкам. П. Б.: пусто, пусто. Переправляюсь и ковыляю обратно к Дейр-эль-Бахри. Часто отдыхаю. Завершу работу, по возвращении представлю найденное Гарварду и получу обратно свое место. Или обращусь в музей. Или в другой университет.

### **КОЛОННА СЕДЬМАЯ, ТЕКСТ: У ОСНОВАНИЯ КОЛОННЫ НАПИСАН НОВООТКРЫТЫЙ КА- ТРЕН В КЛАССИЧЕСКОМ АТУМ-ХАДУАНСКОМ СТИЛЕ**

*Мой Владыка пришел с пустыми руками, еще и гримасы  
мне корчит:*

*Глад, и мор, и война, невезенье, апатия; так на все мои планы  
наводит он порчу.*

*У него на глазах я возьму его дочь, и над тем, как сжигают его  
стыд и похоть, глумясь,*

*С ней покончив, отрежу ему его лживый язык — и выброшу  
в грязь.*

*Изображение:* Дородный Владыка Щедрости с бегающими глазками в темной комнате наслаждается собой перед храмовыми статуэтками, свободной рукой он прячет царские деньги. Выше имеется сцена вторая: он разговаривает с человеком, который, догадываемся мы, являет собой вождя вторгшихся в страну гиксосов.

Излитый в стихах гнев царя, которому противопоставлено изображение не лишено ни языка, ни жизни Владыки Щедрости, обдeldывающего за спиной царя свои темные делишки, свидетельствует о досаде Атум-хаду: преданный своим защитником, он не может разыскать его и уничтожить. Царь сотрясает воздух пустыми угрозами.

### **КОЛОННА ВОСЬМАЯ, ТЕКСТ: ЕЩЕ ДВА НОВЫХ КАТРЕНА**

*Он ею был удовлетворен, оказав ей царскую честь,  
Она же его предала: шлюха — шлюха и есть.  
Дабы согласие вернуть в постель и в царственную семью,  
Заместо одной он лежит теперь с целыми восемью.*

*Отвратительная крокодилица, отвергнувшая царя!  
Он будет петь от радости, на муки ее смотря.  
Она подвешена под потолком, изранена, плачет, стенает,  
И в сердцах вереницы преданных, грустных мужчин  
боль утихает.*

*Изображение:* Достопримечательнейшее! Колоссальный портрет царицы в три четверти. Даже по прошествии тысячелетий красота ее не вызывает сомнений. Злость катренов не стыкуется с невесомым силуэтом дивной грации

и очарования; возможно, царица была для Атум-хаду уже не живой личностью, но злосчастливым воспоминанием? На этом рисунке запечатлена былая любовь — или мечта об ином мире, где они воссоединятся, забыв о царствах и войнах. Второй катрен больше похож на фантазию, чем на описание яви, нигде на стенных панелях нет упоминаний о том, что царицу пытали и выставили напоказ, дабы стало легче отверженным со всего царства.

### **КОЛОННА ДЕВЯТАЯ, ТЕКСТ: АТУМ-ХАДУ ВЫСЛЕЖИВАЕТ СВОИХ ВРАГОВ**

*Изображение:* Пока гиксосский военачальник сговаривается с Владыкой Щедрости, сам Атум-хаду неузнанным проникает в лагерь гиксосского военачальника, неузнанным входит в его шатер, наконец, неузнанным появляется в его доме, лежит на его постели и узнает его самые тайные планы.

### **КОЛОННА ДЕСЯТАЯ, БЕССЛОВЕСНАЯ**

*Изображение:* Вероятно, вариации на тему колонны восьмой. Царица изображена в тридцати различных видах, иногда мы видим лишь голову или руки. Одну только улыбку художник пытался изобразить раз десять. Она спит и бодрствует, сидит и идет; разнятся ее одеяния; у ног ее появляются грациозные и миловидные псы.

Д.: К. П. Б. Пусто. Снова через реку на запад. Кровать — поистине желанная перемена. Интересно, можно ли поселить в доме кошек.

*Среда, 13 декабря 1922 года*

Д.: К. П. Б. Кто-то (Картер? Финнеран? Феррелл?) подговорил банковских служащих, и они устроили маленький спектакль: обеспокоясь моей раной и вопросами гигиены, цеплялись буквально ко всему, лишь бы выполнить злодейские приказы невидимого врага и помешать мне и дальше наводить ежедневно справки.

### **КОЛОННА ОДИННАДЦАТАЯ, ТЕКСТ: КОНЕЦ БЛИЗОК**

*Изображение:* Атум-хаду в одиночестве сидит на троне, он страдает, согнулся пополам, схватился за живот. С другой (северной) стороны рядом с Атум-хаду изображен крокодил, буквально пожирающий царские внутренности. Гиксосские войска наступают по всем фронтам и направлениям. Разряженный и чопорный гиксосский военачальник, застыв зловещей тенью, искоса глядит на страдающего Атум-хаду — видимо, намекая, что причиной страданий царя стало его колдовство?

### **КОЛОННА ДВЕНАДЦАТАЯ, ТЕКСТ: КОНЕЦ ВСЕМУ**

*Изображение:* Ночь. Мертвого Атум-хаду несет на плече одинокий неопознаваемый друг. Он несет его к волшебной сияющей гробнице, возле которой царя ждут Сет и его грифы. В это же время гиксосы, штурмуя дворец, насилуют, жгут и испражняются. Царского союзника, что уходит прочь с телом, они не замечают.

Этот рисунок стоит подвергнуть разбору, тем более что нам еще только предстоит понять, как разрешил исторический Атум-хаду Парадокс Гробницы. Уже ясно, что он обнаружил эти помещения и решил превратить их в усыпальницу. Вероятно, он обустроил их втайне от всех — за год или около того. В финале Атум-хаду брошен вельможами, армией, жрецами, Владыкой и царицей, у него, должно быть, остался единственный близкий друг. Кто этот



друг — нам не говорят: может, друг детства, может, царь познакомился с ним и доверился ему лишь недавно. Им мог стать кто-то обладающий художественными талантами, но лишенный мирских привязанностей. Выскажем гипотезу: может, то был придворный художник, чью семью вырезали гиксосы, после чего он, сломленный, принял от своего господина странный заказ. Смирный художник обязался (а) расписать стены царской гробницы (это произошло, конечно же, при жизни царя, тот сам выбирал сюжеты) и (б) незамедлительно после смерти Атум-хаду секретно перенести его сюда. За это он получил — что? Чем он мог прельститься? Золотом? Побегом в компании военного эскорта прочь от гиксосов? Волшебным оберегом? Над этим нужно еще поразмыслить.

Д.: К. П. Я вновь привык спать в кровати, после гробничной затхлости и чада она дарует мне забытое уже облегчение.

*Четверг, 14 декабря 1922 года*

Д.: Меня вынуждают немедленно собраться и съехать, и никаких больше мягких кроватей. У меня ужасное ощущение, будто я что-то забыл взять с собой, впрочем, ничего необычного в нем нет, и не всегда оно верное. Успокаиваюсь, отпаивая себя мятным чаем в любимой *ахве*. Почта — пусто. Теперь к кошкам.

Маргарет, сегодняшней день принес несчастье, о котором я даже не могу начать. Не могу сдержать слез, хнычу, как ребенок, не могу писать, не могу верить.

*Пятница, 15 декабря 1922 года*

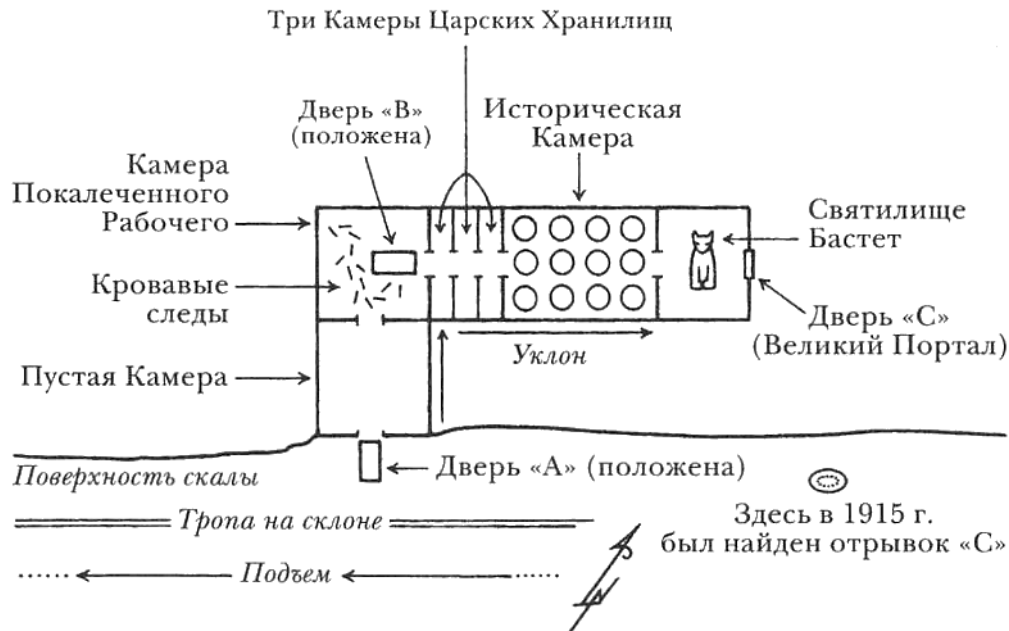
Но как он понял, что пришел *тот самый* момент, что все кончено? Может, он просто дрался до последнего и пал в битве? Или же предвидел, в чем-то утраченном разглядел символ всего, что с неизбежностью будет уничтожено позже?

*Суббота, 16 декабря 1922 года*

Тружусь. Истощенные недра мои!

*Воскресенье, 17 декабря 1922 года*

Бастет — это, конечно же, древнеегипетская богиня с кошачьей головой. Хотя в «Назиданиях» она не упоминается, культу Бастет посвящена целая камера гробницы Атум-хаду. С точки зрения историографии это помещение, как и все прочие, украшено великолепно, хотя художественные критики могут с этим и не согласиться. Посреди камеры мы находим символ единения с Бастет — мумифицированную кошку. Она забальзамирована обычным способом, обернута в пелены (с декоративными узорами в виде сфинксов, грифов и кобр, а также иероглифическим предупреждением, согласно которому всякий грабитель, осмелившийся потревожить гробницу, познает гнев пожирателя сердец Гора) и положена прямо на голый пол; надо думать, это дань Атум-хаду кошачьим и их почетному месту в традиционной религии? Или же в спешке последних минут, когда слышны были голоса гиксосских обезьян и царя уже готовились запечатать, обнаружилась нехватка предметов интерьера?



**РИС. «G»**  
**ПЕРВЫЕ СЕМЬ КАМЕР, ВКЛЮЧАЯ СВАТИЛИЩЕ БАСТЕТ. 17**  
**ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА**

Единственное украшение кошачьей мумии — великолепно сохранившийся ошейник из черной кожи, его серебряная подвеска с сапфиром покоится на взрезанной груди бедного зверя. Да, это дань богине Бастет, но, возможно, также и весьма человеческому, мирскому стремлению выказать верной кошке любовь и признательность за ее общество, ее достоинство и привязанность, поблагодарить ее за служение в этом мире и в следующем. Пусть она знает, что была ценима, что ее оплакивали.

Древние верили, что после запечатывания гробница сразу же превращалась в растревоженный улей. Скульптуры и статуэтки оживали, рисунки на стенах обретали третье измерение и становились реальными, символические изображения оборачивались самыми что ни на есть буквальными, а мумии (в первую очередь — царская мумия) восставали от временного сна, переосмыслили увиденное и возрождались для путешествия в бессмертие. Статуи воителей (как те, на которые наткнулся Картер) оживали, чтобы охранять царя. Изображения денег, еды, оружия, прислужниц, празднеств, наложниц — все они теперь служили царю. Потому-то в общем случае принесение в жертву людей или животных, хоть и практиковавшееся, не являлось необходимостью и встречалось в Египте весьма редко. Учитывая это, заключаем, что мумия кошки появилась тут потому, что умерла настоящая кошка — скорее всего, та, которую Атум-хаду знал и любил. Вероятно, та самая кошка, что описана в Исторической Камере. Отсюда также можно предположить: он настоял на том, чтобы это обожаемое им и обожавшее его существо вечно сидело у него на коленях и мурлыкало. Он подарил ей бессмертие, возвысил до кошки-богини.

Уже поздно. Я устал.

*Понедельник, 18 декабря 1922 года*

**СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «К»:**  
**«УХОД АТУМ-ХАДУ ИЗ ДВОРЦА»**

*Текст:* Поражение следовало за поражением. Атум-хаду готовился. Под за-

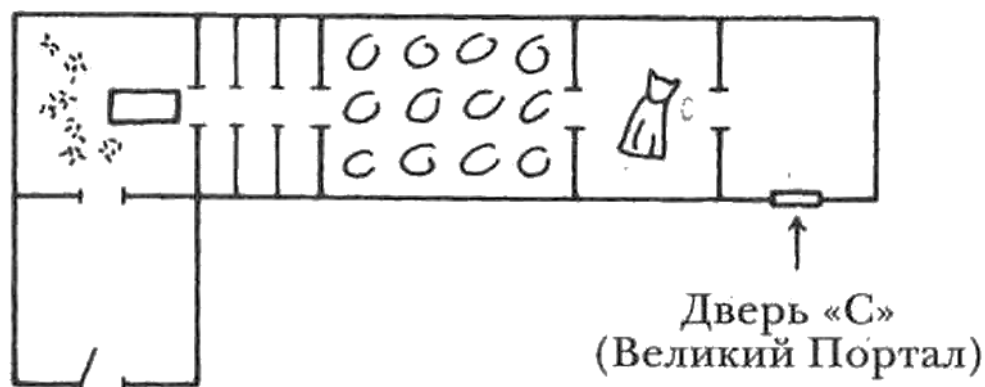
щитой Нут он переносил вещи из своего дворца вдоль нильского берега, и его друг изображал его жизнь на этих стенах. Он вернулся во дворец. Там было весело, люди напивались и распутничали. «Бегите!» — приказал Атум-хаду, и они засмеялись. «Знаете ли вы, что ждет вас?» — спросил он. «Да, и мы знаем, как скрасить ожидание», — был ответ, и он возлюбил их. Глава музыкантов распростерся перед ним. «Все окружающее нас волшеббно». Атум-хаду возлюбил этого кроткого человека. Он заключил его в братские объятия и попрощался.

Атум-хаду обнаружил, что одна из его кошек подавилась рыбьей косточкой. Его терзала грусть, словно он был старухой. Атум-хаду плакал, думая о своем заклятом враге, избравшем Атум-хаду при рождении, плакал как ребенок, пока не уснул.

*Дневник:* Когда Карнарвон увидит, что обширный подземный комплекс скрывает еще по меньшей мере двадцать камер, пусть даже в них нет ни сокровищ, ни произведений искусства, загадочный лабиринт сам по себе станет поводом снарядить в Дейр-эль-Бахри вторую, основательно финансируемую экспедицию. Мы с Марлоу были неоспоримо правы: гробница либо здесь, либо где-то рядом, достаточно близко отсюда, в скале по соседству с этим храмом истории. Или я слишком много сомневаюсь, а гробница все-таки *тут*, за следующей дверью? Хватит.

Я с трудом волочу горящую ногу, и кишки мои жжет огонь и разъедает дым, и все-таки я беру кувалду и иду к двери «С». Мои руки слабы. Два часа долбления — и ничего, лишь Святилище Бастет все в щебенке и пыли, припрошившей кошку-богиню. Валюсь с ног. Позже попробую снова.

Кажется, вечер, и теперь план выглядит так:



**РИС. «I»**

## **ПЕРВЫЕ ВОСЕМЬ КАМЕР. 18 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА**

Экстраординарное открытие! Такого не ожидал никто. \_\_\_\_\_ Камера, Зал\_\_\_\_\_. Камера Загадок. Зал Волшебника. Камере

*Вторник, 19 декабря 1922 года*

*Дневник:* Изнуренный работой, упал вчера замертво на пол. Наутро затекли нога и шея. Лишь заслышав ауканье, я осознал, что меня разбудил не кто-нибудь, а Картер. Он хотел уже было без приглашения войти в гробницу, но я опередил его, добравшись до двери «А» первым. Старый дурень, думать надо, куда идешь. Хромая, я выбрался наружу, дабы поприветствовать важного го-

стя, который выбрался из своей показушной ямы и нашел время, чтобы проведать рабочего человека. Солнечный свет ослепил меня, я часто моргал и был в невыгодном положении: он мог проскользнуть мимо.

«Тяжело же было вас тут разыскать! Что, все и правда так, как рассказал мне Карнарвон? Вы уже успели раскопать что-то стоящее? — спросил он. — Боже мой, с вами все в порядке?» Картер, как всегда, был ненатурально обеспокоен моим здоровьем.

«Я спал мертвецким сном, а вы разбудили меня, старина, только и всего».

«Что ж, поздравляю вас, Трилипуш. Кажется, в этом сезоне боги улыбнулись всем нам».

«Точно».

«Я так понимаю, вы уже известили Лако и ждете приезда инспектора? Что у вас там внутри — вы уже знаете?»

«Всему свое время, Картер».

Он устоял на проем двери «А» в свойственной ему дурной манере: ни похвал, ни замечаний, один лишь спокойный и безучастный Глаз движется как бы отдельно от тела — и все кругом оценивает. «Знаете, я в свое время нашел столько „сухих скважин“...»

«Великие — и те в сомнении? — Заслышав его нервные размышления, я не смог удержаться от смеха. — Уж постарайтесь подождать, старина. Сходите потом на экскурсию вместе с остальными шишками».

«Само собой. Обязательно пригласите инспектора, Трилипуш. Рад узнать, где вас можно найти, если вы нам понадобится. Если я могу вам чем-то помочь — дайте знать. — Развернувшись, он хотел уже было идти, но вдруг замешкался, нащупывая что-то в кармане; представив, что у него там оружие, я проклял себя за то, что оставил „вэбли“ внутри. — Чуть не забыл, за чем пришел. Это принесли в мой лагерь, на почте вышла путаница». Он передал мне письмо от невесты и самодовольно зашагал прочь, даже не оглянулся, чтобы узнать, куда вонзились его стрелы. Бог знает, как долго он перлюстрировал мою почту, какие письма скрыл.

29 нояб.

*Теперь мне все ясно. Папочка только что мне все объяснил, сказал подписать каблограмму и сочинить тебе письмо. Так вот: я освобождаю тебя от всех обязательств. Ты посмеялся надо мной, Ральф. Наверное, я тебе отвратительна — богатая девчонка, тупая, не понимает, что вокруг нее происходит. Теперь ты свободен. Я даже скажу тебе спасибо — если честно, все то время, пока я думала, что ты меня любишь, я была счастлива. Теперь папочка говорит, что все это ложь, что ты хотел только получить его деньги, но все не так ужасно, потому что какое-то время я собиралась выйти замуж за английского лорда и исследователя. Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу и не понимаю, почему не ненавидела раньше. Феррелл, ты и папочка — вы все омерзительны. Надеюсь, наши деньги тебе пригодились, и ты найдешь сокровище, и черт с вами со всеми.*

*Маргарет Финнеран*

*Вторник, 19 декабря 1922 года (продолжение)*

Маленький снаряд Картера оказался пустышкой, не более чем расширен-

ной версией твоей каблограммы от 29-го числа и, вне сомнений, подделкой, хотя почерк, кажется, твой. До того как повернуть этот фокус, они, должно быть, накачали тебя лекарствами. Сейчас лучшее противоядие от такой отравы — работа.

Кувалда бьет словно по моей ноющей ноге, Маргарет. Я вбежал в девятую камеру и колотил по следующей двери до тех пор, пока не появилась трещина, я взглянул на нее — и заплакал. Я рыдал, полагаю, несколько часов. Сознаюсь. Я столько не плакал с детства, с тех пор, как осознал, что слезы из всех жидкостей — самая бесполезная и не приносящая отрады.

Сознаюсь: лунного света достаточно, чтобы увидеть тебя как наяву.

Чего бы я мог достичь, если бы начал все с нуля, вернувшись домой? Домой? Смог бы я доказать тебе, что тебя достоин? Тебе нужен успех. И твоему отцу. Без него я тебе скучен. Когда-то мой блеск тебя поражал. Наверное. А после моего открытия? Поддельная каблограмма в конце концов обернется реальностью. Ловкий трюк.

Как бы она ко мне отнеслась, будь я кем-то другим? Во мне кроются неисчислимые возможности. Будь я другим, она бы расстроилась? Конечно, расстроилась: каждый уважает родовитых и благородных завоевателей. Таких, как я.

Не важно. Я тот, кто я есть, ты любишь этого человека, он к тебе и вернется. Я начну с нуля, заберу тебя с собой, увезу прочь от отца и от всего, что отравляет тебе жизнь. Я сожгу все эти бумаги, и мы начнем жизнь наново далеко-далеко. Сейчас я лягу спать, а когда проснусь, выброшу все это вон. Неудачная экспедиция — еще не конец всему, не доказано даже, что я не прав. Настоящая гробница может скрываться в считанных ярдах отсюда. Я еще вернусь — с Карнарвоном или другим богачом. Маргарет, ты же не покинешь меня лишь потому, что я — всего лишь тот, кто с тобой прощался, и пока никем более не стал? Хватит. Мне нужно только заработать денег, чтобы купить билет до дома, где мы начнем все сначала. Завтра, 20-го числа, я начну сызнова. Я решил. Уговорились? Завтра я брошу все это и с первым лучом солнца начну марш-бросок домой, к тебе, как однажды совершил марш-бросок от Турции до Египта. Я дам тебе каблограмму, только, молю тебя, жди, жди и не принимай необдуманных решений. Ты же смелая? Будь смелой, милая моя девочка, ради меня. А теперь мы поспим, и твоя статуэтка оживат рядом со мной. Закрой глаза, я тоже закрою глаза, едва ли мож надея гла автра

*Среда, 20 декабря 1922 года*

С добрым утром, родная! Что за чудесные, сумасшедшие, безумные приключения! История открытия легендарной гробницы Атум-хаду становится блестящим комическим фарсом, и это бодрит! С чего бы мне начать мой идиотический рассказ?

Прошлой ночью мне выпало поспать всего-то полчаса: я писал тебе и одновременно мечтал о тебе, потом я закрыл глаза, открыл, посмотрел на часы — и только тут понял, что меня разбудил мужской голос, что выкрикивал мое имя, и топот, разносившийся по святой и богатой гробнице Атум-хаду. Топот становился громче. Мои веки налились тяжестью и не желали открываться, но каждый сердитый окрик вырывал меня из полудремы: «Христовы соленые слезки! И где мои горы золота? А это что, черт меня дерит? Это ребенок рисо-

вал?» (Нужно будет научить твоего отца скрывать типично филистерскую привычку хулить творца, если его творения — не во вкусе Ч. К. Ф.) Доковыляв до Исторической Камеры, я узрел Ч. К. Ф., который жевал незажженную сигару, водил электрическим фонарем из стороны в сторону и наконец направил меч желтой пыли мне в лицо. «Эй, ты! — завопил он. — Мистер Картер сказал, здесь я найду Трилипуша! Где Трилипуш? Ты по-английски понимаешь? Не молчи, сынок!» Очень смешно, М., разве нет? В темной комнате, увидев мою бороду и рабочий халат, он принял меня за туземца! Я мог бы прикусить язык и помотать головой, но так мы бы не достигли взаимопонимания, а нам с твоим отцом оно требовалось более всего. Сейчас все прекрасно, мы возобновили наше партнерство, оно выдержало все испытания и крепко как никогда.

Когда Ч. К. Ф. уезжал из Бостона пару недель назад, он был, кажется, — ей-богу, нам обоим сейчас смешно, мы хохочем, твой отец заглядывает мне через плечо, удостоверяется, что я описываю все как было, — он, кажется, злился на меня, и ты об этом знала, правда ведь?

Разумеется, я (как и Ч. К. Ф.) предпочел бы вообще об этом не упоминать, однако упоминание необходимо — для того (соглашается Ч. К. Ф.), чтобы все объяснить тем, кто отправил Ч. К. Ф. сюда или знал, что он сюда прибудет. Да, до того, как мы смогли возродить нашу дружбу, потребовалось разыграть забавную и очистительную сценку; поскольку о том, как меня найти, Ч. К. Ф. узнал от Картера, кто-то мог нас подслушать и неправильно понять. Я постараюсь воспроизвести это сумасбродное недоразумение слово в слово; оно так похоже на сцены из комедий, которые ты обожаешь!

«Финнеран? Как вы меня нашли?»

«Святая мать ревущего Иисуса! Ты! Что с тобой случилось?»

«У меня для вас всевозможные благие вести».

«Бог мой, этот Картер... надо было инвестировать *в него*».

«Это, Честер, была бы непоправимая ошибка. Он не нашел и крупички того, что нам с вами удалось найти, потратив куда меньше денег».

«Почему тут пахнет, как в геенне?»

«Понимаете, у меня нога поранена, ничего серьезного, но...»

«Святые вершки и корешки! Какого дьявола...» Твой отец перестал светить мне в лицо, переведя фонарь на стену. Он прошел мимо меня, следуя за лучом света в Святилище Бастет. «Что сделали с кошкой?» — заверещал он вдруг, нежная душа.

«Сложный вопрос, Честер. Древние уважали кошачьих, уважение это, так сказать, зиждилось на религии и...»

«Паразит! Продажная скотина! Нарыл тут золота, да? Я твои хамские каблограммы...»

«Каблограммы?» Я был сбит с толку. Твой отец, если придерживаться исторической достоверности, — он, кстати, кивает, застенчиво соглашаясь, — твой отец просто сходил с ума от напряжения, до которого сам себя довел. Очевидно, Маргарет, у него имеются некоторые финансовые проблемы. Ты это знала — но не знала их масштаба. Нужно было рассказать мне обо всем ранее. В любом случае при подобном напряжении человек может поверить во что угодно, кидаться на тени, принимать обыденные совпадения за хитрый заговор; именно это и случилось с твоим несчастным отцом: он начал рассказывать абсурдную историю о каких-то клеветнических каблограммах, отослан-

ных из Луксора. Он даже бросал их на пол, одну за другой, явно драматизируя; сейчас, когда мы с ним наново их изучаем, я прихожу в ужас. Упоминаю о них потому, что ты, наверное, уже слышала про них в Бостоне. Это суший кошмар: анонимные донесения для церкви, прессы, полиции и наших же компаньонов. Мы с Ч. К. Ф. сейчас сожжем эту гадость, покончим с ними, хотя есть основания думать — Ч. К. Ф. со мной соглашается, — что тут замешаны силы, кои намерены не допустить удачного исхода, они-то и предприняли одновременную атаку на Ч. К. Ф. в Бостоне и на меня в Египте. Наш главный подозреваемый — Картер, а Феррелл — его тайный агент за границей, в этом мы с Ч. К. Ф. единодушны.

Твой отец был зол, я знаю, ты это знаешь, но он все же приехал сюда — позволит гордость ему в этом признаться или нет, — чтобы посмотреть на наше открытие *in situ* и приложить столь необходимые физические усилия к уже сделанным финансовым вливаниям, дабы наши раскопки стали семейным триумфом. «Гениальный ты наш! Мне бы от тебя, английский голубок, держаться подальше, да только Маргарет сказала, что ей такая балаболка нужна до зарезу. А потом ты начал выкидывать фортели...»

«По этой причине вы заставили ее порвать со мной?»

«Заставил? Ты спятил? Это было легче легкого. У нее ухажеров — прорва. Боженька, даже этот детектив за ней увивается, от парней отбоя нет, думаешь, отказать тебе — это для нее какая-то жертва?» Разумеется, твой отец пытался лишь распалить меня, что понятно — бедняга был в таком напряжении и к тому же сбит с толку ложью Феррелла и тер Брюггена. «Эй, погодь, Пыжик, не надо это записывать!» — только что сказал он мне. Старый чертяка пытается подделать официальный отчет! Он извиняется перед тобой за все, что сказал, и требует, чтобы я записал и это тоже.

«Ты ничего не нашел для моей коллекции? — спросил он меня. — Я понадеялся было, что хоть это тебе удастся! А вон то, — воскликнул он, и луч фонаря вновь скользнул в Историческую Камеру, заставляя меня вжаться в стену и нанося тем самым непомерный ущерб древним шедеврам, — рисовала небось пьяная мартышка? Вот это вот что — оргия?» Полагаю, он имел в виду колонну пять. «Только не смей меня! Чего он ласкает жирафу, когда рядом две девчонки? Мать Господня, стены что, мокрые? Боже, да с них течет! Что ты сделал с моими деньгами? Разрисовал подвальные стенки? Ты спятил?..» Что, если тот, кто привел сюда Финнерана, все еще маячил снаружи и слышал *такое!* Слушатель был бы в высшей степени озадачен, если не сказать больше. Объяснение не заняло много времени, и Финнеран, как ни сопротивлялся, все-таки узнал, что такое «консервация гробницы». Разумеется, изображения блесят, потому что я покрыл их из распылителя защитным слоем целлулоида, а под светом электрического фонаря Ч. К. Ф. свеженанесенное консервирующее вещество *кажется влажным*, что, конечно, очень мило, но вводит в заблуждение.

А Ч. К. Ф., смущенный тем, что, по его мнению, он увидел, протянул руку, желая *дотронуться* до чувствительного древнего изображения на поверхности одной из колонн, и я мягко, очень мягко, отстранил его руку своей тростью, почти до нее и не дотронувшись, разве что самую чуточку, чтобы только предотвратить контакт кожи с поверхностью, которая, обезвожившись за 3500 лет, могла рассыпаться от малейшего прикосновения, поскольку я, копи-

руя в свои тетради восхитительную роспись гробницы, не имел возможности завершить консервирование, и потому им могло повредить даже чье-то случайное горячее дыхание, не говоря уже об ударе гигантского пальца; в свою очередь, я напомнил себе: нам с Ч. К. Ф. нужно сегодня сходить за новой порцией консервантов.

Я бы поспал еще немного, но спать было совершенно невозможно — следовало привести в порядок пол, стены и прочее, да и от беседы с твоим отцом я получал искреннее удовольствие, поскольку, работая в одиночестве, истосковался по обществу. Вследствие неуклюжести Ч. К. Ф. некоторые изображения оказались чуть подпорчены, мы договорились их отреставрировать и затем плотно заняться вопросами консервации. Он быстро смекнул, что тут к чему, и помог мне довести работу до конца. Конечно, пришлось его кое-чему подучить — но он оказался неожиданно способным студентом археологии.

После уборки мы наконец легли спать и проснулись поздно утром — он был измотан путешествием, я работой; мы очнулись, рассмеялись, вспомнив о нашем вчерашнем несмелом воссоединении, и восславили вновь принятое им решение поддержать (финансово, морально и материально) нашу великую экспедицию. Этой ночью мы проделали большую работу. «Да, мальчик мой, но тяжелый труд — это же здорово!» — воскликнул мой Владыка Щедрости, выделил мне скромную сумму и послал в город за едой, питьем и почтой.

*КАБЛОГРАММА.*

*БОСТОН — РАЛЬФУ ТРИЛИПУШУ, ЛУКСОР, 19/12/22, 9.02*

*УЗНАЛА ОТ ДЖП ЧТО ПАПОЧКА ПОЕХАЛ К ТЕБЕ. ОН МОЖЕТ БЫТЬ ЗОЛ.*

*ПОЖАЛУЙСТА ПРОСТИ ТВОЮ МФ.*

На почте я, само собой, обнаружил твою вчерашнюю каблограмму. Забавно! Ах, дорогая моя, если бы ты не промедлила несколько дней, эта ночь не стала бы для меня таким сюрпризом. Я был прав: ты всерьез думала, что он будет на меня по-прежнему зол.

Теперь ты можешь не беспокоиться. Когда экспедиция завершится, мы с ним вернемся в Бостон вместе — если только он не отправится куда-нибудь один, или не решит остаться в Египте из туристических соображений, или не встретит женщину, и вообще — интересностей тут хоть отбавляй. Нет, разумеется, мы с ним вместе вернемся домой, ты ведь ждешь нас обоих — теперь, когда мы опять вместе. И ты призываешь простить тебя, моя дорогая.

*КАБЛОГРАММА.*

*ЛУКСОР — МАРГАРЕТ ФИННЕРАН БОСТОН, 20 ДЕК 1922, 11.17*

*ТВОЙ ОТЕЦ БЛАГОПОЛУЧНО ПРИБЫЛ. С НАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ШЛЕМ ТЕБЕ ПРИВЕТЫ. ОН БЛАГОГОВЕЕТ ПЕРЕД НАШЕЙ НАХОДКОЙ И НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ МНЕ ПОМОЧЬ. ОН ПРОСИТ ТЕБЯ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ. БЕЗ ПАМЯТИ ВЛЮБЛЕННЫЙ РАЛЬФ ЛЮБИТ ТЕБЯ БЕСПРЕДЕЛЬНО.*

*КАБЛОГРАММА.*

*ЛУКСОР — МАРГАРЕТ ФИННЕРАН БОСТОН, 20 ДЕК 1922, 11.21*

*НАШЕЛ ТВОЕГО РАЛЬФА. ВСЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ УЛАЖЕНЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН КЛАССНЫЙ ПАРЕНЬ. ПОКА ОСТАНУСЬ ТУТ, БУДУ РАБОТАТЬ ПОД ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ. ТВОЙ ОТЕЦ, ЧКФ.*



## СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «К», ПРОДОЛЖЕНИЕ: «ПРЕДАТЕЛЬСТВО АТУМ-ХАДУ»

*Текст:* «Ты предал меня, — сказал царь Атум-хаду спокойно, невзирая на гнев и боль, когда они с Владыкой Щедрости наконец встретились в царском дворце лицом к лицу. — Я оставлен тобой, тем, кому я доверился. Ты отвратил царицу от ее владыки и повелителя, отвратил ее сердце от добродетели. Ты ослаблял меня и мою армию до тех пор, пока мы не оказались бессильны в битве». Царь мешкал. Его жалость, и его любовь, и его мягкая натура обуздывали праведную ярость.

Но Владыка Щедрости рассвирепел и обнаружил честолюбие, и жажду власти, и зависть к Атум-хаду. Он кричал, уподобившись буйнопомешанному, сплавлял воедино правду и правдоподобие. Владыка Щедрости показал себя не вторым отцом царя, но опаснейшим и вероломнейшим аспидом в тростниковой кровати невинного младенца.

В помешательстве своем Владыка Щедрости размахивал кулаками, и сорвал со стены горящий факел, и размахивал им, угрожая земному воплощению Атума огнем и дымом. «Остановись, дурак!» — закричал Атум-хаду, отступая во тьму пустого дворца. Царь все еще не желал нападать на своего бывшего друга и советчика. «Ты не понимаешь, какой вред наносишь. Ты не понимаешь, чем рискуешь. Все это еще можно успеть спасти!» — провозгласил царь из темноты. Но Владыка Щедрости нашел его и атаковал, словно раненый лев, и тогда у Атум-хаду не осталось иного выбора. Он забыл о ранах, что были получены в схватках с гиксосами, он забыл о гнезде кобр, что жалили царские внутренности и плевались горячим ядом из седалища.

У него не было выбора. Величайший из царей поднял свой боевой молот, и Владыка Щедрости отлетел на колонну, и пламя факела его поколебалось; царь лишь однажды опустил свое оружие на голову врага, и ударил он не в полную силу, и Владыка Щедрости, будучи шире и выше царя, застыл в удивлении, и горячая красная кровь потекла по его пухлому белому виску. Царь и тут предложил ему примириться, но злодей замахнулся на царя, и тогда царь вновь опустил свой боевой молот, и факел выпал из руки Владыки Щедрости, и Атум-хаду подхватил факел и осыпал злодея градом ударов, чередуя молот и факел, и от жара факела кожа злодея покрывалась волдырями, и падал молот, и пузырилась кипящая кровь, и сыпались удары на голову предателя, и голова размягчалась, пока не сплюснулась, и не обмякли члены, и не вымокли одежды. Атум-хаду сидел на животе поверженного человека, расставив ноги, словно женщина, что курицей сидит на своем любовнике. Долго Атум-хаду осыпал тело ударами, пока руки его не устали, а глаза не залило кровью. И тогда Атум-хаду увидел, что он один, и утроба его познала боль, какой раньше не знала.

Внезапно Атум-хаду понял, что пришел конец всему. Все, что он любил, погибнет; все будет непонятно либо забыто.

Он выбежал в залитый светом внутренний двор, увидел кровь на своих одеждах, и на своем молоте, и на факеле, и он пал на землю, и колотил по земле кулаками, и рыдал, проклиная все на свете.

*Изображение:* Длинный текст начинается под потолком и почти не оставляет места для изображения. Перевод текста и перерисовывание его в тетрадь

заняло большую часть дня. По ходу пришлось объяснять Ч. К. Ф. начатки иероглифики и грамматики, что замедлило темпы работы, однако усилия мои были вознаграждены — он начинает проникаться глубинной сутью открытия.

Затем мы с Честером немного прибрались в гробнице. Я уделил внимание стенной панели «К» и поспешил восстановить поврежденные, смазанные или запятнанные фрагменты изображений и текста, пострадавшие ночью от безрассудства Ч. К. Ф. Безнадежные полчаса спускался по тропе, жаждал облегчить трепещущее чрево; мысли мои разбегались, слишком многое требует первостепенного внимания. Вернулся в гробницу. Жгу кое-что в первой камере, смотрю, как дым выветривается через входной проем и растворяется в вечернем небе. Ч. К. Ф. весьма заинтригован тем, как тут все устроено. Он мне очень помогает. Он мне как отец. За последние сорок восемь часов я спал не более получаса. Я должен лечь спать несмотря на мучительную я забыл что-то сделать требующ немедл внм Ч. К. Ф., я забыл чем-т? Нет, иди спать. Вот так. Ложись а теперь вставай опять я слышу голоса в первой камере, но это не

*Четверг, 21 декабря 1922 года*

*Дневник:* Читатель, отец моей невесты прибыл в Египет, чтобы помочь мне с работой на участке, и сегодня утром, доверив ему выполнение простых заданий внутри гробницы Атум-хаду, я отправляюсь по делам.

Участок Картера засверкал новыми гранями. Экспедиция Метрополитена, верная данному слову, отдала все и вся, что Картеру требовалось. Горы обвязочных, обмоточных и набивочных материалов для упаковки предметов, что извлечены из-под земли. Легковой автомобиль. Картер купается во внимании, все стремятся ему помочь — туземные рабочие, поклонники, друзья (правда, можно задаться сочувственным вопросом: как он отличает искренних от лукавых?). Здесь вновь толпятся туристы, даже дорогие Лен и Соня Нордквисты тут, прямо в первом ряду, они — мне стыдно это писать — воркуют и фотографируются бок о бок со знаменитостью. Картер облачен в парадный мундир успеха, пышный сверх всякой меры, однако практически не изменился. Он по-прежнему несет себя над всем миром и владеет особенным, тайным знанием, туманящим зрение каждому, кто попытается на Картера взглянуть. Беседует он на местном диалекте, его арабский не заплесневел и не протух в пыльных академиях. Но даже говоря на иностранном языке, он не преображается. О, как встречает он свой успех! «Эй, ты! Беги к мистеру Лукасу, узнай, не нужно ли ему чего», — отдает он мне приказ по-арабски, едва я засовываю голову в начальственный шатер с целью поздороваться. Кланяюсь и повинуюсь — а что мне остается? Лукаса найти легко, он — химик, одолженный Картеру правительством Египта, очередной эксперт, упавший к стопам великого вождя и скормленный ненасытной топке Картерова эго. «Да, спасибо, все в порядке», — отвечает Лукас; он обустроивает лаборатории в паре сотен ярдов, в гробнице № 15, опустошенной для удобства царя Говарда. И чего здесь только нет: керосин и консервирующие распылители в красных банках — пронумерованных, снабженных этикетками; клеи и растворители; бесконечные-через-дефисы-начертанные-названия-химикалий, непостижимые в разнообразных своих сочетаниях; черепа на этикетках, наводящие на мысль, будто Лукас — колдун или Блюститель Тайн; воск; излишество, кошмарное излишество вещей и веществ: ряды за рядами простейших материалов, инструмент

за запасным пронумерованным инструментом, дополнительные резервные запасные дубликаты везде и повсюду, словно вытошнило какого-то обжору, словно Картеру стоит закрыть глаза, чего-нибудь пожелать — и к нему уже мчится некий хнычущий джинн. «Осторожно, парень, попадет кожа, будет плохо», — говорит Лукас на скверном арабском, вручая мне бутылочки, чтобы я отнес их обратно хозяину. Да-да, и прихлебатели Картера посвящены в его тайну; однако не вздумайте потревожить его расспросами, он точно знает: для вас это несоизмеримо сложно. Чем скорее он о вас перестанет думать, тем лучше, тем скорее он вознесется туда, где мысли его кружат и вьются путями, вам недоступными.

*Пятница, 22 декабря 1922 года*

Спал на свежем воздухе на вершине, походную кровать отдал Ч. К. Ф. Пусть он поспит внизу в одиночестве, наша квартира слишком тесна для двоих.

Сегодня Картер запустил в свою жалкую дырку журналистов, а я — зачем я так с собой поступаю? Мне следовало уйти прочь, но я увидел туристов, что плятятся на участок во все глаза и неумолчно несут вздор о мелком царьке, и точно услышал гибельное пение сирен, и опять отправился смотреть на гробницу Картера, сопровождая язвительного американского репортера, который звал меня Мохаммедом. Вид поистине ужасный: Тут болен той же манией излишеств, что и его разряженный служка. Я видел падких на приторные излишества Нордквистов, которые из вежливости притворились, будто впечатлены, и не смог заставить себя с ними заговорить. Хранилище малолетнего выскочки — да это же просто гротескная куча мусора! Халаты из леопардовых шкур, усыпанная коростой золотых блесков одежда, статуи, сандалии из тростника и папируса, та кровать с резным изножьем, бумеранги, шкатулки для завтрака, расписанные под уток со связанными лапами, сосуды с благовониями, туалетные столики, сундуки и лари с неиспользованным нижним бельем, подсвечники в форме человечков-анхов, разукрашенное то, яйцеобразное се, лотусообразное пятое, золотое десятое, цепи, крюки, скипетры, мебель, покрытая изображениями царя в виде льва, что топчет врагов и разъезжает на колеснице со своими предками, горы ненанизанных бусинок... да *любая* из этих вещей стоит всех потерянных Картером лет, всех денег Карнарвона, не говоря уже о жестокосердном Финнеране. А владыка всей этой нелепой путаницы — *какая-то бестолочь*, отчего тебя просто мутит, ты раздавлен, будто все эти сокровища, всю эту мебель вывалили тебе, завернутому в бинты, прямо на голову, и она смялась, точно ком глины под колесами этой безобразной боевой повозки. Тошнотворно! Американский репортер со мной вполне согласился.

*Суббота, 23 декабря 1922 года*

У Картера — ярко выраженная мания величия, тут мы с Ч. К. Ф. едины. Нет, он не успокоится до тех пор, пока всякий им не восхитится, не станет на него работать, пока он из любой мухи не сделает слона. Можете себе представить, как я удивился, когда сегодня утром, спускаясь из своей горней опочивальни, увидел полицейского констебля, что шел по тропе к моей гробнице! Его послал мистер Картер — «удостовериться, что здесь все в порядке». Да, спасибо, лишь Картера мне тут для порядка и не хватает. «У мистера Картера в лагере

побывали воры. У вас они не показывались?» Ну конечно! Рассеянный Картер посеял что-то из своего необъятного инвентаря и обратился к полиции, чтобы та выяснила, не наведалься ли хитроумный грабитель ко всем разумным археологам Египта. Я засмеялся и сказал чиновнику «до свидания», но он пожелал рассказать мне о том, как грабитель проник в дом Картера, какие вещи пропали, какие на Картеровых простынях пятна. «Вы уверены, что у вас тут все хорошо, сэр?» Ради бога, что за вопрос, конечно, все хорошо, голуба. «Могу я взглянуть на ваши раскопки? Я тоже археолог-любитель...» Я сделал все возможное, дабы этот слабоумный перестал поднимать пыль, топая к двери «А». «Вы ранены, сэр? Вы хотите мне что-то сказать?» И прочие идиотские вопросы от неофита египетской полиции, выступающего в роли Картерова лазутчика.

Наконец я выпроводил агентшкку моего соперника, после чего мы с Ч. К. Ф. обсудили, какую из множества проблем решать первой. Придется потрудиться, чтобы упрочить гробничный интерьер, составить детальные схемы, законсервировать необработанные изображения и перерисовать последние стеновые панели. Помощь Ч. К. Ф. неоценима.

В Александрии я высадился вечером 24 числа, Мэйси, до Каира добрался поездом на следующий день, на Рождество, хотя в Египте что оно есть, что его нет. Работа спорилась: выяснилось, что объект жил в отеле «Сфинкс» и выехал оттуда 26 октября, оставив номер за собой до возвращения. С отчетами, которые он посылал в Бостон, пока все сходилось. Клерк также сказал, что в отеле побывал Финнеран, ночевал за девять дней до меня. Я, в свою очередь, провел там ночь 25 числа — в аккурат ночевал на постоялом дворе на Рождество. Говорящих ослов не заметил.

### *Воскресенье, 24 декабря 1922 года*

Тружусь. Истощенные недра мои! Патефон не помогает. Тружусь не покладая рук. Работа наводит на мысли о бессмертии. Полагаю, для среднего египтянина понятие о бессмертии — не более чем дурацкое суеверие. Но это лишь потому, что самая идея вечной жизни изменилась как для христиан, так и для остальных. Мы разделяем мнение наших нильских предтеч: бессмертие есть архиважнейшее достижение индивида (важнее, чем любовь или бледная репутация добродетельного человека, насущнее, чем даже дружба), но не разделяем безумной мысли о том, что в пакибытие переносятся наши *тела*. У нас на слуху другие выражения — «спасение души», «неувядающая слава». Называйте как хотите, но каждый надеется, что имя его будет звучать и звенеть, когда заглохнут имена его слуг и мучителей. (Самое прелестное, если это случится до их физиологического финала, дабы последняя дымка их имен прешла, а они все еще дышали и осознавали — осознавали, тер Брюгген! — что когда их разлагающиеся тела обнаружат и швырнут в землю, их кожа и волосы уже будут принадлежать анониму — и анонимно же превратятся в угольную пыль, в то время как иные станут солнцами и светилами.) Такого постоянства алчет всякий, пусть он и утверждает обратное. Триумфальных арок и Смитов-младших в мире — как грязи; болтливые художники волнуются, не забудут ли их творения; поэты, дабы снискать славы, накладывают на себя руки; завещаниями и последними волеизъявлениями управляют наследники; имена всякий год зачитываются в церквах и синагогах; что говорить о вычур-

ных надгробиях и признаниях в любви на смертном ложе, о наследии и именном дарении, о деньгах, жертвуемых политическим партиям и благотворительным фондам? Мы все еще египтяне до мозга костей, и спорить тут не о чем.

Я не идиот. Я знаю, что, когда придет мой час, я буду *мертв*. Мне не бренчать на крылатой арфе, не смаковать (как я хотел того в детстве) жаркие плотские утехи египетского подземного мира, что расчерчен рядами пальм, храним Анубисом, лелеем Изидой. Я говорю о другом пути, легче, изящнее, умственно и духовно неуязвимее и неистощимее. Для нас бессмертие, пусть и внетелесное, не лишено осознания — осознания отчетливого мига истечения срока наших тел и передачи эстафеты нашим именам. Ч. К. Ф. согласен.

*Понедельник, 25 декабря 1922 года*

*Дневник:* Желудок ведет себя так, будто я проглотил дюжину острых шпаг, однако мы с Ч. К. Ф. трудились до вечера. Потом выбросили отходы, вычистили ведра, сожгли всякую всячину.

*К Маргарет:* Ко мне только что приходил гость. Давно уже я ни с кем не разговаривал. Кроме, конечно, твоего говорливого отца.

Явилась старая и прекрасная дева. Я едва кончил возиться с ведрами. Утомленный, на последнем издыхании, я сидел снаружи и массировал больное бедро.

«Милый мальчик, мне сказали, я найду вас здесь».

Я подумал, что мне это, наверное, чудится — так внезапно появился человек, которого я жаждал увидеть более всего. На корабле она была сама доброта. Прикрыв глаза от слепящего солнца, она поднималась ко мне, приподняв край своего старомодного платья и порхая по скальной тропе с удивительной легкостью.

«Дорогой Ральф, у вас нездоровый вид. Что тут с вами случилось?»

«Ничего. Я весь в поиске. Тружусь. Сделал выдающееся открытие».

Она присела подле меня на камень, затаила дыхание, взяла меня за руку. Если б на ее месте была ты, я упал бы ей в объятия. «Бедный мальчик! Взгляните на себя, вы так похудели...»

«Лучше расскажите мне о себе, Соня. Что видели за время неповторимого турне? Гробницы Рамзесов? Вы были в цирке, устроенном Картером в его дыре?»

«Дорогуша, вы что же, завидуете? Не надо, поверьте мне. Я в таких вещах разбираюсь. Это все не имеет значения».

«Что не имеет значения?»

«Все. Я насмотрелась этой страны и больше не хочу. Здесь слишком холодно, слишком...» И тут уже она обняла меня и, содрогаясь, заплакала; а потом так же внезапно выпрямилась и утерла слезы. «Мой Лен умер. Всего два дня назад. Здесь все случилось так быстро...» Она посмотрела на запад, на утесы, что мельчали и превращались в пустыню. «В стране с такими просторами и такой историей люди преходящи. Завтра я увезу его домой. Вам сейчас, кажется, не лучше, чем мне. Вы ему нравились. Очень нравились. Он мне сказал об этом в ту ночь на корабле. Надеюсь, духи не собьют вас с верного пути. Не принимайте их слишком уж всерьез. У них свои маленькие радости, понима-

ете? Они однажды были людьми, а когда умираешь, думаю, умнее не становишься. Или честнее. Или даже интереснее... знали бы вы, сколько я и Лен вели с ними скучных разговоров. Мне надоели привидения».

«Бедный Лен! Бедная Соня!»

«Не хотите вернуться вместе со мной? Вы бы мне помогли. Столько всего надо сделать. Мои дети живут слишком далеко, они так заняты...» Помочь? Чем? «Перевезти Лена домой. Вы бы посмотрели наш дом, летний домик на озере. Там очень тихо. Зимой, знаете, выпадает такой снег, что площадку перед домом нужно чистить. Обычно этим Лен занимался, а просить детей о помощи я не могу. Дорогой Ральф, пожалуйста, поедemте вместе, спасите меня и увезите отсюда! В гостинице вымоетесь, переоденетесь в чистое, покажем вашу ногу врачу, а потом вы спасете старуху. Вы мне так нужны!»

Маргарет. Несколько дней назад я бы уехал; всего несколько дней. Я бы написал тебе, и ты бы к нам приехала. Мы с тобой присматривали бы за ее неудобопонятным домиком. Лето на озере. Садоводство. Молодожены-смотрители, мы жили бы по соседству, ходили бы на рынок, стряпали. Чинили и ремонтировали бы что-нибудь. В свободное время — чтение, теннис, плавание на ее парусной лодке. И все решилось бы само собой.

«Я слишком близок к финалу, Соня, к моему открытию. Ужасно близок».

«Конечно. Конечно, мой мальчик».

«Вероятно, я смогу приехать позже, когда покончу со всем этим».

«Это было бы прекрасно. Я бы желала этого всем сердцем. Если бы вы не размышляли, а взяли и отправились со мной, прямо сейчас, ушли бы со мной...»

Она спустилась вниз по каменистой тропе. Я сидел у входа в мою гробницу, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Спускаясь по извилистой дорожке, она оборачивалась и махала мне. Когда она исчезала из виду за высокими камнями, мне представлялось, что она думает, будто видела меня в последний раз; но тропа виляла, и Соня появлялась вновь; удивляясь, что до сих пор не выпустила меня из виду, она снова мне махала. Она остановилась еще только раз и взмахнула белым носовым платком — маленький человечек далеко внизу. Расчистить снег.

*Вторник, 26 декабря 1922 года*

Мы с Ч. К. Ф. провели день, прибираясь в гробнице, анализируя Камеру № 8, рассматривали настенные росписи. Замеряю предметы обстановки и т. д., и т. п.

*Среда, 27 декабря 1922 года*

Сегодня Картер начал извлекать на свет то, что лишь немногим избранным удалось увидеть под землей. Он поднимает вещи наверх и показывает их оцепеневшей толпе и кинокамерам; все это просто омерзительно, точно Картер стал князем тьмы. Носилки, бинты — будто опять война. Подозреваю, что запеленутая фигура, которую поднимают сейчас по команде Картера, — это виденная мною внизу статуя копьеносца, вся перевязанная так, будто легкие воителя древности вздулись от горчичного газа, а из глаз катятся темные песчаные слезы. Слишком утомительное зрелище: крохотные шкатулки моментально подхватываются тремя людьми и переносятся в берлогу Лукаса, вся-

кую вышитую бисером туфлю тут же чем-то спрыскивают, мажут и реставрируют на гигантской фабрике древностей, на пьедестале тщеславия единственного человека, разрушившего последние надежды несчастного царя-подростка упокоиться с миром.

На следующий день мы на пароходе отчалили на юг и 27 числа уже были в Луксоре. Кстати, Мэйси, коли вам это надо, добавьте местного колорита по вкусу: жара, верблюды, аборигены, все такое. Я сам к таким делам равнодушен, но, думаю, кого-то из читателей они привлекут, да и киношники съедят это за милую душу.

27 числа я направился за город по адресу, который Трилипуш оставил в каирском отеле для пересылки почты. Вместо Трилипуша особняк арендовали два американских журналиста, устроили там штаб-квартиру, отправляли из нее донесения про раскопки могилы царя Тута. Аренду они платили с 10 декабря. Слышали они что-нибудь об археологе по имени Трилипуш? Один из них саркастически засмеялся:

— Популярный фрукт. — С этим же вопросом к ним приходил на той неделе еще один господин. И что они ему сказали? — Мы сказали, что, если этот ваш Трилипуш археолог, его должен знать Говард Картер, а я, шеф, никогда про такого не слыхал. — Они рассказали мне, как найти Картеров участок, и с удовольствием взяли деньги. Коли им доведется услышать краем уха о Трилипуше или Финнеране, они позвонят мне в луксорский отель. — Так точно, шеф, бу сделано!

Я попал на грандиозное шоу: рабочие и туристы толпились там, где раскапывали гробницу царя Тутанхамона. У моей профессии, Мэйси, есть большой плюс — мне посчастливилось общаться со многими замечательными людьми. Когда я повстречался с Картером, ему было около пятидесяти, и он был обворожителен. Слышали про него? Он не из джентльменов навроде Трилипуша или Марлоу, не знал с детских лет, что такое богатство и успех, не был даже богатым. Нет, Картер был внуком егеря, работал как вол, прилежно учился, выучился в своей области всему, чему только мог, а потом, когда к уму и настойчивости прибавилась удача, сделал свое великое открытие, про которое теперь знает весь мир — и по заслугам. Хотя мумии-непоймумии, сломанная мебель, ожерелья и прочие штуки меня не занимают, и из того, что он показал мне в тот день, мне почти ничего по сердцу не пришлось, но — дорогу осилит идущий. Нет, меня заинтересовал сам Картер. Он был настоящим мужчиной, из тех, что сами себя сделали, и притом честным. А еще он был англичанином, но не из тех, что смотрят на вас сверху вниз, коли вы не один из них. Видели бы вы, как уважали Картера его египопы, не говоря уже про толпы журналистов, фотографов, туристов и поклонников. Многие набивались ему в помощники. Никто из них не мог его смутить. Когда я расспрашивал его о работе и о Трилипуше, не мог отделаться от мысли: это вам не джентльмен-убийца, бедняга делает отличное дело, какая жалость, что, когда разразится скандал, мировая общественность переключит свое внимание с него на меня!

Так вот, Картер и правда несколько раз встречался с Трилипушем, и тот хоть и сидел почти без денег, оказывается, тоже что-то копал, по другую сторону вон тех утесов, сказал Картер, показывая на огромную каменную стену вокруг чудовищной долины. Очередная часть Трилипушевой истории подтвер-

дилась. И еще, говорит Картер, примерно с неделю назад еще один парень, американец, искал Трилипуша, и Картер сказал ему, куда идти, и туда американец и пошел с одним из Картеровых людей, который показывал дорогу. Когда сам Картер видел Трилипуша в последний раз? В тот самый день, неделю назад. Тем утром письмо для Трилипуша нечаянно положили в почту, которую принесли Картеровы ребята, к тому же Картеру было любопытно, что же там Трилипуш нашел, поэтому Картер доставил письмо в Дейр-эль-Бахри лично. И? Трилипуш был весь в грязи, из-за раны на ноге передвигался с трудом, выглядел, может, чуток нездорово, но был «безгранично воодушевлен своей находкой». Он не позволил Картеру даже заглянуть внутрь, на этом все и кончилось. Картер вернулся в свой лагерь, и через пару часов его нашел тот американец, мистер Финнеран, который спрашивал про Трилипуша.

— Мне уже кажется, что я его личный секретарь, а у меня тут и своей работы полно.

Я понял намек, ничуть не обиделся, пожал великому человеку руку и искренне поблагодарил его за то, что он уделил мне время, и еще извинился, что помешал. Потом отправился в город искать проводника, чтобы попасть на Трилипушев участок.

Мэйси, что мы думали *в тот момент*? Я был не прав. Я это признал тогда и признаю сейчас: Трилипуш говорил истинную правду, речь шла о сокровищах, и Трилипуш почти нашел их уже неделю назад, потому и не пустил великого Картера на участок. И в тот же день Трилипуша должен был разыскать Финнеран. Я опаздывал на неделю и потому расстроился, я не знал даже, кто из них где остановился. Предположение О'Тула, что, мол, Финнеран приехал убить Трилипуша и упереть золото, я всерьез не рассматривал, хотя от людей, которых прижали к стенке, можно ждать всякого. Вероятнее другое: эти двое из-за богатства, до которого рукой можно дотянуться, уладили свои дела и ударили по рукам, Финнеран с облегчением забыл все то, что я ему терпеливо втолковывал, а теперь убийца и по пятому разу поверивший ему будущий тесть, опережая меня на неделю, плыли в Бостон. Там Финнеран заплатит египетским золотом все свои долги, а Трилипуш, богатый и знаменитый, возьмет в жены Маргарет. Печальный же это будет брак: он использует ее, чтобы скрыть свои естественные наклонности! На волне своего открытия он вполне может вернуть себе место в Гарварде. Наверно, я их упустил, и мне стоит уплыть назад тем же маршрутом и снова вторгнуться в семейную идиллию. Уж очень мне хотелось задать Трилипушу пару вопросов про несчастных жертв — Колдуэлла-Дэвиса и Марлоу. На такие перспективы, Мэйси, я смотрел косо. Мне не нравился Бостон, плыть назад не хотелось, плавать по Атлантическому океану обрыдло. Честно сказать, я готов был уже признать себя побежденным и закрыть дело прямо там — коли эти двое уже отъехали в Бостон и Трилипуш закоснел в своем вранье. Я бы все отдал, лишь бы провести расследование, не отходя от места преступления.

Ответы я должен был получить на следующий день. Утром мои страхи только усилились. Я в конце концов нашел местного мальчишку и двух ослов, и мы поцокали по камням мимо еще одного археологического участка, где хозяйничал американец, мимо гигантского храма прямо в скале, мимо бесплодной бурой скукотищи, не слишком отличающейся местами от австралийских пейзажей. Мы какое-то время ехали молча, а потом мальчишка ни с того ни с



сего вдруг остановился и сказал:

— Здесь.

— Здесь? Ты уверен?

Ослиная тропа с этой стороны утеса ничем не отличалась от тех мест, по которым мы бултыхались целый час. Мы стояли на косогоре между двумя холмиками, кругом ни души. Я подумал было, не подстроил ли чего этот египетский пацан.

— Здесь? — спросил я опять.

Мальчик пожал плечами. Я слез с осла, прогулялся вперед-назад, но ничего примечательного не нашел, ни следа разумной жизни.

— Откуда ты знаешь, что не нужно проехать дальше? — спросил я.

Мальчик стоял на своем: он знает эти холмы, я сказал ему, куда надо ехать, а мне сказал Картер. Мы подождали. Два часа я бродил по жаре, поднимался, спускался и ничегошеньки не нашел. Ни блеска золота не увидел, ни бегущего Финнерана, ни вероломного Трилипуша, ни трупа Колдуэлла, ни убитого Марлоу.

Я разволновался не на шутку. Других Трилипушевых координат у меня не было, а тут выходило, что на прошлой неделе он прекратил свои раскопки и замел следы. Оставалась только почта. Письма и телеграммы Маргарет откуда-то отсылались, верно? Я отправился обратно в город и стал, разбрасываясь О'Туловыми деньгами, ходить от одного почтового отделения к другому, пока один египтянин за стойкой не открыл рот и не выдал правильный ответ:

— Да, мистер Трилипуш приходит довольно часто, проверяет почту до восребования и шлет телеграммы, последний раз он тут был, кажется, часа два назад.

Я на радостях снова заплатил египтянину за стойкой, чтобы он закрыл рот и в следующий раз, когда Трилипуш появится, просигналил моему парню вон в том углу — тогда я заплачу ему опять.

Я оставил на почте малолетнего помощника (всего в моей команде было восемь взаимозаменяемых пацанов, я их отобрал в тот же день за благоразумие, научил основам тайной слежки, положился на их знание городских улиц и умение сливаться с толпой). Мальчику было наказано сидеть тише воды ниже травы, пока не покажетсямышь. Он приступил к работе во второй половине дня 28 декабря. Затем я пошел в кассу пароходства и сделал новые вложения, подлежащие возмещению по делу Дэвиса, делу О'Тула, делу Марлоу, по всем сразу. Но в пароходстве не знали ничего про билеты, заказанные Трилипушем или Финнераном, и на север в Каир в тот день люди с такими именами не уезжали. Я оставил им визитку и еще немного денег: коли на эти имена будут бронироваться билеты, пожалуйста, пошлите за мной в отель. Я обошел столько луксорских отелей, сколько смог, — ни следа Финнерана и Трилипуша. Я швырял деньги моих клиентов направо и налево: коли эти имена появятся в списке постояльцев, нужно связаться со мной. Работа двигалась, да, а в результате — ноль: Трилипуш и Финнеран вроде не уезжали, но и в городе их не было. Неужто вывод не ясен? «Спокойствие, Мэйси, — твердил я. — Сейчас оно нужно как никогда». Расставив единственные силки, какие были в моем распоряжении, я продолжил бегать по кругу: особняк, участок раскопок, почтовое отделение, где я проводывал своих ребят. 28-е. 29-е (почта закрыта). 30-е.

*Четверг, 28 декабря 1922 года*

Утром мы с Ч. К. Ф. вышли подышать воздухом и увидели в каких-то 200 ярдах вниз по тропе мужчину. Я часами наблюдал за ним из-за валунов. Даже на таком расстоянии было заметно, что он оранжево-волос, с ним был медлительный туземный мальчик. Мужчина расхаживал, садился, бродил, опять садился. Вы знаете его, Ч. К. Ф.? «О, конечно, Ральф, мальчик мой, как не знать! Он жаждет помешать, разрушить, разорить. Он истребляет то, что создано другими. Он — охочий до чужих жизней падальщик, питается чем может».

Определенно, с работой нужно торопиться. Ч. К. Ф. посылает меня в город купить еды и проверить почту. М., ни слова от тебя. Нет нужды больше притворяться, моя дорогая. Наш «разрыв» давно уже забыт.

Вторую половину дня посвятил уборке и анализу Камер № 8 и 9, срисовывал изображения и тексты.

*Пятница, 29 декабря 1922 года*

Любое научное усилие чревато некоторой порцией догадок, прояснение иных идей достижимо лишь в физическом процессе письма. По определению первый набросок одновременно неточен и необходим. Перо — тот нож, с которым продираешься сквозь джунгли невозможностей. Ныне я в состоянии отбросить многое из того, что описывал раньше, и подготовить текст с более точным разбором.

Пока что мы с Ч. К. Ф. трудимся над измерением Камеры 9 и соображаем, как находящиеся в ней предметы соотносятся друг с другом. Мне следует быстро скопировать последние переводы, стенную панель «L» Исторической Камеры и стены Камер № 8 и 9.

Непревзойденнейшее из открытий — это, конечно же, полный текст «Назиданий Атум-хаду». Я потратил на чтение долгие часы.

Я осознал, что неправильно истолковал колонну двенадцатую: не союзник несет на ней мертвого Атум-хаду, но Атум-хаду несет мертвого Владыку Щедрости. На это указал Ч. К. Ф. Сколь он догадлив!

### **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «L»: «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЕГИПТА»**

Все оставили Атум-хаду. Он покинул Фивы, и пересек жизнетворный Нил, и побрел. В одиночестве он нес свои вещи, свои «Назидания», краски, тростник, чернила, кисти, свою кошку. Еще он нес Владыку Щедрости.

*Суббота, 30 декабря 1922 года*

*Дневник:* Мы с Ч. К. Ф. обсудили планы на будущее и приняли решение. Мы возвратимся в гробницу, что стяжает нам славу, но позже. Пришел час ехать домой, копить силы, деньги и здоровье, посылать новые запросы надлежащим чиновникам и т. д., и т. п.

До того как мы с Ч. К. Ф. поедем домой в понедельник, я сделаю в этом дневнике еще несколько записей. Проще и быть не может: отправлю мои тетради невесте, чтобы она опубликовала их, если на долгом пути в Бостон со мной и Ч. К. Ф. что-нибудь случится. Иначе придется подвергнуть записи о моей выдающейся работе ужасному риску и вручить их судьбу капризным судовым конструкциям. Мы с Финнераном поплывем на пароходе до Каира, остановим-

ся на ночь в гостинице «Сфинкс» (Ч. К. Ф. смеется и уверяет, что готов оплатить мои тамошние счета с октября), сядем на поезд до Александрии и не без удовольствия взойдем на борт «Кристофоро Колумбо», который доставит нас домой. Я женюсь на Маргарет. Ч. К. Ф. одобряет эту идею на 100 процентов и поможет мне вылечить жену. У нас родятся дети. Мы будем счастливы. Потом я вернусь в Египет, чтобы доизучить мою великую находку на месте. Мои работы будут изучать вечно. «Коварство и любовь в Древнем Египте: полный текст „Назиданий Атум-хаду“» (издание второе, исправленное и дополненное, «Университетское издательство Йеля», 1923 г.). «Открытие гробницы Атум-хаду» Ральфа М. Трилипуша («Университетское издательство Йеля», 1923 г.).

Финнеран дает мне наличные, чтобы я уладил последние дела в Луксоре, а сам остается при гробнице. «Слишком приятное это место, чтобы уже уходить», — говорит он, укладываясь на походной кровати в Камере № 8. Я отправляюсь в город, чтобы заказать билеты на различные суда и зарезервировать гостиничные номера на нашем пути.

Опять вокруг шмыгает этот рыжеволосый тип! Мы с Ч. К. Ф. наблюдаем, как он снова останавливается в 200 ярдах ниже по тропе, разворачивается и уходит. Удивительнейший образчик преследователя: неумел, бесцелен, но по-прежнему неуклюже угрожает моей работе. У него против меня — явно никаких козырей, и все равно он полон решимости стоять на моем пути. В конце концов он утомился и ушел, и Ч. К. Ф. послал меня по нашим делам.

В полдень 30-го наше терпение, Мэйси, было наконец вознаграждено! Я вернулся в отель после сеанса слежки на Трилипушевом участке и вплоть до реки — без результата. И тут вдруг Трилипуш из невидимого превратился в вездесущего. Позвонили из кассы пароходства: только что на имена Трилипуша и Финнерана были заказаны билеты на пароход до Каира — на понедельник, 1 января. Пришла депеша из Каира: «Сфинкс» получил сообщение, что месье Ф. и Т. следует ожидать вечером 2 января. Потом — стук в дверь: мой луксорский юный бандит с протянутой ладонью.

— Бок Шиш, — сказал он; это местное приветствие.

— Бок Шиш, — ответил я. — Есть новости?

Он продолжал тянуть ладошку. Само собой, как только она отяготилась деньгами, шестеренки заработали и открылся рот: Трилипуш приходил час назад на почту, ничего не получил и ничего не отослал, а сейчас сидит не далее чем в тридцати футах от гостиницы!

Я слетел вслед за мальчиком по лестнице, выбежал под слепящее солнце и припустил по улице. Спрятался я за пальмой. Мое сердце так и стучало. В любую секунду я имел возможность повстречать наконец дьявола, прикончившего австралийского мальчика и английского офицера, свинью, разбившую сердце чудесной девушки, вашей тети. Я вспомнил фотографию, которую она мне показывала, где его рука лежала на плече Марлоу. Выглядел он обычным человеком с песочными волосами, и только глаза и рот были какими-то жадными и аморальными. Я посмотрел туда, куда показал мальчик, но никакого Трилипуша не увидел.

— Вон, вон он. — Мальчик снова показал на бородатого аборигена в местной одежде, тот сидел в тени за столиком кафе, уставившись на свою чашку.

— Ты уверен?

— Уверен, да. Человек на почта сказал. Я за ним сюда. Он берет пить, я иду к вам.

Приехали, Мэйси: потратив столько времени, исколесив тысячи миль по всему земному шару, зондируя события многолетней давности, охотясь за мечтами и кошмарами стольких клиентов, мы не сразу понимаем, что перед нами — тот, кого мы ищем, *тот самый* человек, о чьих преступлениях мир узнает тридцать лет спустя благодаря вам и мне здесь и сейчас.

— Мистер Трилипуш, я полагаю?

Я встал перед ним так, чтобы солнце светило мне в спину. Старый и испытанный прием, самое то, чтобы сбить допрашиваемого с толку.

Он поднял глаза:

— О, упорный мистер Феррелл! Я занят. У меня есть несколько минут, дабы допить чай. Если вам совсем невмоготу — присоединяйтесь, только давайте будем кратки.

Признаюсь, Мэйси, я был поражен до глубины души. Преступники догадливы, нужно это понимать, иначе, скажу вам, сыщика может сгубить его же гордыня. А этот был умен: он меня узнал, едва взглянув, хотя мы с ним и знакомы не были, а как — бог его поймет, и нисколечко не удивился, что я стою перед ним посреди Египта и что я его опознал.

Потому что выглядел он кошмарно. Уж не знаю, каким он был в разгар своей мошеннической аферы, когда пускал Маргарет пыль в глаза, но эту немую скотину она бы и на порог не пустила, уверяю вас. Из одежды на Трилипуше был изодранный халат с ошметками грязи и брызгами крови, связанные между собой куски веревки вместо пояса и один треснувший башмак. Вторая нога была вся замотана ссохшимися пожелтевшими бинтами. Волосы и борода нечесаны, лицо где не загорелое — там грязное, один глаз почернел и заплыл, на щеке и на лбу — сильные кровоподтеки и ссадины. Я едва не пожалел его, Мэйси, а потом напомнил себе о грязной квартирке, где вырос подававший надежды австралийский мальчик, тот самый, которого убил сидевший передо мной небритый бритт. От жалости не осталось и следа.

Бог мой, Мэйси, как от него воняло! Чем — я так и не понял. Гнилью, гробницами, грязью? Может, воняла его страшная необутая нога. Когда мы договорили, он встал и заковылял точь-в-точь как одноногий. Может, я бы его чуть-чуть и пожалел, но, несмотря на весь этот ужас, остатки жалости во мне испарились, когда я увидел, что он, мерзавец, держится так, будто давно в зеркало не смотрелся, продолжает колко острить, глядит на меня свысока, оставаясь при своем диком, несправедном снобизме высших классов английского общества, цветника застарелой ненависти, в который он попал по праву рождения и который у нормальных людей не вызывает ничего, кроме брезгливости. Я сразу понял, что этот вонючий бандит думает про нас, австралийцев. Именно из-за таких ублюдочных британцев колонисты ведут себя как слуги, слуги — как черные, а черные хватаются за винтовки и устраивают революции. Ну и конечно, его манеры говорили сами за себя: Трилипуш растягивал слова как гомосек, правда, сразу это было незаметно, свою натуру он старался не выпячивать.

Моя голова раскалывалась от вопросов, мне нужно было собраться с мыслями. Я велел ему заказать мне пива, что он и сделал — на ихнем языке. Потом я начал копать, стал спрашивать его про то и про се, действуя в интересах то од-

ного клиента, то другого. Преступник отвечал так быстро, что стало ясно: он был готов к моему появлению. Финнеран продал меня этой грязной развалине, факт. Значит, они и впрямь нашли груды золота.

А положение у меня какое? Я подступался к нему с разных сторон, но не мог рассчитывать, что он сразу признается в совершенных убийствах и расскажет, куда спрятал трупы. За четыре года он закоснел во лжи, считал, что прошло достаточно времени, что вещественных доказательств уже и нет. Так что мне, напротив, надо было его раздражить, ну, как быка, чтобы он разозлился и по лицу стало видно, что он убийца. Надо было расставить силки, и по моим словам (я записал их несколько часов спустя и ни секунды не сомневаюсь в их точности) вы можете судить о том, как попадался в них наш заяц. Заметьте: я записал все его выпады, все его словесные оскорбления — чтоб вы знали, как он затрепыхался, почуяв крючок в губе. Его раздражение выдало его с головой, так что я не пропустил ни слова, хотя про меня он говорил всякое. Вы как человек, изучающий науку расследования, должны понимать: эмоционально я полностью отстранился от происходящего, позволяя ему палить по теням сколько влезет. Для вас, Мэйси, это хороший урок: детектив играет роль наживки, превращается в пустую подсадную утку, на которую преступник набрасывается — и попадает в расставленные сети.

— Вот что странно, мистер Трилипуш. Я пытаюсь восстановить историю вашей жизни по тому, что слышал от ваших друзей и почитателей. Не могу! Складываю два и два и упорно получаю пять. Как вы это объясните?

— Может, голуба, учителя математики на уроках вас в основном дрючили?

— Очень хорошо. Какой вы интересный глагол выбрали.

— Мы закончили, мистер Феррелл?

— Мистер Финнеран нашел вас на той неделе?

— Нашел. Откуда вы знаете, что он меня искал?

— Где сейчас мистер Финнеран?

— Мы с ним договорились встретиться позже. Он улаживает дела, которые связаны с нашим отъездом в понедельник. Я одни, он — другие.

— Отъездом из Египта? В неизвестном направлении?

— Ну, если вам неизвестно, в каком направлении Бостон...

— Вы возвращаетесь в Бостон? А как же сногшибательные долги мистера Финнерана?

— Любое начинание мистера Финнерана сногшибательно. В данном случае он и его партнеры здраво распорядились своими деньгами.

— О! Мои вам поздравления. Значит, вам повезло на раскопках?

— Баснословно. Прочитаете потом в газетах, расскажете внукам, что со мной встречались, а они будут плакать от восторга. Может, они вас даже полюбят за это.

— Где сейчас сокровища?

— Сокровища? Очаровательное определение, колониальный вы мой имбецил. В гробнице находятся *артефакты, обжиг дар, предметы обстановки, манускрипты и мумии*, они сейчас в стадии консервации.

— Могу я осмотреть гробницу?

— Да, можете. Как только ее откроют для публики.

Чтобы пробить его защиту, я позволил себе солгать, но очень близко к истине:

— Беверли Квинт говорит, что вы с Марлоу были любовниками.

Он внимательно посмотрел на меня, потом, не смущаясь, продолжил:

— Имя очаровательное, однако я не знаю никакой мисс Квинт и не могу вообразить, по какой причине она сделала подобное заявление. У меня, мистер Феррелл, складывается впечатление, что вы меня с кем-то путаете. У вас ко мне все?

Он не смутился, но вдумайтесь в его странный ответ: Трилипуш притворяется, будто не знает своего старого друга Квинта, хотя скрывать это знакомство нет никакой причины. Не позволяйте сбить себя с панталыку: именно так на самых пристрастных допросах отъявленные вруны себя и выдают. Они сами себя запутывают, не помнят, кому и что ввали, и начинают, как дети, вешать лапшу на уши. Для детектива в такой ситуации важнее всего твердо стоять на своем. Заметив, что он вот-вот сдаст позиции, я усилил напор:

— Почему ваше имя не сыскать в оксфордских записях, а, профессор?

— Понятия не имею. Могу лишь предположить, что вы, подобно многим впечатлительным примитивам, находите великие сговоры в канцелярских ошибках.

— Понятно. Само собой. Тогда объясните примитиву: почему родители, родственники и друзья вашего лучшего друга, капитана Марлоу, утверждают, что никогда вас не видели?

Вот тут он умолк.

— Они так сказали?

— Сказали, мистер Трилипуш. Вы же знаете, как их зовут?

— Разумеется. Приап и Сапфо. С ними все хорошо?

— Да. Нет. Их зовут Гектор и Регина.

— Да? Странно.

— Почему в британском Министерстве обороны нет вашего личного дела?

— А его нет? Вот рассеянные люди.

— Не совсем так, Трилипуш. Я думаю, ваше личное дело было уничтожено властями, желавшими покрыть очередное военное преступление, совершенное англичанином.

— Преступление?

Я загнал его в угол, и он начал выходить из себя — самая дурная черта в этих англичанах. Мое присутствие раздражало его не меньше, чем отца Марлоу; он передразнивал мой голос и мой акцент, как Квинт; ему было наплевать на сломанные жизни, как и Барнабасу Дэвису. Мне хотелось врезать ему, придушить его на месте. Это *он-то* хотел произвести на меня впечатление? Вонючий нищий с колтуном и в одном башмаке? Все они — только люди, Мэйси: убийцы, англичане, богачи. Только люди.

Я попробовал не мытьем, так катаньем:

— Кто такой Пол Колдуэлл?

— Впервые слышу это имя.

— Это австралийский солдат, который пропал вместе с капитаном Марлоу.

— Никогда не понимал полицейской манеры задавать вопрос с тем, чтобы ответить на него мгновением позже.

И тут, Мэйси, я вытащил из рукава туз. Чтобы как-то оживить беседу, я показал ему сделанную людьми Тейлора выписку из британских военных архивов (кажется, я ее вам уже посылал, для наших читателей воспроизвожу за-

пись еще раз):

*Капитан Хьюго Сент-Джон Марлоу на четыре дня покинул военный лагерь в Каире 12 ноября 1918 года. 16 ноября он не вернулся. Предпринятые 18 ноября поиски результатов не дали. Опрошенные офицеры и солдаты ничего существенного не сообщили. В марте 1919 года местные жители попросили награду за найденные ими личные знаки кап. Марлоу и капрала П. Б. Колдуэлла (АИА), а также винтовку «ли-энфилд» калибра.303 (АИА). Туземцы сообщили, что нашли все это возле Дейр-эль-Бахри. Новый опрос не выявил какой-либо связи между капитаном Марлоу и капралом Колдуэллом, хотя из бумаг АИА следует, что кап. Марлоу проявил исключительную инициативу, дважды рекомендовал кап. Т. Дж. Лихи (АИА), командиру роты Колдуэлла, повысить последнего в звании.*

Он взглянул на листок и подтолкнул его ко мне:

— И?

— Что случилось с этими двумя, профессор?

Следите, как он заглотив наживку, Мэйси.

— Феррелл, ради бога, выслушайте, что я вам скажу: я не возвращался в Египет — вы же знаете, конечно, знаете, у вас ведь ума палата, — до декабря 1918 года. И как прикажете мне объяснить ваши каракули? Впрочем, ладно. Вы же говорите, что вы детектив, Феррелл, вот и подумайте головой. Я запросто могу измыслить сотню объяснений этому странному событию.

— Сотню? Серьезно? Позвольте не поверить, профессор. — В его голосе звучала спесь криминального гения, и тут — я чувствовал — он проколется.

— Нет ничего проще. Первое: капитан и капрал вознамерились провести, как вы откровенно заметили, четырехдневный *романтический* отпуск в глуши, отметить перемирие любовным воссоединением. Они получают в свое распоряжение мотоцикл с коляской и мчатся на юг, где устраивают пикник, бренчат на гитарах, декламируют Шелли, кушают виноград. Но перемирие в силе едва ли несколько часов, отдельные части противника о нем еще не слышали, а иным бандитам вообще на все наплевать. И вот капитан с капралом обнаруживают себя не в любовных объятиях, но во вражеском окружении. Капитан достает револьвер «вэбли» и советует своему любимому делать ноги. Капрал бежит к мотоциклу, слышит три выстрела — раз, два, три! — оборачивается и видит шайку арабов, крошащих капитана в капусту. От страха он не может завести мотор. Арабские черти наваливаются на него и утаскивают, чтобы замучить. Его личные знаки и винтовка остаются лежать на песке. Все факты сходятся, правда же? Еще раз? Хорошо. Второе: капитан влюбился в арабскую девушку и решает стать ее арабским мужем, отказавшись ради нее от всего — семьи, страны, карьеры, англиканской церкви. Он просит своего лучшего друга, новозеландского рядового...

— Австралийского капрала.

— ...да, австралийская кабрала, просит стать его слугой. Они разыгрывают собственное исчезновение и живут ныне все вместе в двух милях отсюда — муж, жена, трое детей, австралийский слуга. Разыщите их, если сумеете напасть на их след. Они выбросили свои железные кругляшки, чтобы какой-нибудь идиот подумал, будто они погибли. Этот идиот — вы. Еще? Очень хорошо, третье, специально для ваших ушей: перебивавшийся с хлеба на воду

австралийский капрал шантажировал английского капитана-содомита. Англичанин желал положить конец шантажу, покончив со своим мучителем. Он пригласил австралийца в пустыню, дабы показать некую археологическую находку, за которую можно выручить много денег. Он увозил его все дальше и дальше в уединенное место. «Копать нужно вот здесь, я точно знаю», — сказал он. Когда австралийский мальчик, ничего не подозревая, повернулся к нему спиной и начал доставать из седельной сумки мотоцикла землекопное орудие, капитан вытащил свой «вэбли». Капрал увидел револьвер в отражении на бензобаке, который, по иронии судьбы, вычистил, чтобы произвести впечатление на англичанина. Искаженно отображенный капитан напоминал насекомое с огромным туловищным щитом, маленькими ножками — и револьвером. Капрал, безобидный мальчик, увлекавшийся археологией, тайком вытащил свой боевой нож и обернулся. Капитан, хохоча, сообщил бедолаге, что убьет его прямо сейчас и тем прекратит шантаж, после чего сам выкопает все археологические ценности. Капитану хватило наглости даже сказать мальчику, мол, не стоит волноваться, он будет достаточно добр и напишет в рапорте, что тот умер как герой, капрала наградят посмертно, а его нищенствующая семья на той стороне земли станет получать пенсию. Как ни странно, эти слова почти убедили капрала, но в последний момент он усомнился в обещаниях капитана и набросился на него в порядке упреждающей самообороны. Во время борьбы капитан подстрелил капрала, а капрал пырнул капитана, и оба они пали замертво. Мундиры, мотоцикл и вещи похитили бандиты. Все записали? Или мне говорить помедленнее? Шакалы утащили тела в пещеру и пожрали. Металлические личные знаки не годятся в пищу и не имеют другой ценности, вот их и оставили в пустыне. Феррелл, моя карликовая рыжая обезьянка, хотите еще версий? Номер четыре: капитан, работавший в контрразведке, обнаружил, что капрал передает военные тайны туркам. Совершив столь шокирующее открытие, капитан встретился с капралом и хотел было его арестовать, но тут над их головами появился британский аэроплан, пилот которого принял их стычку за...

Он болтал без умолку и выдал еще по крайней мере шесть надуманных историй. Я попытался его перебить, но он никому бы не дал сорвать свое представление:

— Секундочку, детектив. Я только начал. Все эти возможности, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, согласуются с вашей бумажкой, — а я пока только разминаюсь. Письменные улики могут полниться лакунами и искажениями, как патефонная пластинка, забытая на солнце. Вряд ли имеется письменное свидетельство о *любом* событии прошлого, которое объясняет *все* произошедшее. *Ни один* документ на самом деле не дает нам сколь-нибудь достоверного представления о прошлом — но вы, Феррелл, вы шатались по миру, так ничего и не поняли, уничтожили мою репутацию в определенных кругах, пытались увиваться за моей невестой — и все из-за *этого* клочка бумаги?!

Однако, Мэйси! Он совершил фатальную ошибку! Вы видели? Коли он и правда ничего не знал о пропавших без вести, коли он и правда вернулся в лагерь через месяц после их исчезновения, каким же образом ему удалось в одной из своих уводящих от истины теорий угадать, что Пол Колдуэлл «увлекался археологией»? В военной выписке про археологию не было ни словечка, а я узнал про это в ходе австралийского расследования. Итак, наш мистер Трили-



пуш попался. Я занял позицию для атаки, Мэйси, и наслаждался моментом, чтобы потом сделать драматическое заявление и увидеть, как рушатся стены лжи:

— По моему опыту, Трилипуш, правда очень проста, и дорога к ней ведет по столь же простому ландшафту, уставленному дорожными указателями обычных мотивов: похоти, жадности, ненависти, зависти. Предлагаю вам успокоиться и выслушать меня. Я расскажу про то, что знаю, профессор, *знаю*, а не придумал. В начале *ноября* тысяча девятьсот восемнадцатого года, может, даже раньше, бедный джентльмен капитан Трилипуш, любовник капитана Марлоу и его же соратник по поиску сокровищ, возвращается в Египет, хотя все думают, что он погиб в бою в Турции. Он не идет докладывать к начальству, а вместо этого скрывается, чтобы командование продолжало считать его мертвым. Трилипуш обнаруживает, что, пока он был в Турции, его дружок начал заниматься археологией с молодым австралийским капралом, взял его себе в помощники — кстати, профессор, как же *вы* об этом *догадались*? Отвергнутый и разозленный Трилипуш делает ложный вывод: Марлоу с Колдуэллом — тоже любовники. Он тайно следует за этими двумя на юг, в пустыню, где они, руководствуясь загадочным отрывком «С», намерены за четыре дня выкопать древнее сокровище. Да-да, я знаю про эту карту с кладом, профессор, и не перебивайте меня. Две невинные души, ни о чем не ведая, прибывают на место, вблизи которого зарыто сокровище, но не успевают приступить к раскопкам, потому что тут им является кто? Призрак Трилипуша! «Как? Ты здесь?» — запинается Марлоу, никак не ожидавший, что Трилипуш вернется. «Заткнись, неверная тварь!» — Трилипуш рвет и мечет, обезумев от ревности, жадности и горя. Он убивает обоих из собственного «вэбли» — капитана и капрала, бывшего любовника и невинного австралийского мальчика. Он закапывает тела, но забывает про личные знаки и австралийскую винтовку, и уезжает на мотоцикле, прихватив с собой ту самую карту, отрывок «С», и надеясь вернуться и выкопать золото, когда шумиха уляжется. Через несколько месяцев он объявляется в США, оплакивает крокодильими слезами своего погибшего друга, притворяется, будто не знает ничего про Колдуэлла, и делает себе имя как ученый, изучающий того самого царя, чью наполненную сокровищами гробницу искали Марлоу и Колдуэлл, когда вы их хладнокровно пристрелили. Вы были так уверены в своей омерзительной победе, что решили посмеяться над семьей одной из жертв, выслав скорбящим родителям свою порнографическую книжку, подписанную, жутко сказать, убитому любовнику, и назвав их извращенными кличками — так, как вы и их сынок-гомосек называли их между собой. В Бостоне вы, притворяясь ученым, нашли работу, там же вы нашли себе спонсора, притворившись, что влюбились в его дочь...

— Погодите! Вы думаете, я убил Пола Колдуэлла? — спросил он, выведя меня из себя: он пропустил мимо ушей почти все, о чем я говорил.

— Не перебивайте меня, Трилипуш! Вы поступили на работу в Гарвард, утверждая, будто учились в Оксфорде, чего никогда не было. Нет, я знаю, вы там жили, вы были известный в узких кругах преступного оксфордского мирка содомист, развративший ряд молодых педиков, которые и сейчас поют вам дифирамбы, и жили вы на средства Марлоу, он вас кормил как домашнее животное, а вот студентом вы не были, степеней не получали и на пост в Гарварде права не имеете. Прибыв в Бостон и оглядевшись в поисках легкой добычи,

вы решили разыграть любовный фарс с Маргарет Финнеран — чтобы захватить деньги ее отца. Прикарманив их, вы отправились в Египет, причем возвращаться в Бостон после того, как найдете сокровища, и не собирались. Вы начали копать *в том самом месте*, где пропали Пол Колдуэлл и Хьюго Марлоу — согласитесь, занятное совпадение! Вскоре ваш потенциальный тесть очухался, понял, что ошибался на ваш счет, и когда его дочь приняла твердое и мудрое решение расторгнуть помолвку, он принял это как должное. Ваше зазнавшееся преступное самолюбие было задето, вы обезумели, а еще вы стали подозревать, что Финнеран разгадал ваш план. И вот, вознамерившись оградить от его посягательств себя и свое золото, вы принялись чернить Финнерана, рассылая клеветнические телеграммы. Он, не поддавшись, храбро приехал сюда и нашел вас, и вы с ним заключили преступную сделку, решив разделить полученные незаконным путем сокровища поровну — часть вам, часть ему. Финнеран хочет укрыть деньжата в мальтийском банке, благо маршрут «Кристофоро Колумбо» дает такую возможность, в Бостон он вернется с извинениями и привезет с собой ровно столько денег, чтобы раздать долги, между тем *настоящие* дивиденды его обманутым партнерам никто платить не собирается. Вы дали ему обещание молчать, в обмен на это он, к вашему содомскому облегчению, разрешил вам отбыть на все четыре стороны с большей долей сокровищ, чем вы заслуживаете. Маргарет он скажет, чтобы она вас забыла, что вы полюбили египтянку. В действительности же вы будете далеко отсюда, станете, по всей вероятности, достраивать развалины Трилипуш-холла на кровавые египетские деньги, украденные у Марлоу, Колдуэлла, а теперь и О'Тула — по очереди. Нет, Трилипуш, ни на секунду не поверю, что вы вернетесь в Бостон. Ни вам, ни Финнерану это не выгодно.

Эффект, Мэйси, был потрясающий. Он сидел бездвижно, выпучив на меня глаза так, будто я его ударил. Вруну, Мэйси, правду слушать всегда неприятно. Я в тот момент узнал все, что только можно было узнать про нашего мистера Трилипуша.

У нас было только одно слабое звено: вещественные доказательства. Тел не было, а значит, я ничего не мог ему предъявить. Поэтому я решил усилить свою и без того сильную позицию и сделал такой ход: коли Трилипуш отказывается *немедленно* пойти со мной к британскому или австралийскому консулу и во всем признаться, я вынужден буду призвать на помощь местную полицию и с собаками прочесать всю территорию, чтобы найти трупы Колдуэлла и Марлоу. Тут он забеспокоился, замямлил что-то про ущерб древним гробницам и еще какую-то чушь, но ясно было, что беспокоится он не только за науку.

Он был у меня в руках. Я это знал, и он это знал. Оставался эндшпиль.

— Ничто не длится вечно, — заключил я, откидываясь на спинку стула. — Ваш ход, старина.

Он решил потянуть время. Он оскорблял меня, опять и опять уверял, что невиновен, утверждал, что вооружен. В конце концов он начал переговоры: пообещал, что в понедельник явится на каирский пароход, что я могу проверить бронь хоть сейчас. И когда мы доплывем до Каира, он сам приведет Финнерана, чтобы ответить вместе с ним на любые вопросы перед лицом любого судьи — на мое усмотрение. Коли я желаю, могу свести его с парохода в наручниках.

— А сейчас, мистер Феррелл, моя дивная Немезида, мне нужно приготовиться к великому путешествию.

Он уковывлял, предоставив мне расплачиваться за его выпивку. Я не особенно огорчился, в тот же момент просигналил своим египетским соглядатаям проследить за ним. Они действовали как слаженный оркестр — сходились, расходились и всячески маневрировали, ровно как я их тому учил. Я приобрел билет на Трилипушев каирский пароход, а оттуда двинулся напрямиком в полицейский участок. Обещание привести полицейских с собаками Трилипуша явно испугало, мне же нужно было его чуток додавить. Нельзя было дать ему улизнуть в предстоящие двое суток.

*Суббота, 30 декабря 1922 года (продолжение)*

Я вернулся из города, моя Маргарет. Мне никогда не понять, почему ни ты, ни Ч. К. Ф. сразу не указали этому сумасшедшему на дверь. Он поднял такой переполох, что многое теперь прояснилось.

Случилось это так: я шагал, хромя, на почту, где меня ничто не ожидало; когда я вышел, за мной последовала ватага мальчишек, и с каждым моим шагом их становилось все больше. Некоторые делали вид, что прячутся и следят за мной тайно, хотя для них это была скорее разновидность игры. Когда я обращивался, они хихикали и начинали смотреть в небо или под ноги. Я бесцельно побродил по округе; каждый миг за мной увивалось шесть или восемь мартышек, не менее. (Они же пытались вечером проследить мой путь до гробницы; я дал им немного денег твоего отца и велел идти обратно, «имши игари», что они с радостью и сделали, попрощавшись со мной, когда я стоял на пароме. Впрочем, одного из них я нанял, чтобы завтра он вернулся, помог нам с твоим отцом в последних приготовлениях перед отъездом, отправил тебе с почты мои записи, дабы они не пропали, унес те вещи, которые нам уже не понадобятся.)

В конце концов я присел отдохнуть и выпить чаю в моей *ахве*. Дети ретировались, и спустя несколько минут меня атаковал наконец великий ищейка Феррелл. А я уж и не чаял увидеть олуха во плоти, дабы остановить эманации липкой лжи, выделяемой этим реющим призраком повсюду, где он появляется. Ты знаешь, каков он: человек с оранжевыми волосами, перевозбужденный, не способный усидеть на месте, лихорадочно записывавший за мной каждое мое слово, хотя я, умея читать перевернутые тексты, часто говорил медленно, чтобы он за мной поспевал. Скажу честно, я старался помочь ему с его расследованием, отвечал на все вопросы. Как ты знаешь, он разыскивает пропавшего без вести австралийского солдата, археолога-любителя, о котором ты мне писала, и еще у него какие-то странные дела с твоим отцом. Я сделал все, чтобы успокоить Феррелла и помочь ему. Сказал, что мы с Ч. К. Ф. свидимся с ним на пароходе в понедельник. Твердил снова и снова, что я ничего не знаю об австралийском мальчике. Но он не унимался, тыкал в меня пальцем, кусал свои ободранные губы и вел себя попросту невыносимо.

Он одержим материями самого странного порядка и событиями, не имеющими касания ни к Атум-хаду, ни ко мне; грядет великий миг египтологии, я вот-вот явлю свою работу миру — и тут ко мне вдруг начинает цепляться слабоумный ребенок, лепечет что-то, задает массу бессмысленных вопросов. *Где Марлоу? Пропал без вести, предположительно мертв. Где Пол Колдуэлл?* То же

самое, хотя я не сразу понял, кто это. Где вы находились, когда они исчезли в Дейр-эль-Бахри? Добирался из Турции в Египет. Он обсасывал эти простейшие факты со всех сторон. Подобно всем критикам, он скучен и напрочь лишен воображения. Именно так, он — критик Трилипушева Проекта, а потому не стоит обращать на него внимания. Считай это гласом свыше: не обращай внимания на этого человека, Маргарет, да не смутит он тебя, да не смутит он нас всех, да не отвлечет нас от великих свершений, на кои мы сподобились в пустыне. Разве не можем мы поступить как разумные люди и просто договориться между собой не обращать на него внимания?

Дело еще в том, Маргарет, что Феррелла ввели в заблуждение три документа, два исчезнувших и один неполный. Такое сплошь и рядом бывает с новичками, не умеющими толковать тексты. Они относятся к каждой в отдельности бумаге слишком серьезно, хотя, разумеется, по одному документу ничего не поймешь. Столкнувшись с неполнотой истории, следует брать истину в кольцо, а не напрыгивать на нее, точно влюбленный кенгуру. Однако люди вроде Феррелла, прочитав в первой бумаге «икс», поверят в этот «икс» навеки, и если вторая бумага явит нечто противоположное, они запутаются и возопят: «Заговор!» Будучи не в состоянии чего-либо найти, они считают, что его никогда и не было. Почему в Оксфорде нет записей о моей учебе, спрашивает он, а ведь ответ предельно ясен: кто-то или не туда положил мое дело, или не так записал мое имя. И по этой причине сыщик пересекает океан, а я теряю работу, деньги и, возможно, твою любовь? Но это неважно, теперь неважно: у меня есть мое открытие.

Толкований обрывка бумаги может быть столько же, сколько и толкователей. Я пытался ему это объяснить. Его работа не так уж отличается от моей, однако он к ней неспособен. У него есть обрывок «папируса», запись, сделанная государственным писцом, — в данном случае отрывочек из архивов британской армии, пересказывающий изъеденную молью историю исчезновения Марлоу, беспомощное собрание несообразностей и прямых признаний в неведении. Иными словами — плодородная почва для недалеких выводов и пустопорожних возвещений. Когда свидетельства настолько неоднородны, сказал я ищейке-свищейке, сколько объяснений может выдвинуть одаренный воображением археолог? Дюжину, а то и больше. А если подключить дюжину умов, объяснений будет дюжина в квадрате, и получится уже сундук возможностей.

Пусть поведение дураковатого сыщика всем нам послужит ценным уроком текстуальной достоверности. Мой друг трагически погиб всего несколько лет назад, и уже чертовски сложно понять, что же произошло. А теперь устремим разум на три с половиной тысячи лет назад и попробуем по немногим документам абсолютно точно установить, что происходило в Фивах с людьми, которых мы едва ли понимаем, язык которых остается для нас загадкой — мы не знаем даже, как произносить слова. (Патефоны! Будь у древних патефоны, эти великие поручители бессмертия для бесчисленных певцов современности, мы бы услышали их речь и всё узнали. В своем роде позор: в нашу эпоху упадка патефон изменил природу бессмертия; мы, скорее всего, никогда не узнаем, как произнести «Атум-хаду», зато мир будет вечно помнить имена Дэйзи Монтгомери, Виктора Эдвардса с его «Парнями в смокингах», Уилла Рентхэма и «Певчих Птиц Веллингтона».)

Заблужденцы наподобие Феррелла пугают, неизбежно задумаешься о тех,

кто, будучи привлечен молвой о твоей посмертной славе, однажды тебя раскопает. Что, если до меня сейчас или через тысячу лет станет докапываться какой-нибудь китайский болванище а-ля Феррелл? Что не так поймут или вообще пропустят — сознательно или по халатности — в тех записях, которые я после себя оставляю? Боги, защитите нас от археологов вроде мистера Феррелла! Вдруг мой будущий хронист, как и Феррелл, посчитает *важным* тот факт, что бесконечно рассеянное Министерство обороны потеряло мое досье, когда на нем ставили штамп «вернулся» поверх «пропал без вести»? Так на руинах реальных жизней нагромождается ложь поддельных биографий.

А ты, моя дорогая? Что бы с нами было, поверь я всему, что услышал сегодня от мистера Феррелла? Желаеть всю трогательную сцену? Воспроизведу ее тут как смогу. Будучи спрошенным: «Вы с Финнераном собираетесь вернуться в Бостон? Серьезно?» — я то ли поперхнулся, то ли рассмеялся. Демонический детектив недужно смотрел в будущее. Мысль о том, что я возвращаюсь к тебе, была ему невыносима, потому, желая меня отговорить, он прибегал к различным уловкам.

«Разумеется, — сказал я. — Почему нет?»

«Но она оставила вас. Бросила вас».

«Нет, все не совсем так. Вы заблуждаетесь».

«Она велела мне швырнуть это вам в лицо». Феррелл предъявил мою последнюю отосланную тебе каблограмму, в которой я призывал тебя к спокойствию и говорил, что не верю, будто ты хотела разрыва между нами. У него имелись также несколько моих к тебе писем. Маргарет, зачем ты их ему отдала?

**КАБЛОГРАММА.**

**ЛУКСОР — МАРГАРЕТ ФИННЕРАН**

**БОСТОН, 30 НОЯ 1922, 9.33**

**ПОЛУЧИЛ ТВОЕ ПИСЬМО ОТ 15 НОЯ. НЕ БЕРУ В РАСЧЕТ КАБЛОГРАММУ ОТ 29 НОЯ. ФЕРРЕЛЛ ЛЖЕЦ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. ВЕЧНО ТВОЙ В ЛЮБЫХ, ДАЖЕ САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ТВОЙ РМТ.**

«Она — чудесная женщина. — Он впал в задумчивость, лыбясь и тем намекая, что близко тебя знает. — Но ее болезнь — такая трагедия...»

«Болезнь излечима», — сказал я в отвращении, ибо он вторгался в нашу жизнь.

«Излечима? Не знаю. От опиума так легко не отделаешься, а когда я видел ее в последний раз, она...»

«Опиума?» Признаюсь, безбрежность его лжи меня напугала, и он поспешил закрепить успех. «Не смешите меня, Трилипуш. Вы у меня как на ладони. Удивительно слышать, что вы возвращаетесь и собираетесь жениться. Зачем? У вас есть сокровища, Финнеран и его дружки платят по всем вашим счетам, вы победили. Зачем теперь жениться? Или это вам для чего-то нужно? Вам по нраву, что она тешит себя опиумом, так легче прикрыть собственный разврат, да? Вот жалость-то. Она красивая. Когда я уходил, она лежала в постели и шептала мое имя, и вот что я вам скажу: вы много потеряете, коли будете ее накачивать и сделаете прикрытием для вас с вашими мальчиками. Хм, Трилипуш, вы, кажись, ревнуете. С чего бы это, а? Думали ее удовлетворить одними наркотиками? Вы, само собой, ничего не знаете о женщинах...»

Маргарет, по его словам выходило, что вы стали любовниками; он подроб-

но описывал, как вы обнимались в твоей комнате на авеню Содружества: как ты стонала, как вздыхала, каков твой стан, цвет твоей кожи. Я решил не верить его истории — да и мог ли я поступить иначе? По мне все это вздор, пусть тебя действительно, как он уверял, держали в заточении под наркотиками. Это все ерунда. Нет, мне известны уловки полицейских. Считая, что ты скрывать не хочешь, они будут истязать тебя ложью до тех пор, пока ты не раскроешься. Ты кричала «Гарри!» — сказал он, откинувшись на спинку стула, сложив кончики пальцев, вращая глазами и облизывая сухие губы. «Гарри, ты мой единственный красавчик!»

Я не вышел из себя, хотя, будь я здоровее, крепко побил бы его за все, что он о тебе сказал. Полагаю, я мог его пристрелить, но мы были на людях, к тому же я не стрелял из «вэбли» несколько лет. И все-таки мое намерение вернуться в Бостон — к тебе — пробудило в нем дьявола: «В моей власти прикончить вас, Трилипуш. Коли я скажу О'Тулу, что вы украли его деньги, вам конец. Держитесь от нее подальше — и останетесь в живых». Он пытался подкупить меня: «Жалко, Трилипуш. Колдуэлл стоит целого состояния. Скажите мне, где его останки, мы могли бы поделить деньги».

Оставим Феррелла. Он пригрозил заявиться на мой участок с полицейскими и собаками, хотя зачем ему это — ума не приложу. Не важно. Прости, что он тревожил тебя и пытался отравить чистую как родник правду наших жизней. Пронесутся мгновения — и сказанное им забудется. Молю тебя, развежь Феррелла мановением грациозной руки.

Но почему же он владеет той каблограммой? На самом ли деле ты отдала ее ему, бросила со смехом, как он утверждает? Отдала ли ты ему письма? Сейчас это вряд ли имеет значение. Однажды мы во всем разберемся. Забудь, моя любовь. Забудь о грязных отпечатках башмаков Феррелла. Тебе не нужны никакие мои письма, кроме одного — этого дневника.

Подумай сама: чего этот канительный чумазый раскопщик поддельных страховок и разводов от меня ждал? Подтверждения басен про убитых людей и твоего отца, что бежит от долгов. Безумный сказочник Феррелл! Его следует игнорировать, любовь моя, или он замазает все вокруг: правду, гробницу, мое бессмертное достижение.

В итоге же после скромного *tête-à-tête* сыщиком я почти счастлив. Столь долго я ждал его прихода с некоторым даже волнением, а в финале обнаружил, что за мной гонятся по причине, со мной совсем не связанной. Теперь куда легче. Если бы его слова имели хоть какое-то отношение к реальности — но куда там!

«Погодите! Вы думаете, я убил Пола Колдуэлла?» — спросил я, в открытую веселясь, когда его бредовое лопотанье завершилось безумным выводом.

Как ни парадоксально, отталкивающее общество детектива наградило меня единственной радостью: среди его сумасшедших рассказней мое внимание привлек лишь рассказ о пропавшем мальчике. Феррелл поведал многое, и удивительно, однако же история чудесного мальчугана и священника, отца Раули, меня тронула. Я повторяю сейчас то, что слышал от Феррелла, но хочу тебя кое о чем спросить.

Я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что все недоразумения между нами рассеются. Но что, если я не тот, о ком ты мечтаешь? Вот мое признание: я не был рожден для этой роли. Я не должен был сражаться, чтобы победить. И я

признаюсь: мне стыдно.

Ибо из того, что рассказал мне Феррелл (наверное, тебе он изложил ту же историю), следует, что этот мальчик выкарабкался из бедности и небрежения. Он был лишен любви, денег, даже доброты, поддержки. Он родился, ничего не имея, и из этого ничего сотворил себя. Помести Хьюго Марлоу, Ральфа Трилипуша и других богачей, получивших отменное образование и воспитание, на место юного Пола Колдуэлла — что бы они делали? Помести их в сиднейские трущобы, отбери у них все деньги. Сдери с них хорошие манеры. Откажи им во всем, кроме того, с чем они родились, — какими они станут? Боюсь, одной лишь внутренней силой, без подарков, преподнесенных им судьбой, они бы не справились. Такие люди (наподобие *меня*, как ни прискорбно это звучит) никогда не могут со всей определенностью сказать, что в них принадлежит им, а что привнесено извне. Они всю жизнь в затруднении, запутаны тем, что унаследовали. Получив что-то (степень, работу, жену), они не знают точно, их ли это достижение или же результат сложения отцовского примера, материнского совета, профессорского дорогостоящего обучения и прочих непереваренных ошметков других людей, которые богач именуется своей личностью. А Пол Колдуэлл сам себя выучил, семьи у него не было, он использовал возможности настолько микроскопические, что их и возможностями назвать нельзя, никто их и разглядеть не мог. И чего он добился? Превратил их, как меня в том убедили, в возможности поистине великие. Его история сотворения себя достойна Атум-хаду.

«Что стало с Полом Колдуэллом?» — спрашивал Феррелл снова и снова. Я не знаю, но, если бы его не убили на войне, кем бы он мог стать? При благоприятных обстоятельствах он дорос бы до моего помощника. Позволил бы мир воссиять его самосотворенной славе? Восхитился бы ею? Или потребовал бы от него сокрыться, дабы не ослеплять нижестоящих и не помрачать их светом, кой сам они породить не могут?

Конечно же, он сделал бы все, чтобы прельстить красивую и искусственную женщину. Прельстилась бы ты им так же, как он прельстился бы тобой? Могла бы ты полюбить такого, как он, Маргарет? Или тебе тоже нужен кто-то вроде меня — безупречный, проверенный, с печатью совершенства? Я так жажду это знать.

Феррелл говорит мне, что мальчик открыл Египет в библиотеке. Неужели мы с ним чувствовали одинаково — мальчишки, влюбившиеся в эту страну? Я помню, с каким нетерпением ждал появления в Холле новых выпусков «Египтологических хроник», «Анналов современной египтологии» и «Археологии». Иногда возбуждение становилось непереносимым, и я воображал обложки, надеялся на цветные вкладки, водил пальцами по прозрачной бумаге, под ко-ей таились фронтисписные гравюры.

Вдохновенному мыслителю по силам отогреть холодный рассказ Феррелла: в начале 1917 года Колдуэлл прибывает в Египет, землю, манившую его с восьмилетнего возраста. Он неутомимо стремится увидеть все и вся. Он выучивает арабский, навещает пирамиды, проникает всюду, куда удастся достать пропуска. По прошествии времени, уже не робея, выскальзывает из лагеря всякий раз, когда не получает увольнительной, ведь Египет имеет над ним высшую власть, он реальнее любой видимости службы в колониальной армии и скромного участия в войне, не имеющей к нашему герою ни малейшего отно-

шения. Представь себе, Маргарет, его интерес к Египту столь огромен, что о возможных наказаниях он и не думает. Он знает о расплате за частые самовольные отлучки, однако война с каждым днем становится все несущественней. Должно быть, в грязном окопе в Люксембурге он вел бы себя осторожнее (либо был бы мертв). Но здесь, в пустыне, где каждый взятый внаймы плевающий верблюд зовет сорваться во тьму, дотронуться до безносого красавца Сфинкса, посидеть в футе от великой пирамиды Хеопса и поразмыслить над тем, где в этой обширной пустыне тебя отыщет судьба, уже невозможно опастаться сержанта, что ленится ходить и думать (тот хоть и на посту, но сидит в караулке, ибо никак не может сложить в конусе света пасьянс).

И вот настает день (я в это время ранен и блуждаю по Турции), когда Пол Колдуэлл узнает, что приехавший в австралийский лагерь британский офицер в гражданской жизни — восходящее светило египтологии, и даже в военных условиях он, когда это возможно, ходит в экспедиции. Мне манеры Марлоу известны куда как хорошо. Не сомневаюсь, что Колдуэлл подступался к нему вновь и вновь, пытаясь привлечь его внимание. Ему это не удалось, и тогда, я так и вижу, он стал просто ходить за Марлоу (расквартированным в сорока милях), потому что восхищался его работой, и еще потому, что Марлоу знал *все*. Верно, в конце концов Колдуэлл завоевал внимание и доверие Марлоу, сейчас это не важно. Так и вижу: Марлоу берет Колдуэлла под свое крыло, и тот с трепетом внимает всем подробностям, рассказам о методах ученых и исследователей, о новостях египтологии; что может захватить его более, нежели новейшие представления об Атум-хаду?

Ну конечно. Разумеется, Марлоу обсуждал Атум-хаду с Колдуэллом. Марлоу хранил в палатке отрывок «С», дожидавшийся моего возвращения. Он поведал Колдуэллу все об Атум-хаду, и каждое слово этой истории наверняка прекрасной стрелой пронзало сердце бедного мальчика — он узнавал о цивилизации, в которой гений творил себя заново каждый день, пока не стал царем. Возможно, Пол читал в детстве Гарримана, и пламя Атум-хаду, в той версии — бледное, уже его опалило. И вот Марлоу познакомил их вновь.

Если бы он выжил на войне, ему позволили бы стать, наверное, библиотекарем, а то и учителем в провинциальной школе для мальчиков. Он был бы умен, как я, очарователен, как я, хорошо сложен, как я, но не было бы у него верительных грамот, богатства и прочего, и был бы он чудачком, цирковым уродцем, беднягой, который *презабавнейшим образом* знает много всякого о Египте, а зачем ему это — и сам сообразить не может. Будь я таким, будь он мною — ты бы меня полюбила? Нет, ты не смогла бы. Никто не вспомнит о Поле Колдуэлле — и поделом.

Последние дни Египта. Какой-то день должен стать последним днем. Последний час. Последнее мгновенье. Удивительно, однако в каждой грандиозной катастрофе был свой самый последний момент: последний убитый на Великой войне, последний похищенный Черной Смертью, последний неандерталец, ставший отцом первого *Homo sapiens*. И должен был существовать последний молившийся Атуму человек, унесший с собой в могилу все тайны этого культа. Был последний человек, знавший, как произносить древнеегипетские слова; с ним умер целый язык, и все, на что мы ныне способны, — склоняться над книгами и желать всей душой услышать его эхо.



Что до Атум-хаду, то настал день, когда все было бесспорно утрачено, когда некуда стало бежать. Он вошел в пустой дворец и переступил через человека с лицом, превращенным в кровавый пудинг. Что чувствовал царь в тот полдень? Он хотел спать, он ужасно устал. Он хотел бы, чтобы все было по-другому. Томился по своей царице и безмятежному месту, где они могли бы остаться вдвоем.

Такой день случился: он настал и закончился, унося с собой вселенную без остатка. Случился последний восход, осветивший свиномордые орды у ворот под командованием чужаков, и сожжены были храмы, и сожжена история, и поиски, и слова, и рассказы, и вдохновение, и определенность нескончаемого будущего, в котором тебе причитаются почет и любовь просто потому, что ты жил в эпоху мира, — все исчезло. Вместо этого случился последний день, и Атум-хаду застыл на мгновение, посмотрел вокруг и попрощался — пусть никто его и не услышал. Он был пойман в сети обстоятельств, человеку неподконтрольных, будь он даже олицетворением великого творца Атума. Ни слуг, ни армии, ни носильщиков, ни женщин, ни денег, ни времени.

«Конец всему». Страшилище для взрослых; единственный упырь, которому дано пережить детство и время от времени пугать нас до дрожи в кишках. Больше, нежели страх смерти; умирая, можно ухватиться за утешительную мысль: продолжит жить то, что нас знаменует или имеет для нас значение, нечто, сохраняющее нас, — хотя бы и знание, что предметы и люди, которых мы любим, выживут и продолжатся. *Жизни наших детей продолжаются, значит, и наши не закончатся* — вот жалкая выжимка египетского бессмертия для человека современного. Кое-кто, разумеется, сохранит верность глухому христианским небес или строго разнузданному парадизу Аллаха, но большинство обретает крылья куда проще: дети, внуки, семейный бизнес, работа всей жизни, а то и атрибуты чьей-то повседневности: пивная и по главной улице с ветерком, футбольный клуб, правительство, конституция, старый гарнизон. Если эти учреждения, взвешивающие на смерть единиц с вышней неколебимостью и бессердечно продолжающие бороздить время, вас не гнетут, значит, вы, наоборот, ими ободрены, и они уподобляются изображениям снеди на стенах фараоновых гробниц. Да, средний человек хватается за бессмертие с последним вздохом и находит его — в наследниках, работе, городе, культуре.

Но конец всему! Как должны неистовствовать человек или природа, чтобы кончина твоя стала нестерпимо пустячной и поистине смертной? Тебе нужен ледниковый период или распухшее солнце, испепеляющее Землю? Или и меньшего достанет, чтобы положить конец твоим мечтам о постоянстве? Истребление наследников на твоих глазах в последний миг? Ты банкрот, твой дом в руинах, твои картины сожжены? Или, скажем, так: уничтожены твоя церковь, все твои священники, все письменные упоминания о твоём боге, все его изображения, на них пляшут саблезубые демоны, прислуживающие другому богу, моложе и жестокосерднее. Или так: город, что тысячи лет выдерживал осады, город, где твоя семья жила с начала времен, жемчужина моря или песков, добрая зеленая Англия, вечный Рим, розовый Иерусалим, святая Мекка, твоя вековая обитель снесена до основания, до последнего кирпича, и последняя бомба сравнивает с землей последний дом как раз перед тем, как твое сердце, запнувшись, выдавливает из себя последние брызги крови. Венеция уходит под воду. Париж горит. Лондон ревет. Нью-Йорк крошится, Афины

исходят прахом. Это для тебя еще не конец всему?

Всякая книга всякого автора мировой литературы пылает под пристальным взором невежественных и неохладимых пироманов. Последние учебники истории твоей и прочих стран становятся черной гарью, и тебе на последнем вдохе остается надеяться лишь на убогую крупичу бессмертия: возможно, через сколько-то там поколений слово, которое гениальный долгопамятливый актер прошептал на ухо своему преемнику, а тот — своему, а тот — своему, отзовется смелой попыткой вспомнить «Гамлета» и записать его наново... и что произойдет в финале? Гамлет отравится? Изобьет Полония палкой в темной комнате? Нарядится могильщиком и тайком сбежит со сцены?

Достаточно скоро будут утрачены следующие объекты: музыка Бетховена; ваше любимое пиво; все записи о вашей родословной; место, где вы впервые целовались с девушкой; мед; лед; пейзаж, что ассоциируется у вас со спокойствием и свободой; любые улики вашей юности, подлинные либо тщетно подделанные; ощущение, что все вами наблюдаемое, все ваши любимые есть последовательность устремлений, достижений, отступлений, трапез, церемоний, влюбленностей, разочарований, исцелений, последующих действий.

Будешь ли ты помнить обо мне, Маргарет? Увидишь ли достигнутое мною тут, объяснишь ли его суть миру? Ты же понимаешь, я не могу довериться никому более. Если ты однажды любила меня или представление обо мне, пожалуйста, очень тебя прошу, вырвись из лап своих болезней и позволь моим трудам жить вечно.

Ч. К. Ф. спит. Мне многое нужно закончить. Вдруг безумный Феррелл вздумает притопать сюда с полицией и собаками?

*6 января 1955 года*

Каждому нравится быть правым, Мэйси. И быть правым оттого, что ты все правильно понял, тоже хорошо. Сегодня утром я смотрю на то, что написал вчера, и меня грызет чувство вроде стыда, что я, возможно, был иногда прав, хоть и понял все неправильно. Сейчас, когда я пишу это, мне уже не совсем ясно, когда и как именно я уличил Трилипуша во вранье. И все-таки я помню то ощущение — да, Мэйси, ощущение верное и ясное, как вкус шоколадки или как дуновение ветра в лицо, — что он врал. И я точно записал для себя: я *знаю*, что он врет. Но сейчас перечитываю записи — и уверенность как-то исчезает. Про то, что Колдуэлл увлекался археологией, я мог рассказать Маргарет, а она, в свою очередь, могла написать Трилипушу, как-то так. Не важно, коли дело было не в этом, значит, в чем-то еще. Слишком большое искушение — сказать, что взгляд в прошлое все проясняет. Скорее уж время туманит истину. Тогда-то я определенно был во всем уверен, никаких сомнений, только вот сейчас не могу эту уверенность передать. Я не писатель, Мэйси, по нашей договоренности это ваша часть работы. Вы и объясните, на чем я поймал Трилипуша.

И еще я могу сейчас винить себя за то, что не сумел убедить полицию заняться этим делом немедленно. Дежурный констебль считал, что исчезновение англичанина и австралийца четыре года назад во время войны не имеет к нему ни малейшего отношения. Он велел мне пойти в британский консулат, и вот коли там дело захотят расследовать, тогда он за него примется. Расторгнуть его мне не удалось, он твердил «нет» с гордостью аборигена так, словно

я английский король, а не житель такой же колонии, которую англичане поставили на колени. Это было в субботу, 30 числа.

Я вернулся в свой отель и стал ждать известий от моих следопытов. Они не появлялись. Я не ложился до полуночи. Тишина. Я спустился на улицу, чтобы их разыскать, мне даже почудилось, будто я вижу одного из них, но оказалось, что пацан не говорит по-английски, и я так и не понял, из моей он команды или нет. Эти египетские мальчишки, скажу вам, все на одно лицо. Я начал опасаться худшего: в отчаянии Трилипуш искалечил моих бедных пацанов.

### *Воскресенье, 31 декабря 1922 года*

Во сне я сидел подле тебя, моя рука была на твоей руке, твоя — на твоём бедре. Мы сидели рядом в безопасном уединенном месте. Я что-то шептал тебе на ухо. Пальцами другой твоей руки я указывал на символы на папирусе, делась с твоим нежным ушком скрытыми в рисунках секретами.

Солнце уже высоко, по ту сторону скалы наблюдается оживление. Я сидел сначала на утесе, потом пересел ближе, на балкончик, что сконструирован над дырой, хранящей Тутосниие сокровища, и смотрел, как великий человек позирует фотографу. Всего чересчур: оборудование, мили ситца и полотна, банки жидких консервантов, цистерны фотографических закрепителей, сита, кирпичи, бочки и телеги без числа, специально для него собранный поезд с железной дорогой до края Долины, десятки поклонников, жаждущие интервью журналисты. Всего этого давно уже достаточно. Но нет, теперь нам нужны клубы дыма, серебряные вспышки, синие вспышки, «теперь сюда, мистер Картер, смотрите вон туда, сэр, спасибо», и немигающий Взгляд мира пожирает его, но не умаляет. Он без устали — чик! чик! чик! пуфф! пуфф! пуфф! — скармливал миру свое изображение. Великий человек в своем шатре. Около своей дыры. Со своими фаворитами. Притворяется, будто за чем-то наблюдает. Шествует с сокровищем наверх, выходит на солнце славы и тщеславия. Советуется с одним, с другим. Размышляет. Его гробница принадлежит Реставрации, она свидетельствует: ничто не исчезает навсегда, в конце концов все возвращается в ореоле славы. А вот и доказательство: тонкие недолговечные фотографии.

По возвращении обнаруживаю, что в 200 ярдах вниз по тропе страхолудный и дрянной Феррелл тычется в скальный склон.

На следующий день, в воскресенье, 31 числа, я запаниковал и прошелся по известным местам: побывал на бывшей Трилипушевой вилле, на людном Картеровом участке, хозяин которого позировал для фотографов, и на пустой полоске пустыни, которая когда-то была участком Трилипуша. Нигде ничего не обнаружил. Я вернулся в отель, молясь о том, чтобы вернулась моя маленькая армия информаторов. Тишина. Я утешился тем, что, может, они его где-нибудь отслеживают, и где он, там и они. Тем не менее я забеспокоился. Пошел в агентство путешествий, там мне подтвердили: Трилипуш и Финнеран должны отплыть на следующий день, за билеты уже уплачено. Я нанял еще одного мальчугана — присматривать за вокзалом, вдруг появится кто-то с легко узнаваемой внешностью Трилипуша или Финнерана. Когда ушел последний поезд, этот парень по крайней мере доложил: по железной дороге они из Луксора не выезжали. Я подготовил следующий ход: телеграфировал британско-

му консулу о подробностях нашего приезда в Каир, написал, что собираюсь привести к нему подозреваемого в совершенном в 1918 году убийстве капитана Марлоу для нашего допроса, чтобы он приготовился. Я использовал все возможности для расследования преступлений, на которые остальным было наплевать.

Тем вечером, 31 числа, решив сделать все, что было в моих силах, я последний раз пересек реку с целью снова пройти по Трилипушеву участку. На этот раз, когда я сошел с парома на западном берегу Нила, в толпе, ждавшей своей очереди переправиться на восток, я увидел мальчика-аборигена, который, я мог поклясться, был из моих юных следопытов. Мальчик нес большой сверток. Я попытался с пацаном заговорить, он меня как бы не узнал, просто шагнул на паром, и добраться до него я уже не мог. Я его потерял. Протолкавшись на край пристани, я проводил паром взглядом, но мальчика не видел. Тут паром снесло течением, и я все-таки разглядел пацана, тот плялил на меня с палубы, словно так и надо. Клянусь, даже с такого расстояния было заметно, как он смеется.

Само собой, на Трилипушевом участке я опять ничего не нашел. Про психологию людей, у которых нервы на пределе, я знаю достаточно, потому и не придавал особого значения ни мрачному предчувствию, которое обуяло меня на закате, ни ощущению, что за мной следят. Да и смех того мальчика я мог придумать. Все от расшалившихся нервов.

### *Воскресенье, 31 декабря 1922 года (продолжение)*

Атум-хаду столкнулся с наиболее устрашающим Парадоксом Гробницы за всю историю Египта. Даже с десятого раза эта задача не поддается решению. Бессмертие Атум-хаду гарантировано лишь в том случае, если на поверхности земли будет вечно жить его имя, а под ней — его тело, забальзамированное, усохшее, запечатанное в усыпальнице с минимумом необходимого. И не осталось никого, кто о нем помнил. Мир наверху плавится под солнцем пустыни, имени Атум-хаду нет ни в одном списке царей. XIII династия быстро превратилась в комковатое пюре из фактов и мифов; зыбучие пески лакун, довольно хлюпающая, разверзаются там, где некогда шли цари.

## **СТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «L»: «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЕГИПТА»**

*Текст:* Все оставили Атум-хаду. Он покинул Фивы, и пересек жизнетворный Нил, и побрел в одиночестве; он нес свои вещи, свои «Назидания», краски, тростник, чернила, кисти, свою кошку. Кобры в его утробе умерли. На водах могучего Нила сжег он утлый челн, которым управлял, и смотрел, как рвутся в небо серебряные вспышки огня. На востоке завоеватели грабили его дворец, и он слышал стоны женщин. Атум-хаду был свободен от этого мира. Он нес свои вещи в гробницу, данную ему Сетом.

*Разбор:* Последние минуты его правления. Последние минуты Египта. Невообразимое сожаление и печаль, не лишённые некоторой красоты; конец всему. Кровавая опасность стремительно приближается отовсюду. Опасность, что грозит не его жизни, но его послежизни. Все оставили его. Однако, мой читатель, теперь окончательно ясно: загадка — та, что тысячелетиями терзала ограниченные умы, ставила в тупик буйствовавших гиксосов, древних расхи-

тителей гробниц, Гарримана, Вассалья, всех тех, кто сомневался в существовании Атум-хаду, — перед нами разоблачается. Мы можем ныне, переходя из одной камеры в другую, перечислить деяния царя в тот последний день и во дни, ему предшествовавшие.

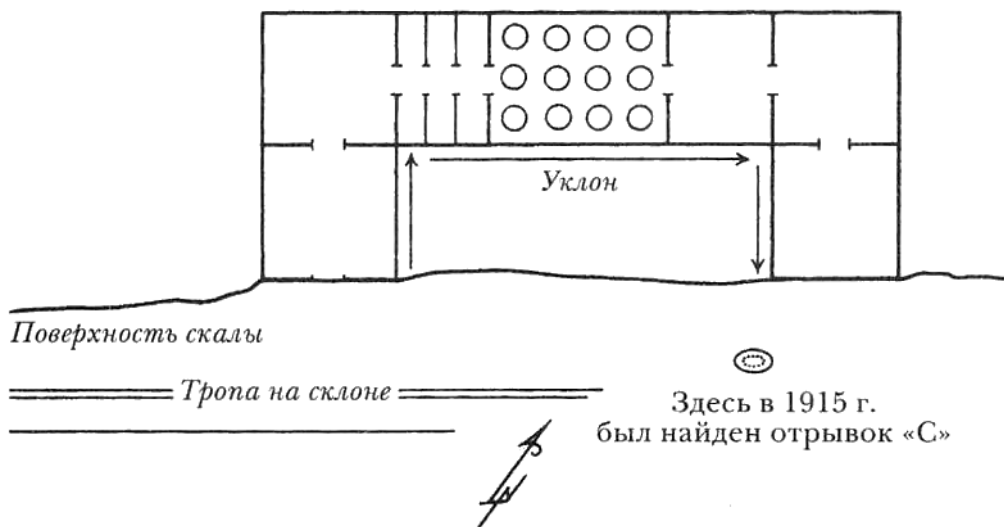
Мы поймем, почему нет надписей и печатей на дверях.

Мы поймем, что случилось с телами, где они размещены и откуда взялись кровавые следы.

Мы поймем, почему изображения созданы любителем, а текст написан каллиграфом.

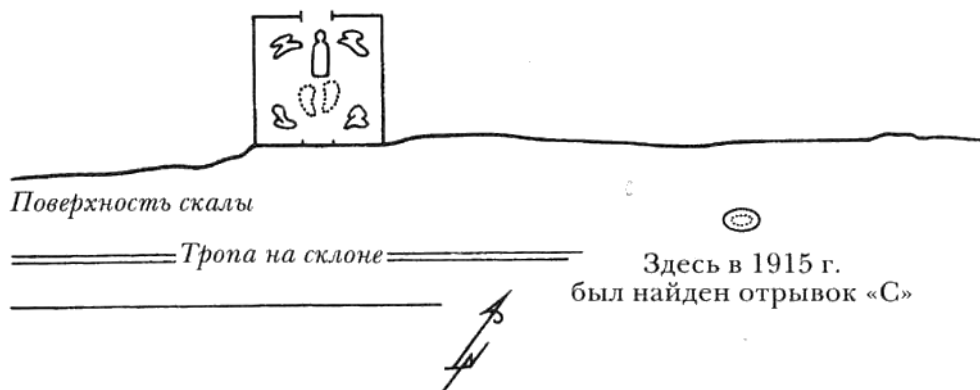
Мы поймем, как один человек достиг бессмертия, наполнил и скрыл свою гробницу.

Итак, еще раз: у нас есть рисунок:



## РИСУНОК 1. ГРОБНИЦА АТУМ-ХАДУ, ОБЩИЙ ВИД

Теперь ясно, почему закамуфлированная дверь «А» столь тонка и почти невесома. Поставить на место и запечатать тяжелую каменную дверь не под силу даже человеку с удалью Атум-хаду. Потому предположим, что он создал невеликую, но вполне отвечающую его задумке ширму, замаскировал дерево булыжниками и, когда внутри все было готово, закрыл за собой дверь, замазав края штукатуркой. За дверью воцарился почти абсолютный покой. Он приступил к работе.



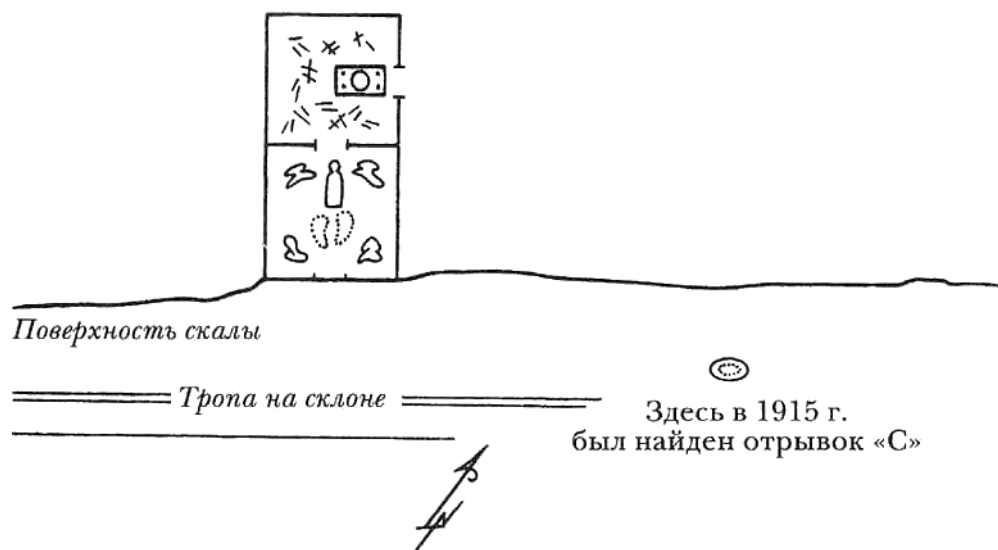
## РИСУНОК 2. КАМЕРА ЖЕНЩИН АТУМ-ХАДУ

Возрождение в подземном мире подразумевает половую послежизнь, для чего мумии необходимо возбудиться. В этой камере есть все, что символически необходимо для акта. Вышитые бисером туфли некоей возлюбленной на-

ложницы, разбросанные тут и там нежные разноцветные покрывала любимых танцовщиц, а также великолепные изображения на стенах: многообразие женщин всех мыслимых форм, они в различных позициях предаются различным занятиям, кои красноречиво описываются в «Назиданиях» как «наиболее приятные Атум-хаду». В тот миг, когда Атум-хаду умирает, одежды окажутся вдруг на очаровательных подругах, сопровождавших царя всю его жизнь. Настенные изображения набухнут, прорастут в третье округлое измерение и спрыгнут на пол; сверхъестественно лучезарные камеры странствующих покоев Атум-хаду наполнятся смешками и вздохами.

Кто рисовал этих женщин? Взгляни, читатель: та же рука, что украсила в былые дни Историческую Камеру. Запечатанный в своей гробнице, но еще живой, он собственной дланью Атума создал свиту, что проводит царя в подземный мир; положившись на собственный же неразвитый талант, он разрисовал неумолимые стены, запачкав краской пальцы, и лицо, и халат. В этой первой камере он будет веселиться, как только закончит прощаться с жизнью и, разбуженный прикосновением женских пальчиков, пересоздаст сам себя, переродится своим собственным ребенком.

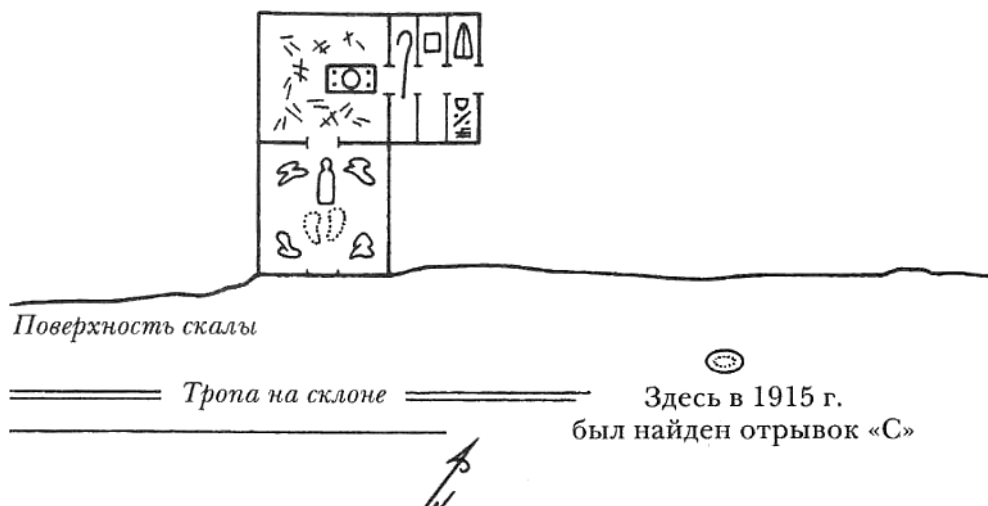
Но чей лик встречается на этих стенах чаще остальных? Присмотримся к небольшой и замечательно сохранившейся статуэтке, помещенной прямо за ветхими туфельками. Красавица прикрыта лишь куском материи, ее глаза, хоть и выточены в камне, блестят, ее насмешливая улыбка манит и отвергает; ее образ здесь повсюду, она своим присутствием освящает камеру, ее руки изящны, всякий тонкий и длинный палец ее сочленен словно грациозный нарцисс, склоняющийся к воде, она охвачена дремотной истомой и запечатлена в любом положении тела: тут и портреты в полный рост, извлеченные из стенающей царской памяти, и силуэты, и наброски на скорую руку, и отдельные детали, над которыми он, стремясь заключить свою возлюбленную в красочный плен, корпел часами — ее вспышки энергии и остроумия; ее часы печали и томления; искра ярости в ее взгляде, пробежавшая, когда ей отказали в капризе; удовлетворение, испытываемое поначалу просто оттого, что ее царь с ней и любит ее. Куда бы ни сбежала она, где бы ни прожила оставшиеся до посмертия годы, вечность она проведет рядом с ним.



### РИСУНОК 3. КАМЕРА ОТВЕТЧИКА

Центральные элементы Камеры Ответчика — кровавые следы и замеча-

тельный плоский прямоугольный пьедестал. На нем располагался «ушебти», или «ответчик». Схожая обличьем с Атум-хаду небольшая статуэтка с узнаваемой озорной ухмылкой стоит точно посреди длинного и тяжелого каменного пьедестала, она говорит от имени царя во время его путешествия в подземный мир, сражается за него (и при поддержке окровавленных воинов, чей строй символически представлен кровавыми следами). Окружают «ушебти» четыре шара окаменевшего навоза (возможно, верблюжьего или слоновьего), увенчанные резными жуками-скарабеями, символами перерождения египтян.



#### РИСУНОК 4. ТРИ ЦАРСКИХ ПРЕДКАМЕРЫ

В Трех Царских Предкамерах Атум-хаду поместил предметы, символизирующие его земную власть, а также орудия достижения бессмертия. Стены покрыты сценами празднеств, охоты, военных походов, изображениями предметов роскоши, сокровищ и одеяний. Я почти уверен, что эти наиболее художественно слабые рисунки завершались в последнюю очередь, когда царь был доведен до крайнего истощения. Все нарисованные предметы должны по смерти царя обратиться в реальные. Далее, на полу лежат следующие изумительные вещи:

- резной скипетр, изогнутый деревянный посох, на котором написаны пять царских имен Атум-хаду. Обструганный верхний конец его являет собой голову бога, возможно, самого Атума;

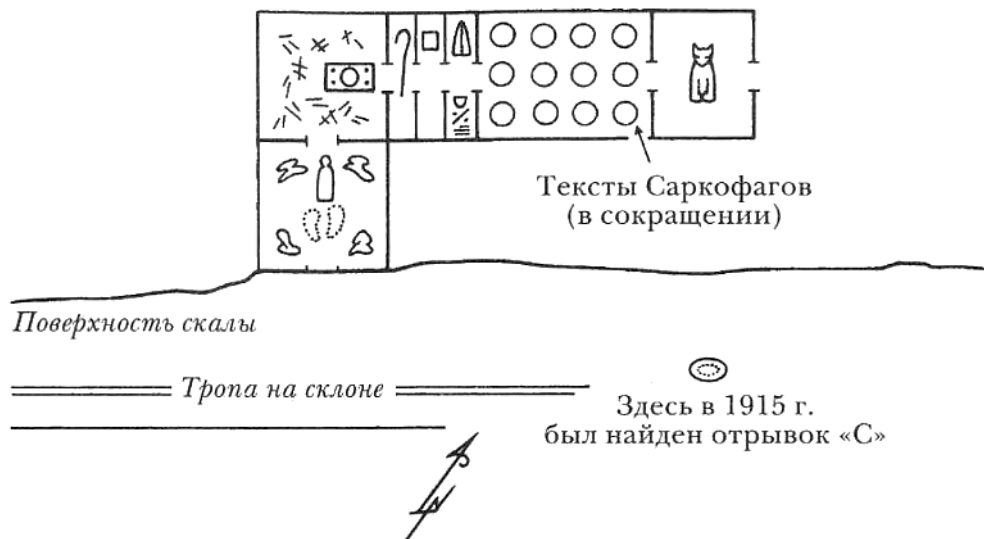
- прекрасный деревянный сундук, инкрустированный слоновой костью и хранящий полный текст «Назиданий», все восемьдесят стихотворений на листе папируса, размерами не превышающем лист с сорока восемью стихотворениями отрывка «С» (который сейчас при мне и который завтра, когда мы с Ч. К. Ф. поедем в Каир, я заберу с собой). Он исписан с обеих сторон: сорок восемь стихотворений на лицевой стороне (те же, что и в отрывке «С»), тридцать два — на оборотной;

- забрызганный кровью и краской халат — видимо, то самое одеяние, которое было на царе, когда он подготавливал гробницу;

- стебли тростника, баночки с красками, кисти и режущие инструменты, использованные царем при обработке гробничных стен и предметов обстановки.

Полный текст «Назиданий» — находка особенно значительная, она прида-

ет важность моей работе, что опередила время, — работе, посвященной всецело этому тексту и правлению Атум-хаду. Если в шестидесяти ранее обнаруженных стихотворениях царь Атум-хаду — властный человек, движимый лишь своими аппетитами, последние двадцать являют нам иную его сторону. В них он проникательно рассуждает о страдании и о сложных вопросах, которые ставит перед ним будущее. Царь сосредоточивается в том числе на затруднениях с пищеварением (катрены 38–41) и муках, причиняемых женщиной, не ответившей на его чувства (катрены 62 и 69). Я позволю себе привлечь внимание читателя к наиболее интересным из катренов: 68-му, который с любопытной точностью разъясняет значение имеющих на теле Атум-хаду уникальных знаков; 34-му, в котором царь и поэт тоскует по «тому, кто возвернет», кто в возрожденном мире вознесет его имя на великую высоту (в традиционном истолковании это Осирис, однако я не могу отделаться от мысли, что получил привет от царя-собрата); 63-му, простые, нерифмованные строки ко-его составляют список царей поздней XIII династии, завершающийся Атум-хаду; 43-му, 64-му и 67-му, появляющимся на колоннах седьмой и восьмой; и 14-му, написанному на стенной панели «С» Исторической Камеры.



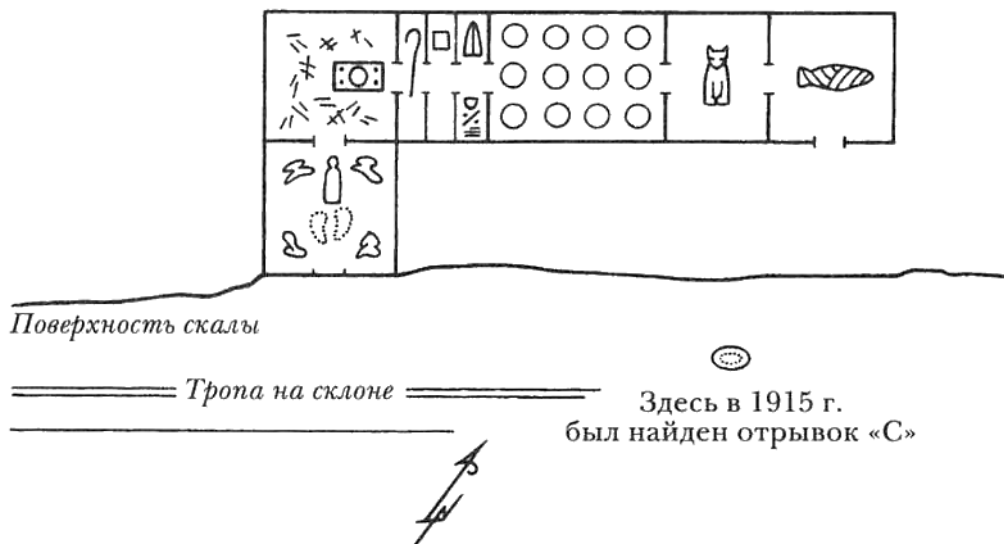
## РИСУНОК 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАМЕРА И СВАТИЛИЩЕ БАСТЕТ

Украшив Историческую Камеру хроникой своей жизни и правления, а также укороченным вариантом Текстов Саркофагов (обязательный путеводитель по подземному миру, о котором горемыка вспомнил, надо думать, в последний момент и воспроизвел по памяти, когда свободных поверхностей уже почти не было), царь утомился и перепачкался в красках. Но он должен был продолжать работу, невзирая на печаль, и поддерживало его лишь знание о том, что вскоре печаль прейдет. Однако в часы, когда царь приготавливал Святилище Бастет, он, несомненно, страдал. Нетрудно себе представить, как он плакал и взывал к глухому божеству, когда возлюбленное животное, подавившееся древней рыбьей косточкой, испускало дух у него на руках.

Впереди его ждало дело куда ужаснее. Должно быть, он затеял его несколькими днями ранее, когда, сидя на кровоточащих останках Владыки Щедрости, пришел в себя и вынужден был подумать о том, что делать дальше.

## РИСУНОК 6. КАМЕРА ВЛАДЫКИ ЩЕДРОСТИ





Нас ждут дополнительные разъяснения в виде истории, записанной на стенах Камеры Владыки Щедрости:

«За двенадцать дней до конца, когда Атум-хаду против воли умертвил своего Владыку Щедрости, он сделал первый шаг к тому, чтобы лишить Владыку бессмертия, начал сжигать его одежды, но остановился [и задумался].

Великий царь решил использовать Владыку на протяжении всей вечности. Владыка будет просить прощения у Атум-хаду миллион лет.

Атум-хаду видел, как трудятся Блюстители Тайн. Ему было ведомо их колдовство, однако проводить обряд, как предписано, семьдесят дней он не мог. Его преследовали гиксосы, знавшие, что он от них бежал. Его преследовали враги всех мастей. У него не было времени. Он приступил к делу в спешке, но соблюдая все правила и предписания.

Он безмерно страдал.

Закончив, он нарисовал на пеленах лицо человека кающегося, угодливого и покорного».

*Разбор:* Омерзительные (пусть все еще любительские) рисунки, сопровождающие этот замечательный текст, удивительны, на них показан царь, которого тошнит от того, что он делает. Тут необходимо прояснить, что же царь имел в виду, написав свой загадочный текст.

Убив напавшего на него свирепого Владыку из самозащиты, как то описывает стенная панель «К», царь, очевидно, быстро сделал ряд умозаключений. В тот момент он, должно быть, принял все те решения, которые претворил в жизнь в последующие двенадцать дней. Отказавшись от уничтожения тела Владыки и всех его вещей («дабы тот не обрел бессмертие»), царь пришел к выводу, что вероломный Владыка Щедрости составит ему компанию и обеспечит царя финансами во время путешествия, одним своим безгласным присутствием он будет олицетворять богатство.

Блюстители Тайн были жрецами, обученными бальзамированию тел, иначе говоря, Атум-хаду знал (или думал, что знал) о мумификации достаточно, чтобы провести ритуал самому. Процесс этот, как мы понимаем, не относится к числу приятных, оттого следует отнестись с сочувствием к человеку — даже ожесточенному войной и страданиями, — который совершает эту процедуру с членом собственной семьи — даже с тем, кого ненавидит.

Туловище разрезается вдоль левого бока и освобождается от внутренностей. Четыре органа сохраняются в химическом составе, точный рецепт которого нам по сей день неизвестен. Затем они заворачиваются в пелены и помещаются в канопы, украшенные затейливыми скульптурными изображениями голов четырех сыновей Гора: кишки хранит Кебексенуф с головой сокола, желудок — Дуамутеф с головой шакала, легкие — Хапи с головой павиана, печень — Амсет с головой человека. Интересно отметить, что в Камере Владыки Щедрости каноп нет. По какой причине — мы объясним в нашем предварительном обзоре находок позже.

Мозг для египетских жрецов и анатомов ценности не представлял, он обычно извлекался из черепа при помощи крючка или соломины и выбрасывался. Судя по настенным изображениям, череп Владыки был размозжен, оттого удаление мозга в его случае было делом быстрым и весьма нечистым.

Тело омывалось и наполнялось особым химическим консервантом. Секрет этой субстанции до наших дней не раскрыт, хранит ее тайну и гробница Атум-хаду. По прошествии семидесяти дней тело было готово к пеленанию. Но, мой читатель, если мумия Владыки Щедрости сохранилась не так, как иные найденные в усыпальницах тела, то мы должны учесть: у Атум-хаду не было времени, чтобы проделать все как следует, к тому же сей мистический и сложный ритуал он проводил лишь на своей кошке. И более того: он был единственный исполнитель — больной, раненый, отчаявшийся и преследуемый. Он не обладал всеми инструментами, и его познания в химии составов, потребных для ужасных похорон, были хоть и солидными, но любительскими. Потому, если мумия Владыки Щедрости выглядит не вполне ортодоксально и местами подгнила — что ж, у нас на руках еще одно доказательство уникальной природы нашего открытия.

Дыру в теле зашивали. Странно, однако, судя по настенным росписям, именно эта задача основательно растревожила чуткий желудок Атум-хаду, когда процесс был почти уже завершен.

Ряд иллюстраций описывает проведенные им кошмарные часы: когда царь берется накладывать первые стежки, лицо его сводит судорогой. Он бросает нить и иглу, бежит из гробницы, стоит снаружи, разговаривает, как можно понять, с доброй крестьянкой, предлагающей ему убежище в своем доме. Сблазн велик, но царь знает, что этому не бывать. Его горло перехватывает, и он невозмутимо благодарит ее за доброту. Когда она уходит, он падает на землю и рыдает. Затем, ошарашенный, возвращается к работе.

Традиционная мумификация предполагает наложение на зашитую рану печати в виде глаза Гора. На тело кладут золото, драгоценности и амулеты. На пальцы рук и ног надевают золотые наперстки. Я могу ошибаться, но полагаю, что данная мумия подобного броского снаряжения, вероятно, была лишена.

Обычно каждый палец на руке и ноге оборачивается пеленами отдельно. Затем настает очередь рук и ног, затем в двадцать слоев пеленаются тело и голова. Для запечатывания этих громоздких покровов используется разновидность смоляного клея, после чего голова мумии покрывается маской. Эти работы под силу выполнить нескольким людям, не одному. Мы можем лишь представить себе, как усердно монарх трудился, пренебрегая в спешке ритуальными предписаниями. В одной из последних битв войны с гиксосами царь был сильно ранен в ногу; собравшись с убывающими силами, он обернул тя-

желое тело всего только пятью слоями пелен — и перекатил мумию бывшего союзника в центр его погребальной камеры.

Покончив с пеленанием, царь, используя древний химический препарат либо узорный шаблон, тайна которого от меня ускользает, изобразил на груди мумии символы правления Атум-хаду — грифа, сфинкса и кобру, а также девиз «ГОР ПОЖИРАЕТ СЕРДЦА ПРОКЛЯТЫХ».

За отсутствием маски для мумии царь нарисовал лицо прямо на обернутой пеленами голове, пересоздав Владыку человеком, который исполняет приказания царя без вероломных мыслей и пререканий. Льняные пелены непригодны для рисования, не говоря уже об изображении раскаяния, угодливости и покорности. Однако царь простыми и энергичными движениями кисти совершил необычайный, почти божественный акт прощения, превратив корыстолюбивого и ненадежного спутника в человека совсем иной сущности, создав компаньона и отца, которому он мог довериться.

Текст на стене Камеры Владыки Щедрости заканчивается так:

«Ты снова молод, ты снова жив. Ты снова молод, ты снова жив». Царь повторил слова ритуала своему другу и земному отцу, который любил царя как сына все то время, что провел в этом мире.

Уж не знаю, нервы это были с тем мальчишкой на нильском пароме или нет, но где-то в тот момент преступление совершалось, факт, потому что утром на следующий день, 1 января, когда я, добравшись со своим багажом до пирса, ждал посадки на каирский пароход, ни Трилипуш, ни Финнеран так и не появились. Я стоял на пирсе и рассматривал чуть не под лупой каждого пассажира, который поднимался по сходням, пошатываясь. Я ждал до тех пор, пока стюард последний раз не объявил, что пароход отчаливает, затем попросил его проверить список. «Да, сэр, Финнеран и Трилипуш заказали места и оплатили билеты, но на борту их нет». Уже не помню, обрадовался я или испугался. Оставляю это вам, Мэйси, опишите сами. Судно уплыло без меня, я оставил багаж у портье и снова с головой ушел в работу.

Я нанял мальчика следить за пирсом, послал еще одного на вокзал и поспешил в полицию, где поставил инспектора перед неоспоримым фактом: куда-то делись два человека, и не в 1918 году, а буквально сегодня, американец и англичанин, гости Египта, археологи, пропали без вести — уже официально. (Иногда для того, чтобы сдвинуть с места неподвижное тело, которое загораживает путь, достаточно немного приврать. У страха глаза велики.)

Прилагаю маленькую вырезку из «Луксор таймс» от 11 февраля 1923 года, «Австралийский детектив помогает полиции Кены». Тогда эта газета, серьезная и авторитетная, выходила, кажется, раз в три дня. Заметка недлинная, но в ней довольно точно описано, чем все тогда закончилось. На скромном рисунке — Гарольд Феррелл образца 1923 года во всей красе.

Я отвел полицейского в Трилипушев особняк (жившие там журналисты поздоровались и сказали, что ничего не знают), а потом к реке. На полицейском мотоцикле мы быстро оказались на том берегу. На этот раз еще в четверти мили или того дальше от Трилипушева участка мы с полицейским нашли патефон с именем Трилипуша на крышке. Странный знак: прибор стоял на тропе, одинокий патефон посреди пустыни. На нем имелась пластинка, я переписал название: «Сижу на качелях, садись, дорогая». Еще через сотню шагов мы на-

ткнулись на кострище с обгорелыми лохмотьями одежды. Что-то деялось, что-то очень нехорошее. Я повел инспектора назад вдоль склона, вывел в Долину царей на Картеров участок. Там я спросил Картера, видел ли он Трилипуша или Финнерана за время, прошедшее с нашей с ним беседы. Не видел. Инспектор вызвался опросить Картеровых рабочих, не знает ли кто из них чего про Трилипуша. Им задали этот вопрос, и тут один из них, абориген, признался, что даже *работал* на англичанина весь ноябрь месяц — а что такого? Мы отвели его в сторону. Этот египтянин, физически крепкий, лысый парень лет тридцати — тридцати пяти, подозрительно оправдывался. Он рассказал, что покинул экспедицию Трилипуша в конце ноября, потому что она точно провалилась, и утверждал, что не видел англичанина с 25 ноября, когда перешел работать к Картеру. Он говорил, что про Финнерана ничего не знает, даже о нем и не слышал. Мы записали его имя и адрес, и он снова пошел копать.

Дальше события развивались очень быстро, Мэйси, следите внимательно. У меня было две версии, которые, хочешь не хочешь, нужно было работать одновременно, потому что время утекало с бешеной скоростью: (а) я потревожил Трилипуша и Финнерана своим дознанием, и они под покровом ночи сбежали, Финнеран в Бостон с золотом, а Трилипуш туда, где я со своим расследованием убийств Марлоу и Колдуэлла его не достану, ИЛИ (б) на них напал тот, кто знал, что они нашли золото, и — вуаля, преступление совершилось. Следовало учитывать обе возможности, хотя возиться с версией А, как потом выяснилось, было совсем не обязательно. Мои люди не переставая следили за вокзалом, еще я телеграфировал в каирский отель, чтобы они дали сигнал тревоги, когда и если мои подозреваемые там у них появятся. Потом мы вернулись в полицейский участок, и инспектор наказал своим людям смотреть в оба за всеми, кто напоминает Трилипуша и Финнерана и, возможно, перемещается с большим багажом, который не захочет открывать по требованию полицейского. Коли такие люди найдутся, следует учесть, что они очень опасны.

Но, как я уже сказал, нужды в этой суете не было никакой, поскольку инспектор вдруг нашел дело того черного, с которым мы говорили на Картеровом участке и который работал на участке Трилипуша. Оказалось, что на предыдущем месте работы на паровой линии Каир — Луксор он ввязался в драку! После той потасовки его арестовали, потом отпустили, а с парохода все равно уволили. Это было в конце октября, после чего он и пошел к Трилипушу, который, уж конечно, был счастлив нанять на работу известного бандита. Мы с полицейским немедленно отправились напрямик к аборигену домой. И что бы вы думали? Мы пришли за несколько минут до того, как вернулся хозяин. Он покинул участок Картера в середине рабочего дня, сразу после того, как мы с ним побеседовали, и это очень подозрительно. Мы прибыли как раз вовремя. Пока абориген громко и путано что-то объяснял, его жена причитала, а детки ревели, я нашел у него под кроватью еще один патефон с именем Трилипуша на крышке. А на столе у него стояла неприкрытая тарелка, в которой лежал десяток или больше сигар с черно-серебряными ярлыками и монограммой «Ч. К. Ф.». Все прояснилось. Нашего подозреваемого взяли под стражу во второй половине дня 1 января 1923 года. Убийства произошли в промежутке между нашей с Трилипушем беседой и этим утром. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что алиби нашего аборигена было хилым, чтобы не сказать больше.

Я винил и виню себя во многом из того, что произошло. Кабы за два дня до

того я не дал Трилипушу уйти, он был бы жив и встретил судьбу куда более подобающую, чем убийство от руки собственного бывшего рабочего. Кабы я мог положиться на мою армию следопытов, кабы я смог разыскать на участке раскопок Финнерана, кабы я мог... Честно говоря, не знаю, что бы я сделал. Трилипуш, в конце концов, был убийцей, он знал, что почти попался, и не считал меня защитником, хотя и следовало. Правосудие карает нас, Мэйси, оно же защищает нас. Трилипуш все еще мог избежать ужасного и совсем не очевидного конца, когда бы обратился ко мне. Но гордецы так себя не ведут, они сплошь и рядом предпочитают умереть, а не сдаться.

Полицейские допрашивали египопа (не могу найти в своих записях его имя, позор для историка и тревожный просчет для детектива, признаюсь) жестко, но не преступая закона, и я участвовал в допросах, потому что им могли пригодиться мои знания по этому делу в частности и по преступной психологии вообще. Подозреваемый, что неудивительно, отрицал, что имеет отношение к убийствам, и утверждал, будто Трилипуш подарил ему сигары и патефон в ноябре. Не исключено, сказал один из полицейских инспекторов. Прошло время — и араб принялся рассказывать совсем другие байки, даже признался, что жестоко *избил* Трилипуша (и не один раз, добавил он позже) и украл патефон, словно эта полуправда способна была вывести его из крайне затруднительного положения. Добился он одного: ему перестали верить те немногие, кто из великодушия допускал, что араб невиновен. Позже тот взял свои слова назад, в конце концов его небылицы стали как рагу из несовместимых продуктов. Он фактически признался в совершении убийств (услышать это нетрудно, нужно только уметь слушать), а вот куда схоронил трупы — не сказал. Еще доведенный до отчаяния араб с завидным упорством, независимо от степени жесткости допроса, повторял, что никакого сокровища не было, что Трилипуш так ничего и не раскопал. Налицо было явное расхождение с фактами, ставившее под сомнения все остальные его показания. Но эту ложь араб твердил до умопомрачения, и стало ясно, что он никогда и никому не скажет, где зарыл золото или какому родственнику его передал.

Полиция хотела разыскать сокровища, в этом вопросе она давила на подозреваемого очень сильно. А египоп все говорил мне: «Вы там были? Тогда сами знаете, гробница пустая!» Само собой, Абдул, ты ее и опустошил. Подписывать признание он упрямо отказывался, что, я уверен, аукнулось ему наказанием еще строже. Не надо было малому гоношиться.

С местными властями мне долго возиться не пришлось. Два белых человека убиты аборигеном, как раз когда туристы живо заинтересовались Египтом (благодаря отличной работе Картера). Нерешительность не приветствовалась, и египетские власти, как и американский с английским консулы, остались довольны скоростью, честностью и подобающим приговором.

Что до меня, то пусть мне не удалось ответить с непоколебимой уверенностью на все вопросы моих клиентов и найти хоть один из четырех трупов, но уж в этом конкретном деле я сыграл важную роль: идентифицировал нарушителя, задержал его и предал суду. А английский и австралийский консулы были к тому же признательны мне за мои отчеты о событиях 1918 года.

Да, было бы здорово, кабы мы нашли останки Марлоу и Колдуэлла, тела Трилипуша и Финнерана, а то и преподнесли бы суду на блюдечке этого египтянина, пойманного поблизости от трупов с руками в крови. Но так не бывает,

Мэйси. Нет, коллега, плох тот преступник, который не заставляет детектива поворочать мозгами, чтобы понять, как было дело. А в том, как оно было, нет никакого сомнения, подробности проговаривались на суде и изложены в прилагаемой газетной вырезке: печально известный своей жестокостью и мстительностью абориген (к тому же и небогатый), которого вышибли с речного парохода за драчливость, пристал к белому археологу в надежде, ежели тот что-нибудь найдет, что-нибудь и спереть. Когда экспедиция зашла в тупик, он бросил этого белого и пристал к другому. Позже убийца узнал, может, до него дошел слух, пронесшийся по Картерову лагерю после того, как Картер побывал на Трилипушевом участке, что неудачная экспедиция обернулась жутко удачливой. Абориген вернулся и разнюхал, что добычу охраняют двое мужчин, один из которых к тому же ранен. В промежутке между моей беседой с Трилипушем 30 числа и утром 1 числа, когда они с Финнераном должны были отправиться парохомом на север, египтянин их подкараулил, убил, сжег их одежду, избавился от тел и спрятал сокровища. Когда бы он не был так глуп и не попался бы на патефоне и сигарах, безделицах в сравнении с упрямой добычей, — мог бы избежать правосудия. Тот факт, что ему требовались подельники, особенно для транспортировки и припрятывания сокровищ, нельзя было отрицать. Но он его все-таки отрицал.

Зачем бы преступнику до конца все отрицать, особенно когда ему грозит солидный срок заключения? Вернувшись в Каир, я встретился там в клубе с одним парнем, так он сказал мне, что в истории египтологии было много подобных случаев. Современного египтянина исторические аспекты зарытого под землей золота не интересуют, он знает только, что сокровища — это деньги. Аборигенские семьи частенько тайно выкапывают археологические богатства и затем сбывают их малыми долями и подолгу (иногда десятками лет). Они думают (наблюдая за белыми, которые на Египте просто помешались), что под землей лежат банковские вклады, которые можно тратить, когда припрет. Убийца Трилипуша пошел в тюрьму, сознательно прикрыв друзей и семью, намеревавшихся много, много лет жить на доходы от несметных сокровищ из могилы царя Атум-хаду, которые продавались потом через секретные дыры в заборах.

А в поезде Каир — Александрия мы с моим напарником Мэйси обсуждали совсем другой вопрос: кто *имел право* на сокровища Атум-хаду? Трилипуш, убивший из-за них Пола Колдуэлла и Хьюго Марлоу? Или Честер Кроуфорд Финнеран, оплативший Трилипушево открытие? Или Джулиус Падриг О'Тул, который дал Финнерану эти деньги? Или же ближайшие родственники Пола Дэвиса-Колдуэлла и Хьюго Марлоу? Гектор Марлоу и Эмма Хойт? Думаю, наследники египетского убийцы имеют на сокровища столько же прав, сколько и все остальные в этом грязном деле. Я не особенно теребил власти, чтобы они взяли и за этих людей, так сказать, трясли бы дерево до тех пор, пока сообщники не посыплются на землю. Опять-таки, только деньги и сводят людей с ума, так оно всегда бывает. А заплатить пришлось четырем трупам, отвергнутой молодой женщине, человеку в тюрьме и разбитым сердцам от Сиднея до Луксора и от Лондона до Бостона. Деньги, Мэйси, влияют по нарастающей. Коли уж они толкают людей на что-то, те с готовностью сигают вниз с обрыва.

Само собой, я требовал с клиентов весь гонорар, все расходы — с наследников Дэвиса, с Томми Колдуэлла, Рональда Барри, Эммы Хойт, четы Марлоу,

О'Тула — и отчитался перед ними, как мог, сказав им то, что им нужно было знать. В конце июля 1923 года я вернулся домой в Сидней — через год с лишним после того, как уехал. Особенно много про дело не писали, вот разве что «Луксор таймс». Не могу сказать, что не был разочарован странным равнодушием мировой прессы.

Однако же правосудие восторжествовало, истина выплыла наружу, согрешившие были наказаны. Для меня это было, само собой, главное приключение в жизни, одно из самых заметных дел в моей карьере, венец моей дедукции и лучшее расследование в пору расцвета умственной деятельности. Я объездил весь земной шар, побывал в домах богатых и влиятельных людей, видел мужчин и женщин всякого общественного положения, все они жили, повинувшись одним и тем же универсальным импульсам. И никогда, задумываясь над увиденным, я не удивлялся, а если и удивлялся, то не вразумительно. Мотивы иногда скрыты, но их очень немного. Люди — открытые книги, нужно только научиться их читать. Когда умеешь, это тебе и проклятие, и удовольствие. Коли будете долго и прилежно изучать человеческую природу — неизбежно этого достигнете. Как каждый хороший детектив.

Надеюсь, я обрисовал все линии и логику дела достаточно беспристрастно, и вы теперь сможете дописать свою «семейную историю», дополнив ее для наших читателей.

Я оглядываюсь назад, и мне, честно говоря, слегка не по себе — уж очень много времени я потратил на рассказывание этой истории. Я, мой друг, уже выбрал следующее наше дело, и когда бы у меня был магнитофон и микрофон, я бы запросто наговорил его на пленку. Не думаю, что расходы будут слишком уж высоки. Ежели бы вы вложились в это дело, мы бы потом поделили расходы по нашему партнерскому соглашению. Жду, что вы на это скажете. Ожидаю вашего ответа. Готов начать сразу же, как только вы напишете. Наши читатели ждут. Время поджидает.

Ваш у адских врат,

*Феррелл*

Мисс Маргарет Финнеран

Авеню Содружества, 2

Бостон

25 января 1923 г.

Моя дорогая мисс Финнеран!

В связи с тем, что в осеннем семестре сотрудничество мистера Трилипуша и Гарварда подошло к концу, я беру на себя смелость переслать вам почту, скопившуюся в его кабинете за время его затянувшихся странствий по Египту, а именно: шесть египтологических и археологических журналов; личная баннероль из Англии; два письма из музеев; несколько записок студентов (незапечатанных). Если вы будете столь любезны передать их мистеру Трилипушу по возвращении его из Египта, то избавите всех нас от волнений и неприятностей.

С наилучшими пожеланиями в связи с приближающимся бракосочетанием с великим человеком,

*К. тер Брюгген кафедра египтологии*

ЛИЧНО для профессора Р. М. Трилипуша  
Кафедра египтологии  
Гарвардский университет  
Кембридж, Соединенные Штаты Америки  
29 сентября 1922 г.

### Мой дорогой Ральф!

Мой сегодняшний день был на редкость безотраден (и это — один из тех редких солнечных дней, которыми наш переменчивый, если не сказать сволочной, Отец Небесный награждает нас в последнее время). Я был вынужден провести совершенно выматывающий час или два в компании маленького прыщеватого австралийца, на голове которого обретается нелепейший оранжевый мех. Когда он ушел, я тотчас схватился за перо и бумагу: он был столь любезен, что дал мне твой адрес в славном и милом Гарварде. Гарвард! Сколь благородно! Разумеется, для учеников старого Баллиола вроде нас с тобой он чуток провинциален, нет? Сдается мне, Марлоу давал Гарварду весьма забавные прозвища. «Последнее прибежище нетрудоспособного»?

Кажется, я тебе соврал, дорогой: когда он ушел, я не хватался за перо или бумагу. Я подождал, пока он явственно и бесповоротно не выйдет из здания, после чего какое-то время рыдал. Я более не склонен к истерикам, Ральф, и уже с давних пор, но маленький жалкий мистер Феррелл из породы скучнейших детективов подтвердил мои худшие опасения. Нет, ничего такого, чего я не подозревал уже много лет, но одно дело — знать нечто, и совсем другое — об этом *знать*, если ты понимаешь, что я имею в виду. Когда я увидел твою бесподобную книгу с посвящением родителям Хьюго, я узнал то, о чем ты, разумеется, знал уже годы, чего я каждодневно боялся, во что тщетно старался не верить.

Остынь, голуба, я уже вижу, что ты в горячке и не находишь себе места. У меня есть повод горевать и негодовать, но по-настоящему жаловаться, если уж говорить начистоту, не на что. Нет никакой радости в том, чтобы, разрывая на себе одежды, выложить все унылым родителям Хьюго и участковому констеблю. Насчет меня можешь не волноваться — ты свободен. До тех пор пока мы с тобой не встретимся живьем, я могу представить себе его лицо на твоём и уверять себя, что он живет в тебе; однако хочу кое о чем тебе поведать — до того, как ты совершишь еще больше непоправимых ошибок. Я очень не хотел бы, чтобы создание Хьюго уже в скором времени встретилось со своим божественным создателем. Начать с того, что невыносимых родителей Хьюго зовут Гектор и Регина, пусть наш Хьюго неизменно уверял нас в обратном. Присядь, ангел мой, тебя ждет более чем удивительная история.

Я, пожалуй, сейчас переборщил с Ферреллом, но он, ей-богу, сам на это напросился. Обычно моих более консервативных гостей ожидает прием мягкий и невинный, но этот отвратительный австралийский фермер как вошел, так сразу стал намекать на Уайльда и иже с ним, непозволительно иронизировал, всячески подчеркивал, что ему вот нравятся женщины. Если бы меня не разбирало любопытство услышать, что ему известно о Хьюго и о тебе, я бы избил его до полусмерти, одел бы в юбки и вышвырнул на улицу. Я, однако, разыграл перед ним образцовый спектакль. Готовясь дернуть за вельветовый шнур, который вел всего лишь к портьеру, я спросил его, не желает ли он «к своему кофе не менее крепкого арабского мальчика». Глядя на его лицо, я впервые за



несколько недель позабавился.

Кроме всего прочего, я ныне самую малость *triste*, [22] поскольку годами хранил письма, которые вложил в этот конверт, — невзирая на домогавшееся их семейство Хьюго и нашу пошлую ищейку-антипода. Но зачем они мне теперь? Это тебя вывели из Египта, не его.

В последние годы я стал невозможно скучен. Для лондонской молодежи я, наверное, герой, а между тем только и делаю, что сижу в своей квартире и старею. На днях ко мне пришел приятель по Баллиолу и по праву меня выбрал, сказав, что я превращаюсь в пожилую женщину из романа Бальзака. Ты читал Бальзака? Хьюго говорил, что в своей области ты маньяк, а остальным почти и не интересуешься. Но жизнь куда... Не слушай меня; какое право я имею требовать от тебя расширять кругозор, когда мой собственный свелся к нескольким письмам мертвого солдата.

Я прикладываю пять из них. В этих письмах ты найдешь все, что тебе нужно знать, кроме, я полагаю, сведений о том, когда и где все это началось. Видишь ли, изначально в Оксфорде он был долей шутки, некой прозрачной маской, именем всеобщего знакомца, которое мы все могли использовать в переписке с *матерами* и *патерами*. В наших кругах считалось за догму положение о том, что мы неизлечимы, хотя еще встречались среди наших угрюмцы, которые пытались сопротивляться, проклясть собственную суть, поступали так, как того требовали наши пожилые родители, и обращались к какому-то омерзительному лондонскому врачевателю с Харли-стрит, который предписывал психоанализ, душ, путешествия и бокс. (Я спросил его: «Как насчет борьбы, радость моя?») Казалось, все родители знают одного и того же докторишку; как так выходило — до сих пор не пойму. В любом случае однажды, когда наш маленький клуб собрался на обед в нашей квартире, самый смелый из нас — это был, разумеется, Хьюго — встал и сказал: «Что с вами, девочки? Зачем вы им покоряетесь? Я отказываюсь лечиться. Может, это им требуется лечение?» Очаровательно было представить себе, как наши беспокойные отцы взыскуют исцеления от женофилии у деликатного доктора, которого выбрали мы. Ты знаешь, мы все любили Хьюго. Я никогда не владел им безраздельно, даже в то время. Но он во многом являл собой то, чем я желал стать. Женщины на Хьюго, разумеется, и не смотрели, он был создан не для них, двуногие животные чуяли это за много миль. Моя же внешность всегда сбивала их с толку, они подходили ко мне, роняли томики Джейн Остин и многозначительно заглядывали в глаза.

«Так вот — я отказываюсь!» — сказал наш Хьюго. Не все молодые члены клуба были столь же храбры, потому Хьюго предложил всем довести до сведения семей, что мы уже вылечились, нам куда лучше, большое спасибо, мы всерьез подумываем сделать предложение девушке из хорошей семьи, с которой недавно встретились на вечеринке. Мы решили назвать ее... Странно, не могу вспомнить ничего, кроме Гвендолин, но это не то. А главное, дорогие мама и папа, мы повстречались с замечательным человеком, мы с ним теперь великие друзья, именно такого друга всегда надеешься встретить в Оксфорде, и, если я соберусь с духом сказать той девушке, что она умопомрачительная, он будет стоять рядом. Ну вот, он был такой... гибкий, в этом заключалось его обаяние: он делал все, чем родители, по твоему мнению, восхищались. Если они или та пиявка с Харли-стрит набрались смелости сказать, что пора бы оста-

вить прежний круг друзей, заверь их, что проводишь минуты досуга в обществе славного парня, потрясающе надежного, отменно воспитанного, он бегал в этом сезоне как Гермес и греб как Одиссей, он будет первым по египтологии (Хьюго настоял, чтобы тут мы не путались), он обручен с леди Тратата, собирается вернуться в Кент, восстановить семейный Холл и заняться наконец делами поместья, показать местным деревенщинам, что такое фермер-джентльмен двадцатого века, ну и все такое прочее на твое усмотрение, а точнее — на усмотрение твоих родителей. Для парней, у которых с фантазией было туго, Хьюго создал его обширное жизнеописание, он даже велел нескольким из нас сфотографироваться в спортивных костюмах рядом с человеком, похожим на него. Мы ходили к Хьюго советоваться: «Мать желает через месяц встретиться с ним. Что мне делать?» Хьюго все улаживал, успокаивал нас, сочинял потребную небылицу — и наши родители дышали спокойно. В школе мы подцепили дурную привычку, но в университете от нее не осталось и следа.

Я до сих пор не понимаю, что же произошло в пустыне в тот ноябрьский день. Я знаю, что Хьюго намеревался сделать, дорогой Ральф. Надеюсь, старик, ты его за это простил. Можешь ли ты его винить? Не более, чем я могу винить тебя за итог. (Или себя: Хьюго неверно истолковал мой совет.) Может быть, ты мне напишешь и вспомнишь прошлое? Полагаю, ты задолжал мне капельку покоя.

Любил ли ты его хоть немного? Приходится думать, что да. Могло ли быть иначе? Мог ли он не вызвать любовь? Особенно в человеке, чье сердце хоть чуточку да открыто, в тебе, который не осмеливается произносить свое имя. Ты был последним, кто его знал. Ты мог бы написать мне о Хьюго и о войне, рассказать о его житье-бытье.

Итак, получив эту связку писем, ты сразу многое постигнешь. Только не переставай быть собой! У этой сказки совсем другая мораль, слышишь? Нет, я не хочу тебя расстраивать, Ральф, не более, чем я хочу тебя прищучить или призвать полицейских порыться в наших жизнях. Я просто даю тебе знание, которое тебе нужно нести в себе — потому что, в конце концов, ты — плод нашей любви, дорогой мальчик, и ты не должен затеряться, твой затянувшийся успех делает нам честь. Ты — образ и подобие Хьюго во плоти, Адам, переживший его, но действующий по его завету. Пожалуйста, Ральф, старина, живи дальше во что бы то ни стало, твой Создатель тобой гордился, даже если в минуту слабости и пытался тебя уничтожить. Такое случается с богами. И когда до меня доходят вести о твоих успехах (вроде этого чудного сборника непристойностей, который Хьюго приветствовал бы от всего сердца), я говорю себе, что в твоём лице Хьюго все еще ходит по земле, что он живехонек, как когда я обнимал его в последний раз.

Он изготовил тебя из обрывков ткани и набил конским волосом с одной лишь целью — чтобы меня позабавить. Чем бы ты для него ни был, пусть даже он не счел нужным мне об этом сказать, это все ничто в сравнении с тем, чем были мы, с тем подарком, каким он меня одарил, когда создал тебя. Ты — его гиньоль, твоя сцена — весь мир, нити твои тянутся в изысканно *louche*[23] рай. Могу вообразить, мой безымянный мальчик, что сегодня ты изъясняешься как Хьюго, насколько это в твоих силах. Комкаешь ли ты «доброе утро» в «дбrrrrрое трро»? Называешь ли людей Свенами, когда не можешь вспомнить, как их зовут? Травишь ли женофилов, зовешь ли их «голуба»? Конечно, ты так

и делаешь, голуба.

Только одно: окажи поклоннику услугу, вспоминай время от времени о том, что погибло по твоей милости в далекой пустыне. Я искренне надеюсь, что ты не был жесток.

Твой почитатель,  
Б. Квинт

16 января 1918 г.

Мой дорогой Бевви!

Если ты в своей старой серой Англии коротаешь безотрадные дни, тоскуя по чему-нибудь веселенькому и живительному, я припас для тебя небылицу, которой хандра убоится: я тут... ой, ай! Неужто тебе через плечо заглядывает надзиратель, а то и два? Нет-нет, не беспокойся. Я офицер и найду способ избавить это письмо от чужого внимания. Мой раненый знакомец как раз отправляется домой, ему-то я и вручу конверт. Доверься своему Хей-хей.

Так перейдем же к делу: меня *шантажируют*, и это, должен тебе сказать, восхитительно. Хоть какой-то просвет в здешнем моем снулом и снотворном существовании. Я уж думал, что ошалею, допрашивая очередную туземную старушку, подозреваемую в том, что она как-то там сносила со страшным нашим Противником — как будто египтяне все как один, от смуглого младенца до морщинистого работяги, не наши союзники и не приходят от этого в *дикий восторг*. Нет, не то чтобы я жаловался. Благодаря своей работе я очень прилично заговорил по-арабски — правда, своеобразно. На правах единственного допрашивающего я могу свободно задавать более *recherché* вопросы свежим, молоденьким и трепещущим изменникам.

Однако же — моя история.

Ты об этом вряд ли знаешь, но наше удаленное от благ гигиены обиталище расположено в сорока милях от задворок, называемых Тель-эль-Кебир. Там имеется колония антиподов, праздник жизни вальсирующих матильд и прочих побродяг, тех остатков, которых не отправили растекаться внутренностями по Босфору, на что, у меня нет ни малейшего сомнения, имелись очевидные и блестящие стратегические резоны. По большей части их, разумеется, избегают, впрочем, не все их офицеры — завязтые овцелюбы, и временами нам велят к ним прислушиваться, в основном на грозных военных совещаниях, когда измышляются дьявольски хитрые акции, заставляющие коварного фесконосного врага разевать рот от удивления. У меня даже случилась неделя поста среди этих странных сумчатых, я же, как мы тут говорим, офицер *связи* — в наименее занимательном значении слова из всех, что могут придумать в армии. Суть в чем: один из этих милых молодых перевернутых парней застал меня в положении, достойном отдельного холста.

По возвращении из лагеря землекопов прошло несколько недель, и я уже выбросил их из головы. Однажды вечером — точнее, ночью, да такой, в какую весь этот маскарад обретает смысл и ты почти благодарен королю за то, что он нашел в расписании дырку для ссоры со своим кузеном, — я покинул базу и поехал на *rendez-vous*, которое назначил у возлюбленных пирамид в Гизе. Путь до них далек, но если ночью ехать на мотоцикле, виды очень даже ничего.

Декорации поданы, Бев: лунный серебряный диск совершенно очарова-

тельно пронзаем кончиком пирамиды Хеопса, будто на пику насадили голову. Истощенные черные тени трех пирамид спрятались за свои желто-белые «я», выставляя пустыню доской для триктрака. Я заглушил двигатель и пошел к пирамидам, которые в этой черно-серебряной ночи были просто непристойны, словно зазывали меня на свидание. Ожидаемый мною гость запаздывал, и я был посреди древней пустыни один-одинешенек. Три красотки-гордячки вместе со своим безносым сутенером звали меня в пески, где мы могли остаться наедине. Вскоре прибыл мой долгожданный — туземный мальчик, которого я в тот день допрашивал, невинный паренек, зачем он во все это ввязался — бош его знает. На дознании я, единственный знаток арабского, сказал ему, что лучший способ избежать будущих ссор с суровыми английскими повелителями — прогуляться со мной ночью меж пирамид. «Его превосходительство оказывает мне слишком большую честь», — заявил этот соquette. «Чего он говорит?» — спросил сержант. «Говорит, что слушает и повинуется». — «Ага, конечно. Маленький черный ублюдок», — брюзжит старина сержант, и я заверяю его, что запишу имя мальчика и накажу своей легендарной шпионской сети не спускать с него глаз.

Итак, мы расположились в тени великой пирамиды, мой допрашиваемый и я, мы сами стали великой пирамидой... и тут я услышал рык мотора еще одного мотоцикла — кажется, удалявшегося (чертово эхо!). Через минуту или две я посмотрел вниз и обнаружил, что стою уже не в тени (чертова подвижная луна!), а скорее на песке, выбеленном лунным светом; спустя секунду я услышал, как кто-то прочищает глотку, и из темноты вышел маленький рядовой (а мой собственный маленький рядовой в это время оставался в своем укрытии).

Даю бесплатный совет, Бев: если однажды окажешься в точно такой же ситуации, не паникуй и не выказывай слабость. Мои бедра все еще гуляли туда-сюда под луной, хотя туземная подставка хныкала, выкатив глаза, а ее несущие опоры, которым полагалось упираться в стену пирамиды, прогибались. Я рывкнул на вторженца по-арабски, советуя ему убираться подобру-поздорову, когда с ним разговаривает вооруженный до зубов египетский джентльмен, которого отвлекли от ежевечернего моциона: «Назови свое имя, проклятый пожиратель свинины!»

Он спокойно ответил на английском с австралийским прононсом: «Генерал Алленби».

«Хорошо же, — отчетливо сказал совокупающийся Марлоу по-английски. — Где твоя бумага с разрешением находиться вне базы в неурочный час? Подписанное разрешение на использование мотоцикла есть? — Ты бы гордился моими крутыми сержантскими манерами, Бев, а я ведь еще и бедрами двигал в ритме военного марша! — Имя! — Он поспешил отдать честь и представиться. — Ты меня не дослушал. Я приказываю тебе немедленно вернуться обратно на базу!»

«Да, са-а, капитан Марлоу, са-а, сию секунду, са-а!» Упоминание моего имени, как ты понимаешь, немного меня охолонило, и, если бы мне достало сообщения или уверенности в себе, я бы шарахнул как следует из своей пукалки, достал бы «вэбли», пристрелил землекопа, спокойно закончил свои дела и позже как-нибудь все объяснил. Я слышал, как он смывается на мотоцикле, переоседлал свою лошадку в тени и постарался обо всем забыть.

Признаюсь, на следующий день при мысли о последствиях мое сердце билось тревожно. Однако мой мучитель терзал меня совсем недолго: не успел денщик сказать, что снаружи ждет явившийся по моему требованию АНЗАКовец, как в палатку вперся подлунный скотопас. «По моему требованию?» — недобро повторил я, отослал денщика и сел самостоятельно наматывать портянки.

«Мне кажется, этой ночью вы были мной недовольны, са-а».

«Да нет, в общем-то. Вы, австралийцы, отличные солдаты, вы сами это доказали. Какое уж тут недовольство. Что-то еще?»

«Если позволите, са-а... разрешите обратиться, са-а... что больше всего впечатляет вас в австралийских солдатах?»

Я покончил с портянками, снова пересел на кровать и вперил взор в маленького паршивца. Тот воинственно глядел в пространство, где, я уверен, видел небо в алмазах.

«Полагаю, национальная австралийская скромность, да?»

«Это наш девиз, са-а».

«Ясно».

«Са-а, если позволите, интересно отметить, что древние египтяне так ценили именно эту черту, скромность, что воины именно за нее получали продвижение по службе».

«Забавно. Не припоминаю, чтобы читал о чем-то подобном».

«Нет, са-а? В государственных школах Австралии ужасно плохо учат, са-а, оттого я предпочел изучать все самостоятельно».

«Понятно. Да, может быть, ты и прав. Древние культуры в конечном счете открыты для толкований, ты не находишь? Я проверю твои слова, может быть, свяжусь со старым доном. Что-нибудь еще, рядовой?»

«Записать мое имя, са-а?»

«Я думаю, в этом нет нужды».

«Очень хорошо, са-а, к вашим услугам, са-а».

Бев, ловушка захлопнулась. Я придушил свою гордость и через пару дней, оказавшись по делу на австралийской базе в Тель-эль-Кебуре, сказал командиру соответствующей роты АИА, что один из его илотов, немного владеющий арабским, очень пригодился на ряде проведенных мной контрразведывательных допросов и что это, конечно, не мое дело, но парень заслуживает произведения в младшие капралы — если у них имеется столь возвышающая вакансия. Я заплатил дорогую цену: был питан рассказом о капитановой невесте из Мельбурна и восторженно заохал, когда показалась фотография невыразимо гадкой, омерзительнейшей из женщин за всю историю их пола. Или то был бритый кенгуру в юбке?

Вот и кончается душное приключение мое, Б. Теперь, надо полагать, мне ничто не грозит, и о противном Свене родом из задницы земли я более не услышу. Впрочем, не удивлюсь, если он потребует за дальнейшее скромничанье еще несколько пиастров; однако ему должно прийти в голову, что в моих силах превратить его жизнь в ад, отправить в какую-нибудь разбойную глухомань, а то и на верную смерть.

Другие прекрасные новости из района, где человечество предпринимает великую попытку навязать миру мир: на той неделе я наткнулся на базаре на удивительную штуку, с трудом верится, что меня не надули. Я купил эту шту-

ку, потому что выглядела она очень убедительно, куда лучше, нежели обычные несообразные подделки. До конца я ее не расшифровал, но уже ясно, что вещица эта рискует пролить свет на одну из сокровенных египтологических тайн. Разумеется, когда я снова приперся на базар, продавца я не нашел, так что подлинность и происхождение штуки обречены вечно оставаться под вопросом. Ты не мог бы оказать мне услугу, Бев? Спроси нашего дорогого тряско-го Клема Векслера, как бы получше упаковать и переправить ему такой вот «древний документ». Будь лапой, напиши мне сразу, как он ответит, это дело первоочередное. Да, и еще, Бев, мои письма к тебе никто не прочитает, а вот к твоим вряд ли отнесутся с равным пиететом. Выражайся благоразумно, мой дорогой друг.

Бесподбородочно твой,  
Хей-хей

23 апреля 1918 г.

Бев, пустоголовый ты человеколюбец!

Давай обойдемся без несообразных девочкиных сцен по поводу того, что я делаю и о чем тебе не пишу? Не читай мне нотации о своих новоприобретенных достоинствах — я ни слову твоему не поверю. Я, дорогой друг, буду писать о том, что меня забавляет и что, мне кажется, позабавит тебя. Мои способы ведения контрразведывательных операций не менее разумны, нежели те, что применяются сплошь и рядом. Никто из моих юных туземных агентов не вступал в контакт с Противником, в этом я абсолютно уверен — я их слишком хорошо кормлю; эту превентивную методу хорошо бы взять на вооружение каждой службе безопасности. Я не буду подвергать себя цензуре и беречь твою, как ты ее неубедительно зовешь, *чувствительность*. Думаешь, я пишу такие же письма Тео Грэму и прочим прежним нашим сотрапезникам? Разумеется, нет. Ты — мой единственный настоящий *корреспондент*. Я никогда не требовал от тебя превратиться ради меня в серого доминиканца (полагаю, и они, в отличие от тебя, частенько идут на поводу у наслаждения, резвятся с монашками и слабоумными пейзажными мальчиками, угрожая адским огнем, если те проболтаются).

Что там, черт тебя дери, с Векслером? Ты так спешил излить свои жалобы (весьма нескромные!), что не успел сделать то, о чем я тебя просил. Сейчас же беги к нему через весь город — вдруг он окончательно угаснет, распадется в серый порошок и служанка выметет его из дому? Скажи ему следующее: «Хьюго нашел один п., который, возможно, доказывает правоту Гарримана и Вассалья, он хочет отослать его вам в целостности и сохранности. Что делать?» Не забудь вопросительную интонацию, иначе он решит, что ты над ним издеваешься, и вышвырнет тебя вон.

Что до иного моего начинания, то все выходит страшно чудно. Если помнишь, я остановился на том, что устроил своей матильде повышение по службе и после стал ждать, когда же она заявится просить денег. А она все не шла. Я уже понадеялся, что мы радуемся новому чину, гордо кажем миру свои нашивки младшего капрала и по-младокапральски подвергаем наказанию всякого, кто это наказание заслужит или по крайней мере получит от него удовольствие, но не тут-то было; однажды утром я получаю невразумительное послание от австралийского сержанта, забавного парня, отвечающего за кара-

ул у главного подъезда к лагерю. Сержант вежливо осведомляется, мол, если я постоянно, в любое время дня и ночи посылаю нашего новоиспеченного младшего капрала на контрразведывательные задания, не имея, по понятным причинам, времени на выписывание пропусков, может быть, просто издать единожды приказ, с которым мог бы сверяться всякий сменный часовой? Загадочно. Я велел денщику обшарить все и сыскать мне моего любимого австралийца, и вот вечером наш колонист является. Со времени нашей последней встречи, объясняет юный Свен с ухмылкой, он завел привычку покидать лагерь когда заблагорассудится и использовать в качестве пропуска мое имя. «Разведздание по приказу капитана Марлоу! — сообщает он караульной службе, разъезжая туда-сюда на реквизированном с той же отговоркой мотоцикле. — Разрешение получено у капитана Марлоу!» Нахальство, согласишься, запредельное. И что, ты думаешь, он делает на заданиях? Ходит по гуриям и по пивным? Ни черта подобного: он, понимаешь ли, полдюжины раз ездил... секунду, Бев, секунду... *изучать памятники архитектуры!* Он побывал на археологических раскопках, хотел увидеть тех немногих, кто еще копается в земле, не отвлекаясь на взрывы и военную дребедень. «Разрешите сказать прямо, са-а!» — мычит он. Конечно же, разрешаю, голуба моя, только не ори так громко. Бев, приготовься: наш маленький австрал *влюблен* в Египет и египтологию, он от них без ума. И он здоровьем любимого коалы клянется, что ему больше *ничего* от меня не надо, только поговорить о Древнем Египте. «Я в этом полный профан», — сказал я. Но нет, он знает обо мне все; вообрази, что со мной случилось, когда он это сказал. Он знает, что в Оксфорде я изучал фараонов и что я намерен «вернуться, закончить образование и стать профессором в университете», сказал он с блеском в очах. И, потупив взор, признался, что подходил ко мне *до* той нашей встречи в пустыне, в Тель-эль-Кебуре, когда я провел там неделю; хоть убей не помню. В общем, я его даже и не заметил, тогда он начал повсюду ходить за мной, даже сбежал из лагеря и поехал к нашей базе, чтобы той роковой ночью снова мне представиться. Увидев, что я уезжаю, он решил, что я отправился «на прогулку, дабы насладиться несравненной красотой пирамид Гизы», и поехал следом. Все это он рассказывал с таким видом, будто я должен его похвалить.

Докучливая история; а какого дьявола ему от меня надо *теперь?* Того, чего желает всякий обычный шантажист: уроков среднеегипетского языка. Трепеща от желанья продемонстрировать мне глубину своих познаний, он берет с моего стола перо и бумагу, чтобы показать: он уже знает иероглифику, иератику и демотику. Сам всему научился, утверждает он (ты все-таки лучше присядь, Бев), по книгам из австралийской библиотеки; а заведовала библиотекой его первая любовь, женщина, погибшая при трагических обстоятельствах, испустившая дух у него на руках. А сейчас он просто хочет обсуждать со мной историю царей. Короче, Бев, меня шантажом принуждают быть наставником антипода, самоучки, вдовца и будущего египтолога с преступными наклонностями. Обычное дело, ты видел десятки таких людей. Скажи, если я тебе наскучил, любовь моя.

Мой ученик абсолютно *naif*, [24] но память его обнаруживает странные глубины, бездонные озера знаний о Египте, разделенные обширными пляжами невежества. Он об этом осведомлен и желает, чтобы земли были затоплены равномерно. Пока мы будем над этим работать, он желает изучить еще и араб-

ский, который уже начал мучить без посторонней помощи.

Он уже приходил в мою палатку трижды, Бев, а между нами сорок миль! Вот где любовь к знаниям! На меня он взирает благоговейно. Оксфордские истории вводят его в транс, он превращается в очумелую кобру, впавшую в экстаз от трелей черномазого флейтиста. Я нежно шепчу: «Баллиол» — и он почти лишается чувств, не настолько, впрочем, чтобы я смог испытать на нем более приятные педагогические методы. Разок-другой я пытался (сбился уже со счета), это было бы забавно и к тому же освободило бы меня от наброшенного юным школяром аркана. Спокойствие, Бев, с тем же результатом можно бросать семя в пустыню: «Вы так да-абры, каптан, но я не ха-ачу тратить ваше время, нам нуж па-агаварить о сырь-о-озных выщцах». Чудовище. Имей я твою внешность, мы бы, разумеется, зашли далеко.

Напиши мне о том, что происходит дома. Как там времена года? Всплывает ли мое имя в разговорах, или со мной покончено? Есть ли куда возвращаться? И, ради бога, напиши уже, что говорит Векслер.

Твой сумеречный принц Египта,  
*Хей-хей*

29 июля 1918 г.

Дорогой Бевви!

Ужасная потеря. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, спасибо за то, что сообщил мне. Она никогда меня особо не любила, но все-таки: передай безутешной вдове мои искренние соболезнования и скажи, что я ее мужа всегда боготворил. Скажи лучше, скажи так, как ты умеешь. Я не шучу, если отвлекусь от обветшалости и запойности, он действительно много для меня значил. Он был, разумеется, буквоед, поставивший перед собой цель до истечения души из тела произвести по возможности больше ученых, которые думали бы так же, как он. В чем он, я полагаю, преуспел: до отъезда из Оксфорда я видел с полдесятка молодых, которые, желая заткнуть кому-нибудь рот, теребили мочку уха и приговаривали: «Может, и так, может, и так... но я в этом сильно сомневаюсь». Бедный старый Клем. Мне на самом деле нужно было знать, что он посоветует сделать с папирусом, черт тебя дери. Черт его дери.

Однако, Бев, читай дальше! Только я прочел твое письмо, как на урок заявила наша сиротка. (Да-да, он тоже сиротка с выдающейся биографией, вполне себе сентиментальной — *ты*, я уверен, разрыдался бы на месте.) Он моментально заметил, что я узнал нечто скверное. В ностальгическом порыве я принялся беседовать с ним о Векслере, о том, как он преподавал, о том, какие я ему придумывал клички (Ибис Ибид, Сомневаюсь, Старый Педибастет), о наших с ним спорах на разные темы, в том числе о проблеме аутентичности некоторых исторических деятелей, чьи имена ассоциируются с найденным мною артефактом. Разумеется, малыш сидел разинув рот, проникаясь духом школярского братства и тоской по студенческим комнатам отдыха и прочему. Через несколько минут я пришел в себя и готов был начать сегодняшнюю лекцию (религиозные культы фиванских царей), но он перебил меня и просто-душно спросил, как сделать так, чтобы его *приняли в Баллиол*. Этот парень не перестает меня удивлять. «Ну что ж, — сказал я, сама серьезность — Ты получил среднее образование в Австралии? Или все ограничилось посещением библиотеки? — Он молчал. — Боюсь, в твоём случае все не так-то просто, голу-



ба». От него же еще и разит как от потной овцы.

Мы начали наш урок (в ходе которого я излагаю вкратце суть какого-то события или явления и даю ему список литературы, которую он должен прошерстить, если однажды вернется к цивилизации; какие-то книги он, что интересно, уже читал, остальные я ему опять же вкратце пересказываю). Сегодня, однако, прошло несколько минут — и мы снова заговорили о прелестях Оксфорда. То есть заговорил мой питомец, и сначала я потакал и ему, и себе, а потом стал раздражаться и в конце концов сказал, что разговоры об Оксфорде для меня болезненны, потому что всякий раз я вспоминаю о (когда необходимо солгать, его имя приходит на ум почти рефлекторно) бедном Трилипуше, моем лучшем друге, подобно тебе, голуба, сироте, вот уже несколько месяцев как пропавшем без вести в Босфорской операции. (Прости, Бев, что застал тебя врасплох... Впрочем, я разве не говорил? Ральф записался в армию добровольцем и во главе команды широкоплечих бронзовокожих моряков доплыл до Константинополя. Доплыл в буквальном смысле, ты же знаешь Ральфа, он чурался показухи и потому отказался от услуг корабля. Уже несколько месяцев о нем ни слуху ни духу. Помолимся за приятеля.)

Колонист, охочий до любой святой реликвии времен моего жития в оксфордской земле обетованной, затребовал подробностей.

«Он — мой лучший друг по Баллиолу, мы с ним были не разлей вода. Вундеркинд, надежда египтологии, осиротевший отпрыск кентского дворянства, прославленный спортсмен, ученый, гордость баллиольских „египтян“, в скором времени — просвещенный фермер. Мы с ним решили вместе пойти на битву за правое дело и поначалу служили бок о бок, но он рвался в бой, не мог иначе, и вот он отправился помогать твоим соплеменникам штурмовать империю фескоголовых — и пропал, наш славный мальчик...» Я был уверен, что мой ученик понял шутку, увлекся и продолжил вспоминать наши победы, наши университетские шалости, мои и Ральфа, рассказывал о его совершенно незаурядном детстве и блестящей карьере, озвучивал все, что приходило в голову, лишь бы уклониться от скучного урока... и увидел, что этот идиот принимает все за чистую монету. Мне стало любопытно, как далеко можно зайти, и меня понесло: я то и дело преувеличивал, насыщал реальность деталями, которые мы с тобой оценили бы, перестраивал Оксфорд по нашему образу и подобию. Некоторые мои добавления вдохновлялись исключительно тобой — например, рассказ о карликах-прислужниках, которых отбирают сообразно их угодливости, скромности, знанию иностранных языков и скрупулезно ранжированной крошечности.

Наша сиротка-шантажист жаждал все новых и новых подробностей, и я был неутомим. Что мы там ели? Каково осознавать себя «избранными благородными счастливыми»? Бог свидетель, Бев, он так и спросил. Что у меня были за родители, что им во мне нравилось, когда я был подростком, как я «определял, когда они хотят меня выпороть»? Тут мне пришлось труднее некуда. Ты же знаешь моего патера; можешь себе представить, как маленький бессловесный Приап кого-нибудь «порет»? Несмотря на всю свою самообразованность и обогащенные за счет Хьюго познания о Древнем Египте, австрал на самом деле не имеет ни малейшего понятия о том, как устроен мир двадцатого века и кто его населяет. Я спросил его, почему идет война, зачем мы воюем с немцами и турками. Признаться, я и сам не понимаю зачем, но он-то *взаправду* не

знает — бормочет что-то о международных банкирах и капиталистах, но очень неуверенно. Знает ли он, как избирается парламент, как зовут американского президента, на каком языке говорят в Австро-Венгрии, как играют в крикет? Не знает.

Я решил все-таки, что шантаж мне нравится — я отлично провожу время в компании кретина с вилючим хвостом. Полагаю, Бев, на моем месте ты получил бы равное удовольствие. «Значит, до свидания, са-а», — говорит он, потешно делая мне ручкой, собирает свои тетради и списки книг к гипотетическому прочтению и напоследок преданно лупает глазами на личного репетитора из Оксфорда. «К следующему разу я все выучу, не беспокойтесь». Как это мило, голуба моя. Тебе все это пригодится, когда вернешься разводить кенгуру.

Мои тебе поздравления, Б. К., с завершением обучения. Не знаю, думал ли ты о нашей послевоенной жизни, которая однажды станет реальностью. Когда у облеченных властью господ выйдет запас пригодных к истреблению молодых мужчин, Воюющие Стороны возьмут передышку и дадут подрасти молодняку. В промежутке я, разумеется, вернусь к своим ученым занятиям и положу глаз на тепленькое местечко Клема Векслера. Мне потребуется домовладелец-компаньон. Главное требование — ученая степень по литературе лягушатников. Если знаешь кого-нибудь подходящего, имей в виду: у меня свирепый нрав и византийские требования.

Просвещающая массы,  
*Хей-хей*

*15 августа 1918 г.*

Нежно любимый Б. К.!

Я тут чуток подзапутался. Буду рад любому твоему разумному и любезному совету.

До тебя, наверное, дошли душещипательные рассказы о том, как в Люксембурге, и не только в сочельник, по линии фронта заключаются маленькие перемирия на одну ночь: наши с бошами перестают стрелять друг друга, вместе выпивают, обмениваются подарками, напоследок танцуют, а потом отправляются по домам, чтобы наутро снова приступить к рутинному испариванию животов противника. Что ж, не вижу в этом ничего плохого. Точно так же на малопримечательной окраине Каира имеется заведение для обладающих утонченным вкусом джентльменов, культурный аванпост которого я посещал, когда подолгу приходилось допрашивать одних старух и пожилых деревенщин. Управляющие этого заведения, вдохновленные, без сомнения, достойными восхищения примерами святочного траншейного гуманизма, не ущемляют прав своих клиентов вне зависимости от их национальности и политической ориентации. Учитывая кошмарные военные обстоятельства, узниками коих мы оказались, все принимают это как должное. Сейчас я понимаю, что сие заведение открывает широчайшие возможности для контрразведывательной деятельности, которые я обязательно использую... собственно, в прошлые разы я и готовил для этого почву, сейчас это ясно мне как день.

«Честно сказать, наши школьные занятия мне изрядно приелись», — сказал я своему австралийскому тюремщику в приступе честности и злости. Устал быть у него на побегушках, а он вчера вечером опять явился и засыпал меня

вопросами об Ах-эн-Атоне и о моей детской спальне.

«Вам они разве не в радость?» — спрашивает он и смотрит так, словно я только что растерзал его сердце.

«Мне — нет, дорогая Матильда».

«Ясно. Боюсь, вам придется смириться», — отвечает он едко (ты был бы в восторге).

«Серьезно? — говорю я. — Думаешь, ты до меня дотянешься?»

На это привязчивая бестия со спокойной улыбкой выдала мне адрес описанного мною выше заведения. Увидев мою реакцию, он добавил, что его уже давно не повышали по службе, несмотря на то что он храбро и самозабвенно помогает союзнической контрразведке. Далее, прочистив горло и на короткое мгновение смутившись, что с этой потрясающе самоуверенной свиньей случается крайне редко, он потребовал — приготовься как следует, Бев! — чтобы наши уроки вышли за пределы палатки, чтобы я повел его осматривать памятники *in situ*, представил его археологам как своего коллегу из Оксфорда, недавнего выпускника, и порекомендовал им после войны взять его на работу. Бев, что творится? Боюсь, я ответил, что никогда этого не сделаю. «А если и сделаю, мне никто не поверит, понял, нелепое отродье каторжанина?»

«Ясно». Только что он был само спокойствие, самонадеянно и требовательно улыбался — и тут вдруг сделал точно такое лицо, какое бывает у иных лондонских парней, когда объясняешь им, что если вчера мы и провели милый вечерок, это не значит, что теперь мы будем вечно жить вместе. Это сигнал опасности — мне ли не знать? Потому я извинился за то, что вышел из себя, пробормотал, что, мол, так и так, расстроен из-за бедняги Трилипуша, от которого все еще нет вестей, черт дери придурковатых турков. Я не хотел тебя обидеть, сказал я, дай мне несколько дней, я погорюю — и приду в себя. «Разумеется, — сказал он, и глаза его опять загорелись. — Мы тяжело трудились. Вы потеряли товарища. Каждому нужно иногда спускать пар. Встретимся через пару дней. Я не хотел на вас давить. Я тут просто подумал... пора бы нам задуматься о нашем *партнерстве*». Да, Бев, я знаю, ты придержишься к точности изложения, скажешь, что важна каждая деталь, но он сказал именно то, что сказал; все наши встречи я описываю аккуратно и без преувеличений. «Вы подготовили меня к тому, чтобы мы стали партнерами, а после войны можно будет подумать о том, чтобы работать одной *командой*». Вот так. Настроение у него поднялось, и он ускакал.

А теперь, Бев, если ты читал внимательно, я готов выслушать твой хладнокровный совет.

Х.М.

11 ноября 1918 г.

Бев, Бев, Бев!

Сегодня прекрасный день, честное слово. Ты наверняка уже обо всем знаешь. Будущее снова с нами! Демобилизация займет немного времени, но, надеюсь, лето не наступит — а я уже вернусь домой. А потом — учиться, а потом — обратно в любезный моему сердцу Египет, где я уже в более благоприятных обстоятельствах погрязну в приличествующих джентльмену занятиях, как то: осквернение гробниц и эксгумация трупов. Но где же, спрашиваю я себя денно и ночью, где же будет мой Бев?

Что до моей небольшой проблемы, кажется, мне удалось найти элегантное решение. Твой совет был хитро сформулирован, но верно понят: «Когда закончится война, все станет на свои места. Будь терпелив и постарайся хотя бы притвориться, что ты к мальчику добр». Доверься Беву, он видит самую суть вещей!

Вчера, проводя урок в состоянии не слишком притворного возбуждения, я сказал, что хочу показать ему одну сногшибательную вещицу. Я взял с него клятву, что он будет молчать, и он ее дал по-австралийски искренне, чуть не со слезами на глазах. Тогда я разрешил ему глянуть на папирус, о котором ты так и не рассказал Векслеру; этот документ я, как ты помнишь, нашел на базаре, но ему было сказано, что я выкопал папирус еще до нашей счастливой встречи и с тех пор хранил у себя в предвкушении мира, чтобы увезти с собой в Англию и там подвергнуть разбору. К его (и моей как учителя) чести, светлая каторжная голова сработала на славу: он внимательно прочитал папирус и немедленно пришел к тем же выводам, что и я. «Это оно? То, о чем я думаю?» — спросил он восторженно. «Вне всяких сомнений», — заявил я, хотя истина не столь безоблачна: документ вполне может быть подделкой, и даже если он подлинный, вряд ли стоит делать по нему вывод, что... Не важно, тебе, понятно, все равно, да и история моя вращается вокруг 1918 года от Р. Х. Так или иначе, в остальном логика моей интриги была непогрешима. «Где вы это нашли?» Он истекал слюной. Я сказал ему, что мы со старым добрым Трилипушем (разумеется) наткнулись на папирус в одну из экспедиций в начале 1915 года, как раз перед тем, как старина Ральф отправился в Турцию, чтобы встретить там свой конец. Будучи во хмелю воображения, я сказал, что мы выкопали папирус под вражеским огнем. «Вы потом бывали на том участке? — спросил он, задыхаясь от возбуждения. — Там же может быть... А вдруг, вдруг там рядом — гробница, где он захоронен?»

«Дорогой мой мальчик, полагаю, так и есть. Абсолютно уверен, что под землей нас ждет гробница, думаю, я даже знаю, где именно. Послушай, ты в курсе, что война почти закончилась?»

«Честно? Кто вам сказал?» — спросил мой безупречно скудоумный мучитель за двадцать четыре часа до того, как было подписано перемирие.

«Ради бога, выслушай меня. Мне нужно поехать в Оксфорд и закончить обучение, только после этого я смогу вернуться и организовать полномасштабные раскопки. Но прежде чем отправиться домой, мы с тобой могли бы провести предварительную экспедицию. Основательных раскопок, правда, не получится, зато у нас будет опыт полевой работы».

Честное слово, Бев, я думал, он расплачется. Он сжал меня в объятиях. Мальчик, которому на Рождество подарили красивый игрушечный поезд. Меня так и подмывало обнять его более по-мужски, однако испортить столь милую сценку я не решился.

«Отправка домой? — сказал он, внезапно обеспокоившись. — Они могут заставить меня поехать домой? Разве нельзя остаться тут?» Очевидно, Австралия привлекала его так же, как меня и тебя. Все-таки мое попечительство не прошло для него бесследно.

Ну вот, теперь ты понял, Бев, как твой удивительно здравый совет воплощается в жизнь? Завтра мы с ним покинем лагерь на четыре дня. Я показал ему уже оформленные документы, и он уставился на своего дорогого папочку

с детским восхищением. Завтра мы с ним отправляемся на юг, в археологическое сердце этой безумной и прекрасной страны. Картер и Карнарвон раскапывают в Долине царей что-то страшно любопытное, и я полагаю, что знакомство с этими парнями моей карьере совсем не повредит. Моя сиротка извелась, так хочет с ними встретиться, но этого, как ни печально, не случится.

Ибо далеко отсюда, среди утесов и холмов, вдали от всех и вся, в колдовских сумерках пустыни все сложное происходит очень просто, как ты и предсказывал; и я, освободившись от занозы в сознании, вернусь к нормальному бытию.

Ты с головой ушел в лондонскую жизнь, а Бев? Я был счастлив получить известие о твоей квартире и, разумеется, жду не дожусь момента, когда смогу на нее взглянуть. Надеюсь, ты не найдешь слишком уж удобную квартиру — и постоянную к тому же. Сделай мне одолжение, очень тебя прошу, подумай хорошенько: ты же знаешь, я должен быть в Оксфорде, а потом я вернусь сюда, а потом поеду обратно: учить, копать, писать, учить, копать, писать. Разве тебя совсем не влечет такая жизнь? Половину времени будешь обитать в студенческой комнате на Лонгуолл-стрит, половину — в палатке в Египте, стране развитой и терпимой. Разве при такой нашей жизни любимые друзья не должны быть всегда рядом?

Я напишу тебе снова 16-го — свободный и воспаривший.

Твой в вечности,

Х.

*Воскресенье, 31 декабря 1922 года (продолжение)*

В девятой и последней камере гробницы нет ни текстов, ни иллюстраций, но это не должно нас удивлять. Ибо теперь все ясно. Уповать на более исчерпывающее объяснение — значит требовать слишком многого.



Он подготовил себе склеп и в силу необходимости поместил отданные телом Владыки органы в простые глиняные горшки, которые расставил по углам собственной камеры. Он не был скульптором: на крышке всякого горшка он начертал имя соответствующего бога и попытался изобразить непростые контуры павиана, сокола, шакала, человека. Закончив переписывать свои «Назидания», он, дабы имя его не было забыто, выбежал наружу, закопал одну копию в цилиндрическом сосуде (отрывок «С», найден в 1915 году), другую за-

вернул в кусок материи и зарыл в нескольких ярдах от первой (отрывок «А», 1856 год). Третью, на известняковой плите (отрывок «В», 1898 год), должен был доставить в далекие земли некий гонец, однако тот освободился от ноши почти сразу. Оригинальный и полный текст «Назиданий» он поместил в великолепный сундук во Второй Предкамере в качестве дополнительного залога бессмертия, ибо всякий писатель достоин послежизни длиной в миллион лет.

А потом, собравшись с силами, он повернулся к мигавшему факелу и в последний раз обошел помещения, где будет ожидать допуска к бессмертию.

Каковы они, мгновения конца, размышляет последний царь Египта, приступая к последнему делу. Каков вкус последнего вздоха — и того, что последует за ним?

Его руки трясутся от несуразного страха и голода. Его пальцы разбиты в кровь, распухли, сломаны в битве или во время работы с телом Владыки. Пальцы заляпаны краской, они пахнут консервантами и кишками его тестя.

Химическая обработка его ступней и ног будет мучительной, однако он уже примет отупляющие яды медленного действия, успокоится тем, что враги посрамлены, а бессмертие приближается, и сможет плотно запеленать свои ноги и ступни. Он подумает о том, сколь многого достиг в этой жизни, вышел из пропасти и добрался до самых вершин; а как высоко воспарит он в следующей, когда имя его будет звучать вечно! Обработка консервантами его паха и туловища будет почти нестерпимо болезненной. Но он все стерпит и запеленает себя до талии. Бальзамы ледяным огнем текут по щекам, испарения в носу выжигают мозг. Капли падают на обожженные губы и язык — и глотку сводит в судороге. Его глаза туманятся и тлеют, но он не останавливается. Нет времени, вскоре яды завершат свою работу, а он должен завершить свою до отбытия. Он плотно пеленает лицо и голову.

Решение последней неподатливой проблемы он разучивал в одиночестве, упражняясь вновь и вновь; решений без подвоха не бывает, но это — лучшее, что преподнесла ему Судьба: на полу лежат длинные, отмеренные куски полотна. Бальзамы жалят все немилосерднее, и он сжимает пелену в кулаке. Он ложится на пол гробницы, перекачивается с боку на бок, со всем возможным старанием наматывая пелены на руки и туловище, и заканчивает свой труд, и надеется, что оказался в самом центре камеры точно в момент отбытия.

Тьма. Смертные муки царя отступают. Его дыхание прекращается на время, которое уже не измерить. Он дрейфует в тишине. А затем он пробуждается к музыке. Первое лицо, что он видит, — лицо отца, который уже воскрес и теперь застыл над ним: кающийся, угодливый, покорный, любящий. Его нежные пальцы с любовью отверзают сыновние очи. А вот входят женщины, их миндалевидные глаза оттенены малахитовой пудрой, их медные тела облачены в прозрачные одежды. Они подходят и дарят ему нежные ласки. Они так его любят. Они распеленывают его и умащают маслом. И вот, подготовив его, они ведут ее — наконец-то! Вплывает его царица, протягивая к нему длиннопалые длани. Она здорова, бодра и предназначена одному лишь ему. Длинные столы ломаются от яств, что сошли со стен. Новоявленная, невообразимая музыка все громче, и супруга увлекает его прочь от земных страданий и одиночества. Внизу, под ним, простые люди будут каждодневно вспоминать о нем с благоговением, и повторять его имя, и медвяное дыхание их породит облака,

что вознесут его прочь от сонма соперников и педантов, вознесут над бедностью и глумлением, над снобами и злодеями, охранят от врагов, сомнений и предательства. Его тайнства и тайны останутся непознанными долгие тысячи лет, а потом кто-нибудь снова отыщет его, обнимет его, сойдет с ним, сольется с ним, растворится в нем, чтобы исследователь и царь обрели вечную любовь, достойную бессмертного имени, Атум-хаду и Трилипуш, Трилипуш и Атум-хаду, Трилипуш, Трилипуш, Трилипуш.

## Артур Филлипс премного благодарит за поддержку:

Сотрудников Британского музея (в особенности — Марселя Маре, отдел Древнего Египта и Судана), Джима Форте, Нормана Фрумана, Дэниела Голднера, Публичную библиотеку округа Хеннепин, Кэтрин Кинэн, Питера Ларсона, Яромира Малека и Институт Гриффита, Росса Маллетта, Парижский цирк Морено-Борманна, Энтони Пэллисера, Стивена Квирка, Майкла Райса, Келли Росс, Криса Тайрера, Кристен Вальярдо, Кента Уикса и Фиванский картографический проект, а также мисс Вивиан Даркблум — за ее неоценимый пример;

### ***и в большом долгу у:***

редактора-суперзвезды Ли Будро, Джулии Бакнэлл, Тони Деннинджера, Питера Магьяра, Майка Мэттисона, ASP, DSP, FMP, MMP, несравненного агента Марли Русофф, Тоби Томпкинса, Дэниела Зелмана и, разумеется, Джен.



# ТАЙНЫ СКЛЕПА

*Пиши о том, что знаешь!*

Безжалостная заповедь Хемингуэя не дает покоя писательскому сообществу и заставляет ворочаться во сне одинокого будущего романиста: в страшных ли фантазиях, в гнетущей ли действительности он все едино проклял квазипапской буллой дяди Эрнеста. «Писать о том, что я знаю? Что я знаю... — Автор страдальчески вздыхает. — А о чем писать, если я не знаю ничего?»

Даже если так, тревожиться не стоит: вам на помощь всегда придет Британский музей.

Если вы решились писать роман о том, в чем почти не разбираетесь, о науке, на изучение которой тратят годы, если действие вашей книги происходит, как ни печально, в стране, где вы были хорошо если проездом, в эпоху, которую вы представляете себе очень приблизительно по книгам, что прочли в детстве, и пожелтевшим газетным вырезкам, если вы пошли на поводу у гиперактивного и вздорного воображения, нырнули в кроличью нору и узрели там волшебные светящиеся силуэты перевернутых пирамид, безумцев в колониальных шлемах и фараонов с незаурядными пристрастиями, а заурядного и обыденного увидели всего ничего, расслабьтесь: в Британском музее вы познакомитесь с экспертом, который не только знает все на свете, но и обязан — да-да, обязан — отвечать на все вопросы, которые вы шлете по электронной почте, и не важно, насколько они глупы, бестолковы, надуманны или откровенно пошлы.

У меня была идея книги. Я сдуру решил, что мне требуется прояснить пару вопросов, не больше. Странствуя по электронным тенетам, я наткнулся на сайт музея и спросил у дежурившего по Сети куратора: «Как написать „сексуально возбужденный“ в иероглифике?»

Ответ из киберхрама науки пришел быстро. «Вообще говоря... — Я живо представил себе, как у человека по ту сторону монитора взметнулась бровь. — Вообще говоря, *иероглифика* — это египетская письменность. А вот *иероглифы* вы найдете в приложенном к письму файле». Приложение явило выведенные от руки аутентичные знаки древнего алфавита, которые содержали ответ на мой вопрос — весьма, если вдуматься, логичный. Да, если бы мне (или двенадцатилетнему мальчику) понадобилось нарисовать на заданную тему картинку, она была бы именно такой.

Крышу у меня сносило точь-в-точь как у двенадцатилетнего. Далеко не сразу я осознал, сколь глубоко бездны моего невежества. Я не знал о египтологии абсолютно ничего. Мне нужно было притвориться знатоком, но это оказалось непросто. «Ах, если бы, — размышлял я, — если бы только появился какой-нибудь волшебный джинн, готовый ответить на мои вопросы...» (*Не стоит благодарности, мистер Филлипс. Отвечать на вопросы — наша обязанность.*) Так в моей жизни появился джинн-тоник.

Мне нужен был период истории, охваченный хаосом, в котором легко захоронить апокрифического царя (*XIII династия, мистер Филлипс*). Мне нужно было укромное место близ участка Картера (*Дейр-эль-Бахри, мистер Филлипс*). Мне нужно было... э... ну, это вот самое, которое, в общем... (*картуш, мистер Филлипс*). Как долго ехать на осле до (*около часа*), виден ли оттуда (*нет*), это

слово так писали в 1922 году (*иногда да*), что случилось с помещенными в канопы органами в послежизни (*их возвращали в ожившее тело, мистер Филлипс*)?

Прошло несколько месяцев, крышесносный сюжет романа все чаще увлекал меня в темные и пыльные камеры неведомого, в сырые подвалы, где я переставал ориентироваться в мире, который населяли герои, и утрачивал ощущение воображаемой реальности, без которого книгу не напишешь. Но всякий раз меня встречал во тьме мой верный сотрудник Британского музея с фонариком в руке. Он был готов, не сказать «рад», поспорить со мной и персонажами (а их на временном отрезке в 3500 лет становилось все больше), дабы вернуть нас в светлые залы правдоподобия.

День за днем один и тот же человек (невидимый, виртуальный) отвечал на мои письма, в которых я просил уточнений вчерашних уточнений. Постепенно мои герои обретали почву под ногами, у них появлялись исторические познания и будничные дела. Чем реальнее становились для меня 1922 год н. э. и 1650 год до н. э., тем яснее я представлял себе клочок земли, где происходили описываемые мной диковинные события. Что было известно о XIII династии к 1922 году? Есть ли расщелины, похожие на ту, в которой предполагалось устроить гробницу Хатшепсут? Как называется последний иероглиф из тех, что вы мне прислали? (*Мистер Филлипс, это иероглиф-детерминатив «извергающий семя пенис».*)

Мне не довелось побывать в Британском музее, потому слух мой улавливает скрип музейных кожаных кресел, когда в них садятся фыркающие седовласые полковники с пышными усами, одышливые поэты-туберкулезники в поношенных бежевых свитерах, Карл Маркс. Теперь к этой компании присоединился некий безмятежный египтолог. Он сидит в своем уголке и качает головой, когда в электронном почтовом ящике появляется имя эксцентричного писателя — опять. И опять.

Воображение — бешеный и необузданный археолог; написание книг все более напоминало мне раскопки гробницы, которые начинаешь, зная малое и надеясь на многое. Вот мне открылась камера; я ею заморожен — точно такую камеру я и ожидал увидеть; только... секунду, а что там внизу? Еще одна камера, куда невероятнее (нужно только пролить свет на некоторые факты); выходит, предыдущее помещение — не более чем малозначащая предкамера, приходящая лабиринта, о котором я и помыслить не мог, подземного дворца, который никогда бы не открылся мне, если бы я продолжал исследовать одни лишь светлые пространства мира, *что я знаю.*

*Артур Филлипс*

# Примечания

# 1

Говард Картер (1873–1939) — английский археолог, открывший в 1922 году гробницу Тутанхамона. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

[^^^]

## 2

Роскошь (*φρ.*).

[^^^]

**3**

Конечно (*фр.*).

[^^^]

# 4

До востребования (фр.).

[^^^]

## 5

Ахва (*араб.*) — кофейня.

[^^^]



## 6

АНЗАК — Австралийский и новозеландский армейский корпус.

[^^^]

# 7

«Влюбленный царь» (*фр.*).

[^^^]

## 8

Касба (*араб.*) — дом, крепость, цитадель.

[^^^]

**9**

Медленно (*лат.*).

[^^^]

## 10

Сэр Эдмунд Алленби (1861–1936) — британский генерал, в конце Первой мировой войны назначенный верховным главнокомандующим на Ближнем Востоке. До 1925 года оставался верховным комиссаром в Египте и Судане.

[^ ^^]

## 11

Джордж Эдвард Стэнхоуп Молино Герберт Карнарвон (1866–1923) — английский граф, египтолог, с 1907 г. финансировавший раскопки Говарда Картера и работавший с ним в паре.

[^ ^^]

# 12

Изысканный, утонченный (*фр.*).

[^ ^^]

# 13

Временное пристанище (*фр.*).

[^^^]



## 14

Демотическое письмо — одна из трех разновидностей древнеегипетского письма, наряду с иероглификой и иератикой. В основе иероглифического письма — знаки, изображавшие людей, животных, растения и т. п. Иератическое письмо возникло из иероглифического, в нем знаки изображались упрощенно. Демотическое письмо, в свой черед, представляет собой скоропись, производную от иератики. Оно возникло в VIII–VII веках до н. э. и вышло из употребления около V века н. э.

[^^^]

# 15

Настоящая кокетка (*фр.*).

[^^^]

# 16

На двоих (фр.).

[^^^]

## 17

Себах — богатая селитрой почва древних хранилищ, которую египетские крестьяне использовали в качестве удобрения для полей.

[^^^]

# 18

Жизнеописание (лат.).

[^^^]

# 19

На месте (*лат.*).

[^^^]

## 20

До тошноты (лат.).

[^^^]

## 21

Зд. — область весьма непознанная (*лат.*).

[^^^]



Грустный (*фр.*).

[^^^]

## 23

Подозрительный, двусмысленный (*фр.*).

[^^^]

## 24

Простодушный, бесхитростный (*фр.*).

[^^^]